И. И. МЕЩАНИНОВ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА

И. И. МЕЩАНИНОВ • ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

И. И. МЕЩАНИНОВ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ленинград • 1975

Отв. редактор *Е. В. ПУЗИЦКИЙ*

$М\frac{70101-578}{042(02)-75}337-75$



ИВАН ИВАНОВИЧ МЕЩАНИНОВ
1883—1967
(фотоснимок 30-х годов)

ИВАН ИВАНОВИЧ МЕЩАНИНОВ
(1883—1967)

Герой Социалистического Труда академик И. И. Мещанинов — ученый исключительно широкого диапазона. С его именем связано возникновение и развитие ряда направлений в области общего и частного языкознания, он был также крупнейшим специалистом по археологии и истории Юга России и Закавказья, наконец, он имеет большие заслуги в организации этнографических исследований в нашей стране.

Иван Иванович Мещанинов родился 24 ноября 1883 г. в г. Уфе. Окончив с золотою медалью VI петербургскую гимназию, в 1902 г. он поступил на юридический факультет Петербургского университета. 1905 г. он провел в Гейдельбергском университете, где в течение двух семестров занимался у профессоров В. Виндельбандта, М. Еллинека и Г. Аншюца. И. И. Мещанинов окончил Петербургский университет в 1907 г. Параллельно с занятиями на юридическом факультете Петербургского университета И. И. Мещанинов с 1905 г. учился в Археологическом институте в Петербурге, который и окончил в 1910 г. Первый период научной деятельности И. И. Мещанинова тесно связан с Археологическим институтом, а затем с Академией истории материальной культуры. С 1910 по 1923 г. он заведовал историческим архивом Археологического института, получив в 1911 г. звание почетного члена правления этого института. С 1914 г. И. И. Мещанинов приступил к изучению коллекций древностей Передней Азии, а в 1917 г. опубликовал описание коллекций эламских древностей, хранившихся в Археологическом институте.

Одновременно с изучением эламских древностей И. И. Мещанинов приступил к исследованию эламского языка. На этой почве произошло сближение между ним и акад. Н. Я. Марром, крупнейшим востоковедом того времени, оказавшим большое влияние на дальнейший творческий путь Мещанинова. Как писал И. И. Мещанинов, «Н. Я. Марр выступал как бы комплексным ученым, историком в широком понимании данного термина, что присуще вообще востоковеду, каковым он и был в эти творческие годы его

жизни. Объект исследования освещался им со всех сторон. Он берет материальную культуру народа, письменные памятники, его собственные или чужие, говорящие о нем, и включает сюда же исследования языкового материала. Все эти данные привлекаются как исторические свидетельства, и сам язык, в связи с этим, рассматривается как исторический источник первостепенного значения».[1]

Принцип историзма в его широком понимании является основополагающим для научных исследований и самого И. И. Мещанинова как в области археологии, так и в области языкознания.

Многие годы И. И. Мещанинов вел широкие исследования в этих областях параллельно. Начиная с 1925 до 1931 г. сначала под руководством проф. Б. В. Фармаковского, а затем в качестве руководителя И. И. Мещанинов участвовал в археологических экспедициях по раскопкам Ольвии — центра античной колонизации Северного Причерноморья. С 1926 по 1933 г. И. И. Мещанинов проводил систематические археологические обследования в различных районах Закавказья — Нагорном Карабахе (Ходжалы), Нахичевани (Кызыл-Валк), в Айрумских горах и, наконец, в степной полосе Кировабада и Мильской степи. Признанием выдающегося вклада, внесенного Мещаниновым в освещение исторического прошлого Северного Причерноморья и Закавказья, было его избрание в 1928 г. членом Академии истории материальной культуры, а в 1933 г. он был избран академиком АН СССР. В отличие от представителей предшествующей археологической школы для И. И. Мещанинова, как и для Н. Я. Марра, археологические исследования никогда не были самоцелью, они рассматривались им как один из важнейших источников по историческому прошлому народов, археология же — как одна из важнейших исторических дисциплин, а не как своего рода вещеведение. Уже в этот период своей научной деятельности И. И. Мещанинов пришел к твердому убеждению, что археология, энтография, языкознание и другие гуманитарные дисциплины должны тесно взаимодействовать друг с другом, имея единую историческую установку. В частности, проводимые им в широких масштабах археологические исследования районов Закавказья сочетались с изучением древнего клинописного халдского (урартского) языка, или языка древнего Вана, и служили для него широкой исторической базой.

Изучение этого языка, а также грузинского, хеттского и семитских, И. И. Мещанинов, будучи уже зрелым ученым, начал в 1919 г. по совету Н. Я. Марра и с этой целью в течение четырех лет в качестве вольнослушателя посещал университетские занятия. Уже в 1927 г. И. И. Мещанинов представил к защите докторскую диссертацию «Халодведение. История древнего Вана, включающая древнейшие сведения о Закавказье. Система письма и

---

[1] Мещанинов И. И. Новое учение о языке на современном этапе развития (здесь, с. 313—314).

чтения клинописных текстов халдов-урартов», которую предваряли публикации, содержащие вновь открытые надписи на халдском языке, опыт их дешифровки и чтения с выделением идеограмм и детерминативов, а также богатейшие сведения по историческому прошлому народов древнего Вана. Комплексные исследования И. И. Мещанинова по истории и языку халдов создали ему международную известность и авторитет как крупнейшему специалисту в этой области. В последующие годы И. И. Мещанинов продолжал интенсивное исследование халдского языка параллельно с археологическими раскопками в районах Закавказья. Результаты этих исследований были представлены в многочисленных публикациях, из которых наиболее значительными являются монографии «Язык ванских клинописных надписей на основе яфетического языкознания» (Л., 1932) и «Язык ванской клинописи, II. Структура речи» (Л., 1935). Учитывая принципиально новые результаты исследований немецкого востоковеда И. Фридриха по халдскому языку, а также теоретические установки Н. Я. Марра по вопросу о развитии кавказских языков, в этих монографиях, в отличие от предыдущей (т. е. диссертации 1927 г.), И. И. Мещанинов рассматривал халдский язык в плане широкого сопоставления с другими кавказскими языками, устанавливающем моменты типологической общности халдского языка с этими последними (наличие эргативной конструкции предложения и др.).

Занятия халдским (урартским) языком И. И. Мещанинов считал своею основной лингвистической специальностью и вновь вернулся к его исследованию в последние 15 лет своей жизни, опубликовав в эти годы детальное описание его грамматического строя (Грамматический строй урартского языка, ч. I. Именные части речи. М.—Л., 1958; ч. II. Структура глагола. М.—Л., 1962) и оставив в рукописи «Аннотированный словарь урартского языка» объемом более 20 авт. листов.

Однако наиболее значительное влияние на развитие советского языкознания оказали исследования И. И. Мещанинова по общей лингвистике. Считая себя учеником Н. Я. Марра и всегда с большим уважением относясь к памяти своего учителя, И. И. Мещанинов, начиная с 30-х гг., во многом шел своими путями в развитии теории языкознания, творчески развивая и перерабатывая идеи своего учителя. Основополагающим принципом при исследовании языка И. И. Мещанинов, как и Н. Я. Марр, считал принцип историзма. Это означало, что, во-первых, язык, будучи продуктом человеческого общества, являясь средством общения в нем, должен рассматриваться как общественное, а не естественное явление, в связи с обществом, его породившим, в обусловленности общественными факторами. Это означало, во-вторых, что язык, будучи историческим явлением, должен рассматриваться не как раз навсегда данная застывшая система, но и в движении, в развитии. Подход к языку как общественному и исторически развивающемуся явлению во многом на длительное время опре-

делил как пути развития теории советского языкознания, так и практику частных исследований. Понятие языка как общественного явления имеет свою историю и претерпело существенные изменения в ходе развития советского языкознания в целом и, в частности, в одном из его направлений — новом учении о языке, которое возглавляли Н. Я. Марр, а затем И. И. Мещанинов. Н. Я. Марр, встав после Октябрьской революции на путь усвоения и применения положений диалектического и исторического материализма в области языкознания, не смог, однако, правильно определить специфику языка как общественного явления, его место в ряду других общественных явлений. Причислив язык к надстроечным явлениям, он искал прямолинейную и однозначную связь между языковыми и другими социальными явлениями, отрицая тем самым относительную самостоятельность языка по отношению к общественным факторам. Разделяя до начала 30-х гг. точку зрения Н. Я. Марра на природу языка как общественного явления, И. И. Мещанинов в дальнейшем отказался от попыток прямолинейно и однозначно объяснять все языковые явления общественными факторами, сохранив вместе с тем понимание языка как надстройки. Такое понимание общественной сущности языка было свойственно не только представителям нового учения о языке, но и полностью соответствовало принятым у нас в философии до дискуссии 1950 г. по языкознанию понятиям надстройки и базиса, согласно которым все общественные явления относились или к базису, или к надстройке, а вся область духовной деятельности человека, и в том числе науки (общественные и естественные), относились к надстройке. Философское и научное значение дискуссии 1950 г. по языкознанию заключалось прежде всего в том, что она восстановила в правах выработанное классиками марксизма-ленинизма понятие надстройки, ограничив ее такими областями духовной деятельности человека, как философия, право, политические, религиозные и эстетические взгляды общества с соответствующими им учреждениями.

Значительное место в научном творчестве И. И. Мещанинова занимала разработка проблемы развития языка. «Все явления языка, — писал И. И. Мещанинов, — имеют свое историческое обоснование. Они — продукт истории, пережитой человеческим обществом. Поэтому язык, по своей социальной природе, подчиняется законам исторического движения, выявляя моменты диалектического хода развития. Развитие языков, как и всех выявлений исторического процесса, проходит эволюционно и трансформационно. Непрерывно идущие в языке изменения порождают эволюционные сдвиги, наблюдаемые в определенном периоде исторической жизни языка. Между этими периодами имеют место смены более радикальные. Количественное накопление норм, противоречащих действующему строю, может привести к коренной ломке всей языковой структуры. . . Одна структура языка сменяется другою, образуя в историческом разрезе переходы

с одной ступени языкотворческого процесса на другую. Тем самым устанавливаются в языке стадиальные переходы, смены одной стадии другою».[2] Идею коренных качественных изменений в процессе развития языков И. И. Мещанинов воспринял от Н. Я. Марра. Эта идея отягощалась у Марра грузом ошибочных представлений, в частности представлением о развитии всех языков мира из четырех первоначальных элементов, являвшихся названиями четырех яфетических племен. Палеонтологический анализ по четырем элементам подвергся наиболее резкой и справедливой критике в ходе и после дискуссии 1950 г. по языкознанию. Однако эта критика была в значительной мере запоздалой, так как от этого положения Н. Я. Марра большинство представителей нового учения о языке отказались уже ранее. Как писал в одной из своих додискуссионных статей И. И. Мещанинов, «палеонтологический анализ по упомянутым выше четырем элементам отпал еще десять лет назад как не соответствующий основным положениям этого анализа. Палеонтологический подход к языку предусматривает качественные в нем сдвиги. Этим последним должны были подвергнуться и изначальные корнеслова. В поступательном ходе исторического процесса они обратились в основы разросшегося состава слов. При таких условиях упомянутые четыре элемента могли оказаться действующими только в определенном периоде развития человеческой речи».[3]

И. И. Мещанинов отказался также от первоначально принятой им схемы стадиального развития языков (стадии аморфная, аморфно-синтетическая, агглютинативная, флективная),[4] предложенной Н. Я. Марром. Во все последующие годы исследовательская работа И. И. Мещанинова была направлена на установление коренных качественных различий в структуре предложения различных языков, и выявленные в этой связи аморфные, поссессивные, эргативные и номинативные конструкции предложения рассматривались как последовательные и общие для всех языков ступени в их стадиальном развитии (Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936; Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии строя предложения. Л., 1940). Однако уже к середине 40-х гг. стало ясно, что ни одна из названных выше конструкций предложения не может рассматриваться как стадиальный признак и что нет достаточных оснований рассматривать те или иные конкретные языки как на-

---

[2] Мещанинов И. И. Новое учение о языке. . ., с. 324.

[3] Мещанинов И. И. Советское языкознание. — В кн.: Общее собрание Академии наук, посвященное тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции, М.—Л., 1948, с. 253; см. также: Мещанинов И. И. Учение Н. Я. Марра о стадиальности. — ИАН, ОЛЯ, 1947, т. VI, вып. 1, с. 6.

[4] Мещанинов И. И. К вопросу о стадиальности в письме и языке.— Известия Гос. академии истории материальной культуры, 1931, т. VII, вып. 5—6.

ходящиеся на различных стадиях развития в зависимости от того, какая из этих конструкций предложения им свойственна. «Под стадиею понимаются, — писал И. И. Мещанинов в статье, подводящей итоги исследований в этой области, — не одиночные явления качественных в языке изменений, а переход целой языковой системы в другую. Следовательно, речь в данном случае идет о сдвигах в системе, и потому вполне естественно, что они должны характеризоваться не единичными фактами, а целым рядом признаков, комплекс которых и отделяет одну систему от других».[5] Далее, останавливаясь на указанной выше синтаксической схеме классификации языков, И. И. Мещанинов писал: «Тем не менее усмотреть в ней, кроме схемы типологических различий, также и схему стадиальной периодизации в значительной мере преждевременно».[6] Признание неудовлетворительности конкретной схемы стадиального развития языков не свидетельствовало об отказе от самой идеи их стадиального развития и наличия общих закономерностей в их развитии (единства глоттогонического процесса). Разработка этой проблемы остается актуальной до настоящего времени, и в модифицированном виде идея наличия общих закономерностей в развитии языков пронизывает типологические исследования на их современном этапе (выявление универсальных свойств языка, использование типологических сопоставлений, ведущихся в синхронном плане, в целях диахронических и т. п.).

Постановка проблемы стадиального развития языков послужила для И. И. Мещанинова исходным пунктом для фундаментальных исследований в области типологии языков, которые он вел до самой своей кончины. И. И. Мещанинов создал новое направление в общем языкознании — типологическое исследование синтаксиса разносистемных языков. Это направление им было развито в книгах «Члены предложения и части речи» (М.—Л., 1945), «Глагол» (М.—Л., 1948), «Структура предложения» (М.—Л., 1963), «Эргативная конструкция предложения в языках различного строя» (Л., 1967), в серии статей, посвященных сопоставительному анализу синтаксических групп в языках различной типологии, и, наконец, в завершенной им за несколько дней до смерти монографии «Типологические сопоставления языков с эргативной и номинативной конструкцией предложения». В этом цикле исследований И. И. Мещанинова дается, с одной стороны, детальный формальный анализ соответствующих языковых явлений в их системных связях и взаимообусловленности, а с другой стороны, исчерпывающее описание их функционального назначения. Последний аспект исследований И. И. Мещанинова этого периода, свойственный и его предшествующим работам, направлен на вы-

---

[5] Мещанинов И. И. Проблема стадиальности в развитии языка. — ИАН, ОЛЯ, 1947, т. VI, вып. 3, с. 173.
[6] Там же, с. 174.

явление сложных и опосредованных связей языка с мышлением, а также на выявление критериев типологических сопоставлений; этот аспект получил свое выражение в учении о понятийных категориях.

Согласно теории И. И. Мещанинова, языковые категории, получая различные выражения в языках, притом не только в их грамматическом строе, но и в лексике, являются тем общим, что объединяет языки самого различного строя; при типологических исследованиях языков понятийные категории выступают как основание для их сопоставительного исследования.

Работы И. И. Мещанинова в области типологии синтаксических систем внесли громадный вклад в разработку понятия структуры предложения и его различных конструкций (прежде всего эргативной), в выявление сущности различных синтаксических связей в составе предложения и номенклатуры выражающих их синтаксических приемов, в исследование характера синтаксических групп в языках различной типологии, в разработку теории членов предложения и т. д.

В одной из своих статей И. И. Мещанинов писал: «Впереди, в более отдаленном будущем, стоит задача составления сравнительной грамматики языков мира».[7]

Названные выше труды И. И. Мещанинова во многом подготовили основы для создания такой грамматики, и они окажут большое влияние на дальнейшее развитие исследований в этой области.

В лице И. И. Мещанинова сочетались качества выдающегося исследователя-теоретика и крупнейшего организатора науки. В 1933—1937 гг. он был директором Института антропологии и этнографии Академии наук СССР, в течение длительного периода (1934—1950 гг.) руководил Институтом языка и мышления АН СССР, а с 1939 по 1950 г. возглавлял советскую филологическую науку, будучи академиком-секретарем Отделения литературы и языка и членом Президиума Академии наук СССР. И. И. Мещанинов принимал также активное участие в организации научных исследований в национальных республиках — в течение ряда лет он руководил Отделением общественных наук Азербайджанского филиала АН СССР, был председателем Дагестанского филиала АН СССР. Его большая помощь развитию науки в национальных республиках получила широкое признание, и он был избран почетным академиком Казахской и Азербайджанской Академий наук.

Будучи директором Института языка и мышления и академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР, И. И. Мещанинов осуществлял большую работу по организации исследований многочисленных бесписьменных и младописьменных языков народов СССР, по созданию письменностей для ранее

---

[7] Мещанинов И. И. Новое учение о языке. . ., с. 335.

бесписьменных народов СССР, а также по переводу письменностей ряда народов СССР с арабского и монгольского алфавитов на латинский и русский алфавиты.

Много сил и труда вложил И. И. Мещанинов в подготовку языковедческих кадров, в особенности национальных научных работников. Более 30 лет он преподавал в Ленинградском университете, был деканом его филологического факультета, заведовал кафедрой общего языкознания, кафедрой палеоазиатских языков. И. И. Мещанинов вел преподавательскую работу и в ряде других вузов страны.

Акад. И. И. Мещанинов оставил большое научное наследие. Многие из ранее изданных его работ сейчас уже стали библиографической редкостью. В настоящее издание, которое будет состоять из ряда томов, включены опубликованные, а также не опубликованные монографии и статьи акад. И. И. Мещанинова, посвященные теоретическим проблемам языкознания, сыгравшие в свое время большую роль в развитии советского языкознания и доныне сохраняющие свое актуальное значение. В первом томе помещены работы акад. И. И. Мещанинова по проблеме развития языка, относящиеся, в основном, к периоду 1940—1947 гг., в последующие тома предполагается включить его исследования по проблемам синтаксической типологии и взаимоотношения языка и мышления, а также «Аннотированный словарь урартского языка».

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

К ПРОБЛЕМЕ СТАДИАЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ СТРОЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи общего языкознания

В записях В. И. Ленина «К вопросу о диалектике» имеется весьма четкое и ясное определение тождества таких противоположностей, как отдельное и общее: «. . . отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого **рода** отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.».[1]

В том же положении диалектического тождества находится и общее языкознание по отношению к грамматике каждого конкретно изучаемого языка. Общее учение о языке строится на материалах грамматик отдельных языков и языковых групп и оторванно от них существовать не может. В то же время каждый отдельно взятый язык есть, так или иначе, выразитель части общего процесса языкотворчества, так же как и само языкотворчество выявляет часть общего процесса развития человеческого общества. С другой стороны, каждый язык имеет свои специфические особенности, отделяющие его от других языков. Изучение этих специфических особенностей включается в рамки общего языкознания, поскольку последнее не ограничивается описанием строя речи одной какой-либо системы или «семьи» языков, но охватывает собою всю сложность языкового развития в его схождениях и расхождениях, наблюдаемых в отдельных представителях речи.

[1] Ленин В. И. Философские тетради. М., 1969, с. 318.

Таким образом, построения общего языкознания покоятся на конкретных материалах отдельно взятых языков, последние же, без выявления в них моментов общего языкознания, остаются непонятными не только в деталях, но и в целом.

Общее учение о языке при таких условиях вовсе не отрывается от специальных лингвистических дисциплин, а, наоборот, оно теснейшим образом связывается со специальными исследованиями различных языковых группировок и существует неразрывно с ними. Более того, проблематика общего языкознания разрешается изучением конкретных материалов отдельных языков. Но и сама наука о языке является лишь одной стороной общей науки о человеке. Это новое понимание задачи и сущности общего учения о языке сформулировано следующими словами Н. Я. Марра: «Можно ли вести действительно серьезное лингвистическое исследование над каким-либо отдельным языком, поскольку мы интересуемся генезисом, развитием и складом, конкретной системой его, без учета данных культурного облика народов всего мира, конечно, и их языков, однако не только формальной стороны, но и идеологической? Можно ли отречься от положения: наукой об языке может быть признано только то учение, которое считается с особенностями всех языков мира и, исходя из учета конкретной системы каждого из них, не только отводит или намечает каждому из них принадлежащее ему место в среде всех, но и выявляет те пути и те рамки, в которых может и должна отныне протекать специальная работа над каждым языком, исчерпывающе углубленное исследование каждого языка? А есть такое учение? Есть».[2]

Этим учением является общее языкознание, построенное на основах нового учения о языке, внедряющего положения марксизма-ленинизма во все детали лингвистических штудий. В такой новой языковедческой работе общая проблематика единства глоттогонического процесса оказывается не постороннею для языковеда-специалиста, углубляющегося в изучение отдельно взятого языка, а обязательным спутником в его, казалось бы, замкнутом исследовании. Изучая отдельно взятый языковой строй, он уже изучает часть общего языкового процесса, и понимание этого процесса в его целом облегчает исследователю анализ и истолкование особенностей данного строя языка.

Было бы ошибкою думать, что указанное акад. Н. Я. Марром направление весьма сложной и ответственной работы ограничивает курс общего языкознания сравнительным изложением основных начал фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики, присущих всем языкам. Вовсе не в этом заключается задача общего курса о языке, не говоря уже о том, что подобного рода задание непосильно не только мне, но, смею думать, и лингвистам, более углуб-

---

[2] Марр Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком. — ИР, II, с. 410.

ленным в знание материала и его анализ. Оно непосильно прежде всего потому, что основным законом языкового развития является не статика, а динамика, к тому же динамика с явно выраженными резкими и коренными языковыми перестройками, дающими качественные изменения во всех сторонах структуры языка.

Единый процесс развития человеческой речи различен в своем внешнем выявлении и представляет резкие расхождения в строе каждого языка. При таких условиях общее языкознание должно показать на конкретном языковом материале не только лексическое родство и близость морфологии, синтаксиса и т. д. в тех случаях, когда это действительно имеется налицо, но главным образом различия их в различных языках и в различные периоды исторического их движения, выявить их как отдельные проявления общего глоттогонического процесса. Более того, оно должно обосновать эти различия, объясняя данное построение в данном его историческом состоянии, вскрывая смену форм и процесс языковых перестроек. Но для этого не только недостаточно изучены языки всего мира, но и недостаточно исследованы уже известные нам языки, даже те, по которым имеется громадная литература с детальным прослеживанием исторически зафиксированных форм.

Наиболее известные нам языки исследованы детально проведенным описательным анализом и формальными сопоставлениями с родственными языками в пределах сравнительных грамматик. Этого далеко не достаточно для построения более развернутой картины подлинного движения речи. Собранный богатый материал в указанных целях не освещен. Такую картину могут дать изучаемые языки только при условии понимания их исторического места в общем процессе и правильного истолкования их исторически обусловленного строя. Для этого необходим выход за рамки данных языков, выход, ведущий к их же более глубокому усвоению. Такая работа не проведена даже над индоевропейскими языками.

Между тем то, что дает научная литература конца XIX—начала XX в. в части общеязыковедческой проблематики, базируется главным образом на фактах индоевропейской речи (Пауль, Мейе, де Соссюр и другие),[3] иногда с расширением круга привлекаемых иноструктурных языков (Вунд, Вандриес, Тромбетти,

---

[3] Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 1920; Meillet A. 1) Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1921; 2) Le méthode comparative et linguistique historique. Paris, 1925; Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Русск. перевод. М., 1933. См. также работы русских ученых: Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. Литогр. издание лекций 1901—1902 гг.; Богородицкий В. А. Очерки по языковедению и русскому языку. М., 1939; Поржезинский В. Введение в языковедение. М., 1916; Ушаков Д. Н. Краткое введение в науку о языке. М., 1925; Петерсон М. Н. Введение в языковедение. М., 1929; Томсон А. И. Общее языковедение. Одесса, 1910.

Есперсен, Сепир и т. д.),[4] но всегда лишь в сравнительных сопоставлениях, без углубления в разрешение сложных вопросов о трансформационных сменах и переходах. Подходу к более сложной тематике в первую очередь помешала методология западноевропейской лингвистики. В качестве примера может служить эволюционная лингвистика де Соссюра.[5] Признав эволюционное движение не на определенном историческом отрезке, а на всем протяжении истории языка, социологическая школа Запада замкнула развитие языковых признаков рамками языковых семей и не смогла, в связи с этим, решительно отойти от генеалогической классификации с праязыком в ее основе (Мейе).[6] При таких условиях единство языкового процесса, хотя бы и признаваемое отдельными учеными (Вандриес),[7] оказалось только фразою, а не основою для построения всей развернутой схемы.

Социологическая школа не дала теории единого глоттогонического процесса и не могла ее дать. И именно потому, что она не могла ее дать, она же не смогла уточнить многие спорные до того вопросы, касающиеся определения основных категорий строя языка. Для этого требовалось расширение кругозора до рамок общего языкознания, к чему, впрочем, шли отдельные специалисты. Их вело к тому принятое ими на себя конкретное задание описания данного обособленно взятого языка. В каждом языке нужно выделить наличные в нем грамматические категории и т. д., но для выделения таковых приходится давать хотя бы краткую их общую характеристику. Так, чтобы установить в данном языке те или иные элементы речи, требовалась формулировка их, предпосылаемая фактическому анализу самого материала. Общее языкознание в данном случае не шло на помощь специалисту, к тому же он в большинстве случаев сам отказывается от подобного рода помощника, хотя изложение материала неизбежно вело его к этому. Отдельные грамматики русского, немецкого, французского, узбекского, марийского и любого другого языка постоянно затрагивают общие вопросы о слове, о предложении, о частях речи и т. п. Вовсе не задаваясь специальною целью разрешения общей проблематики, они на самом деле именно ее и выдвигали.

Общая проблематика при этих условиях подчинилась языковедческой традиции. Эта традиция выросла на изучении классических языков и в конечном итоге восходит к Аристотелю. Вы-

---

[4] Wundt W. Völkerpsychologie, I. Die Sprache. Leipzig, 1911—1912; Jespersen O. 1) Die Sprache, ihre Natur, Entwicklung und Entstehung. Heidelberg, 1925; 2) Language. London, 1934; Trombetti A. Elementi di glottologia. Bologna, 1923; Вандриес Ж. Язык. Русск. перевод. М., 1937; Сепир Э. Язык. Русск. перевод. М.—Л., 1934; Schuchardt-Brevier H. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Halle, 1928.

[5] Соссюр, с. 205.

[6] Les langues du monde. Paris, 1924, pref., p. 1 etc.

[7] Вандриес, с. 17; Сепир, с. 3 и др.

работался шаблон, подчинивший себе лингвистическую работу, и вместо широты общего учения о языке получилась узость в понимании ее тематики, получилось искажение действительности. Так, например, «французская грамматика была составлена в XVII—XVIII столетиях по образцу грамматик греческой и латинской; это ее исказило: мы ее строим все еще на номенклатуре, не согласованной с фактами и дающей неточное представление о грамматической структуре нашего языка. Если бы принципы, на которых мы ее построили, были установлены кем-либо другим, а не учениками Аристотеля, французская грамматика была бы безусловно совсем другой».[8]

Только что приведенное утверждение Вандриеса служит прекрасным свидетельством состояния языковедения вообще, которое застигнуто и нашим поколением. Античная языковая теория, в прошлом — передовое учение, оказалась на определенном этапе истории лингвистических учений тормозом, задержавшим развитие лингвистической научной мысли. Эта теория заменила собою общее языкознание и дала образцы для правил языкового катехизиса. Общие вопросы, связывающие интересы специалистов различных языков, оказались тем самым уже заранее разрешенными, и установленная схема стала трафаретно прикладываться к каждому вновь изучаемому языку.

Когда ближайшие к нам два века, в особенности XIX столетие, обогатили языкознание большим количеством вновь привлеченных к изучению языков, то языковая традиция классической школы вошла в коллизию со свежим материалом, в итоге чего потребовался пересмотр прежних положений и высказываний, рассматриваемых к тому же под определенным воздействием различных философских школ. Все же наследие прошлого продолжало оказывать свое влияние, и в результате получился ряд недоговоренностей и разногласий, разрешаемых по-прежнему в узких рамках изолированно взятых языковых групп. Такое положение потребовало выхода, но его не нашлось на старых путях лингвистики, что привело к неустойчивости в суждениях даже по основным вопросам языкознания.

Например, представители различных лингвистических школ, а иногда одного и того же направления, не пришли до последнего времени к согласованному пониманию хотя бы таких основных разделов грамматики, как морфология и синтаксис. Так, Ф. Миклошич определяет синтаксис как часть грамматики, в которой говорится о значении классов и форм слов; таким образом, в основу синтаксиса взято не предложение, а слово.[9] Ф. И. Буслаев, наоборот, отделяет слово от предложения как различные виды выражения представлений и понятий. В область синтаксиса у него

---

[8] Вандриес, с. 92.

[9] Miklosich F. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, IV. Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen. Wien, 1883.

входит сочетание слов и учение о предложении вообще.[10] А. М. Пешковский, следуя за Ф. Ф. Фортунатовым и развивая ту же мысль, называет морфологией тот отдел грамматики, в котором изучаются формы отдельных слов, а синтаксисом тот отдел, в котором говорится о словосочетании.[11] Таким образом, он сближается с основною концепциею Риса, согласно которому синтаксис имеет дело главным образом с формой и значением словосочетаний, тогда как исследование значения классов и форм слов относится к учению о слове (Wortlehre).[12] Между тем Ф. де Соссюр находит, что с лингвистической точки зрения у морфологии нет своего реального и самостоятельного объекта изучения; она, по его словам, не может составлять отличной от синтаксиса области. Де Соссюр предлагает взамен этого традиционного деления грамматики другое, основанное на синтагматических и ассоциативных отношениях в соответствии с двумя формами нашей умственной деятельности, а именно; слова в речи, вступающие между собою в отношения (синтагмы) и слова вне процесса речи, имеющие между собою что-либо общее и составляющие тот запас, который у каждого индивида образует язык (ассоциативные отношения).[13] Э. Сепир делает упор на элементы речи, понимая под последней «звуковую систему речевой символики, поток произносимых слов». Индивидуальный звук он не считает за элемент речи, так как «речь есть значащая функция, а звук как таковой значением не облечен». Остаются слово и предложение. Под словом Сепир понимает «один из мельчайших вполне самодовлеющих кусочков изолированного „смысла“, к которому сводится предложение». Слово не может быть без нарушения смысла разложено на более мелкие частицы. Предложением же Сепир считает важнейшую функциональную единицу речи. «Оно есть выраженное в речи суждение».[14]

Отсутствию четкости в разграничении морфологии и синтаксиса вполне отвечает отсутствие такой же четкости в определении самого предложения. John Ries в своей работе «Was ist ein Satz?» вскрывает характерную картину сбивчивости и разнообразия в определении предложения.[15] Остановлюсь на нескольких таких определениях, более известных русскому читателю по трудам русских ученых. Под предложением понимается: единица речи,

---

[10] Буслаев Ф. И. 1) Историческая грамматика русского языка. М., 1875, с. 1, 43, 45, 96, 110 и др.; 2) О преподавании отечественного языка. М., ч. I — 1844, ч. II — 1867.

[11] Фортунатов Ф. Ф. О преподавании грамматики русского языка в средней школе. — Труды I съезда преподавателей военно-учебных заведений, 1904. Русский филологический вестник, 1905, кн. 2; Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, с. 64.

[12] Ries J. Was ist Syntax? Marburg, 1894, S. 84, 143; ср.: Петерсон М. Н. Очерк синтаксиса русского языка. М.—Пг., 1923, с. 23 и сл.

[13] Соссюр, с. 121, 130 и сл.

[14] Сепир, с. 20, 28—29.

[15] Ries J. Was ist ein Satz? Praga, 1931, S. 208—224.

воспринимаемая говорящим и слушающим как грамматическое целое и служащая для словесного выражения единицы мышления (Шахматов); суждение, выраженное словами (Буслаев); выражение цельной мысли в слове или словах, передающих психологическое суждение (Петерсон, Фортунатов); известным образом грамматически организованное сочетание слов, а иногда и одно слово, служащее для выражения цельной мысли (Богородицкий); законченная мысль, выраженная словами, или, в более узком смысле, синтаксическая единица, характеризуемая наличием сказуемого (Булаховский).[16]

Наиболее показательным из всей имеющейся старой литературы на русском языке будет отношение к предложению, высказанное А. А. Потебней. Основываясь в значительной степени на Гумбольдте и Штейнтале, Потебня расширил историческое понимание основных элементов речи. В частности, его не удовлетворило определение предложения как словесного выражения психологического суждения. Оно не удовлетворило его как слишком общее, как относящееся ко многим периодам и многим языкам, тогда как «история языка, взятого на значительном протяжении, должна давать ряд определений предложения». А. А. Потебня, в подтверждение своей мысли, начинает от «того состояния языка, при котором психологическое сказуемое есть еще бесформенное слово, т. е. слово, предшествующее образованию грамматических категорий», затем он переходит к наиболее развитым в формальном отношении языкам (индоевропейским) и отмечает, что в них главное предложение невозможно без verbum finitum, что само по себе verbum finitum составляет предложение.[17] Потом А. А. Потебня говорит о сказуемом, изображающем признак во времени его возникновения от действующего лица, и о подлежащем как вещественном указании на непосредственного производителя признака, означаемого сказуемым.[18] Грамматические формы Потебня считает изменчивыми, с изменением же «грамматических категорий неизбежно изменяется и то целое, в котором они возникают и изменяются, именно предложение». Отсюда Потебня приходит к выводу, что синтаксические явления совпадают

---

[16] Кроме указанной выше литературы, см. также: Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 200; Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Харьков, 1937, с. 225; Шахматов А. А. Синтаксис русского языка, вып. 1. Л., 1925, с. 1.

[17] В своем утверждении о том, что глагол создает предложение, Потебня имел своих предшественников, см.: Humboldt W. von. Ueber die Kawisprache auf der Insel Jawa. Berlin, 1936; Müller M. Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache. Leipzig, 1866; Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Prinzipien und ihre Verhältnis zu einander. Berlin, 1885. Цитаты эти приведены также в кн.: Виноградов В. В. Современный русский язык, I. М., 1938, с. 6—8.

[18] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, I—II. Харьков, 1883, с. 76—94.

с этимологическими, что части речи являются основою для членов предложения, так как практически слово может существовать только в предложении.[19] Впрочем, историческая схема развития предложения Потебни не была использована в русской науке.[20]

Такое указание на качественное различие самого содержания предложения в различные периоды развития речи является одним из наиболее живых высказываний старой лингвистики. Все же оно осталось без дальнейшего развития даже после утверждения де Соссюра: «Если кто-нибудь станет предполагать наличие в языке каких-либо постоянных признаков, не подвергающихся изменению ни во времени, ни в пространстве, он наткнется на преграду, связанную с основными принципами эволюционной лингвистики. Неменяющихся признаков вообще не существует».[21]

Несмотря на эти утверждения, вся бегло затронутая выше литература, за крайне редким исключением (Потебня), свидетельствует прежде всего о стабильности подхода к определению основных категорий речи. Как бы абстрагированные от конкретных языков, они устанавливаются в их застывшем облике и прикладываются затем в этом их неизменном виде к изучаемому языку. В результате подобного эксперимента получилась склонность к разделению учений о слове и предложении, учений о морфологии и синтаксисе без учета историзма. Во всех приведенных выше построениях и выводах получается или разобщение, или смешение, основанные и в том и в другом случаях на непонимании подлинного исторического процесса. Так, например, утверждая, что слово вне предложения практически существовать не может (общее признание всех языковедов), слово в его оформлении все же обычно выделяют из того словосочетания, от которого зависит данная его форма. Такая искусственная изоляция привела к признанию, что различия самих слов зависят не только от словообразования, но и от словоизменения. В итоге этого оказалось, что *рука*, *руку*, *руки*, *пишу*, *пишешь*, *писать* представляют собою не формы одного и того же слова, а отдельные слова.[22]

Разобщение между словами и предложением, доведенное до такой крайности, оправдывается общим отношением к словарному составу языка как к чему-то чуждому грамматике с ее морфологией и синтаксисом. Слово с его лексическими собенностями вовсе выносится за рамки грамматики. Против такого отношения к лексике категорически протестует акад. Н. Я. Марр, обвиняя индоевропейскую лингвистику в том, что она по сей день «работает формальным методом, и сосредоточивая свое внимание на фонетике и морфологии, отводит словарь на второстепенное место,

---

[19] Там же, с. 76—77.

[20] См.: Филин Ф. П. Методология лингвистических исследований Потебни. — ЯМ, III—IV, с. 121 и сл.

[21] Соссюр, с. 205.

[22] Наиболее ярко эта мысль высказывается Д. Н. Ушаковым в его «Кратком введении в науку о языке» (с. 68, 83).

абсолютно не учитывает явлений семантики, учения о значениях слов, закономерно вытекающих из связи языка с этапами развития хозяйственно-общественной жизни».[23] Такое же положение констатирует и В. В. Виноградов в работах по русскому языку. По его словам, «грамматика русского языка традиционно строится не только в отрыве от изучения семантических форм слова, но и в полной изоляции от лексикологии и фразеологии».[24]

Слово и предложение рассматриваются как две основные единицы речи, как два основных ее элемента. На этом положении строит свои основные выводы целый ряд представителей лингвистической науки.[25] Поэтому грамматика обычно разделяется на этимологию (в которую входит фонетика и морфология) и синтаксис. Этимология занимается изучением слов в отдельности, не в предложении; в синтаксисе же исследуются сочетания слов в предложении и соединение предложений.[26] Предложение считается важнейшею функциональною единицею речи, но и слово признается подлинным значащим элементом языка.[27]

Вокруг этих двух главных элементов речи и вырос основной спор между крупнейшими специалистами как общего языкознания, так и отдельных языков. При изложении строя речи каждого, хотя бы и оторванно взятого языка неминуемо приходится касаться общих языковых определений. Они неизбежно попадают также и в практические грамматики, общее же языкознание идет навстречу изучению обособленно взятых языков и делает попытки формулировать общие принципы, приложимые ко всякому языку. Наличие таких попыток в курсах общего языкознания констатирует проф. Парижского университета Ж. Вандриес.[28] Спрашивается, каковы эти попытки и какими они должны быть?

Я не касаюсь тех построений курсов общего языкознания, которые преследуют цель дать некоторые перспективы по общим вопросам языка и ознакомить читателя с основною языковою терминологиею. Это — задача вводного курса. Общее же языкознание не вводит учащегося в основу языковедческой дисциплины, а ведет его на всем протяжении исследовательской работы, сопутствуя занятиям над языком избранной специальности и помогая освоению фактов данного языка. «Изучать язык с лингвистической точки зрения — это значит прийти к построению системы общей лингвистики». Так говорит Ж. Вандриес, но он же предупреждает о колоссальных препятствиях, стоящих на пути построения общей лингвистики: «Всякому, кто мало-мальски

---

23 Марр Н. Я. Язык. — ИР, II, с. 128.

24 Виноградов В. В. Современный русский язык, с. 125.

25 См., например: Сепир, с. 20, 28, 29.

26 Здесь мною взята формулировка проф. В. А. Богородицкого; см.: Общий курс русской грамматики, с. 3—4. Богородицкий называет такое деление грамматики обычным.

27 Сепир, с. 20, 28, 29.

28 Вандриес, с. 217.

знаком с положением науки о языке, достаточно известно, что нет более опасной задачи. Ученый, который хотел бы успешно выполнить эту задачу, должен был бы быть в состоянии охватить все формы всех известных языков, должен был бы владеть всеми языками земного шара. Существует ли такой идеальный ученый? Вряд ли».[29] Вандриес, конечно, прав в последнем своем утверждении, но он не прав в основной постановке всего своего высказывания. Он идет от общего к частному.

Общее, при таком требовании, представляет собою лишь сумму частных случаев, тогда как оно не есть только сумма. Общее в данном случае есть монизм языкового процесса, а не сумма наличных языков.[30] Этот монизм выявляется в каждом языке и должен в каждом из них изучаться. «Общее существует лишь в отдельном», «отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему».[31] И сам Вандриес стал в конце концов на более правильный путь. Он попытался рассматривать изучавшиеся им факты как отдельные моменты обширной истории.[32]

Никто не будет отрицать того, что для разрешения общей проблематики требуется накопление фактов и расширение лингвистического кругозора. Именно по этому пути и шел акад. Н. Я. Марр, неоднократно отмечавший особое значение в его творческой работе вновь привлекаемого им материала. Таким путем углублялась его лингвистическая концепция и усиливалось значение накапливаемых языковых фактов. «Однако это усиление шло не с постепенностью эволюционного явления, шаг за шагом, а взрывами, в зависимости от наплыва новых материалов или новых наблюдений в моменты вскрытия связи с чуждым раньше миром. То это было вовлечение новой группы языков, отнюдь не яфетической, в яфетидологическое исследование, так, например, угро-финских, турецких и др. . . . То это было вскрытие факта — для нас события, что так называемые индоевропейские языки, нами именуемые прометеидскими, оказались вовсе не инорасовыми, а позднейшей стадией развития яфетических, их трансформацией. . . То это было от уяснения процесса языкового творчества благодаря новым материалам, дававшим больше возможностей диахронического (т. е. в перспективе отложения ряда эпох) изучения различных глоттогонических явлений, как-то: скрещения языков, классовых путей взаимодействия языков, связи созидаемой речи с историею материальной культуры,

---

[29] Там же, с. 17.

[30] Монизм языкового развития не отрицает и Ж. Вандриес: «Не так уже ошибочно утверждение, что существует столько же разных языков, сколько говорящих. Но, с другой стороны, не будет ошибочным и утверждение, что существует только один человеческий язык под всеми широтами, единый по своему существу. Именно эта идея лежит в основе опытов по общей лингвистике» (Язык, с. 217).

[31] Ленин В. И. Философские тетради, с. 318.

[32] Вандриес, с. 17.

эволюции семантики и ее основ, особенно функционального происхождения значений и т. д. и т. д.».[33]

И все же изучение отдельных языков привело Н. Я. Марра к общеязыковедческой проблематике, а не наоборот. Н. Я. Марр шел от частного к общему, причем углубление в общее языкознание помогло, в свою очередь, более уточненному пониманию строя речи именно тех прежде изучавшихся языков, на почве которых росла сама тематика общего учения о языке. «Постепенно, — говорит Н. Я. Марр, — рядом с учением об яфетических языках наросло общее языкознание по новой теории с переносом исследовательской по учению яфетического языкознания работы в доброй части с яфетических языков на не яфетические, к которым в последние дни прибавились как генетически с ними связанные, с одной стороны, китайский, с другой — палеоазиатские: енисейско-остяцкий, юкагирский и т. д., что опять-таки, естественно, повлечет за собой новый сдвиг в сторону уточнения и идеологии и техники как учения об языке вообще, так учения специально об яфетических языках».[34]

Наглядный пример Н. Я. Марра с необычайною ясностью доказывает не только возможность работы по темам общего языкознания при современном охвате языков, но и настоятельную в ней необходимость именно сейчас, когда до чрезвычайности повысились требования к научным работникам в связи с мощным ростом национальных языков. На материалах отдельных языков расширяется общее учение о языке, и выявляемые им факты дают основание правильнее и глубже усвоить изучаемый языковой строй, вскрывающий в то же время новые данные для того же общего языкознания. Необходимость его наиболее остро чувствуется при тех исключительно благоприятных условиях, в которых находится советская лингвистика, когда при могучем росте СССР национальные языки не только не отмирают и не сливаются в один общий язык, а наоборот, национальные культуры и национальные языки развиваются и расцветают.

Никакие сравнительные грамматики и никакие экскурсы в сторону формальных сопоставлений не выявят основ языкового движения, пока исследовательская работа ограничивается одним только констатированием формального тождества или расхождения. Односторонний анализ формы не есть еще единственная и конечная цель лингвистики.

Ж. Вандриес признает, что «язык есть орудие действия и имеет практическое назначение; поэтому для того, чтобы хорошо понять язык, необходимо изучить его связи со всей совокупностью человеческой деятельности, с жизнью».[35] Целый ряд лингвистов,

---

[33] Марр Н. Я. Предисловие к «Классифицированному перечню печатных работ по яфетидологии». — ИР, I, с. 225.

[34] Там же.

[35] Вандриес, с. 217.

в особенности акад. Н. Я. Марр, настаивает на необходимости выйти за пределы узкого языковедения, чтобы лучше понять предмет своей специальности — язык.[36] Э. Сепир, равным образом, ставит себе задачею «показать, что́ есть язык. . . как он изменяется в пространстве и времени и каковы его взаимоотношения с другими важнейшими человеческими интересами, с проблемой мышления, с явлениями исторического процесса, расы, культуры, искусства».[37] Он не без остроумия указывает на то, что «в своем огромном большинстве лингвисты-теоретики сами говорили на языках одного и того же определенного типа, наиболее развитыми представителями которого были языки латинский и греческий, изучавшиеся ими в отроческие годы. Им ничего не стоило поддаться убеждению, что эти привычные им языки представляют собою наивысшее достижение в развитии человеческой речи и что все прочие языковые типы не более чем ступени на пути восхождения к этому избранному флективному типу».[38] Такова, в частности, схема А. Шлейхера.

Эта схема, несмотря на развернувшуюся критику, все же не изжита, и многие воспитанники индоевропейской школы продолжают изучать другие языки, подгоняя к ним нормы своей родной речи. Они как бы свысока смотрят на иносистемные языки, видя в них что-то неравноправное и для общей лингвистики второстепенное. В параллель к этому Э. Сепир с искреннею, казалось бы, ирониею упоминает об одном прославленном американском писателе по вопросам культуры и языка, который во всеуслышание изрек, что, по его мнению, как бы ни уважать говорящих на агглютинативных языках, все же для «флективной женщины» преступно выйти замуж за «агглютинативного» мужчину.[39] И все-таки, те же Вандриес и Есперсен в основу своих работ кладут материалы индоевропейских языков, только вкрапливая, и то в весьма небольшой доле, данные из других языков мира. Проблематика общего языкознания в своей основной части разрешается ими на тех же фактах индоевропейской речи. Когда же голландский ученый Уленбек положил в основу своих исследований индейские языки Америки, он не встретил никакого сочувствия со стороны даже Сепира.[40]

Оказывается, таким образом, что объявленная борьба с узостью лингвистического кругозора не увенчалась успехом. Вопреки высказанному отходу от положений де Соссюра о том, что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя»,[41] все же язык продолжает

[36] См. обратное мнение де Соссюра (Курс общей лингвистики, с. 207).
[37] Сепир, с. 3.
[38] Там же, с. 96.
[39] Там же, с. 97, примеч.
[40] Uhlenbeck C. Le caractère passif du verbe transitif. — Revue internationale des etudes basques, 1922, XIII, 3.
[41] Соссюр, с. 207.

изучаться только для себя и внутри себя. Единственным лингвистом, вышедшим за пределы языка с целью глубже уйти в его же понимание, остался Н. Я. Марр. Поэтому у него язык не только получил историческое освещение, но и сам обратился в первоклассный исторический источник, показывающий на своих лексических и грамматических материалах пережитые смены хозяйственных и общественных форм. Вполне естественно, что именно Н. Я. Марр наиболее остро и решительно боролся с формально сравнительным методом языкознания. Для этого у него была вполне достаточная почва.

Ф. де Соссюр в свое время (1916 г.) бросил школе компаративистов, охватывавшей первый период индоевропейской лингвистики, упрек в том, что она не создала «подлинного научного языкознания». Основной ошибкой сравнительной грамматики, по словам де Соссюра, такой ошибкой, которая в зародыше включала в себе все прочие, было то, что в своих исследованиях, ограниченных к тому же одними лишь индоевропейскими языками, представители этого направления никогда не задавались вопросом, чему же соответствовали делаемые ими сближения, что же означали открываемые ими отношения. Их наука оставалась исключительно сравнительной, вместо того чтобы стать исторической. Конечно, продолжает де Соссюр, сравнение составляет необходимое условие для всякого воссоздания исторической действительности. Но одно лишь сравнение не может привести к выводам. А выводы тем более ускользали от компаративистов, что развитие двух языков они рассматривали совершенно так же, как естествоиспытатель рассматривал бы произрастание двух растений.[42] Этот упрек безусловно верен, но он может быть равным образом обращен и к младограмматикам и даже к той новой социологической школе Запада, одним из основателей которой считается сам де Соссюр. Если компаративисты не создали «подлинной научной лингвистики», то и преемники их не дали подлинного исторического освещения языковому процессу. Их работа замкнулась в те же рамки формальных сопоставлений.

Отсутствие подлинного историзма сказалось хотя бы в том, что Вандриес, прослеживая разновидности грамматических категорий в разных языках, смешал их все воедино безо всякого внимания к специфическим особенностям строя речи, наблюдаемым в определенные периоды в определенных языках. Между тем, хотя характерные признаки языка и меняются, на что совершенно правильно указывает де Соссюр,[43] все же конкретным языкам в конкретные периоды их развития свойственны определенные языковые признаки, которые могут отсутствовать в других языках и в тех же самых, но в другие периоды их же истории. При таком положении дела можно найти язык, в котором будет

---

[42] Там же, с. 30.
[43] Там же, с. 205.

отсутствовать языковой признак, наличный в других языках. Но из отсутствия данного признака в одном языке нельзя делать вывод об отсутствии его вообще. В противном случае можно свести все языковые признаки к нулю. К таким выводам и пришел Вандриес. Беря проблему грамматических категорий в их наличии в разных языках и снимая те из них, которые отсутствуют в каком-либо языке, французский ученый выделяет только две части речи, имя и глагол, к которым сводятся все остальные. «Но, если, — продолжает Вандриес, — мы перейдем от языков индоевропейских к языкам семитическим, мы не сможем провести в последних такую же четкую грань. В арабском языке есть немало общих окончаний в склонениях и спряжениях».[44] Вместо того чтобы рассматривать языки в их изменении в пространстве и во времени (Сепир), Вандриес рассматривает их в общей совокупности вне пространства и вне времени.

Можно ли назвать такую концепцию подлинно исторической? Сомневаюсь. Грамматическая категория есть исторически изменяющаяся категория. Можно строить диахроническую грамматику, но в таком случае следует учитывать исторический процесс, основанный на трансформационных переходах, на взрывах или скачках и на образовании новых качественных показателей, наличных в определенных языках и в определенных периодах развития речи. Можно строить и синхроническую грамматику, и тогда придется выявлять наличные показатели в конкретно взятых языках, устанавливая эти показатели по их действующему значению в изучаемом языковом строе.

Но и в последнем случае описание действующего строя речи любого языка нуждается в историческом обосновании. Поэтому научная синхроническая грамматика всегда будет в известной степени черпать материал из диахронической, соприкасаясь с нею все же лишь до известной степени. Различие их выявляется в целевой установке проводимой работы. Первая, синхроническая, грамматика трактует о действующем строе языка как исторически сложившегося целого, тогда как вторая, диахроническая, показывает исторический процесс развития языка до современного его состояния. Обычно лишь диахроническая грамматика именуется историческою, по существу же обе грамматики можно было бы назвать историческими, имея в виду, что одна из них затрагивает один исторический этап развития языка, а другая изучает все исторические этапы, пройденные этим же языком. В этом исторически более развернутом исследовании диахроническая грамматика с большею ясностью выявляет те коренные сдвиги в языковом строе, которые пройдены в определенных исторических условиях и которые внешне выразились в изменениях словарного запаса и строя предложения.

---

[44] Вандриес, с. 116.

Такие коренные сдвиги в основных показателях языка легче всего улавливаются именно диахроническою грамматикою, в особенности при расширении грамматического очерка сравнительными параллелями из других языков. Исследователь со всею очевидностью устанавливает в этом случае наличие резких расхождений в содержании отдельных языковых показателей, приобретающих иные функции и нуждающихся в особом анализе. Отсюда с неизбежною очевидностью следует вывод о том, что одного общего определения для всех языковых явлений вне времени и пространства нет и быть не может, в связи с чем и общее языкознание вовсе не преследует цели дать такое общее определение.

Следовательно, общее языкознание, с одной стороны, не преследует задач сравнительного очерка всех языков мира, с другой, не берет на себя установления единых языковых признаков, общих для всех языков. Всякие попытки в этом направлении оказались бы безжизненными и никогда не дадут убедительной схемы истории языка, так как они в зародыше дефектны как антиисторические.

Непонимание трансформационного движения в развитии языка, называемого Н. Я. Марром стадиальным,[45] ведет, кроме того, к неизбежной модернизации, выражающейся в переоценке давности норм речи наиболее известных нам языков, которыми в первую очередь, конечно, являются индоевропейские. И если де Соссюр признал в свое время изменчивость языковых признаков,[46] то все же он замкнул их в рамки тех же индоевропейских языков и дал схему общего языкознания, построенную лишь на них. Получилось «индоевропейское общее языкознание», тяготеющее до сих пор над мыслью научного работника. Даже Э. Сепир, именно от этого и предостерегающий [47] и в то же время хорошо знакомый с индейскими языками Америки, прошел мимо наличных в них форм, не укладывающихся в нормы европейских языков. Определив речь как поток произносимых слов,[48] он тем самым исключил из речи еще сохранившиеся в этих языках инкорпорированные комплексы — слова-предложения, не представляющие собою потока слов, но тем не менее все же являющиеся речью, служа средством общения между людьми и выражая непосредственную действительность мысли.

Такая вольная или невольная модернизация упростила подход к языку, упростила тем самым и попытки обобщающих построений. Эти построения, замкнутые в узко взятом материале, с тою же узостью объяснили и исторический процесс языкового развития, дав сравнительное построение меняющихся форм. Что формы меняются, это ясно видел каждый, берущий на себя изу-

---

[45] См., например: Марр Н. Я. Стадия мышления при возникновении глагола *быть*. — ИР, III, с. 85 и сл.

[46] Соссюр, с. 205.

[47] Сепир, с. 96.

[48] Там же, с. 20.

чение памятников языка различных его периодов, но сами меняющиеся формы брались из того же круга избранных языков, и потому естественно, что причина их изменений свелась к констатированию формальной стороны наблюдаемых перемен. Получилась внешняя формальная история развития языка, история, замкнутая в самом языковом материале. При таких условиях подлинная причина изменений в строе речи осталась невыясненною. Между тем, при всех особенностях языка как общественного явления, язык изменяется его носителем и притом изменяется не случайно и не произвольно. Появляются новые формы, старые формы получают новое осмысление, иногда и новые функции, прослеживается все время диалектическое взаимодействие формы и содержания, что неминуемо обостряет вопрос о взаимодействии между языком и мышлением.

Этот вопрос не нов.[49] Он имеет свою длинную историю, свидетельствующую о попытках подойти к разрешению не только проблем самого языка, но также и связей его с говорящим на нем народом. Все эти попытки, оторванные от исторического материализма, весьма показательны как в своих построениях, так и в своих выводах, неустойчивых и в то же время бессильных вывести языкознание из замкнутого самодовлеющего состояния.

Существовали разные теории о происхождении языка, так или иначе затрагивающие проблему связи языка и мышления. Еще Гумбольдт определял язык как орган, образующий мышление (das bildende Organ des Gedankens). По мнению Гумбольдта, язык есть произведение человека и является в то же время даром народу. Разнообразие строя языков представляется, по Гумбольдту, зависимым от особенностей народного духа и объясняется этими особенностями. Язык, зарождаясь в почтенной глубине человеческой истории, является созданием человека, но в то же время не является собственным созданием народов. Он представляет собою дар, доставшийся народам благодаря их внутренним способностям (durch ihr inneres Geschick). Язык связан с народом. Таковы высказывания Гумбольдта.

Определенное по тому же вопросу высказывание имеется и у основоположника биологического натурализма в языкознании, у А. Шлейхера. Мысль, по его мнению, невозможна без языка, подобно тому как и дух невозможен без тела. К этим высказываниям до известной степени приближается и Беккер, по словам которого, «человеку так же необходимо говорить, потому что он мыслит, как необходимо дышать, потому что он окружен воздухом. Как дыхание есть внешнее проявление внутреннего образовательного процесса, а произвольное движение есть проявление воли, так и язык есть внешнее проявление мысли». Таким путем Беккер приходит к выводу о внутреннем тождестве мысли и языка. Язык, по его словам, «есть только воплощение мысли». Но так

---

[49] См.: Schuchardt-Brevier, S. 321—327.

как формы мысли, т. е. понятий и их сочетаний, рассматриваются в логике, а с другой стороны, эти же формы проявляются и в грамматических отношениях слов, то грамматика, исследованию которой подлежат эти отношения, находится, по представлению Беккера, во внутренней связи с логикой, из чего, по его же мнению, следует, что грамматика в основном построении своих ведущих элементов тождественна с логикой.[50] К этим высказываниям вплотную примыкает смешение логических категорий с грамматическими у Ф. И. Буслаева.[51]

Сравнительно-историческое изучение языков оказалось, само по себе, взрывчатым элементом для основных устоев логической, или, как ее иногда называли, философской грамматики. Историзм в языке заставляет видеть его в движении. Это движение устанавливалось еще Гумбольдтом, по словам которого язык есть не дело (ἔργον), не мертвое произведение, а деятельность (ἐνέργεια). Язык есть вечно повторяющаяся работа духа, направленная на то, чтобы сделать членораздельный звук выражением мысли. Язык не есть нечто готовое и обозримое в целом. Он вечно создается.[52] Тот же взгляд, но в еще более детализованном виде, развернут де Соссюром в его уже приведенном выше утверждении о том, что «если кто-нибудь станет предполагать наличие в языке каких-то постоянных признаков, не подвергающихся изменению ни во времени, ни в пространстве, он наткнется на преграду, связанную с основными принципами эволюционной лингвистики. Не меняющихся признаков вообще не существует; они могут сохраняться только благодаря случайности».[53] Стоя на той же почве гумбольдтовских положений и в значительной степени опираясь на высказывания Штейнталя, А. А. Потебня признал, что для логики словесное выражение ее построений безразлично. Отсюда он приходит к выводу, что грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением. Грамматических категорий, по его словам, несравненно больше, чем логических.[54] Из всего этого видно, что область языка далеко не совпадает с областью мысли.[55]

---

[50] Humboldt W. von. Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues mit ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts. — Humboldt's gesammelte Werke, VI. Berlin, 1848, S. 5, 6, 33, 36—38; Schleicher A. Die Sprachen Europas. Bonn, 1850; Becker K. 1) Das Wort in seiner organischen Werwandlung. Frankfurt a. M., 1833; 2) Organism der Sprache. Frankfurt, 1841 (см.: Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie. Berlin, 1855, § 5, 14, откуда взяты цитаты из Беккера); Graff W. L. Language and Languages. London, 1932, где дается богатая библиография. Ср.: Потебня А. А. Мысль и язык. Одесса, 1922, с. 7 и сл.

[51] Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка, М., 1875.

[52] Humboldt W. von. Ueber die Verschiedenheit. . ., S. 41, 42, 56.

[53] Соссюр, с. 205.

[54] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, I, с. 60—62

[55] Потебня А. А. Мысль и язык, с. 36.

Провал логической грамматики, несомненно, сыграл свою положительную роль, но все же сравнительные грамматики младограмматиков и социологической школы не разрешили дела общего языкознания. Препятствием к этому оказалось также и неправильное понимание взаимоотношения языка и мышления. Так, еще представитель логической грамматики Беккер, признавая внутреннее тождество мысли и языка и признавая в то же время единство форм мысли для всех народов, должен был неизбежно прийти к выводу о единой грамматике, одинаково обязательной для всех языков. Действительно, если форма мысли одна для всех времен и народов и если язык тождествен мысли, то в языковом строе не может быть разнообразия ни во времени, ни в пространстве. Получился, таким образом, естественный застой. Все же такое разнообразие устанавливается как наличный факт, с которым пришлось считаться и самому Беккеру, который признал в теории допустимость единой грамматики, равно обязательной для всех языков. То же, что не укладывается в законные нормы единой грамматики, он отнес к уродливости организмов.[56]

Шлейхер значительно продвинулся вперед, признав изменчивость языка, но он подчинил ее биологическому закону. Младограмматики (Бругман, Сиверс, Пауль, Лескин, Фортунатов и другие) отвергли биологический подход к языку. Результаты сравнения они включили в мнимую историческую линию развития, идущую от праязыка.

Потебня, следуя Гумбольдту и Штейнталю, склонился к тому направлению науки, которое «предполагает уважение к народностям как необходимому и законному явлению и не представляет их уродливостями, как должно следовать из принципа логической грамматики».[57] Язык изменчив и пространственно и хронологически. Изменчивость строя речи в понимании Потебни ясно вскрывается в следующих его словах: «Язык есть средство понимать самого себя. Понимать себя можно в разной мере: чего в себе не замечаю, то для меня не существует и, конечно, не будет мною выражено в слове. Поэтому никто не имеет права влагать в язык народа того, чего сам этот народ в своем языке не находит».[58] Следовательно, в языке может быть выражено то, что понимается народом и именно в том виде, в каком оно им воспринимается. К сожалению, Потебня не развил здесь своей мысли до конца, и даже более того, сбился с нее при практическом ее применении к анализу строя речи. Частично приводя слова Беккера и полемизируя с ними, в данном случае только в части определения конкретных грамматических категорий, А. А. Потебня говорит, что «для нас предложение немыслимо без подлежащего

---

[56] Becker K. Organism der Sprache, Vorrede, S. XVIII.
[57] Потебня А. А. Мысль и язык, с. 39.
[58] Там же, с. 118.

и сказуемого; определяемое с определительным, дополняемое с дополнительным не составляют для нас предложения. Но подлежащее может быть только в именительном падеже, а сказуемое невозможно без глагола (verbum finitum); мы можем не выражать этого глагола, но мы чувствуем его присутствие, мы различаем сказательное (предикативное) отношение (*бумага бела*) от определительного (*белая бумага*). Если бы мы не различали частей речи, то тем самым мы бы не находили разницы между отношениями подлежащего и сказуемого, определяемого и определения, дополняемого и дополнения, т. е. предложения для нас бы не существовало».[59]

В таком понимании строя речи легко дойти до утверждения, что предложение существует только для прошедших школьную грамматику и что человек неграмотный не использует в своей речи предложения. Формы сознания в их отношении к языку оказываются в этих условиях не отражением в речи наличного бытия в данном его общественном восприятии, а ограниченным представлением о действующих грамматических формах.

Столь сбивчивое представление о взаимоотношении языка и мышления, кардинального, казалось бы, вопроса для общего языкознания, не разъяснилось и после Потебни. В итоге оно выразилось в полном отрицании непосредственного подчинения языка мышлению говорящего (де Соссюр).[60]

На тех же позициях стоит и ныне господствующая на западе социологическая школа языкознания.

Акад. Н. Я. Марр, исходя из определения, данного Марксом и Энгельсом языку как практическому, существующему и для других людей и лишь тем самым существующему также и для меня самого, действительному сознанию,[61] не проводит знака тождества между мыслью и языком (ср. Буслаев), но и не разделяет их до степени хотя бы и относительной изолированности (ср. де Соссюр). Оба этих пути, как мы видели выше, не привели к приемлемому объяснению действующих норм языкового строя. Н. Я. Марр идет по другому пути. «Ведь сам предмет наш, — говорит он, — речь как объект исследования — не один, не простая единица, язык не один, а единый в диалектическом единстве языка-формы и мысли-содержания, языка-оформления с его техникой и мысли-содержания в качественной действительности, мышления с его техникой. В исследовательской лаборатории перед нами выступает, под исследовательский резец подводится не эта диалектическая единая двойня сама по себе или сама в себе, а ее, по существу их обоих, языка и мышления, два движения в диалектическом единстве».[62]

---

[59] Там же, с. 118—119.
[60] Соссюр, с. 203—205.
[61] Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Собр. соч., т. 3, с. 29.
[62] Марр Н. Я. Сдвиги в технике языка и мышления. — ИР, II, с. 434.

Язык, конечно, находится в движении. Этого не будет отрицать ни один лингвист современности. Но в движении же находятся и нормы сознания: «. . . люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления».[63] Эти два движения, языка и мышления, диалектически связаны друг с другом. Не тождество, а диалектическое единство объединяет язык и мышление.

Язык определяется не духом народа, извечно ему присущим (Гумбольдт), и не коллективным духом языковых групп, а самим носителем речи, общественным коллективом, племенем, народом, нацией с присущим им психическим складом, исторически ими же созданным и исторически меняющимся. «Люди являются производителями своих представлений, идей и т. д., — но речь идет о действительных, действующих людях, обусловленных определенным развитием их производительных сил и — соответствующим этому развитию — общением, вплоть до его отдаленнейших форм. Сознание [das Bewußtsein] никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием [das bewußte Sein], а бытие людей есть реальный процесс их жизни».[64] Бытие людей, реальный процесс их жизни, исторически различно, им устанавливаются различные нормы сознания как осознанного бытия, что неминуемо отражается в языке как непосредственной действительности мысли.

Чтобы понять действующие в языке нормы, нужно знать основные законы языкового развития, что и ведет к неизбежному стыку проблематики общей лингвистики с задачами изучения языков в отдельности. Где же можно установить основы языкового развития? Конечно, только на материалах конкретных языков в их указанном выше понимании как явления общественного порядка. Если в задачи общей лингвистики входит показ тех путей, по которым идет развитие языков, и если ей предъявляется требование формулировать общие принципы, приложимые ко всякому языку (Вандриес),[65] и иллюстрировать общие принципы фактами отдельных языков (Сепир),[66] то в первую очередь мы должны установить тот закон, который заложен во все языки и наличен во всех языковых явлениях. Это будет закон диалектики.

При единстве глоттогонического процесса нет математической точности и тождества в развитии отдельных языковых групп и даже отдельных языков внутри их, так же как и в развитии их структурных особенностей вплоть до отдельных языковых признаков включительно. То, что налично в одном языке, может отсутствовать в другом, а наличное в обоих может быть качест-

---

[63] Маркс К. и Энгельс Ф. Ук. соч., с. 25.
[64] Там же, с. 24—25.
[65] Вандриес, с. 217.
[66] Сепир, с. 3.

венно различным, хотя бы и при тождестве формального выявления как в лексике, так и в синтаксисе. Слова одной основы могут оказаться не однозначащими, имя же, согласованное с глаголом, может не оказаться подлежащим.[67]

Человеческое общество, носитель данной речи, создает в ходе истории свои потребности и свое понимание окружающей действительности, что и отражается в языковой структуре, в ее идеологической и формальной сторонах. То, чего конкретный носитель речи, племя, народ, нация, себе не представляют, того и нет в языке. Поэтому внедрение новых понятий влечет за собою появление новых терминов или семантическую смену прежних, а требования в передаче новых выражений и оборотов могут повлечь за собою изменения в строе предложения. В связи с этим не может быть единства и постоянства в выражении грамматических категорий, вовсе не существующих извечно и вовсе не заложенных в языковую структуру раз навсегда. Отвлеченно взятых категорий речи не существует. Пути же развития языков различны, и тем самым монизм языкового историзма выявляется не механистически, а диалектически. Неучет диалектического, скачкообразного развития речи и является основною методологическою ошибкою старой лингвистической школы.

Такою же методологической ошибкою общего языкознания оказывается чрезмерный формализм, т. е. одностороннее изучение формы в ущерб ее значению, при этом формы не только лексической, но и синтаксической. Благодаря этому далеко не достаточно освещается функциональная ее роль в изучаемой речи и до чрезвычайности облегчается сравнительное формальное сопоставление. Сравнительный метод, замкнутый в этих рамках, делает основной упор на морфологию, на изменение слов, значительно меньше уделяя внимания особенностям синтаксиса как строя предложения, являющегося равным образом формальною стороною речи. При таких условиях углубленное изучение формальной стороны, что является само по себе положительным фактом, замкнувшись в самом себе, становится уже отрицательным.

При всем разнообразии внешнего выявления диалектических путей движения глоттогонического монизма устанавливаются основные линии и основные элементы, исторически обусловленные в своем появлении и исторически же обусловленные в своем изменении. В числе таких присущих языку основных элементов, по которым легче всего вести прослеживание видоизменяющихся языковых построений, выделяются слово и предложение. Они должны рассматриваться как исторические категории, следовательно, не изначальные, и исследоваться как в отдельности, так и в их взаимосвязи. Слово качественно различно в различные

---

[67] См. ниже, при субъектно-объектном построении глагола.

периоды развития речи, предложение же равным образом различно по построению используемых в нем слов.[68]

В заключение позволяю себе уделить несколько строк, непосредственно касающихся настоящей моей работы, посвященной стадиальности в развитии слова и предложения. Почему взята эта тема?

Слово и предложение, конечно, не единственная тема для широкой области общеязыковедческой проблематики, но эта тема ярко выделяется.

В обширной области общего языкознания наряду с важнейшими вопросами исторической фонетики, происхождения языка и т. д. встает также и вопрос о лексике и синтаксисе. Здесь не менее, чем в других темах, оставляемых пока в стороне, выдвигаются основные положения лингвистики: зависимость языкового развития от развития общества, связь языка и мышления. Кроме того, выдвигаемая мною тема, при новых заданиях общего учения о языке, заданиях, ставящих себе целью не отвлеченные суждения, а конкретную помощь расширяющемуся изучению отдельных языков, приобретает в настоящее время весьма действенное значение в практических задачах.

Общие выводы в области лингвистических исследований не охватывают всех деталей всех отдельно взятых языков, тогда как каждый из них, входя в общее русло языкознания, тысячами переходов связан с другими отдельными языками. Все это общее в отдельном и связи между отдельными языками выясняются общим языкознанием на их же материале.

Общее языкознание проникает, таким образом, в проблематику каждого языка, строится на его материалах и в то же время содействует правильному пониманию этого материала, что является необходимым в конкретных заданиях построения грамматик. Между тем каждая грамматика неминуемо затрагивает проблему слова и предложения.[69] На этом строится вся часть морфологии и синтаксиса.

На указанной проблеме, в разрезе отмеченных выше задач общего языкознания, и сосредоточивается сейчас мое внимание. Выдвигается, таким образом, проблема слова и предложения. Мы видели различные попытки объяснения их взаимосвязи и строящиеся на их основе различные определения действующих в языке элементов речи, в первую очередь частей речи и членов предложения. Рассматривая слово в его отношении к предложению, исследователи пришли к двум диаметрально противоположным схемам. По одной из них (Рис), учение о слове (Wortlehre) противополагается учению о словосочетании (Syntax). В первое входит уче-

---

[68] На этом качественном изменении слова и предложения построено изложение последующих глав.

[69] См. H. Schuchardt-Brevier: «Вопрос о взаимоотношении между словом и предложением, который так просто представлен в старых школьных грамматиках, получил значительную неясность» (Ein Vademecum. . ., S. 275).

ние о формах и значениях слов, во второе — учение о формах и значениях синтаксических образований.[70] Отсюда следует обособление частей речи от членов предложения. С другой стороны, А. А. Потебня, признавая, что предложение для нас не существовало бы, если бы мы не различали частей речи,[71] приходит к отождествлению частей речи с членами предложений. В основе недоговоренности лежит, очевидно, не вполне ясное представление о взаимоотношениях слова с предложением.[72]

Эти две основные единицы речи неразрывно связаны. Слово практически не существует вне предложения. Оно, выражаясь словами Сепира, «есть один из мельчайших вполне самодовлеющих кусочков изолированного „смысла“, к которому сводится предложение»,[73] но слово может рассматриваться обособленно. Предложение же изучается на основе наличных в нем словосочетаний и представляет собою цельную грамматически оформленную единицу, выражающую непосредственную действительность мысли. Зависимое и в то же время решающее значение слов в предложении (слово, взятое без предложения, и невозможность предложения, взятого без слов) прекрасно подтверждается примерами словарной работы, в которой значение слов (а слово без значения существовать не может) подкрепляется ссылками на соответствующие предложения.

На прослеживании этих двух тесно связанных единиц речи (слова и предложения), являющихся общими для всех языков мира, строится мною изложение данной моей новой работы. Эти две единицы речи рассматриваются мною в их историческом движении, в их изменяющемся качестве. Выяснение этого движения на конкретных материалах отдельных языков и является одною из задач общего языкознания. Им устанавливаются общие нормы, существующие лишь в отдельном их выявлении в отдельных языках и устанавливаемые лишь через эти отдельные языковые факты, понимаемые с учетом всех особенностей языка как категорий надстроечного порядка.

---

[70] Ries J. Was ist Syntax? S. 45—84, 143. Ср.: Петерсон М. Н. Очерк синтаксиса русского языка, с. 3—4, 25—27.

[71] Потебня А. А. Мысль и язык, с. 119.

[72] Я не затрагиваю сейчас, но вынужден буду затронуть в последующих главах вопрос о сочетаниях слов, не образующих предложения, например, определителя с определяемым, дополнения с глаголом и т. д. Они образуют собою иногда лексические комплексы (*черная собака*, ср. в гилянцком), иногда синтаксические и лексико-синтаксические (*застрелил чайку*, ср. в гилянцком), но не дают значения предложения. Таким образом, в основе остаются только две отмеченные единицы речи. См. подробнее дальше в соответствующих главах.

[73] Сепир, с. 28.

ЛЕКСИКА И СИНТАКСИС

Слово и предложение

В речевом составе наиболее известных нам языков мы находим две единицы речи, слово и предложение. Каждое из них имеет свою форму и свое содержание (семантику).

Раздел грамматики, который изучает форму и содержание слова, в дальнейшем мы будем называть лексикой. Сюда войдет то, что раньше изучалось в двух оторванных друг от друга разделах лингвистической науки: семасиологии и морфологии (в части словообразования). Учение о форме и содержании предложения, следовательно и его составных частей, относится мною к синтаксису.

Ниже мы увидим, что отношения между этими двумя разделами для разных языковых структур различны.

Слово как таковое относится к области лексики, предложение же к области синтаксиса. Слово может изменяться по лексической линии, т. е. внешне изменяться в потребностях семантики, не выходя из заданий лексики (например: *город*, *пригород*; *ходить*, *входить*, *уходить* и т. д.). Уточняемое определением слово может оставаться в той же области лексики, если представляет собою цельную семантическую единицу (*Красная Армия*). Но слово же может изменяться и в потребностях синтаксиса, получая ту или иную форму в порядке согласования слов в предложении и изменяясь согласно смысловому значению слова в семантике всего предложения (*при доме имеется амбар*; *в городе есть водопровод*; *у Красной Армии имеются боевые заслуги* и др.). Подходя к слову с его лексической стороны и учитывая в то же время его же роль в строе предложения, приходится, конечно, отнести падежные изменения имен существительных не за счет появления новых лексических единиц, а за счет использования той же лексической единицы в предложении. В последнем случае слово изменяется не потому, что меняется его семантика как лексической единицы. Мы можем иметь в виду один и тот же дом, при котором имеется амбар, у которого наличествуют окна, в котором находятся комнаты и т. д. (*при доме*, *у дома*, *в доме*). Лексическая единица здесь остается тою же самою, изменения ее вызваны семантикою предложения.

Обе эти области, лексика и синтаксис, различны, но взаимосвязаны. Между тем единицы речи, слово и предложение, рассматриваются старою лингвистическою школою или отдельно (отдельно лексика и отдельно синтаксис без их сопоставлений), или, наоборот, смешиваются в их показателях (признание синтаксического изменения слова за отдельную лексическую единицу). Получается механическое разобщение или механическое объединение.

Отмечаемая мною ошибка ведет к неясности в определении основных языковых признаков, к неустойчивости самой основной линии, по которой устанавливаются эти признаки. Берутся или лексика отдельно от синтаксиса, или лексические и синтаксические особенности смешиваются вместе. Между тем диалектическая связь слова с предложением, оставляемая в большинстве случаев без внимания, дает точное указание для характеристики наблюдаемых особенностей речи. Слово и предложение должны рассматриваться в их общей связи, хотя каждое из них имеет свои особенности. Непонимание этих особенностей может привести к смешению синтаксических и лексических элементов и тем самым к сглаживанию наблюдаемых между ними различий, что, между прочим, выявилось и у А. А. Шахматова, синтаксически различающего в русском языке части речи, в числе которых оказались: существительное, глагол, прилагательное, предлог, связка, союз, префикс.[1]

Для примера остановимся на предлогах. Вандриес, оспаривая правильность выделения французскою классическою грамматикою десяти частей речи, говорит, что многие из «частей речи» наших грамматик не что иное, как морфемы. Таковы частицы, называемые предлогами и союзами. Их роль, по его словам, может быть выполнена в других языках совершенно другими морфологическими приемами, например франц. le livre de Pierre, лат. liber Petri.[2]

Действительно, между функциями предлогов и имен имеется большое различие. Безоговорочное смешение их в общей линии частей речи можно объяснить только тем, что формальный подход в языкознании, как указывалось выше, обратил при анализе лексического состава чрезмерное внимание на формальную сторону, затушевывая содержание изучаемого языкового явления. В результате оказалось не учтенным, что слово имеет не только форму, но и значимость. Так, слово *стол* содержит в себе представление об определенном предмете, слово *ходить* — представление об определенном действии, тогда как предлоги *к*, *в*, *при* и т. д. не передают самостоятельного представления или понятия, будучи связаны с семантикою предложения (семантикою слова в предложении).

Не имея семантики слова, предлог в то же время не изменяет значения синтаксически с ним связанного слова. Значение предлога *в* состоит в указании, что что-то находится в чем-то, предлог *у* означает, что что-то находится около чего-то и т. д. В предлогах содержится не лексическая семантика, а синтаксическая, следо-

---

[1] Шахматов, 2, с. 3. А. А. Шахматов относит к частям речи слова, определяемые в грамматике по их отношению к предложению или вообще к речи, следовательно, и с лексической и с синтаксической стороны.

[2] Вандриес, с. 114.

вательно, они полностью не относятся к области лексики, что в том или ином виде признается целым рядом исследователей.[3]

Что это именно так, нетрудно убедиться, обратив внимание на различие значений слова *стол* и предлога *у*. Служебное синтаксическое значение предлогов ясно выступает в их тесной связи с соответствующими словами. И если мы легко размещаем слова в русской речи, переставляя их без нарушения смысла фразы: *при доме имеется конюшня для лошадей*, *конюшня для лошадей имеется при доме*, даже *для лошадей конюшня при доме имеется* и пр., то подобная же свобода размещения отсутствует для предлогов, и наличные в приведенной фразе предлоги *для* и *при* неотделимы от слов *лошадей* и *доме*. Предлоги и союзы можно назвать «формальными словами» (А. А. Потебня), «частичными словами» (Ф. Ф. Фортунатов), «структурно-семантическим типом слов, лишенным номинативной функции» (В. В. Виноградов), но считать их за полноценные лексические единицы невозможно.

Есть языки, в которых предлоги вовсе отсутствуют (письменный монгольский язык и др.),[4] имеются такие языки, в которых предлоги и послелоги сближаются с аффиксами. Роль их та же самая: подобно тому как тот или иной падежный суффикс синтаксически дифференцирует различные имена и сообщает им синтаксически новые значения, точно так же и послелоги служат для выражения разных синтаксических отношений (бурят-монгольский язык).[5]

В первом случае (письменный монгольский язык) о предлогах вовсе не может быть речи, во втором можно поставить вопрос о качественном изменении имени существительного, первоначальная форма которого теперь уже утрачена и дериват которого обратился в послелог (чеченский язык).[6] Прежняя лексическая единица качественно изменилась, дав взамен себя служебную приставку, обслуживающую синтаксическое задание.

В этом отношении вовсе не все языки одинаковы, и значение указанных служебных приставок далеко не во всех одно и то же. В частности, в языках индоевропейской группы предлоги могут выступать в качестве членов синтаксического комплекса, а вовсе не как простые служебные частицы синтаксически уточняемого

---

[3] Л. А. Булаховский (Курс русского литературного языка. Харьков. 1937, с. 105, 245) отмечает семантическую неполнозначимость предлогов и союзов и их синтаксическую роль. По его словам, они разделяются на части речи только по их синтаксической роли. В. А. Богородицкий (Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 106) относит предлоги и союзы к словам без собственного значения. В. В. Виноградов (Современный русский язык, I. М., 1938, с. 152—153) вовсе не включает предлоги и союзы в основные части речи и выделяет их в рубрику «частицы речи», связочные слова.

[4] Поппе Н. Н. Грамматика письменно-монгольского языка. М.—Л., 1937, с. 51.

[5] Поппе Н. Н. Грамматика бурят-монгольского языка. М.—Л., 1938, с. 181.

[6] Услар П. К. Чеченский язык. — ЭК, II, с. 105.

ими слова. Предлоги могут отделяться от связанного с ним слова в пределах общего лексико-синтаксического комплекса, от которого они все же неотделимы. Так, если имя существительное получает определители, то последние вставляются между ним и предлогом, образуя одно целое: *при этом красивом доме имеется конюшня для породистых лошадей*. В данном случае предлоги и синтаксически связанные с ними имена (*при... доме*, *для... лошадей*) замыкают синтаксическое построение, сохраняя ту же неразрывную между ними связь, хотя все определители морфологически оформлены, выступая в предложении как отдельные слова. Предлог при этих условиях приобретает некоторое самостоятельное значение, становясь «частичным словом» или «типом слова, лишенного номинативной функции». Он был бы словом, если бы имел функцию и значение слова, но таковых предлог, как мы видели выше, не имеет, почему он и не является полноправною лексическою единицею.[7]

Такой анализ значимости предлога может быть проведен лишь с подходом к нему как с лексической стороны, так и с синтаксической. Если смешивать эти обе стороны, то содержание предлога останется неясным, если же их разобщить, то предлог, с его формальной стороны, может оказаться в общей серии с именами или же в числе словоизменяющих морфем в зависимости от того, с какой стороны подойти к данному языковому факту, со стороны ли лексической или со стороны синтаксической.

Предлог, отделяясь от имени существительного стоящими между ними определителями, получает самостоятельное место в предложении, вернее в одном из его синтаксических комплексов. Тем самым предлог занимает свое место в членении предложения наряду с лексическими единицами (словами), но он не имеет самостоятельной лексической семантики, так как функция его чисто синтаксическая.

Я останавливаюсь здесь на предлогах лишь как на одном из примеров, подтверждающих довольно ярко необходимость рассмотрения каждого языкового элемента в его лексическом и синтаксическом значении. Таких примеров много и помимо предлогов. Моя цель в данном случае заключается в подкреплении уже высказанного мною положения о том, что проблема грамматических категорий значительно уточняется, когда слово и предложение разбираются в их единстве, с присущими им особенностями и в их взаимосвязи.

Слово в предложении оказывается носителем и лексических и синтаксических свойств. Поэтому точная характеристика каждой категории слов не может ограничиться только определением ее лексической или синтаксической стороны. К такому выводу мы неминуемо приходим, поскольку слово вне предложения не дает

---

7 Ср. у Сепира: «слова, выражающие падежные отношения» (Язык, с. 69).

законченного построения речи, тогда как предложения без слов не существует.

Оба они различаются формально. Одно из них не может быть без нарушения смысла разложено на более мелкие части (Сепир),[8] другое же может состоять из ряда слагаемых частей, каждая со своим лексическим содержанием, образующих в своей совокупности содержание предложения. Уже из одного этого следует, что не только форма, но и содержание играют и в данном случае решающую роль. Слово без значения (без лексической семантики) не есть слово, так же как ничего не значащее сочетание слов (отсутствие семантики во фразе) не образует предложения. Таким образом, наличие смысловой стороны (семантики) обязательно для обоих. Но семантика слова и семантика предложения совершенно различны.

Семантика слова — это понятие, выраженное формальными сторонами слова. Слово *стол* имеет и формальную сторону и определенное значение. Без сочетания обоих не получается слова. Но семантика его ограничивается понятием о столе, не передавая его действия или состояния в объективной действительности, что является уже семантикою предложения.

Слово называет предмет, выражает понятие, отличное от других предметов и понятий. *Стол* и *столик* передают представление о различных предметах, причем последний, в отличие от первого, характеризуется своим меньшим размером. И все же оба они, и *стол* и *столик*, равно как и остальные имена, абстрактны, передавая только общее понятие о данном предмете. Отдельно взятое слово *стол* по своей семантике отлично от слова *столик*, но не дает представления, о каком именно столе идет речь и в каком состоянии он находится. Последнее достигается словосочетанием и предложением.

Впрочем, только что высказанное мною общее и хорошо известное в лингвистике утверждение о том, что слово может выступать в словосочетании, справедливо по отношению к громадному количеству языков, но вовсе не обязательно для всех. Языки различного строя обладают разными свойствами, и в этом отношении стадиальный метод сравнительных сопоставлений приводит к очень богатым выводам, более точно разрешая многие спорные вопросы грамматики. Так, например, в индоевропейских языках имя существительное может быть употреблено без сопутствующих качественных уточнителей (атрибутов), но в целом ряде языков такое построение оказывается невозможным. Так, в абхазском языке имя существительное всегда сопровождается числительным или притяжательным местоимением. Когда же во фразе оттеняется общее значение имени, то оно получает специальный для этого показатель: s-ṭkun * ‘мой мальчик’, ṭkun-ak ‘один мальчик’,

---

[8] С е п и р, с. 28.

* В настоящем издании сохраняется та транскрипция языковых примеров, которая была принята автором в прежнем издании этой работы. Здесь

a-ṭkun 'мальчик' (вообще, какой-то мальчик) и т. д.[9] С другой стороны, в некоторых языках, например в гиляцком (нивхском), определитель, как общее правило, составляет с определяемым одно слово, т. е. сливается с ним: təibos (из təi 'синий' и pos 'материя') и др. И поскольку для русского языка не свойственно такое соединение, как *синематерия*, постольку же чуждо гиляцкому русское соответствие из морфологически отдельно оформленных слов вроде «синяя материя».

На всех этих особенностях в различных языковых построениях различных языков придется подробнее остановиться ниже. Сейчас же в мои задания входит только указать на то, что упомянутые выше сравнительные стадиальные сопоставления приводят к тому, что как русское *синяя материя*, так и гиляцкое təibos являются различными формальными способами передачи тех же отношений определителя к определяемому. Вернее, в гиляцком нет определителя, а есть определяемое слово как единая лексическая единица, тогда как в индоевропейских языках оба они оказываются уже отдельными словами с самостоятельным морфологическим оформлением каждое. Все же оба примера, русский и гиляцкий, представляют собою построение, не зависящее от синтаксиса предложения. Они получают синтаксическое оформление только тогда, когда сами попадают в предложение: *я купил синюю материю* и т. д.

Следовательно, не каждое словосочетание относится к синтаксису. Целый ряд словосочетаний содержит черты лексического соединения. Что это именно так, легко убедиться, взяв хотя бы такие параллели, как гиляцкое təibos urḍ и русский его перевод 'синяя материя хороша'. Здесь в пределах всего предложения мы имеем синтаксическое построение, тогда как в отдельных его частях, а именно в гиляцком təibos и русском *синяя материя*, налично лексическое. Именно этим и объясняются особенности предлогов в индоевропейских языках, т. е. тех предлогов, которые, как уже отмечалось выше, не имея сами по себе содержания лексической единицы, следовательно, не будучи словом в буквальном его значении и выражая синтаксическую его роль в предложении, все же занимают в последнем самостоятельное место.

Дело в том, что определитель с определяемым представляют собою, как мы только что видели, лексическое соединение, а именно поэтому предлог, стоящий перед ними, все же связан с лексическим комплексом как с лексическою единицею. Он оформляет «слово», хотя бы и выраженное словосочетанием, ср. *перед маленьким столом* и *перед столиком*. Можно даже проследить стадиальную смену в построениях подобного рода, начиная с одной

и далее под звездочкой даются примечания от редколлегии. При подготовке к печати настоящей работы редколлегия пользовалась консультациями И. О. Гецадзе, Е. А. Крейновича, Г. А. Меновщикова, Н. В. Охотиной и выражает им благодарность за оказанную редколлегии помощь.

[9] Услар П. К. Абхазский язык. — ЭК, I, с. 15, 77, 78, 100 и др.

лексической единицы, выраженной одним словом в североазиатском гиляцком языке: urlanivh (из ur 'хороший' и nivh 'человек'), переходя к северокавказскому лакскому, в котором определитель не изменяется при склонении определяемого: *хъинса адамина* 'хороший человек', *хъинса адаминал* 'хорошего человека',[10] и кончая русским, где оба имеют падежное окончание, всегда одно и то же: *хороший человек*, *хорошего человека* и т. д. Построения, сходные с последним, русским, примером, в котором морфологическими показателями снабжено каждое слово в отдельности, можно было бы назвать лексико-синтаксическими единицами или лексико-синтаксическими комплексами, но их ни в коем случае не следует относить к сочетаниям чисто синтаксическим.[11]

Поэтому трудно отнести к области синтаксиса всякого рода словосочетания без предварительного разбора их семантики и функциональной значимости, как-то: зависимость одних слов речи от других (А. М. Пешковский),[12] сочетания однотипных единиц и сочетания определяющего с определяемым (Л. А. Булаховский),[13] всякого рода словосочетания (Рис, М. Н. Петерсон).[14] Наоборот, подходя к разрешению данного вопроса и исходя из диалектической связи слова и предложения, придется отличать словосочетания лексического порядка от словосочетаний синтаксических, т. е. отнести к синтаксису только сочетания слов в предложении и соединение предложений.[15]

Предложения *стол сделан в мастерской*, *стол падает* и т. д. дают семантику, качественно отличную от семантики отдельно взятого слова *стол* или лексического его сочетания типа *большой стол* и др. В связи с этим и оформление самого слова, взятого в отдельности и взятого в составе предложения, должно рассматриваться с двух сторон, а именно с лексической, поскольку слово имеет самостоятельное значение, и со стороны синтаксической, поскольку оно участвует в построении предложения. Лексическая сторона выявляет изменение формальной стороны слова в его семантических заданиях, то есть в заданиях лексической семантики, синтаксическая же сторона устанавливает его формальные изменения в смысловых заданиях предложения.

На этом и строились уже приведенные выводы о различии лексических и синтаксических изменений. Так, например, *ход*, *приход*, *уход*, *стол*, *столик*, тут же такие сочетания слов,

---

[10] Услар П. К. Лакский язык. — ЭК, IV, с. 50.

[11] См. в более развитом виде в главе о синтаксических комплексах.

[12] Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, с. 59.

[13] Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка, с. 222.

[14] Петерсон М. Н. Очерк синтаксиса русского языка. М.—Пг., 1923, с. 26—28.

[15] То же определение см.: Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, с. 4.

как *маленький стол*, *черный стол* и т. д., передают, как отмечалось выше, уточнение лексической семантики, независимо от синтаксической. Наоборот, *стол*, *стола*, *столу*, тут же и *большого стола*, *черному столу* и пр., указывают на формальное изменение слова в его сочетании с другими словами в предложении, а именно на изменение, предусматривающее не смысл данного слова (смысл его, его лексическая семантика остается тою же), а смысл всего предложения.[16]

Таким образом, изучая форму одновременно с ее же содержанием и выделяя на этом основании две единицы речи: во-первых, слово и, во-вторых, предложение, придется различать явления лексического порядка от явлений порядка синтаксического. В то же время нельзя оставлять без внимания и то, что диалектическая связь приводит к столкновению тех и других, выражающемуся не только в самом слове как носителе своих признаков при рассмотрении его в отдельности и в составе предложения, но и в самой характеристике некоторых построений, дающих промежуточные формы, к числу которых до известной степени относятся приведенные мною лексико-синтаксические комплексы как лексические единицы. При всех, однако, сделанных оговорках, неизбежных при уничтожении изолирующих граней между словом и предложением, все же специфические особенности слова в отдельности и его же особенности в составе предложения дают возможность различения лексических категорий от синтаксических. В число первых войдут те грамматические категории, которым обычно присваивается наименование частей речи, ко вторым же отойдут те грамматические категории, которые выражают синтаксические связи и отношения (члены предложения).

На этом основании строится все последующее изложение палеонтологического просмотра меняющихся форм. На протяжении длительного периода истории, в пределах даже доступного нам материала, не только видоизменяется строй предложения, но меняется и качественное состояние наличных в нем слов, меняется степень связи слова и предложения.

Следовательно, об однообразии частей речи и членов предложения на всем протяжении жизни языка вообще и даже каждого языка в отдельности говорить не приходится.

Продолжая анализ по указанному пути, придется выделить лексический состав (отдельные слова), лексико-синтаксические комплексы (например, слово с его определителем), слова в предложении (словоизменение, построение слов в предложении), простое предложение в целом, сочетание предложений (сложные предложения), заранее оговариваясь о различном их положении и о различной их взаимосвязи при рассмотрении их в стадиальном разрезе.

---

[16] О стадиальном развитии самого предложения см. ниже в главе об инкорпорированном слове-предложении.

Лексико-синтаксические комплексы мною выделяются особо и им уделяется отдельная глава, где на конкретных языковых материалах легче всего будет обосновать то лексическое, то синтаксическое значение этих комплексов, представляющих собою даже в индоевропейских языках то одно слово, тогда они входят в состав лексики, например франц. grande dame по-русски *гранддама*, то сочетание слов, сохраняющих свое отношение к лексике как лексико-синтаксическое соединение, ср. франц. grande maison по-русски *большой дом*.

Перенося развитие этой темы на одну из следующих глав, ограничусь сейчас только указанием на то, что разграничение этих лексико-синтаксических комплексов по их большему или меньшему тяготению к лексике устанавливается не формальною стороною, а семантикою, что наиболее ясно видно по таким русским образцам, где, с одной стороны, старый дом содержит в себе точно определяемое понятие о доме, которое семантически может варьировать (ср. *новый дом* и т. д.), и, с другой, — *старый человек*, который имеет своим семантическим эквивалентом отдельное слово *старик*, тогда как соответствия в виде отдельного слова нельзя подыскать в первом случае.

Семантика является в данных примерах решающим моментом для уточнения качества словосочетания, в то время как формальная сторона сама по себе ничего не говорит. Она одинакова в обоих. Как увидим ниже, в некоторых языках (нивхском-гиляцком) такие лексико-синтаксические комплексы представляют собою не что иное, как инкорпорированное целое, являющееся словом и в то же время членом предложения, следовательно относятся и к лексике, поскольку они представляют собою слово, и к синтаксису, поскольку они же оказываются в предложении его членами. На этом нет надобности подробнее останавливаться в данном месте, и все спорные вопросы легче разрешить в других главах (о слове-предложении и о его разложении) с упором на более убедительный конкретный языковый материал. Здесь же я упоминаю об этом языковом явлении в рамках принятого на себя задания отметить наиболее яркие моменты, связанные с понятием слова и его синтаксического выражения в предложении.

Слово в предложении, предложение в целом и сочетание предложений составляют различные стороны синтаксиса, на фоне которого, по смысловому значению фразы, устанавливается формальная сторона и слова и самого предложения.

Такой, хотя бы крайне беглый, обзор разновидностей отмеченных двух единиц речи в их взаимосвязи уже сам по себе приводит к неизбежному выводу о необходимости значительных уточнений и даже коренных изменений во многих положениях, установленных школьною грамматикою, относящею все изменения слова в раздел морфологии и всякого рода сочетания слов в раздел синтаксиса.

В основе такого деления лежит слово, причем предполагается, что если оно изменяется семантически (словообразование) или синтаксически (словоизменение), все равно изменяется слово как таковое, следовательно, изменяется его формальная сторона, что и относится к учению о форме слова (морфология). Если же, утверждает школьная грамматика, перед исследователем стоит не слово, а ряд слов, связанных разными способами, то мы имеем уже словосочетание, значит, перед нами не слово, а слова, учение о сочетании которых относится к синтаксису. Нетрудно и без дальнейших обоснований усмотреть во всем этом традиционном подходе к языку все дефекты одностороннего формального подхода.

Новое учение о языке, в противоположность старым концепциям, берет формальную сторону в тесной связи с ее содержанием и в итоге приходит к выводу, что такого рода сочетания слов, как *Красная Армия*, не есть чисто синтаксическое построение, хотя формально и состоит из двух слов, и наоборот, глагольные формы, хотя бы и выраженные одним словом, например *иду*, по семантике представляют собою законченное предложение.[17] Более того, изменение слова может зависеть и от его собственной семантики и от семантики предложения. В последнем случае слово выступает как составная часть предложения, и потому всякое изменение слова по заданию предложения понятно лишь на его общем фоне и не может рассматриваться отдельно от него.

При таких условиях значительная часть морфологии сольется с синтаксисом, вне которого она не получает своего полного объяснения. Другими словами, морфология как самостоятельная часть грамматики может вовсе отпасть в связи с переходом одной ее части к лексике (например, словообразование) и большей части к синтаксису (словоизменение синтаксического характера).

В итоге всего сказанного, вместо обычной схемы деления грамматики на отмеченные выше составные части, схемы, повторяемой в громадном большинстве учебных пособий, может быть предложено для научно-исследовательской работы иное построение. Обратимся к первой.

Обычная схема деления грамматики на отделы:

1) фонетика;

2) морфология (учение о форме слова и ее изменениях: словообразование и словоизменение);

3) синтаксис (учение о словосочетаниях вообще, или учение о сочетании слов в предложении и о соединении предложений).

Учение о слове выделяется за рамки грамматики как особый словарный отдел (лексикология).[18]

---

[17] См. то же у В. А. Богородицкого (Общий курс русской грамматики, с. 93 и др.).

[18] См., например: Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, с. 3—4; Петерсон М. Н. Очерк синтаксиса русского

Из всех перечисленных трех отделов наименьшее сомнение в правильности выделения вызывает фонетика. Что же касается до морфологии, то она, как только что отмечалось выше, оказалась построенною на одном только формальном признаке слова как такового без учета его функциональной семантики, различной в лексике (слово в отдельности) и в предложении (слово в сочетании с другими и с учетом особого содержания передаваемой фразы). В связи с этим словообразование и словоизменение, функционально совершенно различные, оказались частями одного общего отдела только потому, что формально изменяется именно слово. Тем самым из синтаксиса искусственно выпала одна из основных его частей, а именно изменение слова в предложении, т. е. словоизменение в синтаксических заданиях. Получился искусственный и лишь формально оправдываемый разрыв морфологии с синтаксисом, что и отмечается Н. Я. Марром как отрицательная сторона формально построенных грамматик, приведших к изоляции слова от предложения.

Ясно, хотя бы в пределах высказанных соображений, что новое учение о языке не может стать на тот же путь узко формального членения слова и предложения, взятых в значительной степени оторванно друг от друга. Такое их обособление не вскрывает их диалектического единства и благодаря этому стушевывает специфические особенности каждого. Исчезла наглядность связи обеих единиц речи и в то же время не выделились их лексические и синтаксические свойства. Получилось смешение категорий различного порядка, хотя и составляющих единство речи, вовсе не отрицаемое представителями старой лингвистической школы.[19]

языка, с. 23 и сл. Критику этих концепций см. у В. В. Виноградова (Современный русский язык, I, с. 125).

[19] Краткий, но в то же время ясно изложенный обзор выдвинутых научною литературою грамматических систем дает Viggo Brøndal в статье «Le système de la grammaire», опубликованной в: A Grammatical Miscellany offered to Otto Jespersen, on his Seventieth Birthday, Copenhagen—London, 1930, pp. 291—297. Он, начиная с упоминания различных попыток, сделанных в этом направлении традиционалистами, рационалистами и позитивистами, переходит к выведенной отсюда общей схеме: 1) фонетика, 2) морфология, 3) синтаксис. Затем дополняет ее еще двумя разделами: 4) образование слов и 5) семантика (Kr. Nyrop, 1899—1930). Далее упоминается схема J. Ries: 1) формы слов, 2) значения слов, 3) формы синтаксических образований, 4) значения синтаксических образований, а также схема A. Noreen (1922): 1) фонология, 2) семология, 3) морфология. Потом автор останавливается на схеме Есперсена, проводящей основное различие по звуковой стороне и смысловой: I (звук) фонетика, II (смысл) семантика, III A (звук → смысл) морфология, или учение о формах, B (смысл → звук) синтаксис, или учение о функциях (или понятиях). Viggo Brøndal несколько уточнил данную им схему, включив в синтаксис не только формальную, но и смысловую сторону. В своих окончательных выводах Viggo Brøndal приходит к необходимости выделения трех исходных пунктов: I звук, II слово, III фраза, в связи с чем выделяются три раздела грамматики: I фонетика, учение о звуке; II морфология, учение о слове; III синтаксис, учение о фразе. В последний раздел входят определение фразы и ее членов, а также изучение строя слов и фраз.

Новое учение о языке, учитывая отмеченные недочеты действующих отделов грамматики, предлагает в рабочем порядке иное распределение рубрик с иным содержанием.

Прежде всего учение о слове, выделяемое в особый отдел (лексикология), не может быть изъято из грамматического очерка. Нельзя учение о формальной стороне слова с его значимыми частями (морфемами) отделять от учения о значимости самого слова. Фактически слово никогда из грамматики и не изымалось. Изъятие лексикологии из грамматического очерка вредно отражается также и на историческом понимании языковых категорий. Наоборот, включение ее в грамматический очерк вскрывает особенности предложения, в котором участвует лексический состав.

Распределение отделов грамматики, при учете всего сказанного, должно быть иное.

Схема, предлагаемая новым учением о языке:

1) Фонетика (учение о социально значимых звуках).

2) Лексика (учение о слове в отдельности и о словосочетаниях лексического порядка).

3) Синтаксис (учение о слове в предложении и о предложении в целом).

В этой новой схеме вовсе выпала морфология как отдельный самостоятельный раздел грамматики. Я вовсе не отказываюсь от самого термина «морфология» и продолжаю пользоваться им в своих работах, не избегаю его и теперь,[20] но, ввиду всего изложенного выше, не вижу оснований для выделения особого раздела морфологии. Данные для этого уже были приведены в общем обзоре взаимоотношений слова и предложения. Они сводились к нижеследующему.

Если понимать под морфологией учение о значимых частях слова, о его изменениях в семантических и синтаксических заданиях, то в одном этом понятии уже заключается внутренняя недоговоренность, приводящая к неясности деления лексического запаса на соответствующие группы. Дело в том, что словарный состав по значению слов и их оформлению распределяется обычно по группам, именуемым частями речи. Эта группировка при формальном подходе к изменению слова не уделяет достаточного

---

[20] Термин «морфема» в последнее время получил иное содержание. Так, Вандриес понимает под морфемою всякое средство выражения отношений (Язык, с. 77), т. е. то, что Сепир именует grammatical process, грамматический процесс, или, точнее, грамматические приемы или средства (Язык, с. 45, 188). Чтобы не вводить осложнения в лингвистическую терминологию, я сохраняю за морфемами более распространенное их понимание как значимых частей слова, а за морфологиею — учение о слове и его значимых частях. Поэтому в заданиях настоящей моей работы мне не так часто придется пользоваться данными терминами.

внимания лексическим и синтаксическим функциям морфем и потому не может привести к выдержанной классификации, тогда как смысловое отграничение лексической стороны слова от его синтакической стороны может внести ясность в принципы деления, становящегося более точным.

Здесь вопрос вовсе не ограничивается отнесением корня, суффикса и префикса, а в результате всей основы к области лексики, окончания же к синтаксису. Такой подход опять-таки был бы узко формальным, так как и окончание, само по себе, по его функциональной семантике, может быть отнесено к обеим областям (то к синтаксису, то к лексике). Чтобы убедиться в этом, достаточно сослаться хотя бы на то, что падежные окончания включаются в синтаксис, тогда как родовые, казалось бы, попадают в лексику.

Действительно, косвенными падежами характеризуется не лексическая, а синтаксическая сторона слова, но именительный падеж (nominativus), хотя равным образом используется в предложении, связан с оформлением слова как такового, взятого и вне предложения. С другой стороны, слово *вода* всегда будет в женском роде независимо от его синтаксической роли в предложении. Но в то же время родовые окончания наиболее ясно относятся к лексике в именах существительных, в прилагательных же они относятся к лексике только через лексико-синтаксические сочетания, так как прилагательное как таковое, взятое отдельно вне этого сочетания, не принадлежит по своей семантике ни к какому роду и получает родовой показатель только в порядке согласования, тогда как в прошедшем времени глагола те же родовые окончания относятся к синтаксису. Мы уже имели повод отметить это и в предыдущем изложении. Сейчас же, в заданиях затронутой мною темы, мне хотелось бы указать лишь на многообразие функциональной значимости окончаний, что оставлять без внимания не следует и что все же исчезает из поля зрения при одном только формальном подходе к ним.

Таким образом, морфология в части словоизменения вторгается в область синтаксиса, что, впрочем, не отрицается ни одною из действующих грамматик. Такое признание является положительною стороною, хотя и эта положительная сторона не всегда передает действительное положение вещей. На самом деле, как мы только что видели, далеко не всякое словоизменение есть явление синтаксического порядка. Так, например, родовой показатель, как и всякий лингвистический классный показатель вообще, составляет неотъемлемую характеристику имени существительного, но вовсе не характеризует отглагольной формы (ср. в русском прошедшее время) и тем более глагола (ср. в языке зулу), взятых вне согласования.[21] При таких условиях родовое окончание даже в русском языке попадает то в словообразование, то в словоизменение, если за этими терминами сохранить значи-

---

[21] О глагольных формах в языке зулу см. с. 54 и сл.

мость, за первыми — лексическую, а за вторыми — синтаксическую.

Теперь вернемся к морфологии. Под морфологиею в обычном значении данного термина разумеется изучение формальной стороны слова, его слагаемых частей. Намечаемое же мною деление учитывает также функциональную семантику формы, т. е. строится на основе взаимосвязанности формы и ее содержания, причем в отделе лексики остается лишь лексическая морфология, морфология же синтаксическая, т. е. анализ морфем, передающих изменение слова в зависимости от его роли в предложении, переходит в главу о синтаксисе. В последней при таких условиях синтаксическою морфемою окажется только та часть слова, которою выражается синтаксическое отношение, остальные же части, образующие основу слова, естественным образом, войдут в область лексики.

Короче говоря, различие между старой схемой и вновь предлагаемой сводится к учету семантической стороны слова и его составных частей. Действующие грамматики делают упор на формальную сторону: всякое изменение формы слова в конце концов понимается как относящееся к области морфологии и вносится в главу того же наименования. А так как словоизменяющие морфемы (синтаксические) являются тоже частью слова, то они по этому формальному признаку сохраняются в одном разделе вместе с другими слагаемыми морфемами, равным образом являющимися частями слова, хотя и с другою функциею. Между тем в синтаксис тою же традиционною грамматикою включается учение о предложении — о построении предложения и о сочетании предложений. Но если в синтаксис входит построение предложения в части размещения слов и их синтаксической роли как членов предложения (подлежащее, определение, сказуемое и т. д.), то сюда же входит и изменение слов по тем же синтаксическим заданиям.

Обоснование этого положения уже приводилось выше, когда указывалось на то, что объект во фразе может быть выражен и особым падежом, и местом слова в предложении (*кошка поймала мышь, мышь обманула кошку*). То и другое являются формальным выражением одного и того же содержания объекта. Таким образом, оба способа относятся к одной области как передатчики того же содержания, хотя они формально отличны. В одном случае налицо изменение формы слова (*кошку*), тогда как в другом слово как таковое остается неизменяемым (*мышь*). Но и неизменяемость формы слова сама по себе не отнимает у него в данном случае формального значения, выявляющегося уже не в форме самого слова, а в форме всего предложения (место во фразе).

Опираясь на различие формального выявления, действующие грамматики проводят иное, отмеченное выше, деление по разделам, что и будет для них, в поставленных ими для себя заданиях, вполне последовательным.

Действительно, учитывая только формальную сторону, придется относить изменение слова, хотя бы и грамматическое, к учению о самом слове, к морфологии, так же как вполне логично с точки зрения формальной грамматики относить место слова во фразе к построению предложения, т. е. к синтаксису. Но если подходить с учетом семантики слова и предложения, то изменение слова в синтаксических целях, в порядке выявления значения слова во фразе, придется отнести, равным образом, к семантике предложения, а не к семантике слова.

Подходя с этой стороны к определению обоих отмеченных выше способов передачи логического объекта, выступающего в данном случае как прямое дополнение, приходится признать, что оба эти способа, и падеж и место в предложении, оказываются различными формальными выражениями одного и того же функционального задания, в данном случае выражения объекта. Тем самым они объединяются как различные способы формальной передачи одного и того же содержания.

От такого объединения, построенного с учетом семантики формы, выигрывает понимание самой формы и тем более понимание строя изучаемой речи. Но не только семантика формы является решающею в деле классификации языковых признаков. Столь же существенную роль играет и формальная сторона прежде всего потому, что содержание не может быть выявлено без формы. В данном случае содержание и форма представляют собою единство, хотя формальная передача одного и того же содержания, как мы только что видели, бывает различной. Кроме того, говоря про семантику, мы имели в виду не столько значение формы, сколько ее назначение, ее целеустремление. Следовательно, мы говорим здесь о функциональной семантике грамматического показателя.

Все сказанное выше может быть проверено на материалах различных языков, поскольку отмечались общие моменты глоттогонического процесса, присущие всему языковому строю вообще. Эти общие моменты в свою очередь дают разительные примеры расхождений в структуре речи отдельных языковых систем, не утрачивая в то же время общего для них характера. Различные языки различными способами могут передавать нередко одни и те же категории речи, вследствие чего внешняя описательная часть грамматик значительно варьируется по языкам.

Общими для всех известных нам языков являются указанные выше две единицы речи: слово и предложение в их взаимной связи (слово вне предложения не есть речь). Но оформление слова и построение предложения могут идти разнообразными путями, причем для всех языков существеннейшую роль играет проблема предложения, его построения и роли слова в нем.[22]

[22] В некоторых языках уцелели инкорпорированные комплексы — слова-предложения, которые уходят значительно глубже в историю языка, давая возможность поставить проблему о происхождении предложения и о путях

Предложение строится из слов, представляющих единое целое. Такая семантическая цельность фразы передается в предложении известными формальными путями, выявляемыми особыми показателями того или иного рода. Наличные и в слове и в предложении показатели выполняют служебную роль, будучи выразителями функции, которую они несут в заданиях построения предложения или слова как семантического целого. Такая их функция в основном идет по двум направлениям, предусматривающим семантические различия слова и предложения, в частности слова как такового и слова в составе предложения.

На этом основании мною проводится разделение на словоизенение лексического порядка (словообразование в точном понимании этого термина) и на словоизменение синтаксического порядка. Если подходить к ним с узкой, формальной стороны морфологии, понимаемой в указанном выше смысле учения о форме слова, то оба эти разделения имеют морфемы как различные способы передачи упомянутых изменений наряду с передачею значимых или морфологических частей самого слова. Если же в показателях данных значений слов и их частей видеть не только формальную сторону, но и неотъемлемую от них семантику самих показателей, т. е. признать, что все подобного рода показатели должны быть семантичны, то можно усматривать в них не морфемы, а с е м а н т е м ы.

Форма служит способом выражения определенного содержания. Должно быть определенное содержание для того, чтобы форма для его передачи появилась или приурочилась к нему. Поэтому исследователю нельзя ограничиваться простою фиксациею наличных способов выражения семантики, наоборот, ему необходимо устанавливать семантическое значение формальных показателей, так как они выражают в формальной стороне различные смысловые задания. Выдвигая же для их наименования новый термин «семантема» («сема»), придется при таких условиях называть им грамматические показатели, имеющие то или иное функциональное значение в заданиях формального выражения семантики слова и семантики предложения.

Первые (словоизменения лексического порядка) передают семантику слова, а вторые (словоизменения синтаксического порядка) выражают семантику предложения. Те и другие показатели семантичны, но одни из них (*стол-ик*, *при-ход* и т. д.) передают лексическую семантику, и в этом случае их можно назвать «лексемами», а другие выявляют задания семантики предложения, т. е. передают синтаксическую семантику, ввиду чего за ними можно закрепить наименование «синтаксем».

Таким путем устанавливается мною различие лексем и синтаксем. Так, в слове *стол-ик-у* мы имеем и лексему и синтаксему.

его развития. Всё же инкорпорированные комплексы подобного рода сосуществуют в этих языках уже с развернутым построением предложения, см. в главе о слове-предложении.

Суффикс *-ик* будет лексемою (*стол-ик* в отличие от *стол*), тогда как окончание *-у* окажется синтаксемою (*этому столик-у не хватает одной ножки*).

В конечном итоге для уточнения нашей мысли обратимся к определению морфем, даваемому, в отличие от стандартных грамматик, французским ученым Ж. Вандриесом.[23] Всякая фраза заключает в себе два вида отличных друг от друга элементов: с одной стороны, выражение некоторого числа понятий, представляющих идеи, с другой стороны, указание на отношение между этими идеями. Исходя из этого положения, Вандриес проводит различие между семантемами и морфемами. Под первыми он понимает «языковые элементы, выражающие идеи», например, идею лошади и бега во фразе *лошадь бежит*, под вторым подразумеваются те языковые элементы, которыми выражаются отношения между этими идеями (в данном примере то, что бег ассоциируется с лошадью вообще и относится к 3-му лицу ед. числа изъявительного наклонения и т. д.). Следовательно, морфемы, по Вандриесу, передают отношения между семантемами.

Семантема Вандриеса как выразитель идеи, представленная языковым элементом, содержит в себе и идеологическую и формальную стороны. Она выражает идею и передается языковым элементом, т. е. получает формальное в нем выявление. Семантема в таком ее понимании является «объективным элементом представления». Что же касается морфемы, то она понимается тем же ученым как выразитель отношений между идеями, представленными в семантемах, следовательно между словами в предложении. Вандриес, таким образом, дает совершенно иное понимание морфемы, отличное от обычно принятого. Последняя не отождествляется у него со значимыми частями слова, с корнем, префиксом, суффиксом, основою и окончанием, как это мы видим, например, у В. А. Богородицкого, формулирующего общепринятое понимание морфемы.[24]

Морфология у Вандриеса не является только учением о внешнем построении слова, и морфема у него вовсе не отождествляется с составною частью слова. Наоборот, Вандриес видит в морфеме передачу отношений между семантемами, а поскольку эти отношения выражаются предложением, морфемы у Вандриеса в значительной степени оказываются синтаксическими показателями, тем самым сближаясь с нашим пониманием синтаксем.[25]

Качество лексем и синтаксем в различных языках различно, и определение их далеко не просто. Обзору их в более развернутом виде посвящается особая глава.

---

[23] Вандриес, с. 76—77.

[24] Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.—Л.. 1935, с. 3—4, 91.

[25] См. Вандриес: «Под семантемами надо понимать языковые элементы, выражающие идеи. . . под морфемами же — языковые элементы, выражающие отношения между этими идеями. . . Морфемы выражают, следовательно, отношения, устанавливаемые умом между семантемами» (Язык, с. 77).

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Лексемы и синтаксемы

Каждое слово имеет свою определенную значимость (имеет свою семантику). Слово без значения, без семантики, не есть слово.[1]

Даже это общепризнанное, казалось бы, утверждение далеко не полностью и не всегда выдержанно проводится в отдельных лингвистических исследованиях.[2] Достаточно сослаться хотя бы на выделение в грамматиках такого раздела, как «слова без собственного значения» (В. А. Богородицкий), «незнаменательные слова» (Д. Н. Овсянико-Куликовский) и т. п., под которыми объединяются предлоги, союзы и всякого рода частицы. Выделение их в особый раздел сомнений не вызывает, но все же, если слово незнаменательно или, что то же, не имеет собственного значения, то уже одно это наводит на мысль о неправильности включения подобных «слов» в общий с остальными лексический состав любого языка и о желательности обособления их как служебных частиц, в особенности союзов и предлогов, выражающих синтаксические отношения.[3]

Известная доля неустойчивости в определении слова приводит, между прочим, также и к сбивчивости в классификации лексического состава языка на части речи. Об этом уже приходилось говорить в предыдущей главе, где мы указывали на получающуюся отсюда неясность в установлении разновидностей лексических и синтаксических формантов. На этом весьма сложном вопросе я и намерен остановиться в настоящей главе.

Затронув выше проблему слова и предложения как значимых единиц речи со своею семантикою каждая, я предполагаю перейти сейчас к деталям грамматических приемов, выявляемых как в той, так и в другой области.

Для большей ясности изложения я приведу несколько предваряющих общих положений. Относя грамматические показатели к лексике (когда они обслуживают лексические задания — лексемы) и к синтаксису (когда они выполняют задание синтаксиса — синтаксемы), приходится в первую очередь установить, чтó именно понимается в данном случае под лексическими и синтаксическими заданиями. Первое выражается лексическим оформлением независимо от того, представлена ли лексическая единица одним словом или словосочетанием. Второе же выражается различными способами передачи отношений между членами предложения.

---

[1] «Слова нашей речи, имея определенное значение. . .» (Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, с. 91).

[2] Ср. деление слов на полнозначные и неполнозначные у Л. А. Булаховского (Курс русского литературного языка. Харьков, 1937, с. 103—105 и др.).

[3] См.: Виноградов В. В. Современный русский язык, I. М., 1938, с. 153 и сл.

Так, например, имя с атрибутом в виде согласованного с ним слова представляет словосочетание, но синтаксически они изменяются тогда, когда попадают в предложение. В этом случае выразители отношений внутри словосочетания не передают связи между членами предложения и потому не изъемлются из области лексики, если словосочетание в значительной степени еще сохраняет свойства и содержание лексической единицы. И здесь решение вопроса зависит от строя языка, от того, в какой степени самостоятельности выступают в предложении те или иные комплексы и их члены.

Таким образом, значительную роль в определении функции указанных грамматических приемов играет деление лексическое (части речи) и деление синтаксическое (члены предложения) в каждой конкретной языковой группе. Выразители отношений между членами предложения ясно выступают в роли синтаксем, так же ясно, как лексемы характеризуют части речи. Но эта ясность того или иного определения затрудняется, главным образом, тем, что сами части речи и члены предложения качественно различны в различных языковых системах. Тем самым затрудняется априорное установление лексем и синтаксем. Общее правило и тут устанавливается в каждом отдельном языковом строе.

Даже лексические единицы, наиболее точные, казалось бы, в их определении, варьируются в своем качестве на различных ступенях языкового развития.

Способы образования слов различны, в частности от одной и той же основы могут быть образованы различные слова с измененною семантикою. Иначе говоря, лексическая единица (слово) путем внутреннего (фонетического) или внешнего (аффиксация) изменения основы получает семантические дериваты. Кроме того, слово может снабжаться формальными показателями, характеризующими те или иные его лексические свойства (формативы имен существительных, прилагательных и др.).

Такие определители лексических категорий и показатели семантических разновидностей (семантические уточнители слова) находят свое выражение в тех языковых приемах, которые в их внешнем выражении можно было бы назвать лексемами. Следовательно, под лексемою понимается мною разного рода формальное выражение лексических особенностей слова всякими способами, которыми пользуется изучаемый язык. Отсюда уже ясно, что такие способы могут быть различными в различных языковых системах. Они должны быть устанавливаемы конкретно для каждой из них.

К лексемам относятся не одни только привычные для нас флективные изменения или агглютинативные приставки. Флексия даже для самих флективных языков оказывается только одним из способов передачи изменения семантики слова. Сюда будут относиться фонетические изменения самой основы (*небо*, *нёбо*), ударение (*зáмок*, *замóк*, *кондýктор* в отличие от *кондуктóра*, чина

морской службы и т. д.), приставка (*приход, подход, уход*) и др. Все изменения подобного рода, придающие иной смысл слову, указывающие на различие значений или уточняющие его вне зависимости от роли слова во фразе и согласования с другими словами предложения, можно отнести к числу лексем.

Подобного рода изменения и уточнения лексического значения слова не преследуют синтаксических целей. Их получает слово вне всякой зависимости от его значения в предложении. Такие формальные показатели, которые находятся в словах *небо, нёбо*; *мука́, му́ка*; *ход, приход* и пр., относятся к области лексики и не выходят за пределы ее требований. Следовательно, лексемы являются лексическими элементами и тем самым противополагаются мною синтаксемам как элементам синтаксическим, вызванным к жизни строем предложения.

Став на эту точку зрения, нетрудно будет во многих случаях (впрочем, далеко не всегда) установить смысловую функциональную роль подобного рода лингвистических элементов и определить их лексическое или синтаксическое значение. Так, например, в языках, в которых налицо деление имен существительных по группам, именуемое делением имен на классы (лингвистические классы), принадлежность имени к определенному классу относится к области лексики, но согласования тех же имен существительных с другими словами в предложении путем повторения в них или самостоятельного включенного классного показателя могут получать синтаксическое значение, и в этом случае те же классные показатели окажутся синтаксемами.

Для обоснования только что высказанного положения обратимся к конкретным примерам из языков, наиболее ярко проводящих деление по классам. Последнее, как общее правило, налично в именах существительных. Все имена существительные в языках, имеющих классные показатели, строго распределяются по группам. Так, в языке зулу слово «ночь» принадлежит к определенному классу, характеризуемому приставкою ubu. Этот показатель префиксируется к имени как его классный определитель (ubu-suku). Зулусское слово «ночь» принадлежит, таким образом, к точно установленной группе («классу») по своему содержанию. В каком бы синтаксическом использовании ни было употреблено это слово, оно, не утрачивая своей лексической семантики, остается в том же классе. Тем самым ясно устанавливается лексическое значение классного показателя, сохраняющегося при имени существительном как при его отдельном произношении или написании, так и при различном его же использовании в предложении.*

---

* Последующие исследования выявили, что обычно оказывается невозможным установить тот семантический признак, на основании которого в современных языках банту те или иные существительные объединяются в один класс и что поэтому классный показатель скорее имеет формально-грамматическое значение, подобно значениям родовых показателей в индоевропейских языках; см.: Polomé E. C. Swahili Handbook. Washington,

Но когда тот же показатель (ubu → bu) помещается при согласуемом с именем глаголе,[4] например: ubu-suku bu-balekile 'ночь пролетела', то в данном случае он выступает в глагольной форме (bu-balekile) не как показатель свойственного глаголу содержания, а как сигнализатор связанного с глаголом имени. Глагол не принадлежит ни к одному классу и своих классных показателей не имеет.[5] Он получает их по связи с именем, и если другое имя имеет иной классный показатель, то его же отражает и согласуемый с ним глагол. Получая, следовательно, классные показатели в порядке согласования с другими словами предложения, глагол получает их по линии синтаксиса, а не своей собственной лексической семантике. Таким образом, ясно, что классные показатели в глаголе окажутся синтаксемами.

В итоге всего сказанного приходится прийти к выводу, что в языке зулу классные показатели могут быть и лексемами и синтаксемами. В именах существительных они явятся лексемами, а в других согласуемых с именем словах выступают как синтаксемы (в глаголах) или находятся в промежуточном положении как показатели лексико-синтаксических комплексов.[6]

Применяя общепринятую терминологию действующих грамматик, можно за классными показателями признать роль словообразующих частиц, если они выступают в именах существительных, и словоизменяющих частиц, когда они используются в предикате, а иногда и в других согласуемых членах предложения. Следовательно, одни и те же элементы речи могут быть функционально различными и могут формально объединяться в одной главе, а функционально распределяться по разным главам.

Но такое свойство присуще не всем элементам речи и даже одному и тому же элементу не во всех языках. Так, например, несколько иную схему дают некоторые северокавказские яфетические языки. Возьмем аварский язык. В нем имена существительные, принадлежа к одному из трех классов, сами обычно не снабжаются классными показателями, которые выступают в согласованных с именем словах (в глаголе, прилагательном и др.). Аварские *чи* 'человек', *чІужу* 'женщина', *чу* 'лошадь' принадле-

---

1967; Loogman A. Swahili Grammar and Syntax. Louvain, 1965; Guthrie M. 1) Comparative Bantu, vol. 1—4. London, 1967—1970; 2) La classification nominale dans les langues négro-africanes. Paris, 1967 и др.

[4] Классные показатели в 3-м лице глагола обычно воспринимаются африканистами (Meinhof и другие) как местоимения. Неточность такого определения устанавливается параллелями с первыми двумя лицами, где классных показателей в зулу нет, и сводною таблицею классных показателей и местоимений 3-го лица, дающего те же основы и то же распределение по числу групп; см.: Снегирев И. Л. К вопросу о происхождении местоимений. — ИАН, 1933, с. 631 и сл.

[5] Я не имею здесь в виду отглагольных форм инфинитива, которые получают свой самостоятельный классный показатель.

[6] Например, согласование классным показателем существительного с прилагательным.

жат: первое к активному мужскому классу (разумные существа мужского пола, по определению П. К. Услара),[7] второе к активному женскому классу (разумные существа женского пола) и третье к пассивному классу (неразумные существа, предметы и понятия). Принадлежность слов к тому или иному классу устанавливается их семантикою, но формально это в самом построении имени существительного ничем не выражается. Следовательно, тут нет формально лексически выявленного классного показателя, нет лексемы. Классный показатель в аварском языке появляется в согласуемом слове, которое, равным образом, само по себе лишено классной принадлежности. Например, такое понятие, как «большой», не принадлежит ни к одному классу, но получает соответствующий показатель по согласованию с именем, т. е. в порядке оформления слов в лексико-синтаксическом комплексе: *кIудия-в чи* 'большой человек', *кIудия-й чIужу* 'большая женщина', *кIудия-б чу* 'большая лошадь'. В аварском языке, при таких условиях, классные показатели оказываются лексемами только в пределах синтаксических комплесков. В глаголе же они и тут выступают как синтаксемы.

Обратимся к примерам из русского. В русском языке распределение имен по группам носит наименование деления по родам (мужской, женский и средний роды). Каждое имя существительное должно принадлежать к одному из этих родов, причем принадлежность имени к определенному роду не зависит от роли данного имени в предложении. Решающим моментом в отнесении имени к тому или иному роду будет лексическая его сторона, формальная или смысловая, но не синтаксическая. *Трактор*, *стол* и т. д. в современном русском языке относятся к мужскому роду по формальному признаку, по тому же признаку к женскому роду принадлежат *машина*, *стена* и др., но *мужчина*, *староста* относятся к мужскому роду по смыслу. *Голова* включается в группу женского рода по формальному признаку, но дореволюционный термин *городской голова* был мужского рода в зависимости от содержания (городской голова мог быть только мужчиной). Такая принадлежность того или иного имени существительного, не исключая и сложных имен, каким оказывается *городской голова*,[8] к определенному роду устанавливается, таким образом, лексическою его стороною. Имя остается в данном роде независимо от роли в предложении. Следовательно, принадлежность имени существительного к роду фиксируется родовым показателем (формальным или смысловым), являющимся лексическою принадлежностью. Формальный родовой показатель оказывается, таким образом, лексемою.

---

[7] См. его: Лакский язык. — ЭК, IV, с. 9 и сл.

[8] Такое построение, как *городской голова*, является хотя бы и сложною, но все же лексическою единицею, а не синтаксическою. В *городском голове* мы имеем одно понятие, выраженное сложносоставным словом.

Нечто иное мы видим в оформлении прилагательных. Прилагательное в русском языке само по себе, взятое в отдельности, не имеет своего собственного родового определителя. Оно относится к тому или иному роду не как самостоятельное слово, а по связи с им определяемым другим словом (*большой дом*, *большая стена* и т. д.).[9]

Поскольку *дом* является существительным мужского рода, постольку же *большой* оформляется мужским родом в зависимости от лексико-синтаксического комплекса. Здесь родовой показатель относится к лексеме по лексико-синтаксическому построению. Другое дело с глаголом в прошедшем времени (*дом стоял*, *стена стояла*). Тут согласование в роде выражает отношения между членами предложения (субъектом и предикатом) и потому относится к синтаксемам.

Привлекая русский язык, мы уже перешли от классных показателей к родовым, представляющим, по существу, их же разновидность, но качественно иную. Функциональная их роль близка. Оба они могут, как мы видели, выступать и в лексическом и синтаксическом использовании, хотя, конечно, родовые показатели представляют собою иное языковое явление, чем классные, даже в том случае, если они преемственно связаны, что более чем вероятно. Полного тождества не будет и среди самих родовых показателей в их употреблении в различных языках, даже в одной и и той же группе индоевропейских языков. Мы сейчас увидим, что выражение рода не вполне тождественно в русском, французском и немецком языках не только формально (наличие артиклей в двух последних), но и по функции.

Возьмем французский язык. В нем принадлежность к определенному роду, так же как и в немецком, характеризуется артиклем (членом): un homme, une maison.

Оба эти имени принадлежат к определенному роду вне зависимости от синтаксиса, от смысла фразы. Они принадлежат к мужскому и женскому родам по характеру самого слова, а не по содержанию предложения. Прибавляемый к имени артикль приобретает в современном строе обоих названных языков особое смысловое значение: выражение определенности и неопределенности имени (отсюда и их наименование — определенные и неопределенные члены).[10] Такие артикли как своего рода разновидность классных показателей наличны лишь при именах существительных (лексемы), но они же в отличие от классных показателей получают в самом имени существительном расширенное лекси-

---

[9] Ср.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, с. 60, 78.

[10] О происхождении артиклей от указательных местоимений и числительных см.: Сергиевский М. В. История французского языка. М., 1938, с. 65; Ильиш Б. А. История английского языка. Л.—М., 1938, с. 40, 61, 113; Жирмунский В. М. История немецкого языка. Л., 1939, с. 177 и др.

ческое значение, выражая различное значение слова оттенением его определенности или отвлеченности: l'homme qui rit, un homme qui rit, что в русском выражается словосочетанием.

Изменение имени по падежам, снабжение имени падежными показателями, конечно, является синтаксемою. Если *лошадь* входит в группу женского рода как лексическая единица, то изменение ее по косвенным падежам (*лошади*, *лошадью* и т. д.) зависит не от понятия самого слова, а от роли его в предложении, от того, какое значение придается ему контекстом фразы. В частности, в предложении *лошадь бежит* первое слово стоит в именительном падеже как подлежащее предложения. Синтаксически обусловленное здесь падежное оформление в свою очередь характеризуется в данном случае отсутствием падежного окончания (именительный падеж, совпадающий с основою имени). Таким образом, оказывается, что *лошадь* в этой фразе не имеет морфологических показателей. Такая «нулевая морфема» является все же синтаксемою.

Затронутый нами случай своеобразного оформления нулевым показателем ставит на очередь пока обойденный мною, но весьма существенный для дальнейшего изложения вопрос о способах выражения лексических и синтаксических показателей (лексем и синтаксем). Они, очевидно, шире обычного представления о морфеме как фонетически выраженном показателе.[11]

Если под лексемами и синтаксемами понимать уточнители лексического и синтаксического порядка, то в этом своем задании они могут выявляться в различных формах, и в таком случае здесь разумеются не одни только морфологические приставки, а всякого рода формальное выражение указанных выше требований лексики и синтаксиса. В частности, и отмеченные выше «нулевые морфемы» не выпадают в таком случае из числа возможных грамматических выражений.

Следуя указаниям целого ряда исследователей, можно отметить еще ударение равным образом как разновидность тех же грамматических приемов. Действительно, в целом ряде языков грамматическое значение слова во фразе отмечается также изменением ударения, например в русском: *я не хочу пить воды́* (род. падеж ед. числа), *я пью минеральные во́ды* (вин. падеж мн. числа). Наконец, если обратиться и к другим языковым приемам, выражающим синтаксическое значение слова во фразе, то и сам порядок слов предложения придется отнести к числу способов передачи синтаксемы. В этом случае синтаксическое значение слова устанавливается занимаемым им во фразе местом.[12] Это наблюдается

---

[11] См., например, В. А. Богородицкий, который под морфемами понимает знаменательные, или морфологические, части слова; см.: Общий курс русской грамматики, с. 91.

[12] Ж. Вандриес, при его понимании морфемы как выразителя отношений между семантемами, т. е. словами — выразителями понятий, отмечает следующие способы передачи морфем: фонетический элемент, указывающий

и в русском языке в тех случаях, когда оформление слова не определяет его синтаксической функции. Так, например, во фразе *дочь поймала мышь* и субъект и объект, относящиеся оба к синтаксическим категориям (члены предложения), носят одинаковое оформление, и вопрос о том, кто кого поймал (*дочь поймала мышь* или *мышь поймала дочь*) разрешается постановкою субъекта перед глаголом, а объекта после него.

Что мы имеем в данном случае один из способов передачи синтаксического значения подлежащего и прямого дополнения, в этом не может быть никаких сомнений. Если же приведенный пример, в котором именительный и винительный падежи совпадают, сопоставить с другим, где такового совпадения нет, хотя бы *дочь поймала кошку*, то становится ясным, что в обоих предложениях имеются тождественные задания выразить субъектно-объектные отношения, т. е. передать синтаксическое значение используемых в предложении слов. Это и достигается в одном случае изменением формы самого слова путем придачи ему особого падежного окончания (*кошку*), а в другом — порядком слов во фразе. Оба приема выполняют одну и ту же функцию синтаксического порядка, между тем при отделении морфологии от синтаксиса один прием попадает к первой, а другой — ко второму. Для цельности обзора синтаксических приемов (синтаксем) они подлежат объединению как формальные разновидности одного и того же функционального назначения.

Таковы различные виды грамматических приемов, в частности их синтаксической разновидности, т. е. синтаксем. Что касается лексем, то они представлены теми же грамматическими средствами, за исключением порядка слов в предложении. Для всех остальных случаев мы можем найти примеры даже в кругу одних индоевропейских языков. Так, лексема передается приставками (*дверь*, *преддверье*) и изменением звукового состава самого слова (немецк. helfen, Hulfe). Нулевой показатель (лексему) имеем в родах имен существительных *паровоз*, *колокол*, ударение встречаем в таких словах, как *замóк*, *зáмок* и т. д.

Этот перечень приемов различных грамматических выражений может быть и не полным. Он составлен применительно к материалам индоевропейской речи и потому заранее можно предвидеть, что в языках иной структуры возможно наличие других приемов и вовсе не обязательно наличие всех перечисленных. Формальные способы построения слов и передачи синтаксических отношений не едины для всех языков мира и не однообразны для них. Так, например, в русском языке множественное число имен выражается флективно (*лошадь*, *лошади*), тогда как в шумерском для этого

во фразе па грамматические отношения, изменение природы или расположения фонетических элементов семантемы (слова), ударение, нулевые морфемы, порядок семантем (слов) во фразе; см.: Язык, с. 77—82. Э. Сепир устанавливает шесть главных типов различных грамматических процессов; см.: Язык, с. 48.

используется повторение той же основы (kur 'страна', kur-kur 'страны'), следовательно, и повторение основы может использоваться как один из грамматических приемов.

Различные способы передачи сходных грамматических отношений, т. е. использование в разных языках различных приемов для выражения тех же связей в словосочетаниях, не трудно подтвердить целым рядом примеров. Ограничиваюсь теми, которые приведены Вандриесом:[13] в латинском языке, так же как и в русском, словосочетание *царя дом* (regis domus) дает определение принадлежности падежною формою. Порядок слов тут ничего не устанавливает, так как смысл взятого нами комплексного построения не меняется от перестановки слов (*дом царя*, *царя дом*; domus regis, regis domus). Во французском языке la maison du roi передает то же самое отношение принадлежности предлогом de (который в сочетании с определенным членом le дает слитную форму du). В приведенном французском словосочетании «дом короля» предлогом de (de le → du) передается то, что в латинском и русском языках выражается падежным окончанием, причем во французском языке инверсия du roi la maison допустима только в поэзии. То же отношение принадлежности в кельтском валлийском языке передается только порядком слов. Здесь порядок слов имеет решающее значение: ti brenhin (ti 'дом', brenhin 'король'). Перестановка слов в этом языке дает уже другое сочетание с иною семантикою, а именно не «дом короля», а «король дома». Таким образом, по приведенным примерам мы видим, что в одном языке отношение принадлежности выражается падежным окончанием, в другом передается предлогом, а в третьем определяется порядком слов, причем смысловое значение данного комплекса остается одним и тем же. Все эти способы, несмотря на их различие, используются в указанных примерах для передачи словосочетаний комплекса, следовательно выполняют одну и ту же функцию.

В приведенном французском примере ясно видно, что предлог оказывается в нем выразителем падежа. Это заключение можно распространить на все предлоги вообще, но с определенною оговоркою о качественном различии их функциональной роли в различных языках. Так, например, в современных индоевропейских языках, не исключая и русского языка, предлоги не только тесно связаны с именем по синтаксическим заданиям, но могут и органически сливаться с ним, имея обычно одно ударение со следующим именем, оставаясь сами или вовсе неударными или же принимая на себя его ударение. Ср. в русском *на траву́*, *по у́лице*, *от дру́га* и, с другой стороны, *и́з дому*, *на́ воду*, *по́ носу* и др. (*на у́лице стоит собака*, *на во́ду пала тень от облака*, *на́ воду пала тень от облака*, *он дал ему по́ носу* и т. д.).[14]

---

[13] Вандриес, с. 81.
[14] См.: Шахматов, 1, с. 17.

По материалам некоторых языков можно проследить в исторической последовательности изменения функциональной значимости этих синтаксических показателей. Так, в грамматическом строе юитского (азиатско-эскимосского) языка предлоги не отмечены вовсе. То же самое наблюдается и в целом ряде других североазиатских (палеоазиатских) языков, например в нымыланском-корякском отмечается полное их отсутствие.[15] Во многих яфетических языках Северного Кавказа и Закавказья предлогов нет, но вместо них используются послелоги, причем в удинском языке Азербайджана сами послелоги представляют собою в значительной своей части не что иное, как имя существительное, стоящее в абсолютном («именительном») или косвенном падеже, или же наречие, которое само производится от имени существительного или прилагательного. Генетическая связь их с именем подтверждается еще и тем, что послелог в этом языке, по утверждению А. М. Дирра, часто сам склоняется.[16] Склонение послелога прослеживается в целом ряде других яфетических языков, например в аварском. В нем от послелога «внутри, в» имеем те же местные падежи, что и в именах существительных, а именно: падеж покоя — *жаниб*, удаления — *жаниса*, сближения — *жанибе*, посредства — *жанисан*, направления с удалением (направляться удаляясь) — *жанисахун*, направления со сближением (направляться сближаясь) — *жанибехун*. В соединении с такими послелогами существительные в аварском языке принимают обыкновенно форму местного падежа на *да*, *де* (падежи покоя и сближения): *къалада жаниб* 'в сосудах зерновой меры', *лъинада жанибе* 'в вóды', *лъинада жанисан* 'сквозь воды', *рукъзабада жаниса* 'из домов' и т. д.[17]

Приведенные материалы дают основание к постановке вопроса о качественной перестройке имени существительного и служебной частицы, т. е. об обращении слова в синтаксический показатель, уже утрачивающий самостоятельное значение лексической единицы. Можно прийти к выводу, что послелоги подобного рода были когда-то отдельными словами и использовались как таковые в предложении. Подходя с этой исторической стороны к аварскому языку, можно увидеть в его послелогах как бы переходный момент выхода из лексических категорий в сторону синтаксических, но и в этом случае они в своем прошлом не выделялись в отдельную часть речи. Они были именами и перестали

---

[15] Богораз В. Г. Материалы для изучения языка азиатских эскимосов. — Живая старина, 1909, № 70—71; Bogoras W. Chukchee. — In: Boas F. Handbook of American Indian Languages, Part 2, Washington, 1907; отдельные работы С. Н. Стебницкого: ЯПНС, III, с. 78, 102—103.

[16] Дирр А. М. Грамматика удинского языка, с. 37—38 (перепечатано из Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа, Тифлис, 1903, вып. XXXIII).

[17] Услар П. К. Аварский язык. — ЭК, III, с. 229—230, см. также таблицу склонения имен на с. 77.

ими быть в связи с их новою, уже синтаксическою функциею. Это прослеживается не в одном лишь аварском, но и в целом ряде других яфетических языков, в том числе и в упомянутом выше удинском.

Если вплотную подойти к приведенным склоняемым формам послелога, то мы увидим, что каждая падежная форма послелога приводит к их семантической дифференциации и обособлению в заданиях синтаксической семантики. В результате они выступают как различные послелоги, хотя и объединенные общностью основы, изменяемой по падежам. Для подтверждения нашей мысли обратимся к другому яфетическому языку, табасаранскому. В нем послелоги изменяются по падежам, и все они управляют родительным падежом связанного с ними имени: [18]

ас	'низ,'			
асик	'внизу',	например:	*гьардин*	*асик* 'под деревом'
аскан	'снизу',	« :	«	*аскан* 'из-под дерева'
асикна	'под',	« :	«	*асикна* 'под дерево'
асизди	'вниз'			

Мы видели во всем просмотренном материале различное использование предлогов и послелогов. Начав с языков, где их вовсе нет (некоторые североазиатские языки), мы перешли к языкам, в которых они по своей структуре наиболее близки к имени, сами изменяясь по падежам (удинский, аварский, табасаранский и др.), но и здесь, а тем более в индоевропейских языках, они сохраняют только генетическую связь с именем, получая самостоятельную семантику по синтаксической функции (самостоятельное значение служебных частиц предложения). В английском языке они, наряду с местом слова во фразе, также являются формою для выражения синтаксических отношений.

Союзы находятся в том же положении. Их функция — выражать связь между однородными членами предложения, т. е. чисто синтаксическая. Семантически они ясно отделяются от имени. И тогда как имя, например *книга*, имеет свою лексическую семантику, ассоциируясь с представлением об определенном предмете, союз, например *и*, не дает такого представления, ясно указывая на связь между однородными словами в предложении. Их синтаксическая роль выявляется в том, что одна и та же фраза *сенат и римский народ*, построенная в русском языке при помощи союза, передается в латинском частицею — прилепою, т. е. синтаксемою: senatus populusque romanus. Равным образом синтаксическая, а не лексическая, роль союзов свидетельствуется отсутствием их в ряде языков и именно в тех, в которых строй предложения в них не нуждается. Таковы языки, в которых превалируют простые

[18] Дирр А. М. Грамматический очерк табасаранского языка. Тифлис, 1905, с. 123—124.

распространенные и даже нераспространенные предложения вплоть до однословных (см. инкорпорированные слова-предложения).

Обратимся вновь к представителям североазиатской речи. Исследователь ительменского (камчадальского) языка С. Н. Стебницкий констатирует, что наличествующие в этом языке вставные частицы в значении «тогда, теперь, совместно» и т. д. не являются союзами в строгом смысле, те же союзы, которые отвечают по их функциональному значению русской речи, оказываются заимствованными из русского же языка: *и*, *толко*, *дотопера* (в значении 'до сих пор'), *потом*.[19] Оказывается, таким образом, что в тех случаях, когда языковая структура стала нуждаться в связующих слова союзах, они не нашлись в составе родной речи и их пришлось заимствовать из другого языка. Так, значительная часть союзов в юитском (эскимосском) языке оказалась заимствованною из луораветланского (чукотского) и т. д.[20] В одульском (юкагирском) языке союзов вовсе нет.[21] То, что выражается нашими союзами, там передается косвенным падежом местоимения, глагольною формою и наречием. Например: tabunget′ (твор. падеж в значении исходного от местоимения tabun 'что') замещает заключительный союз 'следовательно', 'поэтому'; tatmedeune (в значении 'и по этой причине') является сослагательным наклонением непереходной формы глагола tatme 'быть таковым'; наречие 'опять' используется в значении нашего союза 'и': titel jaxteŋi ai ondoni 'они пели и танцевали'и т. д.[22] Ясно, что союзы появляются в языках в зависимости от их синтаксических потребностей, от строя предложения. Обогащение словаря в порядке требований лексической семантики тут ни при чем.

Морфемами оказываются и некоторые показатели лица, обычно относимые к числу местоимений, что и в этот раз также совершенно правильно отмечается Вандриесом.[23]

Обратимся к французскому языку, который явно выделяет целый ряд морфем, ошибочно относимых к местоимениям. Так, школьная грамматика различает две разновидности личных местоимений: во-первых, moi, toi, lui 'я, ты, он' и, во-вторых, je, tu, il 'я, ты, он'. Между тем второй ряд местоимений используется только при глаголе и самостоятельной лексической единицей не выступает. Возьмем для примера глагол «читать». В латинском языке этот глагол изменяется по лицам флективно, так же как и в русском языке: leg-o 'чита-ю', leg-is 'чита-ешь', leg-it 'чита-ет', тогда как во французском языке глагольная форма в ее современ-

---

[19] ЯПНС, III, с. 102.

[20] Богораз В. Материалы для изучения языка азиатских эскимосов.

[21] Примеры из одульского (юкагирского) бесписьменного языка даются мною в латинской транскрипции, принятой В. И. Иохельсоном.

[22] Jochelson W. Essay on the Grammar of the Jukaghir Language. — American Anthropoligist, 1905, vol. 7, № 2.

[23] Вандриес, с. 89—90.

ном употреблении флектирует в единственном числе лишь в письме, но не в произношении: je lis, tu lis, il lit в произношении везде li. Таким образом, лицо во французском глаголе живой речи передается не флективными приставками в конце слова, а указанными «местоимениями», которые, кроме своего препозиционного сочетания с глагольною формою, и не употребляются вовсе. Нельзя сказать moi dis, возможно только je dis.

Moi выступает во французском языке в качестве лексической единицы, в значении самостоятельного слова, относящегося к числу местоимений, тогда как je таковым не является. Оно не может выступать в предложении как самостоятельное слово, следовательно, не может быть и членом предложения, используемое в нем только в значении глагольного показателя лица. Тем самым устанавливается, что отмеченный ряд препозиционных личных показателей je, tu, il (elle), не поддающихся склонению,[24] служит одним из способов выражения субъекта в глаголе и поэтому должен быть отнесен к числу грамматических показателей.

Когда русский генерал периода наполеоновских войн (Ф. П. Уваров) на вопрос французского императора, кто командовал русскою конницею в блестящей кавалерийской атаке (которою он же, Уваров, и руководил), ответил Наполеону: «Je, Sire», — то за ним на всю жизнь сохранилось прозвище «генерала je».[25] Совершенно очевидно, что в данном случае русского генерала подвела школьная грамматика, причислившая указанные личные показатели je, tu, il к разряду личных местоимений.

Нужно оговориться, что все сказанное выше касается вовсе не всех местоимений. Местоимения в общем строе речи выступают как самостоятельные единицы. Это подтверждается не только материалами индоевропейских языков, но и многих других языков, во всяком случае тех, которые в той или иной степени входят в мой лингвистический кругозор. Языков, в которых не было бы местоимений первых двух лиц, мне не известно, и весь доступный изучению языковой материал не доводит нас до периодов языкового строя, лишенного дифференциации лиц. Тем самым я вынужден констатировать, что в дошедших до нас языках расчленение лиц уже имеется, следовательно, в них уже выявлено представление об индивидууме как части социального целого. Такое представление отразилось в языке образованием местоимений, передающих осознание лица в общественном коллективе. Естественно, что этот путь образования местоимений, обусловленный изменениями в социальном строе, должен был идти по линии расширения лексического запаса, поскольку само представление об индивидуализации лица вызывалось вовсе не требованиями синтаксиса.[26]

---

[24] Формы me, te, le рассматриваются мною как показатели объекта в глаголе же, а не как винительный падеж местоимений, о чем см. ниже, с. 68.

[25] Сборник биографий кавалергардов, 1801—1826 гг. СПб., 1906, с. 7.

[26] Подробнее см. в заключительной главе.

Приходя, таким образом, к выводу, что личные местоимения в индоевропейских языках (да и в целом ряде других языков) имеют все основания для отнесения их к частям речи, все же все сказанное выше относительно местоименных частиц французского языка je, tu, il остается в полной силе. Эти псевдоличные местоимения оказываются только глагольными личными показателями со специальным назначением оформителей лица. Следовательно, они не относятся к частям речи.

Правильность такого вывода не трудно подтвердить примерами. Обратимся к языкам русскому, французскому и луораветланскому-чукотскому. В русском *я хож-у*, *ты ход-ишь* имеются местоимения (*я*, *ты*) и глагольные окончания лица (*-у*, *-ишь*), самостоятельно оформляющие глагол с четким выявлением глагольного изменения по лицам. Глагольная флексия согласуется с местоимением как с подлежащим, оставаясь, в свою очередь, уточнителем лица действия (*хож-у* и без местоимения выражает 1-е лицо ед. числа). Ясно, что тут грамматическим показателем оказывается отмеченная выше флексия. Эта флексия, выражая в глаголе действующее лицо, тем самым придает глагольной форме значение (семантику) цельного предложения. Окончание *-у* в глаголе *хож-у* выражает логический субъект, заменяя грамматическое подлежащее, если оно специально не выражено отдельно поставленным местоимением. Таким образом, сохраняя служебную роль, показатель лица в одном случае замещает подлежащее (*хож-у*), а в другом согласуется в лице с подлежащим (*я хож-у*). В первом случае показатель лица выполняет ту же роль, как и местоимение, выражая логический субъект действия, но он тем не менее лексически не тождествен местоимению. То же самое можно сказать и про французские показатели лиц je, tu, il.

Во французском языке мы встречаемся с иным принципом глагольного построения. В нем je marche, tu marches (фонетически в обоих случаях march, так как глагол в ед. числе при его произношении не флектирует, давая одинаковые формы je march, tu march) изменяются по лицам служебными приставками je, tu. Эти специально глагольные приставки выражают логически действующее лицо (логический субъект), так же как и русское *хож-у*, но не флексией в конце слова, а приставкою в начале его. И во французском языке je marche, равно как и русское *хож-у*, может быть понято как цельно выраженное предложение. Отсюда, вероятно, и получилось восприятие приставок je, tu, il как самостоятельных слов.

В луораветланском (чукостком) языке глагол префиксирует личный показатель: *ты-чейвы-ркын* ‘я хожу’, *чейвы-ркын* ‘ты ходишь’. В нем выделяются основа (*чейвы*), глаголообразующий суффикс (*ркын*) и префикс лица (*ты*) в 1-м лице и нулевой во 2-м. И здесь, при отсутствии отдельно стоящего местоимения, мы получаем цельно выраженное предложение. Различие чукотского построения от русского *хож-у* состоит в постановке показателя лица

в начале или конце глагола, от французского же оно отличается только тем, что в чукотском налицо одно слово *тычейвыркын*, тогда как во французском их два: je march(e). В действительности же здесь нет и этого расхождения, так как в чукотской глагольной форме наряду с глаголообразующею приставкою *ркын*, выделяющею в данном случае лексическую категорию глагола как части речи и потому являющеюся лексемою, имеется еще и особый показатель изменения глагола по лицам, т. е. *ты*.

Отсюда легко прийти к выводу о том, что чукотское *ты* выступает в том же синтаксическом значении, как и французское je.

Что же касается манеры написания, слитно в чукотском и раздельно во французском, то это можно отнести за счет «научной техники орфографии», т. е. за счет искусственной разбивки с выделением грамматического показателя во французском языке в отдельное слово. На самом же деле и во французском языке имеется одно слово jemarch. Тут je, не являясь отдельной лексической единицей, не имеет права на самостоятельное написание. Что это именно так, видно хотя бы из того, что во французском языке личным местоимением 1-го лица служит moi, а вовсе не je, так же как и в чукотском 1-м лицом местоимения будет *гым*, а не *ты*.

Подводя итог всему сказанному о местоимениях и личных показателях, нетрудно установить функциональное различие приведенных выше слов и оформителей. Обратимся для этого к анализу сходной фразы в построении трех различных языков:

1) русск. *я хож-у*
2) франц. moi je march (e)
3) чукотск. *гым ты-чейвыркын*

Русскому *я* соответствует французское moi и чукотское *гым*. Это будут местоимения как самостоятельные слова (лексические единицы). С другой стороны, русскому показателю лица, окончанию *-у*, соответствует во французском префикс je и в чукотском префикс же *ты*.[27]

Такие сопоставления, основанные на функциональном тождестве приставок (русск. *-у*, франц. je, чукотск. *ты*), приводят еще к одному коррективу, в данном случае уже терминологическому. Эти сопоставления, сами по себе, указывают на то, что отделять префикс-корень-суффикс как основу от окончания, как показатель синтаксических отношений, можно только в русском языке (в пределах приведенных примеров). Для целого ряда других языков, в том числе и чукотского (ср. то же во французском), такое определение элементов речи оказывается неприемлемым уже по одному тому, что в них грамматические отношения выражаются префиксами. Различные языковые системы могут различными способами удовлетворять сходные потребности лексических и синтаксических заданий.

---

[27] См. о том же: Мейе, с. 359—360.

Продолжая в том же направлении анализ лексем и синтаксем, можно установить, что целый ряд формально сходных оформителей выступает в различном значении при их употреблении в том или ином случаях. Так, мы уже видели что приставки *при*, *у*, *под* и т. д. в одном случае выступают как семантические уточнители имен (*приход*, *уход*, *подход*), а в другом случае используются как синтаксемы (*при доме*, *у дома*, *под домом*). То же самое придется сказать и об отрицательной частице «*не*». В качестве лексемы при именах эта частица дает новое семантическое содержание имени (*приятель*, *неприятель*), при глаголе же она может и не образовывать нового слова, лишь оттеняя характер действия или состояния (*хожу*, *ходил бы*, *ходи*, *не ходи* и т. д.).[28]

Роль отрицательных частиц при глаголе особенно ясно выступает в тех языках, в которых отрицательный показатель глагола является не чем иным как аффиксом, вставляемым для уточнения действия глагола в саму глагольную форму. Сошлемся хотя бы на юитский (азиатско-эскимосский) язык: *токо-та-ка-мкин* 'я убивал тебя' и *токо-нри-та-мкин* 'я не убивал тебя' и др. В одульском (юкагирском) языке префиксируется в том же значении частица el: xon-ʒe 'я иду', xon-ʒek′ 'ты идешь', el-xon-ʒe 'я не иду', el-xon-zek′ 'ты не идешь'.

Синтаксическое значение указанной отрицательной частицы в том же одульском языке выступает не только в одной ее формальной стороне, как показателя глагольной формы, выраженного путем префиксации. Отрицательная форма глагола отражается на самом словосочетании внутри предложения. Так, переходные глагольные формы в одульском языке при отрицательной приставке получают непереходное оформление, что вполне объяснимо изменением направленности глагола на объект: отрицательные формы отрицают переход действия на объект и тем самым становятся непереходными.

Обратимся к самому материалу, и для подтверждения только что изложенного положения приведем одульские (юкагирские) глагольные переходные и непереходные формы, положительные и отрицательные:

Переходные формы

min	'я беру'
min-mik′	'ты берешь'
el-min-ʒe	'я не беру'
el-min-ʒek′	'ты не берешь'

Непереходные формы

xon-ʒe	'я иду'	положительные формы
xon-ʒek′	'ты идешь'	

[28] Jespersen O. The Philosophy of Grammar. London, 1935, pp. 322—337.

el-xon-ʒe	'я не иду'	отрицательные
el-xon-ʒekʹ	'ты не идешь'	формы

Из приведенной таблицы видно, что положительные формы переходных и непереходных глагольных построений получают различные суффиксы лица, тогда как личные окончания в отрицательных формах и тех и других сходны, причем они тождественны с показателями лица положительных непереходных форм. Такие построения можно объяснить значением глагола в предложении, а именно его отношением к объекту. «Я иду» и «я не иду» оба семантически не требуют объекта, тогда как «я беру» и «я не беру» в этом отношении в юкагирском языке различны. Первое оказывается переходным, а второе непереходным.[29]

Что семантика глагола в данном случае остается тою же, прекрасно прослеживается на целом ряде других языков, например яфетических Кавказа. В некоторых из них глагол, даже переходный по своей семантике, получает непереходную форму, когда объект отсутствует во фразе. Так, в абхазском языке s-ɣ̮oyt 'я пишу' имеет непереходное построение (ср. s-ϑoyt 'я иду'), в котором оно и используется, когда особо не указывается, что́ именно пишется. Если же в предложении стоит объект, то тот же глагол получает переходную форму: amɣ̮kwa i-z-ɣ̮oyt 'письмо его-я-пишу'.[30] Ясно, что форма глагола меняется здесь не от изменения его значения как лексической единицы, а от наличия или отсутствия объекта действия во фразе, т. е. в зависимости от синтаксиса и от степени отвлеченности действия, выражаемого глаголами в данном контексте фразы.

Такое же толкование применимо, мне кажется, и к тем языкам, в которых школьная грамматика требует самостоятельного (раздельного) написания отрицательных частиц при глаголах, например в русском *я беру* и *я не беру*.[31] Возможно, что различное отношение к объекту, в смысле направленности на него действия или отрицания таковой, выявляется и в русском языке, а именно в постановке объекта при положительной форме в винительном падеже, а при отрицательной — в родительном. Поскольку в русском языке объектным падежом оказывается винительный, постольку же можно, казалось бы, прийти к выводу, что и в этом

---

[29] Ср. ненецкий язык, в котором отрицательных частиц нет вовсе. В нем имеются отрицательные глаголы. Одним из них является глагол «отсутствовать, не иметься». Глагол этот изменяется по лицам и временам. Название предмета или лица, об отсутствии которого сообщается в отрицательном предложении, ставится в форме именительного падежа: «дерево отсутствует», «лодка отсутствует» и т. д. См.: Прокофьев Г. Н. 1) Самоучитель ненэцкого языка. М.—Л., 1936, с. 13; 2) Ненецкий (юрако-самоедский) язык. — ЯПНС I, с. 44—45.

[30] См.: Новое учение, с. 166. Примеры из абхазского языка даны в аналитической транскрипции Н. Я. Марра.

[31] Любопытно отметить, что отрицательные формы глагола А. А. Потебня писал слитно; см.: Мысль и язык. Одесса, 1922, где соблюдена орфография автора.

языке отрицательные формы лишены прямого объекта (прямого дополнения). Если это действительно так, то данное построение, равным образом, приходится отнести не за счет изменения глагольной семантики, а за счет особенностей синтаксического построения. Отсюда можно заключить, что и в русском языке отрицательная частица *не* при глаголе близка к синтаксеме.

Расширяя обзор материала в том же направлении, нелишним будет вспомнить утверждение Вандриеса о том, что во французской фразе je ne l'ai pas vu ('я его не видел'), в которой школьная грамматика насчитывает шесть отдельных слов, в действительности, по мнению французского ученого, налицо только одно слово, но сложное, образованное из ряда морфем, переплетенных одна с другой.[32] При таком толковании придется признать, что во французском языке и объектный показатель (le) оказался морфемою.

В развитие высказанного положения, независимо от выводов Вандриеса, сопоставим два построения, одно из юитского (эскимосского) языка и другое — только что приведенное французское:

юитск. *токо-нри-та-ка* 'я не убивал его'
франц. je ne l'ai pas vu '» не видел »'

Первое из них пишется слитно, одним словом, с заключенными в нем показателями: *нри* — глагольное отрицание, *ка* — показатель действия субъекта 1-го лица на объект в 3-м лице ('-я -его'). Второе построение имеет раздельное написание тех же компонентов. Из них je, как мы видели, является глагольным показателем лица; ne — выражает отрицание. Остается показатель объекта le, воспринимаемый как местоимение. Но и он, в глагольном построении, имеет свои особенности.

Синтаксис французского языка оттеняет объект постановкою его после глагола: nous avons vu un cheval ('мы видели лошадь'). Между тем объектный местоименный показатель в глаголе не следует этому правилу. Нельзя сказать nous avons vu le, можно сказать только nous l'avons vu ('мы его видели'). Местоименный объектный показатель в данном случае следует своим правилам, сливаясь с глаголом, что наиболее ясно выступает в отрицательных формах, о которых только что говорилось выше. Отрицательный показатель оказывается стоящим после личного показателя в начале всего комплекса, в который включается и объектная частица: je ne l'ai pas vu ('я его не видел'). В таком построении мы имеем не что иное, как субъектно-объектное выражение (указание в глаголе на субъект и объект своими особыми показателями), примерами которого изобилуют североазиатские языки и кавказские яфетические, в особенности северокавказские; ср. чукотск. *ты-пэля-ркын-э-гыт* 'я-покидаю-тебя', даргинск. *ха-б-уши-ра* 'убил-(срубил)-его-я' и т. д.[33]

---

[32] Вандриес, с. 89; ср. Мейе, с. 359—360.

[33] Классный показатель *б* в этом глаголе указывает на направленность действия на объект пассивного класса. Субъектно-объектные построения

Если оставить в стороне требование школьных грамматик, как это делает Вандриес, то мы не увидим большой разницы между чукотским глаголом *ты-пэля-ркын-э-гыт* 'я покидаю тебя' и французским je te quitte. Оба они содержат указание на субъект действия и на объект, на который оно направлено. Оба они используют специфические «местоименные» приставки, возможные в глагольном сочетании, но не употребляемые самостоятельно (je вместо moi 'я' во французском, *ты* вместо *гым* 'я' в чукотском).[34] Что же касается русского языка, то в нем та же фраза дает иное субъектно-объектное выражение. В нем показателем лица оказывается лишь глагольное окончание *-ю* (*покида-ю*). Следовательно, глагол передает только действующее лицо, повторенное, к тому же, отдельно поставленным местоимением, эквивалентом французского moi и чукотского *гым*. Объект же в нем, равным образом, выражен местоимением, стоящим в винительном падеже как самостоятельное слово в предложении. Это местоимение, вопреки французскому соответствию, связано с глаголом лишь смыслом фразы, выступая в ней в качестве самостоятельного члена предложения. В русском языке возможна перестановка слов: *я покидаю тебя, я тебя покидаю*, не допустимая во французском je te quitte.

Что касается временны́х показателей, то вопрос о них оказывается не менее сложным. Представление о времени налично во всех известных мне языках, но выражение его далеко не везде однообразно. Исходя из строя речи индоевропейских языков, принято считать, что временно́й показатель свойствен специально глаголу и является одним из характерных признаков этой части речи.[35] Это утверждение, правильное для целого ряда языковых групп, в том числе и для индоевропейской, оказывается в то же время вовсе не всеобщим. Оно неприемлемо для ряда других языков. Так, например, в унанганском (алеутском) языке, как это устанавливает В. И. Иохельсон, по временам может изменяться и имя существительное: ср. переходную форму глагола с притяжательною частицею *н'* от основы *су* в давнопрошедшем времени (с его показателем *к'а*): *су-к'а-н'* 'я взял давно'и суще-

---

глагола во французском языке, до сих пор не сопоставлявшиеся с такими же в кавказских и др., имеют во французском свои особенности, анализ которых предоставляю романистам. Все же могу отметить, что в яфетических кавказских языках, хотя и далеко не во всех, субъектно-объектные построения глагола допускаются во всех трех лицах. Во французском же они выступают только при отсутствии отдельно стоящего во фразе объекта (прямого дополнения), причем при наличии во фразе отдельно стоящего субъекта (подлежащего) в 3-м лице глагол утрачивает и субъективный показатель.

[34] Ср. Мейе. Анализом сходных построений утверждается, что «французское слово одно, так как ни один из трех его элементов, которые только по традиции пишутся отдельно, не имеет ни собственного смысла, ни отдельного существования»; в число приводимых примеров А. Мейе включает и выражающие объект (Введение в сравнительное изучение. . ., с. 359—360).

[35] См.: Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, с. 162.

ствительное *к'а* 'рыба', 'еда' в том же давнопрошедшем времени: *к'а-к'а-х'* 'прежняя еда' и т. д.[36] *

Некоторые языки не имеют временно́го показателя не только в имени, но и в глаголе. Так, одульский (юкагирский) передает в глаголе лишь результативность действия: met' kudede 'я убил' и 'я убиваю' (с достижением результата), met' kudedet' 'я убью'. Понятие времени передается в этом языке наречиями: «когда», «скоро», «давно», «завтра», «недавно», «вчера», «после» и др. Все эти наречия ставятся непосредственно перед глаголом и функционально близки к префиксам.

Здесь мы имеем не изменение глагола по времени, а конкретизацию его действия во времени при помощи значительного количества наречий. Последние тем самым как бы приобретают характер уточнителя глагольной семантики в контексте фразы, передавая представление о действии-состоянии во времени. В других языках, наоборот, время конкретизируется в самом глаголе с большою точностью, так, например, в унанганском (алеутском) языке для одного будущего времени различаются будущее неопределенное *су-дукаку-к'ин'* 'я возьму' (с оттенком долженствования или возможности совершения в будущем); *су-н'ан аг'нак'ин'* 'я возьму' (потом когда-нибудь); *су-н'ан аг'икук'ин'* 'я сейчас возьму' и т. д.

Многие специалисты, работая над материалами отдельных языков, приходят к определенному выводу о том, что времена в глаголах сравнительно новы по своему происхождению.

Временно́му делению, по их словам, предшествует выражение в глаголе завершенности и незавершенности или результативности действия, степени его длительности.[37] Временны́е отношения сравниваются с пространственными отношениями.

Эти утверждения целого ряда лингвистов можно развить, используя данные многих языков, в частности, правильность делаемых выводов подтверждается приведенными выше примерами из одульского (юкагирского) языка. Действительно, одульский глагол оттеняет результативность действия, оставляя за наречиями конкретизацию действия-состояния во времени. Используемый без этих наречий глагол, тем самым, вовсе не передает

* Суффикс *к'а* в существительном *к'а-к'а-х'* 'прежняя еда', действительно отождествляется с суффиксом *к'а*, образующим форму прошедшего времени глагола. Однако положение В. И. Иохельсона о том, что в данном случае он образует также форму прошедшего времени имени, нельзя признать справедливым, поскольку в алеутском языке нет каких-либо других временны́х форм имени. В алеутском, как и в эскимосском, по временам изменяются лишь отыменные глаголы, образованные при помощи словообразовательных суффиксов (см. примеч. редколлегии на с. 139).

[36] Иохельсон В. И. Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка. — ИАН, 1912, с. 1040. Ср. временной падеж имен существительных в юкагирском языке: Иохельсон В. И. Одульский (юкагирский) язык. — ЯПНС, III, с. 163, 178, §§ 24, 75.

[37] Вандриес, с. 99 и сл.; Жирмунский В. М. Развитие строя немецкого языка. — ИАН, 1935, № 4, с. 370 и др.

временны́х категорий. Даже материал современных индоевропейских языков в их историческом анализе вскрывает в этом направлении большое количество архаизмов.

Лично мне кажется, что в человеческом сознании могли создаться представления о действии и состоянии во времени как совершенно самостоятельные понятия, и глаголы в настоящем и прошедшем времени могли различаться как отдельные слова. В результате этого глагол в настоящем времени и глагол в прошедшем образовывались от своих самостоятельных основ, что в итоге исторического процесса, когда временной показатель качественно изменился, став показателем действия и состояния во времени, дало ряд супплетивных глагольных форм. Это прослеживается и в русском языке, в котором, например, настоящее и прошедшее времена от глагола *идти* образуются от разных основ (*я иду*, *я шел* и т. п.).

В современном состоянии русской речи мы имеем в этих формах различные временны́е выражения одного и того же глагола, но в прошлом можно представить себе иное положение, а именно два разных глагола, семантически разделявшихся восприятием состояния или действия в настоящем и прошлом.

Тогда такое семантическое разделение шло по лексической линии. Выделялись два различных глагола. Теперь же, при ведущей в русском языке характеристике глагола по временны́м отношениям, обе когда-то лексически различные единицы соединились для передачи временны́х отношений одной и той же глагольной семантики.[38] Новое качество глагола дало в результате супплетивные формы. Этому содействовали диалектическое единство слова и предложения и качественные изменения строя речи.

В одульском (юкагирском) языке мы видели обилие наречий, обозначающих время, место и способ действия. Но все эти наречия употребляются только при глаголе, и их, по утверждению В. И. Иохельсона, можно рассматривать как префиксы. Говорить о них как об отдельной части речи при таких условиях весьма затруднительно. Материал одульского языка вскрывает прошлое этих наречий-префиксов. Они являются иногда простыми корнями, например tā, tī, 'там, здесь', другие образованы из этих корней, например tāt', tīt' 'оттуда, отсюда', и оказываются не чем иным, как творительным падежом от tā, tī. Другие образованы от имен существительных и наречий: ŋacin 'против', сокращением от ŋaceŋin (дательный падеж от ŋace 'лицо'); irkin 'только' является просто числительным 'один'; comon 'очень' образовано от como, представляющего собою основу непереходного глагола 'быть большим'.[39]

---

[38] Ср. у А. М. Пешковского, который относит к числу синтаксических категорий в русском языке также категории лица, числа, рода, времени и наклонения глаголов (Русский синтаксис в научном освещении, с. 60).

[39] Jochelson W. Essay on the Grammar of the Jukaghir Language; Иохельсон В. И. Одульский (юкагирский) язык, с. 178, §§ 71—74.

Учитывая эти указания на генезис одульских приставок-наречий, можно прийти к выводу, что процесс развития данного языка обратил отдельные слова в служебные частицы.

Другое дело — наречия в индоевропейских языках. Под ними понимаются слова, обозначающие как представления о качествах-свойствах, так и представления об отношениях, мыслимых не атрибутивно, а обстоятельственно, т. е. дающих самостоятельное представление.[40] Согласно этому определению, наречия как имеющие самостоятельное содержание, передающее определенное представление, должны быть отнесены к лексическим категориям. Однако они оказываются лексическою единицею (словом) не по одной только формальной стороне, но и по функции.

Одни и те же грамматические категории могут, как мы видели, получать в различных языках свои специфические оттенки, то сближаясь с синтаксическими показателями (юкагирский-одульский язык), то получая бо́льшую самостоятельность лексической единицы (индоевропейские языки). Здесь формальная сторона в значительной степени обусловливается содержанием и функциею разбираемого языкового элемента. Что относится к синтаксису и что в той или иной степени обосабливается лексически, это выясняется на конкретных материалах отдельных языковых группировок.

Когда оставляются без внимания специфические особенности изучаемого языкового строя и не обращается должного внимания на лексическую и синтаксическую значимость прослеживаемого языкового явления, то получается, как общее правило, нечеткость и сбивчивость в даваемых определениях тех или иных грамматических категорий. Не получается точности и в общих определениях. В подтверждение только что сказанному я остановлюсь сейчас еще на одном достаточно ярком примере, подтверждающем необходимость взаимного учета лексических и синтаксических функций для выяснения различия в способах выражения наличных в языке грамматических норм. Это и является основною задачею настоящей главы. Речь будет идти о залогах.

О залогах писалось много. И все же общего, безукоризненно точного определения их не дано. Когда же выработавшееся на материалах индоевропейских языков представление о залогах стало применяться к иноструктурным языкам, получилась полная растерянность. Неуспех в разрешении этого вопроса, занимающего, казалось бы, достаточно видное место в грамматиках, объясняется, мне кажется, отмеченными выше недочетами методологического подхода.

Залоговое изменение глагола обычно связывается с синтаксисом, но само понятие залога не четко. В целом ряде грамматик глагол выделяется как часть речи, характеризуемая изменением по лицам, числам, временам, наклонениям, видам и залогам.

---

[40] Шахматов, 2, с. 94.

Из всех перечисленных грамматических изменений глагола наименее ясное определение дается именно залогам. Так, например, В. А. Богородицкий классифицирует глаголы на роды, или залоги, соответственно различной природе действия и, следовательно, реальному значению самих глаголов.[41] Такое определение, связанное с «реальным значением глагола», указывает более на лексическую его сторону, чем на синтаксическую, ввиду чего отнесение залога в один ряд с изменением по лицам и числам само по себе представляется уже неправильным, поскольку последние оформляют глагол по его согласованию с подлежащим, т. е. по линии синтаксической. Получилось, таким образом, объединение в один ряд явлений различного порядка.

Не вполне удачным представляется мне также и определение залога, даваемое А. А. Шахматовым. В параллель к личным глагольным окончаниям, выражающим категорию субъекта, он выдвигает залог как выразитель отношения признака к объекту. Таким образом, категория залога оказалась категориею объекта, которая вместе с личным спряжением входит тем самым в область синтаксиса. Такое определение залога, как увидим ниже, не свойственно целому ряду языков, что видит и сам А. А. Шахматов, ссылаясь на некоторые языки, в которых категория объекта находит себе выражение, сходное с выражением субъекта (языки венгерский, мордовский и др.).[42]

Несколько иное понимание залога дает Ж. Вандриес, усматривающий в залоге особый оттенок глагольного действия в его соотношении с подлежащим.[43] Такая характеристика залога относит его уже всецело к синтаксическим категориям. Но и здесь Вандриес, как и в других местах своей работы, относится крайне скептически к существующей терминологии. По его словам, «различие глаголов действительного залога от глаголов страдательного залога в большинстве индоевропейских языков иллюзорно, так как страдательный залог почти никогда не противостоит действительному залогу». Из дальнейшего его изложения явствует, что и он рассматривает глагольные залоги с их лексической стороны (со стороны содержания самого глагола), а не синтаксической. Он говорит о глаголах действительного залога и о глаголах страдательного залога, а не о действительном и страдательном залогах глагола.[44]

Определению залога как явления синтаксического порядка противоречат действующие школьные грамматики, предусматривающие шесть залогов: действительный, страдательный, средний, возвратный, взаимный и общий. В. А. Богородицкий, со своей точки зрения, совершенно правильно возражает против такого

---

[41] Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, с. 162 и сл.
[42] Шахматов, 2, с. 61—62 и сл.
[43] Вандриес, с. 102.
[44] Там же, с. 103.

шестичленного деления, отмечая в нем объединение неравноправных между собою глагольных построений. Он выделяет два основных залога, а именно действительный и средний, в зависимости от того, как мы представляем себе действие, совершаемым ли над каким-либо предметом (*читаю книгу*) или же без отношения к какому-либо объекту (*иду, лежу*). Исследователь в данном случае свел все залоги к двум основным, причем эти два основных залога оказались лишенными своего синтаксического характера. Это ясно следует из самого хода рассуждений В. А. Богородицкого, перешедшего от залогов к лексическим вообще разновидностям глаголов, связанным с их содержанием. Автор «Общего курса русской грамматики» относит к действительному залогу переходные глаголы, а к средним причисляет глаголы непереходные. «Мы можем, — говорит В. А. Богородицкий, — назвать эти два рода глаголов глаголами действия и глаголами состояния. Точнее — глаголами действия переходного и непереходного, присоединяя к последним глаголы состояния как только непереходные».[45]

В. А. Богородицкий, незаметно для самого себя, перешел от залогов к разновидностям глаголов по их семантике, в связи с чем и сам термин «залог» оказался замененным другим (роды глаголов). Сведя все залоги к переходным (действительным) и непереходным (средним) глаголам, исследователь тем самым аннулировал понятие залогов вообще. В явном противоречии с этим стоит его же заключение о том, что «так как действительный залог обозначает действие, которое производится субъектом над кем или чем-либо, то ясно, что то же самое действие может быть представлено также и со стороны испытывающего его объекта (например: *отец наказывает сына* // *сын наказывается отцом*). . . Итак, страдательный залог может рассматриваться как параллельный или дополнительный к действительному. . . Вот почему учение о страдательном залоге в русском языке в значительной мере относится к синтаксису».[46] В этой формулировке мы имеем уже трактовку не о действительных (переходных) глаголах и средних (непереходных), а о действительном и страдательном залогах переходных глаголов, являющихся различными синтаксическими построениями.

Действительный залог в данном случае отождествляется с действительными (переходными) глаголами и в то же время противополагается страдательному залогу как своему синтаксическому антиподу. Таким образом, под одним термином (глаголы действительного залога, действительные глаголы и действительный залог) оказались искусственно объединенными явления совершенно различного порядка.

---

[45] Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, с. 163 и примеч.

[46] Там же, с. 165—166.

Страдательный залог рассматривается В. А. Богородицким как «параллельный или дополнительный к действительному», и учение о страдательном залоге отнесено им к синтаксису, между тем действительный залог противопоставляется им же среднему, но на этот раз уже не синтаксически, а семантически. Семантическое, а не синтаксическое, их различие ясно выступает при формальном их анализе. Такие русские фразы, как *я иду* и *я беру*, ничем не различаются, ни личными окончаниями, ни согласованием с подлежащим. Различие их заключается в семантике глаголов (один не требует объекта, другой требует его). Этим и устанавливается противоположение переходных глаголов непереходным, тогда как действительный залог и страдательный различаются не только своим оформлением, но и строем предложения, а именно — то, что при первом является грамматическим объектом, оказывается при втором подлежащим (*рабочие строят дом//дом строится рабочими*).

Категория залога в данном случае устанавливается как различное оформление одного и того же глагола, требующее различного построения предложения согласно особенностям его содержания.[47] При таком синтаксическом определении залога придется в пределах только что рассмотренного материала признать залогами только действительный и страдательный в пределах переходных глаголов, семантически отличаемых от глаголов непереходных.

В развитие нашей мысли следует прежде всего остановиться на том, что в индоевропейских языках переходность действия на объект и непереходность его распределяют глаголы на группы лексического порядка, поскольку переход действия на объект или отсутствие такого перехода связаны в этих языках с семантикою данного глагола, а не с формальным изменением согласно роли глагола в предложении. Подходя к этим глаголам с указанной точки зрения, придется признать, что глаголы переходные («действительные») и непереходные («средние», тут же и «глаголы состояния»), характеризуемые по их семантике, изъемлются из залогового деления.

Чтобы убедиться в правильности только что высказанного положения, достаточно выйти за традиционные рамки индоевропеизма и обратиться к тем языкам, которые, как общее правило, игнорируются курсами общего языкознания, построенными, также как общее правило, на материалах индоевропейских языков. Так, в яфетических языках Кавказа, кроме глаголов переходных и непереходных, наличны еще так называемые глаголы чувственного восприятия (verba sentiendi). Все эти три основные разновидности глаголов требуют каждая постановки субъекта действия в различных падежах. Обратимся к примерам из даргинского языка.

---

[47] Ср.: Jespersen O. The Philosophy of Grammar, pp. 164—168.

1) *нуни тупанг баршира* 'я зарядил ружье'. Переходный глагол *баршира* личным окончанием *ра* согласован с субъектом, стоящим в орудийном падеже *ну-ни*. Объект *тупанг* стоит в именительном-абсолютном. Буквально: 'мною ружье зарядил-его-я'.

2) *Гьит вашар* 'он ходит'. Непереходный глагол *вашар* согласован в лице с субъектом *гьит*, стоящим в именительном-абсолютном падеже. Буквально: 'он ходит'.

3) *Нам гьит игулла* 'я его люблю'. Verbum sentiendi *игулла* согласован в лице с субъектом *нам*, стоящим в дательном падеже при объекте *гьит* в именительном-абсолютном падеже. Буквально: 'мне он люблю-я'.

Каждый глагол в приведенных трех примерах, будь то переходный, непереходный или verbum sentiendi, связан с особой конструкцией предложения. Verba sentiendi, конечно, не являются залогом, но в той же степени и по тем же основаниям не могут быть причислены к залогам и только что упомянутые глаголы «действительные» и глаголы «средние», иначе называемые глаголами переходными и непереходными.

Такие же сомнения в правильности отнесения к залогам возникают у меня и относительно взаимного залога в его обычном понимании по отношению к целому ряду языков. В русском языке он, равным образом, зависит от семантики самого глагола. В русской фразе *я сражаюсь с врагом* наличен непереходный глагол, выражающий взаимность действия, так же как в предложении *я сражаю врага* имеется переходный глагол, определяемый как таковой по своей семантике. Мы имеем здесь две семантические разновидности глаголов *сражать* (в значении *побеждать*) и *сражаться* (в значении взаимной борьбы: *сражать себя с кем-то*). Один из них, переходный, требует прямого дополнения, другой, непереходный, сопровождается во фразе косвенным дополнением. Строй предложения в данном случае, так же как и в приведенных примерах из яфетических языков, зависит от содержания и связан с глаголом.

В даргинском предложении *нам гьит игулла* 'я его люблю' наличие глагола «любить» вызвано смыслом самой фразы, ее содержанием, а не формальною стороною. Оказавшись во фразе, этот глагол *игулла* требует постановки субъекта в дательном падеже (*нам*). Следовательно, дательный падеж субъекта является синтаксемою, обусловленною не семантикою слова «я», а строем предложения, в котором присутствует verbum sentiendi. Равным образом, предложный падеж *с врагом* появляется в русской фразе *я сражаюсь с врагом* в зависимости от глагола *сражаться*, т. е. окажется тоже синтаксемою, тогда как глагольная приставка *ся* будет лексическим определителем глагола *сражаться* в его семантическом отличии от глагола *сражать*, хотя бы и того же корня.

То же самое придется сказать и про возвратный залог, который придает активно-пассивное значение субъекту (действие исходит

от него и возвращается на него же), но сам в своем оформлении не зависит от синтаксиса. Лексическая обособленность возвратных глаголов отчетливо выступает при параллельном сравнении ряда общих по корню глаголов, хотя бы по материалам русского языка. Так, например, глагол *строиться* может выступать как страдательный залог от глагола *строить* (*дом строится рабочими*), и в таком случае частица *-ся* окажется грамматическим оформлением глагола в порядке его согласования с подлежащим, обращенным синтаксически из agens (логический субъект) в patiens (логический объект). В связи с этим приставка *-ся* окажется синтаксемою (ср. *рабочие строят дом // дом строится рабочими*). Но тот же глагол может иметь совершенно иную семантику, когда он используется для обозначения возвратного действия, например в предложении *войско строится (в каре)*. В последнем примере глагол по своей семантике указывает на действие, исходящее от войска и совершаемое над ним же: войско строит само себя. Здесь формально непереходный глагол с возвратным значением. Формально непереходный потому, что он не требует после себя винительного падежа. В данном случае та же частица *ся* (возвратное местоимение) выявляет семантику возвратного глагола и оказывается тем самым уже лексемою.

Еще яснее можно проследить лексическую разновидность глагола в осложненной форме того же корня *построиться* (глагол совершенного вида), когда в него вкладывается содержание самостоятельного действия: *войско построилось в каре*. Здесь само войско оказывается субъектом, если же оно является объектом действия, то используется другая форма: *войско построено в каре комдивом*. Нельзя сказать *войско построилось в каре комдивом*, нельзя сказать именно потому, что *построить* и *построиться* являются лексически различными глаголами. Это не залоги, поэтому и приставка *-ся* в данном случае не служит синтаксическим оформителем.

Семантическая роль этой приставки выступает еще яснее в тех случаях, когда семантически последовательный ряд в истории своего развития дает в современном состоянии речи разрыв семантического хода, в результате чего получается слово с совершенно иным содержанием. Примером этого служат такие глаголы, как *поражать* (в значении *побеждать*, производное от глагола *разить*) и *поражаться* (в значении *удивляться*) и др., хотя бы семантическая преемственность и устанавливалась путем анализа; ср. *поражать кинжалом*, *поражать известием*, *поражаться известием* при невозможности такого построения как *поражаться кинжалом*. Едва ли может возникнуть сомнение в том, что приставка *-ся* в грамматически правильном использовании глагола *поражаться* выступает в качестве лексической морфемы.

Семантическое различие ясно выступает, когда от чисто формального анализа мы переходим к рассмотрению формы неразрывно с ее содержанием, причем нередко оказывается, что совер-

шенно сходные формы имеют различное содержание, улавливаемое уже контекстом фразы. В этом случае легче устанавливается лексическое и синтаксическое значение приставок. Так, например, глагол *рубиться* выступает в совершенно различных значениях во фразах: *войско рубится с врагом* и *лес рубится людьми*. В первом примере мы имеем глагол с семантикою взаимности действия, и в нем приставка *-ся* будет лексемою, тогда как во втором предложении выступает страдательный залог, при котором изменяется весь строй предложения, обращая предмет действия в грамматическое подлежащее при общем тождестве содержания глагола: *лес рубится людьми, люди рубят лес.*

Залоговое деление глаголов, устанавливаемое на индоевропейских языках формальным их анализом, оказалось, как мы только что видели, неясным благодаря смешению лексических и синтаксических формативов в одно целое, и Вандриес был совершенно прав, отметив это положение, основываясь на сравнительно узком материале обособленно взятой языковой группы. Но, с другой стороны, и сам Вандриес почти не выходит за пределы индоевропейских языков, ограничиваясь лишь редкими примерами из иностадиальных языков. Между тем, если глубже уйти в эти последние, то представление о залоге еще более осложнится. В этом нетрудно убедиться, если привлечь, например, горские яфетические языки Кавказа, в которых деление на залоги будет совершенно иным, чем в языках индоевропейской системы.

Применение к северокавказским языкам номенклатуры грамматических категорий индоевропейских языков вносит только путаницу. Так, известный исследователь кавказских языков П. К. Услар приходит к выводу, что в чеченском и аварском языках нет глаголов действительных, а имеются лишь глаголы средние и страдательные.[48] Он же устанавливает в лакском и даргинском языках разницу между глаголом страдательным, или средним, и глаголом действительным [49] и в то же время утверждает, что в даргинском языке «действительных глаголов собственно нет, но есть глаголы страдательные».[50] К этим средним и страдательным глаголам П. К. Услар прибавляет в даргинском, или, как он называет, хюркилинском, языке еще другие залоги (глаголы прочих залогов): понудительный, имеющий страдательный характер, возвратный, не представляющий ничего особого в своих формах, и взаимный, выраженный вставкою местоимений «одним один».[51] В лакском языке он же выделяет залоги особо: понудительный залог, возвратный залог и глаголы взаимные.[52] В аварском языке П. К. Услар рассматривает различные видоизменения,

---

[48] Услар П. К. 1) Аварский язык. — ЭК, III, с. 118, 123; 2) Чеченский язык. — ЭК, II, с. 64; 3) Хюркилинский язык. — ЭК, V, с. 70.
[49] Услар П. К. 1) Лакский язык, с. 80; 2) Хюркилинский язык, с. 70.
[50] Там же, с. 156.
[51] Там же, с. 204—206 и оглавление.
[52] Услар П. К. Лакский язык, с. 188—190.

залоги, в которых представляются его глаголы, а именно: выражающие повторность действия, продолжительность действия, изменение прежнего состояния предмета, понудительный, возвратный, взаимный.[53] В изложении строя чеченского языка, который, по его же словам, представляет разительное сходство с аварским, ничего не говорится о залогах, но зато перечисляются отдельные типы глаголов, в число которых попали глаголы средние, страдательные, вспомогательные, глаголы, обозначающие действие повторяющееся и одиночное, собирательные, возвратные, взаимные и т. д.[54]

Во всем этом распределении глаголов то по залогам, то по типам выступает терминологическая неясность и отсутствие точных принципов, лежащих в основе проводимой классификации. Встретившись с нечеткостью самого понятия залога и применяя его к тому же к языкам совершенно иной структуры чем те, на материалах которых устанавливалось данное понятие, исследователь-кавказовед и не мог дать какой-либо цельной и выдержанной картины.

Не касаясь всех затронутых языков Северного Кавказа и приводя весь краткий обзор их лишь с целью показа неустойчивости в определении залога, я ограничусь сейчас только несколькими наметками по пути возможного разрешения безусловно спорного вопроса. Так, прежде всего, можно указать на то, что в даргинском языке так называемые средние и страдательные глаголы [55] представляют собою не что иное, как непереходные по своей семантике глаголы с псевдо-номинативным строем спряжения и переходные (тоже по семантике) с эргативным построением.[56]

Это во всяком случае не залоги. Зная, например, что глагол «любить» (пример см. выше) относится к verba sentiendi (глаголы чувственного восприятия), мы ожидаем постановку при нем логического субъекта в дательном падеже. Таким образом, глагол этот, по своей семантике попадая в определенную группу, обусловливает структуру предложения, а не наоборот. Возвратный залог в том же даргинском языке ничем не отличается от переходного, передавая описательно возвращение действия на субъект без изменения глагольной формы: *нуни ну гарвякьилла* 'я сам себя похвалил', букв. 'мною я похвалил-я' ('я меня похвалил'). Следовательно, и он не носит залогового характера, оставаясь в обычной форме переходного глагола. Взаимный залог, равным образом, представлен описательно прибавлением местоимения в орудийном и именительном-абсолютном падежах: *цали ца* 'одним один'; *нуша цали ца дуцилла* 'мы друг друга поймали (схватили)'. И здесь форма самого глагола не подвергается какому-

---

[53] Услар П. К. Аварский язык, с. 195—200.
[54] Услар П. К. Чеченский язык, с. 64, 98—104.
[55] Услар П. К. Хюркилинский язык, с. 156.
[56] Об эргативном построении подробнее см.: Новое учение, с. 162 и сл.

либо залоговому изменению. Залога тут как такового по существу нет.

Синтаксическое изменение глагола мы найдем в горских яфетических языках скорее всего в таких построениях, как постановка переходного глагола в непереходной (безобъектной) форме при отсутствии объекта во фразе. Тут строй предложения влияет на оформление глагола, а именно отсутствие объекта во фразе отражается на глагольном построении. Так, например, в абхазском языке переходный по своей семантике глагол ɣoyt 'писать' получает показатели субъекта и объекта, когда оба они наличествуют во фразе ашɣ kwa i-z-ɣoyt 'письмо его-я-пишу'. В том же случае, если предмет действия во фразе отсутствует, то тот же глагол сохраняет только субъективный показатель s-ɣoyt' пишу' (вообще). В данном случае переходный по семантике глагол обращается, при отсутствии объекта во фразе, в непереходный,[57] и такое его изменение придется отнести за счет синтаксиса, а не глагольной семантики. С точки зрения синтаксиса мы имеем тут залог, но этот залог не подходит ни под одно определение залога, делаемое по материалам индоевропейских языков. Указанные изменения абхазского глагола скорее всего можно было бы назвать субъектно-объектным и субъектно-безобъектным залогами переходных по семантике глаголов.

Сходное явление можно проследить и в ряде североазиатских языков, в частности в эскимосском, унанганском (алеутском). Переходный по семантике предикат может иметь в этом языке согласование и с субъектом и с объектом или только с субъектом. В последнем случае субъект и объект оба ставятся в одном и том же прямом падеже, с которым совпадает и глагольная форма, если действие происходит в 3-м лице: *адах' нух' анукух'* 'отец камень бросает'. В первом случае субъект ставится в относительном (притяжательном) падеже, и предикат оформляется по другому (притяжательному) строю: *адам анукӯ* 'отец бросил-его', буквально: 'отца бросание-его'. Меняется вся структура предложения, изменяется и форма предиката. Следовательно, мы имеем в этих примерах синтаксическое изменение, поскольку семантика предиката остается тою же, тогда как меняется форма предиката по синтаксическому заданию.

Изменение глагола по числам теснейшим образом связано с синтаксическою ролью самого глагола как предиката, согласованного с субъектом или объектом в зависимости глагольного строя. Сам же глагол, по своей семантике выражающей действие-состояние, не имеет числа вне предложения. Это наиболее ясно выступает в глаголах личного спряжения. Получая личные окончания, глагол во флективных языках уже содержит в своем оформлении показатель лица, давая тем самым схему однословного предло-

---

[57] Ср.: Jespersen O. The Philosophy of Grammar, p. 88.

жения.[58] Согласуясь же своим личным показателем с именем, когда оно отдельно стоит в предложении, глагол получает качественно иное значение в своем личном окончании, становящемся не самостоятельным (*ид-у*, *ид-ет*), а связанным путем согласования с синтаксически соединенным с ним словом (*человек ид-ет*, *люди ид-ут*). В последнем случае личный показатель обращается в носитель синтаксической функции и изменяется в числе уже в связи с требованиями синтаксиса.[59]

Синтаксический характер числового показателя в глаголе наиболее ясно выступает в тех случаях, когда он, в порядке агглютинации, выступает в глагольной форме, повторяя числовой показатель связанного с глаголом имени. Так, например, в древнегрузинском аористе глагол, согласуясь в лице с субъектом, получает особый показатель множественного числа при объекте, стоящем во множественном числе: kaϑ-man ter-a teril-ı 'человек написал письмо', kaϑ-man ter-n-a teril-n-ı 'человек написал письма'. Такая вставка показателя множественного числа в глаголе (ter-n-a), конечно, является синтаксическим показателем и зависит от согласования членов предложения, а не от самого глагола как такового.

Несколько иной характер носят изменения по числам имен прилагательных. Последние получают число, так же как и род или классные показатели в тех языках, где таковые имеются, не самостоятельно, а по согласованию со связанными с ними именами, образующими с ними один лексико-синтаксический комплекс. По той же причине лексико-синтаксического соединения, образующего одну лексическую единицу (хотя бы и сложную), в ряде языков прилагательное вовсе не изменяется по числам, имея единый количественный показатель, выраженный не в нем, а в связанном с ним имени. Так, например, в чеченском языке прилагательное, находящееся непосредственно впереди существительного, сохраняет одно и то же окончание как для единствен-

[58] «При личной форме глагола подразумевается личное местоимение соответствующего лица как подлежащее, вследствие чего личная форма глагола имеет смысл предложения» (Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, с. 93).

[59] См. А. Мейе: «В глагольном предложении согласование между глаголом и примыкающим к нему именем, которое мы называем подлежащим, существует только в одной категории числа, так как она одна обща и имени и глаголу и так как индоевропейский глагол не имеет рода; и это согласование не является результатом управления одного элемента другим, как если бы число глаголов определялось примыкающим к нему именем, но вытекает только из того, что категория единства, двойственности и множественности одинакова для имени и для глагола» (Введение в сравнительное изучение. . ., с. 367). Если остановиться на этом определении, которое представляется мне в достаточной мере обоснованным, то придется признать, что в строе индоевропейских языков (но вовсе не во всех вообще языках) изменение глагола в числе носит лексико-синтаксический характер, поскольку в числе изменяются как глаголы, так и имена. В предложении подлежащее и сказуемое (члены предложения) оба стоят в одном числе по взаимному согласованию.

ного, так и для множественного чисел: *дикан ваша* 'хороший (добрый) брат', *дикан вежарий* 'хорошие (добрые) братья'.[60] Все сказанное выше приводит к определенному выводу о том, что специально выраженные числовые показатели в именах прилагательных там, где они имеются, должны быть, равным образом, отнесены к числу грамматических показателей, оформляющих лексико-синтаксическое соединение.

Такое лексико-синтаксическое соединение прослеживается и в сочетании имен существительных с числительным. Вложенное в последнее количественное определение влияет на числовое оформление характеризуемого им имени опять-таки в порядке лексико-синтаксического комплекса. Тут уже само имя существительное своими количественными показателями связано с определяющим числительным, получая единственное или множественное число не самостоятельно, а по линии согласования. Имя существительное, сохраняя свою собственную семантику, в этом сочетании с числительным остается ему подчиненным, что наиболее наглядно явствует из строя тех языков, в которых имя, вообще изменяемое по числам, не подвергается такому изменению при сочетании с количественным числительным. Примеры этому дает целый ряд яфетических и других языков, в том числе уже упомянутый чеченский, в котором существительное, находясь вместе с числительным, остается постоянно в единственном числе: *цхьа' стаг* 'один человек', *ши стаг* 'два человека', *пхи' стаг* 'пять человек'.[61]

Во всех этих примерах, где связанное с числительным имя то изменяется в числе, то остается неизменным (чеченский язык и др.), ясно выступает лексико-синтаксическое, а не семантическое, значение числового показателя в существительном. Само имя изменяется в числе или не изменяется в зависимости не от самого себя, не от своей собственной семантики, а от структурных правил того или иного языка. Как мы только что видели, одни языки (например, индоевропейские) изменяют число имени при наличии числительного, другие (например, чеченский) не изменяют его. Таковы различные требования строя речи различных языков.

В указанном случае изменение имени существительного по числам несомненно находится под воздействием структурных особенностей данного языка. Но в то же время и само существительное, как и местоимение, независимо от указанных условий, имеет в своей собственной семантике количественное содержание. Каждое имя воспринимается как единица, но единица в свою очередь может быть единичною и коллективною. Наличие последних свидетельствуется нахождением во многих языках так называемых собирательных существительных типа русск. *войско*, *народ*, *стадо* и т. д. Эти собирательные имена, при установившемся

---

[60] Услар П. К. Чеченский язык, с. 42.
[61] Там же, с. 59—60.

в языке различении по числам, сами будучи по своему содержанию выразителями совокупности отдельных единиц, в свою очередь получают свое множественное число (*войска*, *народы*, *стада* и пр.). С другой стороны, такое же собирательное по своему содержанию существительное, как, например, *люди*, обратилось в действующем строе речи во множественное число от единственного *человек*.

Можно предположить, что в своем прошлом *человек* и *люди* образовывали две различные лексические единицы, составившие затем супплетивные формы. Подтверждением этому служит ныне вымершее множественное число *человеки*, пережиточно сохранившееся в косвенных падежах при сочетании с числительным, например: *пять человек/пять человеков* (род. падеж мн. числа, ср. *пять дровосеков*). Есть основание предположить, что эти два понятия *человек* и *люди* не отождествлялись и что единственное число *человек* лексически противополагалось коллективному представлению о людях. Тогда это были самостоятельные слова. Теперь же, в современном строе русской речи, обе основы объединились как выразители единственного и множественного чисел одного и того же слова. Так, от комплекса *прекрасный человек* множественное число будет *прекрасные люди*, а не *прекрасные человеки*.

Весь приведенный, может быть и слишком беглый, разбор материала дается мною в следующих основных заданиях. Я имел целью подтвердить свою мысль о необходимости различения лексем и синтаксем, т. е. лексических определителей и синтаксических уточнителей. Слово содержит лексическую семантику и семантические изменения выражает лексемами, передающими также и лексические оформления (именные показатели, показатели класса, рода и т. д.). Выступая в речи, участвуя в общем составе предложения, оно же (слово) подчиняется синтаксическим требованиям, выражая синтаксические отношения синтаксемами.

Сложность лексических и синтаксических взаимоотношений ведет в ряде языков к промежуточным формам, когда словосочетание по своему содержанию еще тяготеет к лексике, но по оформлению уже приближается к синтаксису. Так, определители и определяемые слова объединяются лексическою семантикою, но в ряде языков они связаны согласованием по типу синтаксического соединения, тогда как в других языках они и лексически не разделяются (некоторые североазиатские языки, в которых определение и определяемое сливаются в одно слово), или же объединяются единым для них грамматическим показателем, стоящим в конце определяемого слова при чистой основе определителя (языки тюркской системы, некоторые яфетические и др.). Здесь образуются или сложные лексические единицы, или лексико-синтаксические построения (комплексы).

При анализе слова в предложении различение лексем и синтаксем получает свое научное и практическое обоснование только при изучении их в указанной взаимосвязанности и лишь при

условии рассмотрения в историческом изменении их содержания и формы.

Языковой строй в различных языках не однообразен, к тому же он в историческом ходе развития меняется, в результате чего получается качественная перестройка его типологических показателей. То, что было лексемою, может при измененном строе речи стать синтаксемою и т. д. Для выяснения этого требуется анализ действующего строя каждого языка и соответствующей языковой группы с установлением им присущих лексических и синтаксических норм. Эти нормы, естественным образом, оказываются различными в целом ряде языков.

СЛОВО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Только что, в предыдущих главах, мы говорили о двух единицах речи, о слове и о предложении, и на их основе строили исследование в двух направлениях. Во-первых, мы останавливались на лексической стороне слова, и во-вторых, брали его составе предложения, а в итоге рассматривали слово с этих двух сторон, тесно связав тем самым слово и предложение. Последнее в свою очередь дало основание коснуться не только членения его на составные части, но и оформления их в пределах предложения, что свелось к оформлению тех же слов, поскольку ими и их сочетаниями выражаются члены предложения.

В настоящей главе придется коснуться одного предваряющего и в то же время весьма существенного пункта, затрагивающего проблему слова и предложения. Подходя исторически к этим двум единицам речи, следует с полною определенностью признать, что оба они, и слово и предложение, в том виде, в каком мы их знаем, сами в свою очередь являются историческими категориями, значит и не неизменными в своих взаимоотношениях.

Все, что говорилось выше в предыдущих двух главах о слове и предложении, относится к их современному состоянию в языках различных систем, и все имеет свое иное прошлое. Это прошлое частично улавливается в еще уцелевших оборотах, установление и анализ которых вскрывает многие детали ныне существующего строя речи. Многие детали развития слова и предложения и обоснование различных выявлений диалектического их единства становятся гораздо яснее и доступнее более углубленному изучению, если спуститься диахронически ниже, обратившись, в пределах досягаемости, к предшествующему им нерасчлененному состоянию.

Мы видели, что слово воспринимается исследователями языкового строя как цельная и самостоятельная лексическая единица, или, как говорит Э. Сепир, «слово есть один из мельчайших вполне самодовлеющих кусочков изолированного „смысла", к которому сводится предложение. Слово не может быть без наруше-

ния смысла разложено на более мелкие частицы».[1] Предложение же, по его словам, «есть выраженное в речи суждение».[2]

Все эти и им подобные определения строятся в своей основе на материалах изолирующих (корневых), агглютинативных и флективных языков, выработавших свои синтаксические правила в пределах предложения. На их основе (и более всего на основе индоевропейских языков) устанавливаются общие правила грамматического строя. Тем самым проблема слова и предложения замыкается рамками предложений, построенных словами, и слов, не выражающих цельной мысли вне синтаксического комплекса, поскольку «предложение — это единица речи, воспринимаемая говорящим и слушающим, как грамматическое целое и служащая для словесного выражения единицы мышления».[3]

Отмеченные здесь пределы исследовательской работы, хотя и опирающейся на обширный материал многочисленных языков, оказались тем не менее слишком узкими, не исчерпывающими всего языкового разнообразия форм, и потому лишенными источника для более полного изучения в историко-сравнительной перспективе. Дело в том, что до известной степени четкое различение грамматических категорий в индоевропейских языках вовсе не свойственно всем языковым структурам, в частности, оно в значительной мере нарушается в так называемых инкорпорирующих языках.

В целом ряде ныне еще наличных языков, в том числе в американских индейских и североазиатских языках СССР (палеоазиатских), прослеживаются инкорпорирующие комплексы, передающие одним словом целое предложение. В таком слове-предложении соединяется в одно целое ряд отдельно употребляемых слов, включенных в данном случае в один словесный комплекс с единым содержанием основы (стержневого слова или, по Паулю, — предиката),[4] конкретизируемой целым рядом определений. Это языковое явление оказывается общепризнанным фактом, подтверждаемым целым рядом исследователей (Финк, Вандриес, Иохельсон и другие, считая тут же всех американистов). По их словам, мы не можем в подобного рода построениях расчленять фразу на слова; в них есть тенденция образовать столько слов, сколько имеется фраз, и наоборот, столько фраз, сколько имеется слов.[5]

Говоря о таких инкорпорированных комплексах, я не имею намерения затрагивать не дошедшие до нас и лишь предполагае-

---

[1] Сепир, с. 28.

[2] Там же, с. 29.

[3] Шахматов, 1, с. 1.

[4] Важнейший член предложения, на который падает сильнейшее ударение и выявление которого служит основною целью предложения; см.: Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 1909, S. 124—127, 283 usw.

[5] Fink N. F. Die Haupttypen des Sprachbaus. Leipzig, 1910, S. 31,

мые еще более примитивные формы звуковой речи, которые можно себе представить в виде тождества слова с фразою, т. е. когда в цельный фонетический комплекс вкладывается содержание целого, с нашей точки зрения, предложения. Другими словами, я не имею здесь в виду того состояния человеческой речи, которое упоминается в лингвистической литературе начиная с Руссо и о котором упоминает и В. А. Богородицкий, говоря, что «в самом начале человечество выражало свои мысли одиночными словами, которые и были первоначальной формой предложения».[6] Наоборот, я ограничиваюсь примерами инкорпорирования из живых языков.

В колымском диалекте одульского (юкагирского) языка встречаются такие построения, как asayuolsoromoh, состоящее из сочетания нескольких слов, а именно asa 'олень', корня yuol (откуда глагол yuodin 'увидеть') и soromoh 'человек'. Весь этот комплекс буквально означает 'олене-видение-человек', что соответствует в русском переводе целой фразе 'человек увидел оленя'.

За таким лексико-синтаксическим построением сохраняется мною, пока в рабочем порядке, наименование полного инкорпорирования. По своей внешней форме указанного рода инкорпорирование подходит к типу наших сложных слов *человеко-олене-видение*, и с этой точки зрения при первом взгляде на такое построение мы могли бы говорить о наличии в нем лексической единицы, хотя бы и составной, получившейся из сложения нескольких отдельных слов. Но по содержанию в этом комплексе мы имеем не лексическое, а синтаксическое построение, состоящее из стержневой основы, в данном примере слова «человек», определяемого в своем действии актом смотрения, которое в свою очередь, конкретизируется объектом (олень).

Отсюда ясно, что приведенный инкорпорированный комплекс качественно отличен от лексических комплексов нашего типа *паровоз* и т. д. Сложное слово является лексическою единицею, и ее действие или состояние (конкретизация в бытии) выражается предложением (*паровоз стоит*), тогда как инкорпорированный комплекс уже определен с этой стороны своим собственным построением. Следовательно, инкорпорированный состав формально представляет собою слово, но по содержанию он является предложением. Это — слово-предложение.

По нормам логического мышления слово вне предложения абстрактно, оно передает общее понятие, хотя бы и конкретное само по себе. Оно может быть конкретным в своей лексической семантике (*стол*, *стул* и т. д.), но оно не конкретно в своем действии или состоянии, что и осуществляется в предложении. Последнее как грамматическое целое, служащее для выражения единицы мышления,[7] уже налицо в инкорпорированном комплексе,

---

[6] Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 203; ср.: Schuchardt-Brevier, S. 211, 262.

[7] Шахматов, 1, с. 1.

но, конечно, такого рода комплекс не соответствует правилам построения предложения в индоевропейских языках. В связи с этим в нем не будет тех же, как и в индоевропейских языках, частей речи (лексических категорий) и членов предложения (грамматических категорий синтаксиса). Различие прослеживается и в оформлении слова (в морфологии). Следовательно, весь строй инкорпорированного комплекса обнаруживает особую языковую типологию, требующую самостоятельного анализа.

В приведенном выше одульском (юкагирском) примере «asayuolsoromoh» мы не имеем ни одной из тех частей речи, которые привычны для нас в результате работ над языковым материалом, в подавляющей его части индоевропейском. Действительно, инкорпорированный состав не является ни именем существительным, ни глаголом, так как он по своему содержанию выражает и то и другое, не будучи в то же время ни одним из них. В нем, в этом инкорпорированном комплексе, имеется одно целое, разлагаемое на составные части по нормам особой типологии.

В основе этого своеобразного, с нашей точки зрения, строя речи лежат «предикат» и его определители. В приведенном выше примере человек определяется актом видения, последнее определяется направлением на оленя. Если весь этот комплекс подчинить нормам нашего синтаксиса, то определитель имени оказался бы прилагательным или соответствующим ему отглагольным именем — причастием. Определитель же причастия, как глагольной формы, будет в этом случае прямым дополнением. В итоге такого анализа получился бы русский перевод: 'олене-видящий-человек'. Перевод этот, более близкий по форме своим однословным построением, окажется совершенно несоответствующим оригиналу по его содержанию, так как он не передает смысла предложения, заключенного в инкорпорированном комплексе. Если же тот же комплекс рассматривать как предложение, то стержневая его часть отождествится с подлежащим, определитель которого окажется глаголом со своим определителем в виде прямого дополнения. В этом случае получится другой перевод, а именно «человек видит оленя». Последний перевод будет более точным, поскольку инкорпорирование представляет собою предложение, но он же будет совсем не точным с формальной стороны, так как в нем оказались имена существительные и глагол, которых нет в переводимом комплексе.

Имеются и такие инкорпорированные слова-предложения, в которых стержневая часть будет в русской передаче соответствовать глаголу и, следовательно, не совпадать с подлежащим, как это мы видели в только что разобранном примере. Так, в тундренном диалекте одульского (юкагирского) языка находятся такие построения, как koriedilenbunil 'волко-олене-убивание'. Здесь стержнем является акт убивания (punil 'убивать, убивание'), характеристикою его служит олень (ilen), а его определителем является на этот раз выполнитель действия волк (korie). Русским

переводом, сохраняющим смысл приведенного нами одульского слова-предложения, будет 'волк оленя убивает'. В нем основная часть инкорпорированного состава окажется уже не подлежащим, а сказуемым, если подходить к ней с нашей точки зрения, базирующейся на аналогии с развитым строем предложения. Этих двух примеров вполне достаточно для подтверждения нашего вывода о том, что в инкорпорировании данного вида нет привычного нам предложения с его членами и что обычное понимание их, правильное для других языков, в данном случае неприемлемо.

Мы имеем в конструкции подобного рода вполне самостоятельное построение со своими правилами, установить которые не представляет особых затруднений. Аналитический разбор подобных слитных построений мы уже сделали, выявив общие нормы их структуры. Но это будет только частный случай, так как инкорпорированные слова-предложения вовсе не являются собственностью одного какого-либо языка. Примеры из одульского (юкагирского) языка взяты мною для иллюстрации одного из типов инкорпорирования, имеющего широкое распространение в целом ряде индейских и североазиатских языков, причем сами нормы построения инкорпорирования будут в них вовсе не тождественными. Таким образом, и здесь, при наблюдаемой общности структуры, придется все же говорить о различных внешних видах ее выявления.

Особенностью одульского инкорпорирования, тою особенностью, которая дала мне основание начать именно с нее, является аморфность всего комплекса. Весь комплекс представляет собою сочетание двух и более неизменяемых слов в одном лексико-синтаксическом целом, в одном, так сказать, «слове», в котором одна из сочетающихся основ является стержневою и ставится в конце всего комплекса, уточняемая в своем значении другими к ней примыкающими основами.

Все подобного рода «основосочетания» имеют законченный смысл. С этой точки зрения они как бы являются словами с замкнутою семантикою. Их можно понять как результат растущей и осложняющейся конкретизации, когда акт действия не воспринимается без его уточнения в направленности на объект и в указании на его исполнителя (korie-d-ilen-bunil 'волко-олене-убивание', в русском переводе 'волк оленя убил'), или когда субъект высказывания не воспринимается без его характеристики в действии или состоянии (asa-yuol-soromoh 'олене-видение-человек', по-русски 'оленя увидел человек'). Но это и будет как раз то, что является свойством предложения.

Другою особенностью одульского (юкагирского) слова-предложения является стержневая его основа, выражающая в одном случае определяемое действие (korie-d-ilen-bunil), а в другом — определяемый субъект действия, при котором действие выступает уже его определителем (asa-yuol-soromoh). Оба эти оттенка во фразе выражаются порядком распределения основ с постанов-

кою определяемого в конце; в таком приеме нетрудно усмотреть элементы синтаксиса. Слово-предложение при таких условиях является выраженным в едином инкорпорированном комплексе словосочетанием в определенном синтаксическом распределении.

Другой тип инкорпорированного построения дает чукотский язык. В нем инкорпорированные комплексы могут изменяться по лицам и даже по временам, что формально сближает их до некоторой степени с нашими частями речи, хотя, конечно, не полностью, поскольку и тут мы имеем еще слово-предложение, а не предложение с его членами и отдельными словами, лексически разбивающимися на группы. И если первые два юкагирских примера (см. выше) формально схожи с именами, не будучи ни именем существительным, ни именем прилагательным, то и примеры из чукотского языка с изменяемым по лицам инкорпорированием сближаются с глагольною формою, хотя, равным образом, не будут глаголами.

Обратимся к использованным В. Г. Богоразом примерам из чукотского языка, заимствуя некоторые из них, с явно выраженными личными показателями. Я не буду пока касаться вопроса о том, являются ли эти личные показатели морфемами или такими же основами, как и остальные слагаемые части всего комплекса, которые равноправно выступают с ними в общем построении единого инкорпорированного целого.* Примеры эти следующие: *г-ача-каа-нмы-лен* ʻжирного оленя убилиʼ, *ты-мынгы-нто-ркын* ʻя руки выходить действуюʼ (ʻя вынимаю рукиʼ), *ты-мэйн'ы-левты-пыгты-ркын* ʻя большой голова раздувание действуюʼ (ʻу меня очень болит головаʼ).

В отличие от одульского (юкагирского) инкорпорирования чукотское выявляет в своем построении и показатель времени (префикс в первом примере), и показатели лица (префикс во втором и третьем примерах).[8] Кроме того, в этих двух последних примерах имеется в конце та самая приставка (*ркын*), которая в чукотском языке характеризует глагольную форму. Семантически второй и третий примеры различны: в одном из них субъект характеризуется в действии, в другом он определяется в состоянии, хотя формально оба сходны (*ты*). Действующее лицо во всех трех примерах выражено, таким образом полнота семантики предложения везде соблюдена.[9]

---

* Специалисты по чукотско-камчатским языкам такого рода морфемы — показатели субъекта действия стали в дальнейшем рассматривать как грамматические (возможность такого подхода допускает и И. И. Мещанинов, см. с. 90), ввиду чего соответствующие случаи не могут служить примером полного инкорпорирования, т. е. объединения в составе инкорпорированного комплекса подлежащего и сказуемого, хотя они и представляют собой предложения.

[8] Суффикс *кин*, *лин*, *лен* в другом строе чукотской речи, использующем предложение с отдельными словами, является окончанием прилагательных, причастий.

[9] Примеры берутся мною из работы: Богораз В. Г. Луораветланский (чукотский) язык. — ЯПНС, III.

Чукотское инкорпорирование включает во внутрь комплекса то, что в наших языках называется дополнением, определением или обстоятельством, равным образом и определители дополнений, помещая их непосредственно перед тою частью комплекса, к которой они относятся.

Более углубленному разбору приведенных фраз в значительной степени содействует одна особенность именно тех языков, которые в заданиях настоящей главы являются объектом нашего внимания. Дело в том, что инкорпорирование указанного типа слова-предложения в названных североазиатских, индейских и других языках является лишь одной из конструкций, а вовсе не единственной. В этих языках одновременно с инкорпорированным словом-предложением существует и другой строй, в котором ясно выступают как различные лексические категории (части речи), так и развитой строй предложения с синтаксическим сочетанием грамматически оформленных слов. Этим облегчается анализ инкорпорированного комплекса, имеющего лексические и синтаксические соответствия в другом, сосуществующем с ним же, строе.

Если в параллель к взятым нами примерам привлечь из того же чукотского языка наличные в нем глагольные формы, то мы в них увидим те же показатели, как и в только что приведенных инкорпорированных построениях. Возьмем несколько глагольных парадигм:

Настоящее время		Прошедшее время	
ты-чейвы-ркын	‘я хожу’	*гэ-чейвы-й-гым*	‘я ходил’
чейвы-ркын	‘ты ходишь’	*гэ-чейвы-й-гыт*	‘ты » ’
чейвы-ркын	‘он ходит’	*гэ-чейвы-лин*	‘он » ’

Первый пример инкорпорирования *г-ача-каа-нмы-лен* своим построением сходен с глаголом *гэ-чейвы-лин*. В обоих имеется показатель времени (*гэ* → *г*) и показатель лица в конце (*лен* // *лин*). Второй и третий примеры *ты-мынгы-нто-ркын*, *ты-мэйн'ы-левтыпыгты-ркын* построены сходно с глаголом *ты-чейвы-ркын* ‘я хожу’.

Все они, и инкорпорированные комплексы и глагольные формы, имеют сходные показатели в начале и в конце, заключающие собою первые — весь сложный комплекс, вторые — глагольную основу. Подходя к обоим построениям, несомненно различным, можно все же найти общие моменты, которые, не будучи тождественными, выразятся в следующем: отмеченные выше показатели (*г*, *лен* и т. д.) заключают собою в инкорпорированных комплексах инкорпорированную «основу», а в глагольных построениях — глагольную основу. Эти основы, инкорпорированная и глагольная, качественно различны. Глагольная основа представляет собою слово как самостоятельную лексическую единицу, выступающую в предложении как его составная часть наряду с другими словами, грамматически оформленными. Инкор-

порированный же комплекс, с его нормами размещения стержневой части и определителей, является слитною единицею лексико-синтаксического порядка. Это не слово в его установленном понимании, а слово-предложение.

Инкорпорирование представляет особый интерес как свидетельство о структуре языковой стадии с качественно совершенно иными типологическими показателями. Можно даже прийти к выводу, что оно стадиально предшествует более обычному нам строю речи с развитыми членами предложения. Не будет, кажется мне, большим преувеличением, если мы признаем в двух сосуществующих структурах североазиатских, американских индейских и других языков, а именно в инкорпорированном комплексе и в предложении, составленном из отдельных слов, два стадиально различных строя, оказавшихся одновременно используемыми: один древний, но еще не изжитый, а другой, его сменяющий и из него же выросший, новый строй речи. Архаизмом в этом случае окажется первый — инкорпорированный комплекс.[10]

Инкорпорированный комплекс, слово-предложение, при его конкретизации разного рода определителями, вырастает до крайне сложных размеров, и можно предполагать, что увеличивающаяся тем самым сложность его построения перестает удовлетворять потребностям живой речи, требованиям растущей социальной среды. Когда происходит разрыв комплекса, выделяются члены предложения, связываемые между собою показателями отношений между ними. На этой почве развиваются уже синтаксические показатели.

Таких синтаксических оформителей нет еще в слове-предложении. И если мы сопоставим сходные показатели в инкорпорированном чукотском комплексе *г-ачакаанмы-лен* и в глаголе *гэчейвы-лин* ʻон ходил', то они качественно окажутся различными. В первом комплексе они являются лексически его составными слагаемыми, поскольку весь комплекс сам собою представляет законченное слово-предложение и его приставки (*г—лен*) ничего не связывают. Они могли бы быть поняты как грамматические показатели только потому, что ими оформляется слово-предложение, но как раз потому, что они оформляют именно его, они не относятся к числу тех показателей, про которые обычно говорит лингвист, имеющий в виду словооформление, т. е. оформление

---

[10] Архаизм инкорпорирования, еще сохранившегося в названных языках, свидетельствуется также и тем, что оно используется в живой разговорной речи и в фольклоре, но уже избегается в наше время при введении литературных языков. Нормы письменной речи с более сложным строем предложения, с конструкциями сочинения и подчинения, несомненно, ведут к изживанию инкорпорированных комплексов слов-предложений в североазиатских языках СССР. Очевидно, не случайно, что данного рода построения сохранились в бесписьменных языках, и весьма вероятно, что они были свойственны многим языкам мира.

лексической единицы, участвующей в образовании предложения. С этой точки зрения встретится затруднение в признании синтаксемою оформителя слова-предложения, являющегося, само по себе, цельною и притом законченною и сложною передачею содержания предложения. Наоборот, в *гэ-чейвы-лин* мы имеем как раз грамматические показатели, так как тут перед нами выступает часть речи, глагол, имеющий показатели с синтаксическим значением, оформляющие данный глагол в предложении.

На почве развития предложения развиваются синтаксические показатели. При инкорпорировании же отмеченного вида (слово-предложение) синтаксем указанного типа еще нет. Синтаксическим средством является порядок размещения составных частей комплекса, но это еще не синтаксема как таковая, которая окажется лишь там, где мы будем иметь предложение, построенное из отдельных слов. Мы имеем в данном случае как бы зародыши показателей обоего типа, т. е. лексических и синтаксических. Стоит инкорпорированному комплексу разорваться на составные части, как появятся и те и другие.

Так, например, в слове-предложении колымского диалекта одульского (юкагирского) языка asa-midul-soromoh ʻолене-взятие-человекʼ (в русском переводе ʻчеловек берет оленяʼ), стержневому слову человек (soromoh) предшествует его конкретизатор в действии (ʻвзятиеʼ от основы min), конкретизуемый в свою очередь объектом ʻоленьʼ (asa). Порядок расстановки слагаемых частей здесь строго определен семантикою самого сложного комплекса, не выделяющего отдельных слов в их синтаксическом сочетании, как членов предложения. Здесь еще нет синтаксических показателей (синтаксем), хотя бы элементы их и можно было бы усмотреть в порядке распределения частей, сложенных в одно инкорпорированное целое.

Наличие таких инкорпорированных комплексов подтверждается не только формальною стороною: ассимиляциею, единством ударения, общими для всего комплекса временны́ми показателями и окончаниями (см. в чукотском языке), но и восприятием цельности всего построения говорящим лицом. Э. Сепир делал интересные в этом направлении опыты с молодыми индейцами Северной Америки. Он заставлял двух юношей из племени нутка Британской Колумбии писать тексты на родном языке. Оказалось, что они, выделяя отдельные слова в предложениях обычного строя, столь же уверенно выделяли слова-предложения как единое целое. Оба с некоторым затруднением научились разлагать слова на составляющие его звуки, но оба же, работая каждый в отдельности, безошибочно и совершенно сходно выделили сложные слова-предложения.[11]

---

[11] С е п и р, с. 27—28, примеч. См. также замечания Л. Я. Штернберга, который, подходя к гиляцкому языку с применением норм, свойственных русскому, не уловил наличного в гиляцком инкорпорирования и в связи

Эти комплексы наиболее ясно вскрываются во всем своеобразии своего построения при сравнительных сопоставлениях с наличными в тех же языках предложениями, построенными путем словосочетаний. В последних вскрываются совершенно иные структурные свойства, и грамматические показатели обоего вида выделяются в них отчетливо и бесспорно, явную противоположность чему представляет инкорпорированное слово-предложение.

Неинкорпорированные предложения в тех же диалектах юкагирского языка дают уже синтаксически выраженное оформление каждого слова, уже обособленного во фразе. Так, в юкагирском предложении met ileleŋ aimeŋ 'я оленя застрелил' мы имеем местоимение met в прямом падеже субъекта действия, предмет действия ile-leŋ с объективным показателем (leŋ) и глагол ai (ail 'стреляние') с оформлением 3-го лица (meŋ). Все выделенные формативы оказываются уже синтаксемами, оформляющими слова в их взаимосвязи согласно значению фразы.

Возьмем другой пример из юкагирского языка: köndiek saajanel; tuŋ köde moni 'человечек сидит; этот человек сказал'. Первое слово köndiek образовано от köde 'человек' с уменьшительною частицей die и падежном окончанием k. Таким образом, в нем налицо лексический показатель (die) и синтаксический (k). Глагол имеет показатель лица (l, тип именного спряжения), tun köde поставлены оба в прямом падеже при глаголе в 3-м лице mon-i. Все указанные приставки, за исключением отмеченной лексемы die, являются показателями синтаксического порядка. Таким образом, один и тот же юкагирский язык, как и упомянутый выше чукотский, дает два совершенно различных строя речи. Из них инкорпорированные комплексы выявляют свою типологию, совершенно отличную от типологии другого строя, наличного в том же самом языке.

Инкорпорированные комплексы в нашем понимании (слово-предложение) не имеют членов предложения обычного строя индоевропейских языков. В них нет подлежащего, нет и сказуемого. Наше прямое дополнение оказывается в них определителем последующего имени, не являясь ни именем существительным, ни именем прилагательным («волко-олене-убийство»). Субъект выступает

с этим вынужден был отметить, что и изучение им гиляцкого языка шло на первых порах с большим трудом, так как его учителя, молодые гиляки, «с трудом отдавали себе отчет в том, что фразы состоят из отдельных слов, и с легким сердцем огорошивали меня длиннейшими периодами». Все же от внимания Л. Я. Штернберга не ускользнуло то, что прямое дополнение в гиляцком ставится в виде чистой основы непосредственно перед глаголом, с которым оно образует единство, чтó стоит очень близко к так называемой инкорпорации американских языков. См.: Sternberg L. Bemerkungen über die Beziehungen zwischen der Gilyakischen und amerikanischen Sprachen.— XIV Internationaler Amerikanisten-Kongress, Stutthart, 1904; Штернберг Л. Я. Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора, т. I, ч. 1. СПб., 1908, с. VIII и сл.

здесь, в этой юкагирской фразе, также в роли определителя. Получается как бы последовательная цепь определителей, в конечном итоге конкретизирующих стержневую часть всего комплекса.

Применяя к данному случаю высказывания акад. Н. Я. Марра, мы могли бы сказать, что имеем в этом построении «имена», но не имена существительные, прилагательные и т. д., дифференцированные уже в более развитой стадии языка, выявляющей части речи и члены предложения.[12] Последние наличествуют в тех же языках, в которых используются инкорпорированные составы, но в другом строе языка, уже разбитом на лексические единицы (слова) с частями речи, соединяемыми в предложении.

Сосуществование этих двух строев речи вскрывает богатейшие перспективы не только для анализа уже выявленных в одном из них морфологических элементов, но, до известной степени, и для постановки вопроса о древнейшей лексической и синтаксической форме и функции каждого из них в отдельности.

ИНКОРПОРИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ЧАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мы уже отмечали выше наличие значительного разнообразия в построениях инкорпорированного слова-предложения, и, конечно, примеры из одульского (юкагирского) и чукотского языков вовсе не претендуют дать исчерпывающую картину даже основных схем инкорпорированных построений. Они ждут еще своего исследователя.

В настоящей главе я перехожу к качественно совершенно другому строю инкорпорирования, а именно к тому, который, в отличие от предыдущих, не образует цельного слова-предложения, но который представляет собою слитное сочетание отдельных слов. Не образуя каждый самостоятельного предложения, эти инкорпорированные комплексы дают таковое в своем сочетании. Указанные их особенности позволяют видеть в них следующую ступень в развитии строя речи, когда сложная структура слова-предложения разбивается на составные части.[1]

---

[12] См. Н. Я. Марр: «Частей речи еще не было. Постепенно из частей предложения выделяются имена, которые служат основою для образования действия, т. е. глаголов переходных и впоследствие непереходных; имена существительные по функции становятся, служа определением, прилагательными, которые также выделяются; имена же (определенный круг имен существительных) становятся местоимениями...» (Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком. — ИР, II, с. 417).

[1] Основываясь исключительно на данных индоевропейских языков, Shuchardt восстанавливает другой путь развития предложения, подтверждая его примерами из современного немецкого языка, что едва ли является достаточным даже для предварительного высказывания. Он ведет развитие языка с однословного предложения типа повеления «иди!», «приходи!», «смотри!» и т. д. Два таких первичных предложения в своем соединении дали

Такого типа инкорпорирование прослеживается в нивхском (гиляцком) языке. В нем уже нет приведенного в предыдущей главе цельного построения слова-предложения, взамен которого в этом языке устанавливается, как общее правило, наличие двух отдельных основных инкорпорированных сочетаний, одно для субъекта и другое для предиката. В этом случае мы имеем передачу цельной фразы двумя взаимосвязанными частями, которые являются как бы двумя главными членами одного целого, которое, при данных условиях, уже можно назвать предложением.*

Действительно, в такой гиляцкой фразе,[2] как təvilagan veurḑ 'этабольшесобака бегохороша', вовсе не выступает формально единое построение слитного слова с семантикою предложения. Здесь фраза передается не одним комплексом, а двумя: təvilagan ('эта большая собака') и veurḑ ('бежит хорошо', точнее 'в беге хороша'). Каждый из этих комплексов, взятый в отдельности, содержит в себе лексическую семантику, и только в своем сочетании они получают полное значение фразы.

Мы можем говорить здесь о предложении, так как оно выражено составными частями, не слитными в один инкорпорированный комплекс. Каждая из двух частей не содержит, как уже отмечалось выше, законченного содержания фразы, следовательно, не является словом-предложением, но в то же время получившееся целое из этих двух слагаемых частей хотя и дает предложение, но разбивается лишь на две основные части. При таких условиях нам придется говорить об особых свойствах гиляцкого предложения, об особом строе его синтаксиса, но в то же время придется отметить резкое расхождение его с синтаксисом индоевропейских языков, хотя, как увидим ниже, стадиальные параллели дают возможность усмотреть и в них много общих черт, выявляемых в различных синтаксических построениях.

Признав в строе гиляцкой речи наличие предложения как такового, мы тем самым неизбежно подходим к необходимости определения составляющих его элементов. Обычно последние называются членами предложения. Сохраняя это наименование и для гиляцкого языка, что мне представляется вполне уместным, придется усмотреть в нем два главных члена. Присутствие их требует установления синтаксической роли каждого.

двухчленное предложение. Одно из них оказалось дополнением, развитием другого, как его предиката. См.: Schuchardt-Brevier, S. 211, 262—263.

* Дальнейшими исследованиями слабо изученного в 30-х гг. нивхского (гиляцкого) языка было установлено, что сочетания определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого, представляя собой тесные синтаксические единства (о чем, в частности, свидетельствуют чередования, при определенных комбинаторных условиях, начальных смычных и щелевых вторых компонентов), тем не менее не образуют инкорпорированных комплексов, так как их знаменательные компоненты представляют собой не основы слов, а словоформы; см.: Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка, ч. 2. Л., 1965, с. 23—30.

[2] В примерах из гиляцкого языка я сохраняю научную транскрипцию.

Эта синтаксическая роль выявляется по основным заданиям предложения, характеризующего предмет высказывания (субъект) в его наличном бытии, главным образом в его действии или состоянии, что передается предикатом. И поскольку в слове-предложении (см. юкагирские и чукотские примеры) оба они выражены в едином лексико-синтаксическом построении инкорпорированного комплекса, постольку же оба упомянутые стержневые элементы гиляцкого предложения представлены каждый в отдельности.

В этом нетрудно убедиться, взяв две разновидности уже приведенной выше фразы: təvilagan veurḑ 'эта-большая-собака в-беге-хороша', где субъект определяется в его состоянии,[3] и təvilagan ţuzŋiḑ 'эта-большая-собака мясо-ест', в котором тот же субъект устанавливается в его действии, причем предикат в обоих случаях особо отмечается показателем ḑ в конце предикативного комплекса.

Формально и семантически мы имеем здесь субъект и предикат в их синтаксической взаимосвязанности, другими словами, имеем как бы «подлежащее» и «сказуемое», но без согласования глагола с субъектом и с выражением лишь предикативности, а также без наличия примыкающих к ним второстепенных членов. Последние сохраняют свою роль определителей при этих двух основных членах предложения и сливаются с ними. Особо от них иногда выделяются только второстепенные члены предложения, представляющие косвенное дополнение опять-таки в слитном виде со своими определителями, если таковые имеются: veurlagan piladəvuge p'uḑ 'в-беге-хорошая-собака большого-дома-из выбежала (вышла)'.[4]

Я не касаюсь в настоящем изложении более сложных построений фраз с придаточными вставками, передаваемыми в русском переводе целыми придаточными предложениями. В гиляцком языке таковых, по существу, нет. Они заменяются второстепенными членами, входящими в состав распространенного предложения, сохраняющего два главных члена, ясно выделяя субъект и предикат.[5]

Определители субъекта сливаются с ним в одно инкорпорированное целое. Прямое дополнение, воспринимаемое как определитель предиката в направленности выражаемого им действия, сливается с ним на тех же основах инкорпорирования. Если же имеются свои определители к прямому дополнению, то они, соеди-

---

[3] Предикативно-атрибутивное выражение.

[4] Составные слова, каждое в отдельности, будут следующие: ve 'бег', 'бежать', urla 'хороший', qan 'собака', pila 'большой', təf 'дом', uge — суффикс местного-исходного падежа, p'u 'выход', 'выходить', ḑ — показатель предикативности.

[5] См.: Штернберг Л. Я. 1) Образцы материалов по изучению гиляцкого языка и фольклора. — ИАН, 1900; 2) Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора, т. I, ч. 1. СПб., 1908.

няясь с ним, образуют тем самым один общий комплекс предиката. Таким образом, в структуре гиляцкой речи мы имеем, по существу, комплекс субъекта и комплекс предиката, к которым в некоторых случаях добавляется также и комплекс косвенного дополнения, но уже в роли второстепенного члена.[6]

Если при этих условиях в предложении не окажется вовсе никаких определителей, то останутся только субъект и предикат, выраженные отдельными словами с их цельной лексической семантикой и отвечающие нашему пониманию их как самостоятельных членов предложения, построенного из синтаксически связанных слов. В противном случае, т. е. при наличии определителей, тождества с предложением обычного для нас типа индоевропейской речи не получится.

Вся эта сложность непривычной для нас структуры предложения будет многим яснее, когда мы обратимся непосредственно к примерам:

qan iŋḑ	'собака ест'
pilagan ţuzŋiḑ (→ ţus + iŋḑ)	'большая собака мясо ест'
ţ'vilagan eq̧aḑuzŋiḑ	'твоя большая собака коровье мясо ест'[7]

Сливаясь с определяемым словом, определитель образует с ним одно целое, что подтверждается также и получающимся благодаря этому изменению согласных (qan, pilagan, ţ'vilagan и др.). Этот комплекс оказывается членом предложения, подчиняясь строгому распорядку его частей. На первом месте стоит комплекс субъекта, на втором — комплекс предиката. Внутри каждого комплекса определитель предшествует определяемому.

Приведенные примеры иллюстрируют высказанное выше положение об особом характере данного рода инкорпорации. В отличие от слова-предложения (ср. юкагирск. koriedilenƀunil 'волкоолене-убиение') гиляцкое pilagan ţuzŋiḑ 'большая-собака мясо-ест' является предложением, составленным из слов, хотя последние выступают не обособленными синтаксически связанными словами, а инкорпорированными комплексами, равным образом синтаксически между собою соединенными. Именно это разделение на отдельные инкорпорированные комплексы, связанные единым содержанием фразы, в противоположность слову-предложению, передающему целиком одну фразу, дает, как уже отмечалось выше, возможность говорить о наличии в гиляцком строе речи предложения как такового.

---

[6] В записях Л. Я. Штернберга некоторые косвенные дополнения не выделяются особо, а равным образом сливаются с одним из главных инкорпорированных комплексов, воспринимаемые, очевидно, не как косвенные дополнения, а как определения.

[7] qan 'собака', iŋ — основа слова со значением 'еда', 'есть', ḑ — показатель предикативности, pila 'большой', ţus 'мясо', ţ'i 'ты' (местоимение 2-го лица), eq̧a 'корова'.

Гиляцкое предложение точно различает синтаксическую функцию его слагаемых частей.

Так, например, tuxpəkzḑ (tux 'топор', pəkzḑ 'пропадать') составляет один комплекс, если смысловое его значение имеет в виду действие, направленное на топор (потерял топор), и разбивается на два, когда топор выступает в роли грамматического субъекта tux pəkzḑ 'топор пропал'. Если же «топор» получает свой собственный определитель, то последний инкорпорируется с ним в одно целое: piladux pəkzḑ 'большой-топор пропал' и т. д. Во всех этих построениях мы имеем точно установленное размещение инкорпорированных частей.[8]

В гиляцком языке оба слагаемые (субъект и предикат) равноправны. Стоит им объединиться в одно целое, и перед нами выступит разобранное в предыдущей главе слово-предложение (ср. юкагирск. asa-pail-soromoh 'олене-ударение-человек', в русском переводе 'человек ударил оленя'). Сохраняясь же в разбитом на две части виде (гиляцкое pila-oղla loti-bitђə-uruḑ 'большой ребенок русскую-книгу-читал'), этот уже синтаксический комплекс предложения представляет собою единство двух противоположных, но взаимосвязанных частей. Одна из них выявляет действие или состояние, характеризуемое субъектом, другая указывает субъект, характеризуемый в его действии или состоянии.

Если сопоставить приведенное выше инкорпорирование слова-предложения с инкорпорированными комплексами в предложении, наличными в гиляцком языке, то можно со значительною долею вероятности прийти к выводу о том, что последние являются стадиальным дериватом первых. В слове-предложении имеется стержневая часть, уточненная определителями. Эта стержневая часть выражает акт действия, конкретизируемого предметом действия и выполнителем деяния, не считая их собственных конкретизаторов. Можно предполагать, что разрыв комплекса данного рода обусловлен выделением в сознании субъекта как носителя действия или состояния, что в итоге дает выделение грамматического субъекта уже как члена предложения. Получилось тем самым противопоставление в предложении субъекта предикату, образовавшим две части (два члена) предложения, причем объект в этих условиях остался еще в прежнем положении определителя предиката. Это мы и видим на материалах гиляцкого языка.

Предложение здесь налицо, следовательно, наличествуют также и способы передачи грамматических отношений между членами предложений. Будучи уже синтаксическим построением, инкорпорирование в гиляцком языке вырабатывает свои синтаксические правила, которые и были отмечены выше (субъект впереди, предикат в конце). Отсюда, сравнивая предложение, состоящее из

---

[8] Ср.: Schuchardt-Brevier, S. 272—289.

инкорпорированных комплексов (типа гиляцкого), с инкорпорированным словом-предложением (типа юкагирского, чукотского и др.), можно было бы сказать, что правила синтаксиса выступают впервые после распада слова-предложения, т. е. одновременно с образованием предложения, и что в слове-предложении, например в юкагирском (колымский диалект) asa-pail-soromoh 'олене-ударение-человек' ('олене-ударивший-человек', т. е. 'человек ударил оленя'), наличны лишь элементы таких синтаксических правил.

Все же в asapailsoromoh содержатся свои правила размещения слагаемых частей: asa-pail-soromoh, так же как и в гиляцком pila-gan 'большая собака' (pilagan). Эти правила в обоих примерах будут качественно различными, несмотря на их формальное тождество. Формальное сходство выступает в порядке размещения слагаемых частей в обоих комплексах (определитель предшествует определяемому), различие же прослеживается в содержании этих разнотипных построений, а именно в том, что pilagan ('большая собака') не представляет собою предложения, являясь лишь его составною частью, его членом, тогда как asapailsoromoh не является членом предложения, выступая в значении цельного слова-предложения. Следовательно, и правила сочетания слагаемых частей в единый инкорпорированный комплекс оказываются в каждом из них качественно различными.

Такое же качественное различие будет у гиляцкого инкорпорирования и с индоевропейскими эквивалентами. Соединенные основы в индоевропейских языках образуют самостоятельные новые лексические единицы (слова), какими не всегда являются гиляцкие сочетания. Что это именно так, ясно из того, что русские словосочетания подобного рода выступают в предложении как имена со своею лексическою семантикою (например, *книгоноша* — имя существительное). Оно может быть именною частью составного сказуемого (*мальчик есть книгоноша*) с наличным или предполагаемым вспомогательным глаголом. Оно может оказаться подлежащим (*мальчик-книгоноша ушел из дому*), но оно никогда не передает сказуемого с прямым дополнением. Между тем гиляцкое oḫla pitḫər'oḑ (oḫla 'ребенок', pitḫə 'книга', r'oḑ 'носить') имеет единственное значение цельного предложения 'ребенок носил книгу' и никогда не может выражать двух существительных ('ребенок книгоноша'). Следовательно, русское *книгоноша* и гиляцкое pitḫər'oḑ, оба формально представляющие составные единицы, по своему содержанию совершенно различны. В русском языке *книгоноша* есть лексическая единица (слово), тогда как в гиляцком pitḫər'oḑ оказывается лексико-синтаксической единицей.

Таких лексико-синтаксических единиц может быть в гиляцком языке неограниченное количество, поскольку они могут представлять собою также и передачу синтаксического сочетания глагола с объектом и его определителями. Тем самым устанавли-

вается, что гиляцкие инкорпорированные комплексы, не являясь синтаксическим построением предложения (они лишь члены предложения), все же оказываются не чисто лексическими, а лексико-синтаксическими комплексами, т. е. содержащими в себе элементы синтаксиса. Тем более наличие таких элементов синтаксиса придется признать в слове-предложении (юкагирском, чукотском и т. д.), поскольку оно является не членом предложения, как в гиляцком инкорпорировании, а цельным предложением, выраженным в одном сложном словесном сочетании.

Говоря в данном случае, когда речь идет уже о двухчленном предложении гиляцкого языка, о выработанных правилах синтаксиса, придется признать, что строем предложения определяется характер как составных частей самого предложения, так и качества лексических группировок (частей речи). Прежде всего ясно, что прямого дополнения как члена предложения в гиляцком языке быть не может: оно выступает как определитель действия в инкорпорированном комплексе предиката (см. примеры, приведенные выше). Равным образом в этом языке нет прилагательных как самостоятельной части речи.* То, что в индоевропейской речи выделяется как прилагательное, это же в гиляцком оказывается определителем в составном инкорпорированном комплексе субъекта или предиката. Одно и то же слово может выступать как определитель субъекта: əђr-qan 'черная собака' (букв. 'черпособака'), или же как предикат. В последнем случае оно оказывается уже самостоятельным членом двухчленного предложения, что в русском придется передать глагольною формою: tə-ǥan əђrḍ 'эта собака чернеет', 'эта собака есть черная (черна)' и т. д.[9]

Предикат в гиляцком языке, за исключением повелительного наклонения, не изменяется ни по лицам, ни по числам. Тем самым можно было бы признать, что в нем отсутствует показатель, выражающий грамматическое согласование с подлежащим. Таким показателем здесь, при расширенном его понимании как способа передачи синтаксических отношений, окажется не формальная приставка, выражающая лицо или число в порядке согласования,

---

* Более поздними исследованиями нивхского языка было выявлено, что слова, соответствующие русским качественным прилагательным типа *большой*, *хороший*, *черный* и т. п., характеризуются глагольными категориями и получают соответствующие грамматические показатели в функции как сказуемых, так и определений. В силу этого они включаются, в виде особой лексико-грамматической группировки (качественные глаголы), в состав глагола как части речи. См.: Панфилов В. З. Ук. соч., с. 11.

[9] Во всех языках предложение имеет субъект и предикат, но выражение их различно. Как увидим в следующей главе, комплекс субъекта даже в индоевропейских языках сохраняет синтаксическое согласование каждого его члена, прямое же дополнение примыкает к глаголу в порядке управления и т. д. При таких условиях инкорпорированным комплексам гиляцкого предложения соответствуют иные свойства синтаксических построений субъекта и предиката, т. е. тех же двух главных членов предложения (см. ниже, в главе о синтаксических комплексах).

а порядок размещения субъекта и предиката в предложении, что, разумеется, является также формальною стороною. Но, кроме такого грамматического признака, выступает в том же гиляцком языке еще и другой показатель, который характеризует не согласуемый с именем глагол как часть речи, а предикат как член предложения. Мы его видели в этом значении во всех приведенных выше примерах. Это будет форматив второго члена предложения (ḍ, ṭ), и именно в этой служебной частице он определяется наиболее ясно.

Если слово «черный» выступает в гиляцком предложении как предикат, то оно получает указанный оформитель tə-gan əḫrḍ (ср. əḫrqan 'черпособака', 'черная собака'). Трудно утверждать, чтобы данный показатель ḍ(ṭ) образовывал глагольную форму. Скорее всего это только предикативный показатель. Этот предикат гиляцкого предложения в русском переводе выражается глагольным сказуемым. На самом деле tə-gan əḫrḍ соответствует русскому переводу 'эта собака чернеет' только потому, что глагол в индоевропейских языках прежде всего выступает в роли сказуемого. Но такой перевод противоречит строю гиляцкой речи и противоречит он именно потому, что отмеченный показатель есть синтаксический оформитель члена предложения, а не глагола как части речи. Как бы то ни было, если даже признать в ḍ (ṭ) предикативный оформитель, что представляется мне наиболее вероятным, все же в ней мы будем иметь явную синтаксему, т. е. показатель, характеризующий член предложения, а не лексическую единицу.*

ḍ (ṭ) может предшествовать временной показатель: vi-ḍ 'шел', vi-iv-d 'идет', vi-nə-ḍ 'будет идти' и т. д. Тем самым предикативная форма еще более сближается с глагольною. Но временной показатель в данном случае свойствен не столько глаголу, сколько предикату, который может изменяться по временам и в отмеченной выше фразе 'собака чернеет', 'собака чернела (была черною)' и т. д. Вместо ḍ (ṭ) могут выступать другие показатели, например ta, ra [10] для обозначения нескольких последовательных законченных действий, ŋan для действия, после которого следует другое

---

* Суффикс ḍ (ṭ) в нивхском языке оформляет не только глагол, но и указательные, некоторые вопросительные и определительные местоимения; при этом глагол, оформленный этим суффиксом, обладает именными чертами (легко субстантивируется, выступает в функции как сказуемого, так и подлежащего, дополнения и т. п.). Однако существительное в позиции сказуемого не оформляется этим суффиксом, ввиду чего суффикс нельзя рассматривать как предикативный. Предикативным в нивхском языке является суффикс ma~ pa~ ga, который присоединяется к любому члену предложения (исключая определение) в тех случаях, когда этот член предложения выражает логический предикат в предложениях с модальностью простой достоверности. См.: Панфилов В. З. Ук. соч., с. 110—115.

[10] В этом случае выражается уже и лицо, так как ta используется для обозначения 1-го лица ед. числа и всех лиц мн. числа, а ra для 2-го и 3-го лиц ед. числа. Эта форма в ее синтаксическом значении еще не выяснена из-за слабой проработки материала.

и т. д. И все же основным строем предложения остается двухчленность.

Получается своеобразное, с нашей точки зрения, нагромождение отрывочных двухчленных предложений: ral mђera, ŋaђr meŋ-vora, ral əvŋ-tləђan kelђel-haђar, palђla-gox helqelqţ 'лягушка гребла, крыса (рулевое) весло-держала, лягушка (гребное) весло-потянула, на-спину-упала, красный живот засиял'.[11] Русский синтаксис передает эту фразу иначе, используя наличные у него способы сочинения и подчинения предложений. В связи с этим появятся в русском переводе союзы, которых, как правило, нет в гиляцком языке, так как они и не требуются его синтаксическим строем. Определитель предиката выступит в роли прямого дополнения и займет свое место после глагольной формы, определитель субъекта отделится от него как самостоятельное прилагательное. Получится более развернутое и связное построение: 'лягушка гребла, а крыса держала рулевое весло; когда лягушка потянула весло, она упала на спину и красный ее живот засиял'.

Гиляцкая фраза построена согласно нормам мышления предшествующих эпох, для настоящего времени уже пережитого, для которого действующее лицо с его определителями представляло собою одно целое, так же как и предикат с объектом и его определителями. В гиляцком предложении имеется в основном два члена, в русском же соответствии получится значительно большее число второстепенных членов. Ясно, что правила синтаксиса русского и гиляцкого языков расходятся коренным образом.

Синтаксис гиляцкого языка нуждается в самостоятельной проработке, и в связи с этим такую же самостоятельную проработку требует и весь строй этого языка. Но, в целях уточнения его строя, необходимо выйти за границы его материала, чтобы точнее и глубже понять его. В этих целях и выдвигается акад. Н. Я. Марром стадиально-сравнительный обзор.

Оставляя пока в стороне структурные параллели из индоевропейских языков, так как к ним придется вернуться в последующих главах, я ограничиваюсь в сводной части настоящего изложения сравнением с уже рассмотренным материалом инкорпорированного слова-предложения.

Правила синтаксиса гиляцкого языка с его отмеченным выше инкорпорированием оказываются в расхождении с приведенными ранее инкорпорированными комплексами слова-предложения юкагирского, чукотского и других языков, где, по существу, синтаксиса как такового нет. Вместо них в слове-предложении прослеживаются начальные элементы синтаксиса, поскольку слово-предложение ограничено сочетанием частей внутри одночленного предложения. Эти части не являются лексемами, так как они в целом составляют предложение, а не слово как лексическую

---

[11] Пример из народной сказки.

единицу, но они же не оказываются, в полном смысле слова, синтаксемами, поскольку они являются не видоизменением слова в синтаксических заданиях, а сочетанием основ в одном комплексе, передающем содержание целой фразы. Слово-предложение не является, таким образом, лексическою единицею. Оно не может ею быть, когда составные его части носят характер синтаксического сочетания без наличия все же синтаксически построенного предложения. В итоге мы вернулись к уже данному определению слова-предложения как цельной лексико-синтаксической единицы.[12]

В гиляцком языке уже налично предложение, хотя бы и состоящее только из двух главных членов. В нем имеются синтаксические показатели, указывающие на синтаксическую связь этих частей в предложении. Таковыми синтаксемами будут: постановка комплекса субъекта перед комплексом предиката, снабжение последнего предикативными показателями. Таких синтаксических выражений не могло быть в слитном инкорпорировании слова-предложения. Но все же разбившееся на составные части инкорпорирование типа гиляцкого языка сохранилось в его выделенных все еще инкорпорированных членах предложения, и тем самым получилось новое стадиальное состояние.

Таким образом, мы на данных примерах гиляцкого языка имеем возможность проследить один из древнейших путей образования предложения. Здесь же, как увидим ниже, получается и материал для суждения о частях речи. Гиляцкий язык с его типом инкорпорирования, допускающего уже строй предложения, выявляет тем самым дробление прежнего единого комплекса на составные части, что в итоге дает лексически обособленные единицы. На самом деле, если части речи представляют собою распределение лексического состава языка по группам, то о них можно говорить только тогда, когда лексические единицы (слова) выступают в предложении в том или ином синтаксическом значении.

Отсюда ясно, что для образования частей речи требуется в первую очередь выделение в языке самостоятельных слов. Но эти слова, не образуя сами по себе предложения, служат элементами для передачи законченной фразы разными способами сочетания слов. В последних целях вырабатываются в языке особые правила, уточняющие взаимосвязанность слагаемых слов между собою для передачи требуемого содержания фразы. Эти синтаксические правила оказываются тем самым различными для той или иной группы слов в зависимости от их роли в предложении.

Члены предложения представляют собою слагаемые его части, могущие быть как словами, так и инкорпорированными компле-

---

[12] Schuchardt излагает процесс формирования предложения и слова несколько в ином виде. Признавая, что слово вышло из предложения, он объясняет его образование следующим образом: два однословных предложения, соединившись вместе, обращаются в два слова одного единого предложения. См.: Schuchardt-Brevier, S. 263.

ксами (например, в гилядком языке), и имеющие свои функции во фразе, тогда как части речи представляют собою группировку слов по их содержанию как лексических единиц и по их же синтаксическому оформлению в предложении. Части речи характеризуются, таким образом, своими лексическими особенностями и своими функциями в предложении. Им свойственны изменения как лексического, так и синтаксического характера, они получают как лексемы, так и синтаксемы. По свойству последних, т. е. лексем и синтаксем, и по содержанию самих лексических единиц проводится их классификация по частям речи, тогда как члены предложения устанавливаются только в их функциональном значении как слагаемых частей предложения.[13]

В результате всего сказанного легко прийти к выводу о том, что в гилядком предложении в значении части речи выступает имя, могущее в предложении занять место или субъекта, или косвенного дополнения, или же, наконец, предиката. Таким образом, имя может появляться в предложении самостоятельно. Что касается прилагательного, числительного и т. д., то они самостоятельно не выступают, ср. əḫr-qan черная-собака (‘черно-собака’), ŋax-kumusk шесть-рублей и др. Сливаясь с определяемым ими словом, они не образуют самостоятельной лексической единицы, а если и выступают в качестве таковой, то оказываются или субъектом, или предикатом, т. е. приобретают все свойства имени, например: paḫla-ḍonx красный-угол (‘красный уголок’), ţoŋx paḫlaḍ ‘угол красен’ (‘угол краснеет’) и пр. Следовательно, по строю гилядкой речи можно судить о способах выражения атрибутивных отношений, о способах передачи числовых понятий и т. д., но нельзя говорить о прилагательных и числительных как о частях речи.[14]

Что касается личных местоимений, то они выступают в той же роли, как и имя, и от него синтаксически, казалось бы, почти ничем не отличаются. Если они выступают в предложении в значении действующего лица, то занимают позиции субъекта, если же принимают на себя действие, то сливаются с предикатом как его определитель в направленности действия на объект: ni-ţ’-saḍ ‘я тебя-бил’, ţ’i ŋ-zaḍ ‘ты меня-бил’. Местоимение, так же как и имя, может выступать в роли косвенного дополнения: if ţ’eŋ-ux p’ləvḍ ‘он у вас спрятался’ и др.[15] Так же, как и имя, местоимение может приобретать атрибутивные функции, являясь в этом случае определителем принадлежности: ŋ-zaqo ‘мой-нож’, ţ’saqo ‘твой-нож’, i-ḍaqo ‘его-нож’, ср. eɱa-dus ‘коровье-мясо’.[16]

---

[13] См. в главе «Лексика и синтаксис (слово и предложение)».

[14] Числительные в данном случае не часть речи, а числовые обозначения.

[15] if — местоимение 3-го лица ‘он’, ţ’eŋ — местоимение 2-го лица мн. числа ‘вы’, ux — суффикс исходного падежа. Последнее слово данного примера снабжено в конце предикативным показателем.

[16] eɱa ‘корова’, ţus ‘мясо’.

Таким образом, местоимение выступает как член предложения в качестве субъекта и косвенного дополнения и как составная часть члена предложения в инкорпорированном комплексе субъекта и предиката в атрибутивных и объектных значениях, но все же не выступает в самостоятельной синтаксической роли предиката. Означая лицо, местоимение в гиляцком языке не может выражать предикативные отношения к субъекту в его действии и состоянии. В этом заключается лексическая особенность местоимения. По своему содержанию как лексической единицы оно оказывается, таким образом, не вполне тождественным имени. Следовательно, и лексическая особенность и синтаксическая выделяют местоимение в обособленную часть речи.

Те слова, которые нередко выступают в значении предиката, используются также и в других значениях, ничего общего с глаголом не имеющих. Так, например, предикативная форма rajuḑ 'писал' встречается в субъектном комплексе rajuƀəx 'чернила' (букв. 'пишущая краска'); ŋ̡aŋ̡əŋ̡nivx 'охотник' буквально означает 'зверепромышляющий человек' и в отдельных составляющих его частях может оказаться субъектом (ŋ̡a 'зверь', nivx 'человек') и предикатом (ŋ̡əŋ̡ḑ 'промышлял'); лексико-синтаксический комплекс pitŋ̡əurudəf 'изба-читальня' встречается в отдельном использовании своих слагаемых элементов: pitƀə 'письмо', təf 'дом', juru 'чтение'. Последнее встречается и в предикативном значении juruḑ 'читал': pitƀəurud 'книгу читал', nivx pitƀəuruḑ 'человек книгу читал', т. е. человек, определяемый в своем действии чтения книги, и. т. д.

Многое, что по лексическим и синтаксическим свойствам индоевропейских языков выделяется в качестве наречия, оказывается в гиляцком языке в том же неустойчивом положении, выступая в нем в качестве субъекта и в значении предиката. Так, например, наречие urḑ 'хорошо'[17] используется как предикат в гиляцкой фразе təgan veurḑ 'эта собака бежит хорошо', в которой собака определяется в своем хорошем беге. То же самое наречие встречается и в атрибутивном значении: urladəf 'хороший дом'. Наречие «плохо» может встретиться в таких построениях, как əkila-nivx 'плохой человек' и təhaqəkilaḑ 'эта шапка плохая', где шапка определяется в своем плохом качестве, и т. д. При таком положении дела выделение наречий в особую часть речи гиляцкого языка не имеет достаточных оснований. Выступая то определителем в комплексе субъекта, то предикатом, наречия в этом языке лишены самостоятельной синтаксической роли и не выступают как лексическая единица, отделяемая от имени.

Таким образом, по наличным, правда, далеко не достаточным, сведениям о гиляцком языке можно выделить в нем как части речи имя и местоимение. Что же касается глагольной формы, то таковая, как мы уже видели выше, находится в нем как бы в пе-

---

[17] Наличие форманта ḑ указывает на его предикативное значение.

риоде становления. Она получает показатели времени и наклонения, но не изменяется по лицам и не согласуется с субъектом. Эта форма выступает не столько как глагол, сколько как выразитель предиката с его основным показателем ḍ.

В одном и том же предложении гиляцкого языка может оказаться несколько таких предикативных форм; например, к законченному предложению ţ'o-k'uḍ 'рыбу ловить' ('рыбу ловили') [18] может быть добавлена еще одна предикативная форма, например rəuḍ 'выучены' ('учили'). Тогда получается уже более сложное построение предложения, смысл которого будет 'учили ловить рыбу'. Но и в этом случае остаются все те же основные члены предложения, хотя бы и с двойным предикативным выражением: 'рыбу-ловить', 'учить', ср. ŋi rəuḍ 'я учу', ţ'ok'uḍ 'рыболовить', ŋrəuḍ 'меня учат', ţ'ok'uḍ ŋrəuḍ 'рыбу-ловить меня-учат' и т. д.[19]

Субъект в этих построениях может иметь как активное значение: qan iŋḍ 'собака ест', так и пассивное: qan əђrd 'собака черна'. В последнем примере, оформленном так же, как и первый, субъект не выявляет действия, а определяется передикатом в своем состоянии. Следовательно, то, что мы называем в гиляцком языке субъектом, далеко не всегда является реальным действующим лицом. Язык не передает сложившегося представления о действующем лице, он выявляет в строе речи определяемое и определяющее, причем определяемое (субъект) устанавливается в его бытии, в его действии или состоянии (предикат).

Мы не имеем здесь ни глаголов действия, ни глаголов состояния с их особым синтаксическим выражением, в частности 'чернеть' и 'учить', одинаковые в гиляцком языке по форме (əђrḍ, rəuḍ), получают то или иное значение в зависимости от контекста, в зависимости от своего сочетания с объектом или отсутствия такового, выражая то действие субъекта, то его состояние: ətək tuxpəkzḍ 'отец топор-потерял' ('отец потерял топор'); tux pəkzḍ, 'топор пропал' и т. д. По существу, мы имеем в этих фразах субъект предложения, определяемый в своем действии или состоянии. Данные примеры ясно указывают на активное положение субъекта, выражающего действие, и на его же пассивное положение во фразе, определяющей состояние.

Такая слабая дифференциация частей речи придает материалам гиляцкого языка [20] исключительное значение в глазах историка-лингвиста и в то же время служит прекрасным подтверждением высказываниям акад. Н. Я. Марра о древнейших видах лексиче-

---

[18] Приведенный в данном примере глагол означает 'убивать', букв. 'убивать рыбу'.

[19] ŋrəuḍ 'меня учить', ср. ŋrəf 'мой дом'. Возможно, что в первом примере имеется предикативно-поссессивное выражение.

[20] К сожалению, гиляцкий язык еще не достаточно изучен для более полного изложения его структурных особенностей, см.: Штернберг Л. Я. 1) Образцы материалов по изучению гиляцкого языка и фольклора; 2) Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора, и др.

ских категорий: «Достаточно здесь напомнить, — говорит он, — что часть речи — действие, впоследствии и состояние, у нас, как и в латинском мире, называемая глаголом, а у семитов-арабов более соответственно — действием (так же у грузин), возникла в разрезе ее оформления весьма поздно, после имен и их заместителей. Местоимение предшествует непосредственно образованию морфологии глаголов, именно их так называемому спряжению. Таким образом, первично имя, существительное ли оно было или прилагательное, равно местоимение и глагол, не различались формально».[21]

Действительно, гиляцкая фраза с ее инкорпорированием, уже разбитым на члены предложения, передает ряд категорий речи совершенно иными путями, чем делает это синтаксис развитого предложения целого ряда других языков. Так, атрибутивные отношения передаются инкорпорированным составом одного из главных членов гиляцкого предложения (ср. təibos 'синяя материя' и др.) без выделения определителя как самостоятельного члена предложения. Благодаря этому выражения атрибутивных отношений не создали в этом языке особой части речи — прилагательного. Предикативные же отношения, определяющие субъект в его действии и состоянии, наличны в языке, но оформление глагола еще недостаточно четко.

Типологические показатели гиляцкого языка отличаются от показателей слова-предложения и в то же время они отличны и от показателей других иностадиальных языков более продвинувшегося типа, к рассмотрению которых как к качественно новому образованию мы и перейдем в изложении последующих глав.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Разбитый на составные слова строй предложения североазиатских языков, тех самых, в которых наличествуют и инкорпорированные комплексы, вскрывает совершенно иные особенности языкового строя. В них, при выделении слов как лексических единиц и при оформлении предложения как единицы синтаксической, прослеживаются иные нормы лексико-синтаксических сочетаний.

Этот строй речи тех же североазиатских языков, уже дающий предложение, составленное из синтаксически связанных лексических единиц, вовсе не окончательно отрывается от своего еще сосуществующего предшественника в виде инкорпорированного слова-предложения. Наоборот, они в отдельных своих частях явно указывают на преемственную связь.

Обратимся к примерам. В колымском диалекте юкагирского (одульского) языка от основ с нижеследующими значениями:

---

[21] Марр Н. Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. — ИР, III, с. 66—67.

nime 'дом', yuol 'смотрение', soromoh 'человек' имеем инкорпорированное построение nimeyuolsoromoh ('домо-смотрение-человек' со значением 'человек видит дом'). В том же языке используются развернутые построения предложений типа: mit nimeleŋ yuol 'мы дом видим (увидели)', или tudel nimeleŋ viemele 'он дом сделал'. В обоих последних примерах слово «дом» получило показатели объекта (leŋ), а глагол в первом стоит в так называемой «непереходящей форме», совпадающей в первых трех лицах единственного числа и первых двух лицах множественного числа с именным показателем (yuol 'смотрение', viel 'делание').[1] Таким образом, мы имеем здесь не что иное как предикат в именной форме, образующей именное (номинальное) предложение. В последнем примере предикат представлен глаголом с окончанием 3-го лица единственного числа (mele).[2]

Из сопоставления только что приведенных примеров мы видим, что в инкорпорированном слове-предложении основы объединяются своими приемами инкорпорирования (порядок размещения основ), в остальных же случаях, когда предложение уже развернуто, те же основы связываются также и другими грамматическими средствами. Отсюда я и делал вывод о том, что эти новые лексические и синтаксические показатели появляются тогда, когда взамен инкорпорированного комплекса возникает предложение, построенное словосочетанием.

В словосочетаниях подобного рода опять-таки местами прослеживаются общие с инкорпорированием моменты. Так, во многих северных азиатских языках и при разбивке предложения на слова определитель сливается с определяемым в одно целое. Ср., например, юкагирск. (колымского диалекта) ţomoḑă-asa-k 'большой олень', yukoḑĕasa-k 'маленький олень', ţomoḑăasak aruleŋ morimele 'большой олень голос услышал'; чукотск. *этчы-пылвынтын* 'дорогой (тяжелый) металл', 'золото',[3] *тан'-клявол* 'хороший человек', и т. д. Формально мы имеем тут одно слово. Возможно, что оно и воспринимается как таковое. В таком случае здесь перед нами одно слово со своей определенной семантикой: «большой

[1] В 3-м лице мн. числа тот же предикат в именной еще форме получает окончание ŋil, состоящее из того же именного форманта l и предшествующего ему показателя множественности 3-го лица (ŋi), ср. в глагольном спряжении 3-е лицо ед. числа vie-mele 'он сделал', 3-е лицо мн. числа vie-ŋi-mele 'они сделали'.

[2] В юкагирском языке, как мы только что видели, именное предложение непосредственно сближается с инкорпорированным комплексом, а глагольное предложение уже дальше отошло от этой инкорпорации. См. дальше в алеутском языке (с. 137), в котором глагольное предложение стоит ближе к инкорпорированному комплексу, чем именное притяжательное. Если отсюда и можно сделать вывод, что притяжательная форма — более позднего происхождения, чем личная местоименная, то все же это касается только притяжательной формы; приоритет же именного предложения перед глагольным, судя по материалам юкагирского языка, остается в силе.

[3] Глагол стоит в 3-м лице ед. числа, ср. mori-l 'слушание'. Слово arun 'голос' снабжено показателем объекта (le, leŋ).

олень» в противоположность «маленькому оленю», «хороший человек» в противоположность «дурному», не говоря уже о «дорогом металле», передающем одно понятие «золото».

Наличие в составе предложения такого рода слияния определителя с определяемым до известной степени сближает данное построение с гиляцким инкорпорированием, в котором, как мы уже видели, определитель всегда сливается с определяемым. Можно было бы сказать, что в приведенных примерах из юкагирского и чукотского языков еще уцелели остатки инкорпорирования, или, правильнее, что в них имеется инкорпорирование, но уже иного рода. В гиляцком все предложение разбивается на инкорпорированные комплексы, тогда как в юкагирском и чукотском отдельные члены предложения сохраняют инкорпорированные составы.

Последние входят в предложение с уже ярко выявляемыми различными способами передачи грамматических связей между отдельно стоящими его членами, но все же эти еще инкорпорированные составы в значительной степени носят характер лексического соединения. Когда же и они разбиваются на части (определитель отдельно от определяемого) и когда связь между этими частями еще единого, по существу, члена предложения равным образом выражается своими грамматическими приемами соединения, тогда они до известной степени уже приобретают синтаксический характер, так как являются соединениями внутри члена предложения. Поэтому они и именуются мною синтаксическими комплексами.

Эти синтаксические комплексы стоят на грани лексического объединения (по семантике сложного, составного слова) и синтаксического соединения (как составные части члена предложения). Их, в большом разнообразии внешних приемов построения, мы встретим в иноструктурных языках, в частности в тюркских, финских, индоевропейских и др. Во всем этом уже обильном материале можно усмотреть своего рода стадиальную преемственность, т. е. последовательное развитие с качественно новым образованием.

При более углубленном стадиально-сравнительном анализе удастся при всем разнообразии форм установить известную закономерность, проследить известного рода историческую последовательность качественно изменяющихся построений.

Начав со слова-предложения (ср. юкагирск. asa-yuol-soromoh 'олене-увидение-человек', т. е. 'человек увидел оленя') и перейдя к предложению, разбитому на составные части с инкорпорированным построением каждой из них (ср. гиляцк. pila-gan ţuz-ņiḑ 'большесобака мясоест', в русском переводе 'большая собака ест мясо'), мы дошли до еще более мелких, все же инкорпорированных составов отдельных членов предложения, выразившихся в слиянии определителя с определяемым (ср. чукотск. *тан'-клявол* 'хороший человек'), и затем перешли к синтаксическим соединениям лексически обособленных имен существительных и их же с прилагательными.

Меняясь по объему передаваемого содержания, такие составные комплексы представляют значительные качественные различия. В начале этого ряда меняющихся форм мы имели лексико-синтаксическую единицу с содержанием цельного предложения (см. главу о слове-предложении), затем лексико-синтаксические единицы субъекта и предиката (см. главу об инкорпорированных комплексах как частях предложения), потом лексико-синтаксическую единицу, выступающую уже с семантикою сложного слова (см. в настоящей главе юкагирские и чукотские примеры инкорпорированного построения отдельного члена предложения), и, наконец, синтаксические комплексы.

Приступая к рассмотрению последних уже с привлечением материалов индоевропейских языков, придется во многих случаях возвращаться к приведенным выше примерам из североазиатских языков, привлекая их к сравнительным сопоставлениям. Мы увидим в них местами весьма резкие расхождения, что при монизме глоттогонического процесса дает возможность полнее уйти в понимание изучаемого языкового явления. Это и называется мною стадиально-сравнительным анализом. Таким путем яснее выступит как качественное различие рассматриваемых форм, так и семантические расхождения формально выражаемых лексических единиц и синтаксических сочетаний.

Подобного рода сочетания иногда лексического, иногда синтаксического порядка прослеживаются и в индоевропейских языках. Они отмечались исследователями этих языков, и на них детально останавливается Вандриес в своем разборе фонетического слова и словесного образа.[4] Сюда относятся не одни только сокращения формы, получившиеся при ее произношении, как-то немецкое gmoen вместо guten Morgen, но и цельные слова с комплексным содержанием преимущественно в тех случаях, когда определитель и определяемое образуют одно семантическое целое. Они часто, в особенности в собственных именах и названиях, произносятся одним словом, например франц. lakademidebozàr (l'Académie des Beaux Arts).[5]

Такие словосоединения в большинстве случаев наблюдаются в именах собственных, в топонимических названиях и пр. и потому не представляют собою аналогии с тем инкорпорированием, о котором шла речь выше. И lakademidebozár и *Жар-пти́ца* оказываются лексическим соединением, а не синтаксическим, и до известной степени подойдут к группе сложносоставных слов наряду с *лесопи́лкою*, *водоворо́том* и др. Я затрагиваю в настоящем случае данного рода словообразования с особою целью предусмотреть возможность такого же лексического истолкования отмеченных выше примеров из ряда североазиатских языков, а именно тех примеров, которые для человека, привыкшего к синтаксису

---

[4] Вандриес, с. 65.
[5] Там же, с. 62.

индоевропейской речи, представятся синтаксическим сочетанием. Таковы чукотск. *тан/клявол* 'хороший человек', гиляцк. pilagan 'большая собака' и им подобные.

Когда в гиляцкой речи нужно дать такого рода сочетание, оно всегда представится в указанном выше инкорпорированном виде, и весь строй речи требует именно подобного рода построения, передавая то, что в ряде других языков достигается согласованием слов. Между тем в русском слове *лесопилка* мы не имеем сочетания объекта с глаголом, так же как в *хромоножке* нет синтаксического соединения прилагательного с существительным. Это — слова, представляющие цельность в своем лексическом содержании, тогда как pilagan является соединением определителя с определяемым, т. е. построением синтаксического порядка. Это будет в буквальном смысле слова лексико-синтаксическая единица, какою не может быть признана ни *лесопилка*, ни *хромоножка*. Оба они будут именами существительными и только.

Подобного рода словообразования не могут рассматриваться как аналогии к интересующим нас инкорпорированным комплексам лексико-синтаксических единиц. В параллель к ним должны быть привлечены сочетания иного порядка, а именно с синтаксическим оттенком. Переходя к последним, придется отметить, что при отсутствии полного тождества, поскольку слитные слова попадают уже в лексическую категорию, все же и при разбитом на слова синтаксическом строе яфетических, индоевропейских и ряда других языков получаются любопытные моменты для стадиального сравнения с приведенными выше инкорпорированными составами.

Определитель и определяемое в этих языках, хотя и выступающие отдельными словами, представляют собою связанный комплекс и выявляют свое отношение согласованием. Так, например, имя прилагательное, оформленное как самостоятельная часть речи, принимает на себя показатели характеризуемого им имени. В яфетических языках Северного Кавказа, в частности в аварском, прилагательное изменяется по классным показателям и по числам, согласуясь с существительным: *кIудияв чи* 'большой человек', *кIдияй чIужу* 'большая женщина', *кIудияб чу* 'большая лошадь', *кIудиял чагIи* 'большие люди' и т. д.[6] В русском языке они же согласуются в роде, числе и падеже.

Такого рода согласование, а в ряде языков независимо от этого и порядок размещения слов, при котором определитель-

[6] Такого рода изменения в порядке согласования прослеживаются не во всех яфетических языках Северного Кавказа. Так, например, они имеются в даргинском, но их нет для большинства прилагательных лакского и чеченского языков. В андийском языке лишь некоторые прилагательные согласуются с именем в классе и числе и т. д. См.: Услар П. К. 1) Хюркилинский язык. — ЭК, V, с. 43; 2) Лакский язык. — ЭК, IV, с. 49; 3) Чеченский язык. — ЭК, II, с. 40; Дирр А. М. Краткий грамматический очерк андийского языка. Тифлис, 1906, с. 27.

прилагательное обычно непосредственно предшествует определяемому им имени, связывают их в одно целое и по содержанию и по форме.

Комплексность подобного рода сочетаний наиболее ясно выступает в языках, использующих артикли (определенные и неопределенные члены), которыми формально устанавливается принадлежность имени существительного к определенному роду (мужскому, женскому, среднему) вне всякой зависимости от синтаксиса.[7] В целом ряде индоевропейских языков, в том числе во французском и немецком, имя без артикля, за некоторыми исключениями, не употребляется вовсе. Артикль является, тем самым, сопутствующею частью имени существительного, его лексемою. Морфологическое значение артикля признает и Вандриес.[8] Когда же имя существительное получает свой определитель, то он вклинивается между именем и его артиклем, который придает всему словосочетанию как бы лексико-синтаксическое единство: un chien, un grand chien. Все же мы не имеем и в этом случае полного тождества с гиляцким pilagan 'большая собака', так как при морфологически развитом строе французской речи определитель изменяется по числам и родам, выделяясь тем самым в самостоятельно оформленное слово: un grand chien, une grande vache ('большой пес', 'большая корова') и т. д.

Грамматическое оформление слов (grand chien, grande vache) выражает разделение их на части речи, в данном примере на существительное и прилагательное. На этом основании проводится связь частей речи с синтаксическими категориями. С другой стороны, наличие членов предложения не устраняет наличия в них же синтаксических комплексов, без установления которых и синтаксический анализ не может быть проведен до конца.

Конечно, гиляцкое pilagan ţuzŋiḑ ('большая собака мясо ест') дает иную схему построения предложения, чем французский его перевод un grand chien mange un morceau de vinade, но все же и в последнем прослеживаются комплексные сочетания, которых окажется в этой французской фразе равным образом два: un grand chien, так же как и pilagan, отделяется от mange un morceau de viande и его гиляцкого соответствия ţuzŋiḑ как комплекс субъекта и комплекс предиката. Различие заключается главным образом в том, что в гиляцком языке они формально выражены инкорпорированием, тогда как во французском согласованием и управлением слов. Даже на материалах русского языка, который в его современном состоянии, при отсутствии артиклей, не дает столь ясной картины, все же можно проследить подобную же группировку слов в предложении: *большая собака* отделяется от *ест большой кусок мяса* как комплекс субъекта от комплекса

---

[7] Я не имею в виду в данном случае английского языка, в котором артикль не выражает рода.

[8] Вандриес, с. 115.

предиката с управляемым им прямым дополнением. При этом и субъект, и прямое дополнение оба в свою очередь представлены словосочетанием, т. е. комплексно, что и выражено согласованием определителя с определяемым.[9]

Останавливаясь на этих примерах и, в частности, на разборе русской фразы, придется прийти к выводу, что в данном случае синтаксические комплексы выражаются не в тех сочетаниях, о которых говорит Вандриес, имея в виду искусственное выделение морфем одного слова вроде франц. jenetaipavu (je ne t'ai pas vu) 'я не видел тебя'.[10] В последней фразе, если признать правильность выводов Вандриеса, наличествует одно слово с его грамматическими оформителями. Под синтаксическими же комплексами мною подразумеваются сочетания грамматически отдельно оформленных слов, воспринимаемых как одно целое по семантике предложения.

Подходя с этой стороны к анализу строя французской речи, можно будет усмотреть во фразе la poignée de main de Calvières l'accabla[11] ('рукопожатие Кальвьера огорчило его') противопоставление комплекса предиката (l'accabla), представленного в данном случае одним оформленным словом (laccabla), комплексу субъекта (la poignée de main de Calvières), состоящему из ряда грамматически оформленных слов.

Такое деление можно четко проследить в любой разбираемой фразе. Эти члены словосочетаний выявляются формально в так называемых мною синтаксических комплексах. Связанные по содержанию части предложения формально увязываются разными синтаксическими приемами. В только что приведенном французском примере такая связь выражается предложными соединениями слов в их последовательной зависимости: de Calvières определяет de main, которое в свою очередь определяет poignée.

Этот пример может быть использован нами и в других целях, а именно для выяснения основного свойства синтаксического комплекса. Им передается соединение в пределах одного главного члена предложения. Упор, следовательно, делается на различные приемы соединения.[12] Так, например, в приведенной французской фразе, в первом ее комплексе, отбрасывая артикль и предлоги, мы имеем три слова, вовсе не являющиеся равноправными сочле-

---

[9] Ср. у А. А. Шахматова, который усматривает в предложении *испуганная нами ворона взлетела на высокую липу* два члена коммуникации, один с субъектом *испуганная нами ворона* и другой с предикатом *взлетела на высокую липу*. Устанавливая здесь два члена коммуникации, А. А. Шахматов противопоставляет им семь слов, которые соответствуют шести членам предложения (Синтаксис русского языка, 1, с. 10).

[10] Вандриес, с. 89.

[11] Пример взят мною из французского романа: Bourget Paul. Le Démon de Midi. Paris, 1914, p. 200.

[12] Ср. liaison во французском языке как выразитель лексических и синтаксических форм; см.: Сергиевский М. В. История французского языка. М., 1938, с. 181, 192, 272 и др.

нами всего сочетания. На самом деле la poignée de main представляет собою не синтаксическое, а лексическое соединение, передавая одно лексическое понятие рукопожатия, тогда как de Calvières уточняет его смысл уже синтаксически, отмечая принадлежность рукопожатия определенному лицу, появившемуся во фразе в порядке передачи ее смыслового задания. В русском переводе такая синтаксическая увязанность выразится падежным управлением 'рукопожатие Кальвьера', причем перевод этот вполне уточняет наличные во французском соответствии лексические и синтаксические словосочетания. La poignée de main передано одним словом рукопожатие, и такая передача оказывается вполне точною, так как и французское la poignée de main является одною лексическою единицею, а не синтаксическим комплексом.

Подобного рода различия лексических и синтаксических построений в особенности ярко выступают при сопоставлении сходных по содержанию предложений, взятых из различных языков даже одностадиального состояния. Так, во фразе la porte de la salle á manger venait de s'ouvrir, et le maître d'hôtel d'annoncer [13] ('дверь столовой открылась, и метрдотель объявил'), можно выделить в каждом предложении по два синтаксических комплекса, из которых la porte de la salle à manger, в русском переводе 'дверь столовой', соединяется с комплексом сказуемого venait de s'ouvrir, по-русски 'открылась'. Сокращенная передача в русском языке более сложного французского словосочетания отвечает лексическим особенностям французской речи, выражающей одно понятие несколькими словами. Сокращение, таким образом, идет в русском языке за счет лексических единиц, а не синтаксических. Французское же словосочетание le maître d'hôtel лексически настолько ясно объединено в одну единицу, что в русском позаимствовании оно оказалось одним словом *метрдотель*.

Таким образом, отделяя лексические соединения типа maître d'hotel, представляющие собою по своему содержанию одно слово, и возвращаясь к синтаксическим комплексам, как к соединению связанных слов по семантике предложения, я подытоживаю свои выводы следующим заключением: мышление устанавливает определенные единицы речи. С изменением мышления и речи изменяются и их нормы, тем самым меняются и речевые единицы. Таким было приведенное выше слово-предложение, например юкагирское asaalisoromoh 'оленестреляниечеловек', т. е. 'человек застрелил оленя', такими же, но уже с качественно иным построением двухчленного предложения, являются гиляцкие лексико-синтаксические комплексы инкорпорированного состава, дающие в своем соединении структуру предложения: ni keχ̧ţorq'aḑ 'я чайкитристрелял', по-русски 'я застрелил трех чаек'. Цельная единица слова-предложения разбилась здесь на две составные части,

---

[13] Bourget Paul. Op. cit. p. 110.

в результате чего появились две лексико-синтаксические единицы в одном предложении.

Такими же являются формально выраженные синтаксические комплексы, о которых в основном идет речь в настоящей главе. Разбитые на отдельные слова, семантически связанные словосочетания формально увязываются в одно целое разными путями согласования. Так, в языках банту (конкретно в зулу) классные показатели стержневого слова, повторяясь в зависимых словах, ясно выделяют подобного рода синтаксические объединения внутри уже развитого предложения. В языке зулу мы находим такие построения, как aba-ntwana aba-hle b-etu si-ba-thanda 'дети прекрасные они-наши мы-их-любим' ('мы любим наших прекрасных детей'). Показатель аба (ba), относящий слово 'дети' к определенной лексической группе (лингвистическому классу), повторяется во всех остальных словах данного комплекса, объединяя его в одно целое, несмотря на построение предложения, уже разбитого на отдельные слова.

Еще отчетливее выступают синтаксические комплексы в таких фразах, которые ясно разбиваются на две части, каждая согласованная классными показателями со своим стержневым словом, причем показатель субъекта повторяется в глаголе-сказуемом, объединяя тем самым обе части в одно согласованное построение. Такую схему можно проследить, например, во фразе из языка суахили watu wema wanakisoma kitabu hiki kizuri 'люди хорошие они-ее-читают книгу эту красивую' ('хорошие люди читают эту красивую книгу'). Здесь первый комплекс wa-tu w-ema 'люди хорошие' объединен классным показателем субъекта (wa-tu), а второй wa-na-ki-soma ki-ta-bu hi-ki ki-zuri 'они-читают ее книгу эту красивую', равным образом, объединен общим классным показателем ki, характеризующим слово 'книга' (ki-tabu).[14] Таким образом, один комплекс объединен показателем wa → w, а другой показателем ki. В то же время оба комплекса связаны друг с другом повторением в сказуемом показателя первого wa (показателем класса, к которому принадлежит субъект, стержневое слово первого комплекса). Этот показатель повторяется в «глагольной форме» второго комплекса, оказавшейся вследствие этого носителем показателей обоих комплексов (wa-na-ki-soma) и выделяемой в связи с этим же в особое положение в строе всего предложения. В данном примере вполне отчетливо выступают синтаксически обособленные комплексы, то же время синтаксически связанные в одно целое предложение.[15]

---

[14] Ki-tabu — заимствованное из арабского слово, своеобразно воспринятое в языке суахили с выделением первого слога, понятого как классный показатель по аналогии с другими существительными того же языка, имеющими тот же показатель.

[15] За указание примеров из языков зулу и суахили приношу глубокую благодарность проф. Н. В. Юшманову, И. Л. Снегиреву и П. А. Алексееву.

В других случаях это же достигается, как мы видели выше на примерах индоевропейских языков, другими средствами синтаксического выражения. Связанные одним комплексом слова характеризуют его согласованием. Вспомним приведенный акад. А. А. Шахматовым пример: *испуганная нами ворона взлетела на высокую липу*. Внутри комплекса проводится согласование: прилагательное *испуганная* согласовано в роде, числе и падеже с *вороной*, между этими двумя согласованными частями комплекса вставлено к ним же относящееся слово *нами*. Всему этому комплексу противополагается другой, причем оба они в свою очередь связаны согласованием сказуемого с подлежащим *ворона взлетела*. В итоге получилось цельное предложение.

Упор на особое восприятие субъекта отделил его от глагола-сказуемого, сохранив согласование между ними. Такое выделение субъекта с его противоположением предикату мы видели и в гиляцком языке, в котором это подтверждается схемою двух инкорпорированных составов. Но в гиляцком объект (прямое дополнение) сохранил свое значение конкретизатора направления действия и не отделился от предиката, оставаясь с ним в общем для них инкорпорировании.

Положение объекта равным образом вовсе не одинаково во всех языках. В гиляцком он неотделим от предиката, тогда как в ряде других северных азиатских же языков он выделяется из общего комплекса предиката, получая свое самостоятельное место в предложении. Например, в алеутском языке субъект и объект предшествуют глаголу и ставятся в одинаковом (прямом) падеже: *анг'аг'их'к'ах'сукух'* 'человек рыбу взял'. Категория объекта выделилась здесь в противоположность категории субъекта и категории действия. То же самое мы видели в африканских языках банту (зулу и суахили), где классными показателями субъекта и объекта выделяются их комплексы. Подобного же рода выделение объекта в самостоятельный член предложения прослеживается, например, и по таким построениям фраз, как французская un grand loup a dévoré un grand chien. По семантике фразы не только субъект (un grand loup), но и объект (un grand chien) выступают в качестве отдельных синтаксических комплексов в пределах одного и того же предложения. Оба они и по содержанию и по своему оформлению представляют синтаксическое целое, связанное как согласованием прилагательного с существительным, так и включением первого между вторым и его артиклем. Кроме того, самостоятельная роль в предложении комплекса объекта и его отделение от глагола свидетельствуется в данном случае тем, что этот же комплекс в этом же его виде может оказаться субъектом предложения, если его переставить на первое место: un grand chien a dévoré un grand loup. Согласованные внутри своего сочетания un grand loup и un grand chien представляют собою два отдельных синтаксических комплекса, при которых a dévoré оказы-

вается уже третьим.[16] Подобного рода отношения субъекта, объекта и предиката получают свое формальное выражение в синтаксических комплексах и могут быть уловлены и поняты в своем разнообразии лишь путем анализа заложенного в них содержания.

Именно это и прослеживается при стадиально-сравнительных сопоставлениях: слов-предложений, представляющих единый комплекс (примеры из чукотского, юкагирского и др.), инкорпорированных комплексов в предложении (строй речи гиляцкого языка), синтаксических комплексов в их формальном объединении классными показателями при грамматически выделенных словах языков зулу, суахили и пр., и, наконец, в различных способах их синтаксических сочетаний в индоевропейских языках.

И сами синтаксические комплексы, и, тем более, способы их передачи различны. Каждый языковый строй (ср. расхождения в русском и французском при общем тождестве их схем) и, тем более, языковые структуры разных стадий нуждаются в уточнении наличных в них синтаксических сочетаний. Синтаксические комплексы, со своей стороны, уточняют понимание структуры предложения даже в наиболее морфологически оформленных языках, ярче выявляют положение его членов и вскрывают синтаксические особенности в использовании лексических единиц.

Различные приемы в конструкции синтаксических комплексов зависят от особенностей строя предложения и сами характеризуют его построение в том или ином языке. На первый взгляд может показаться, что во всех приведенных структурных разновидностях данных комплексов имеется только формальное расхождение в выражении сходного содержания, чем и облегчается перевод любой фразы на разные языки. На самом деле это не совсем так. В отдельных случаях анализ построения осложняется различием его функциональной значимости в предложении и речи вообще, в тесной связи с уже затронутою выше проблемою слова и предложения. Так, например, гиляцкое инкорпорирование, сочетающее в одной словесной форме то, что в индоевропейских языках передается рядом слов (определители с определяемым), стоит на грани лексического и синтаксического построения, столь близких, что не всегда удается с полною уверенностью установить, какое из них преобладает в данной конструкции.

В частности, в гиляцком pilagan имеется и элемент лексики ('большесобака') и элемент синтаксиса ('большая собака'), что ставит вопрос о том, понимает ли гиляк это построение как цельное слово или же как имя с его определителем. В первом случае здесь не будет синтаксической композиции, тогда как во втором она налична, так же как налична в целом ряде языков, в которых прилагательное не получает согласования в роде, числе и падеже

---

[16] Ср. то же в приведенном выше примере из языка суахили, в котором глагол-сказуемое как носитель классных показателей обоих комплексов (субъекта и объекта) равным образом выделяется по этому своему построению в третий член предложения.

при его присоединении к имени существительному (бурят-монгольский, некоторые яфетические и др.). В языках, богатых морфологиею, наоборот, синтаксическое объединение отдельных слов, связываемых семантикою предложения, выступает во всей яркости. Синтаксические комплексы в последнем случае являются как бы комплексным членом предложения, хотя сами разбиваются на части.

Как мы видим, синтаксические комплексы различаются и по своей внешней форме и по своему содержанию, что теснейшим образом связано с проблемою стадиального развития слова и предложения. К этой проблеме я и перехожу в следующей главе.

ПРОБЛЕМА СТАДИАЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Весь проведенный в предыдущих главах обзор материала на громадном протяжении стадиального развития речи, начиная от слова-предложения и кончая строем предложения индоевропейских языков, можно, как мне кажется, рассматривать под углом зрения исторической преемственности в развитии содержания и формы. Подходя к привлеченному материалу с этой стороны, т. е. располагая его в стадиально-сравнительных параллелях, мы разворачиваем тем самым картину длительных трансформационных путей движения от зачаточных элементов синтаксиса до развитого синтаксически построенного предложения.

Монизм языкового процесса тут выявляется полностью, так же как с неменьшей степенью ясности вскрывается качественная перестройка основных устоев языка. Так, гиляцкое инкорпорирование с ведущим двухчленным составом предложения есть нечто новое по сравнению со словом-предложением чукотской речи. Равным образом, объединение объекта с глаголом посредством классного показателя в языках банту представляет собою резкое структурное расхождение с инкорпорированною связью объекта и предиката в гиляцком языке. Если, с другой стороны, обратиться к структуре предложения в индоевропейских языках, то и в них придется усмотреть качественное своеобразие, состоящее в согласовании глагола-сказуемого с подлежащим при помощи личных показателей и в управляющей связи переходного глагола с объектом — прямым дополнением. Таким образом, даже одни взаимоотношения субъекта, объекта и предиката находят себе в указанных языках различное формальное выражение.

И тем не менее стадиальная преемственность прослеживается во всех этих формах, свидетельствуя единство глоттогонического процесса, несмотря на все внешнее разнообразие в отдельных построениях и формах. На самом деле, если удастся исследователю правильно сопоставить материал стадиально различных языков, в чем я убежден в полной мере, то можно будет с доста-

точною очевидностью показать процесс расчленения слова-предложения на его составные, еще инкорпорированные, части, разбивку этих последних на грамматически оформленные самостоятельные слова, связанные между собою синтаксическими показателями. Удастся, будем надеяться, установить и причины этих изменений, сводящихся к изменению норм сознания, а в конечном итоге к изменению общественной практики.

Выражение в слове более отвлеченных понятий взамен бывших до них конкретных привело к тому, что в предложении эти же слова с отвлеченным значением дают возможность выразить конкретизацию более глубокого типа. В результате вместо инкорпорирования идет рост синтаксического построения и развиваются обусловленные им разновидности грамматических средств.

Заложенные прежде зачатки синтаксиса, находившиеся в скрытом виде инкорпорированного слова-предложения, затем, при его разложении, выступили наружу. Предложение оказалось разбитым на главные его члены, т. е. создано предложение как таковое с его синтаксическими правилами, хотя бы и весьма своеобразными с точки зрения синтаксиса европейских языков. Получило свое своеобразие и выделившееся в предложении слово.

Действительно, гиляцкое paḫlaƀos (paḫla 'красный', pos 'материя') воспринимается нами как двухсловесное выражение, указывающее на предмет и его качественный определитель: 'красная материя'. С точки зрения русской грамматики мы имеем в гиляцком примере синтаксическое словосочетание, и если оно на самом деле таково, то должно быть понято как лексико-синтаксическая единица, поскольку оно представлено одним словесным комплексом. Но решающим является здесь не наше восприятие данного оборота речи, а его понимание самою общественною средою, пользующеюся данным языком. И если представление о «материи» неразрывно связано с определенным ее качеством (в данном случае цветом) и определитель «материи» семантически ее уточняет, образуя единое целое лексического значения, то в данном случае в гиляцком языке будет все же лексическое построение, приближающееся к типу сложного слова в обычном нашем его понимании. Такая лексическая связь может оказаться и в русском языке вопреки наличию того же сочетания определителя с определяемым. Так, например, *красный уголок* представляет собою цельную лексическую единицу, которую, возможно, и следовало бы поэтому писать с объединяющим знаком, так как школьная грамматика устанавливает раздельное написание для синтаксического сочетания определителя с определяемым (ср. *красная скатерть*), а не для единой лексической единицы с ее цельной лексической семантикой, какою является *красный уголок*. В отличие от «материи», которая может быть красною, синею и т. д., существует только *красный уголок* как таковой.

В таком обращении синтаксического комплекса в лексическую единицу (слово) можно легко усмотреть новое качество, вложен-

ное в старую форму, обслуживающую в основном лексико-синтаксические соединения. Пока не было особого представления о *красном уголке*, подобного рода словосочетание представляло собою обычное для русского языка сочетание определения с определяемым.

Сочетания в виде синтаксического построения могут закреплять за собою более узкое лексическое значение отдельного слова (ср. *оперный театр*, *морской канал* и др.). К числу таких слов, составных по семантике, относятся и такие, как *красная смородина*, которая может быть зеленою (в смысле недозрелой). Они были раньше синтаксическими комплексами, а затем стали лексическими комплексами (сложными словами).

Такие примеры, как *красный уголок* и др., указывают на то, что прежнее синтаксическое построение получило лексическую семантику, формально не образовав цельной лексической единицы в ее обычном слитном построении составного слова. Получилось новое качество при сохранении все же старой синтаксической формы, наличие которой свидетельствуется склонением обеих составных частей, каждой в отдельности (*красному уголку* и т. д.). Получился тем самым новый тип семантически связанных составных слов, ясно указывающий на недостаточность одной только формальной стороны для его установления. Лексическая единица устанавливается не только по форме, но и по ее семантике.

Та же проблема формы и содержания, столь ясно выступающая в приведенных примерах из русского языка, должна неуклонно стоять перед исследователем при разработке им целого ряда вопросов из области языкознания. Она в полной мере ставится и по отношению к гиляцкому языку. Мы уже указывали на то, что в этом языке всякое сочетание определителя с определяемым сливается в одну общую форму, будь она лексическою или синтаксическою. Тем самым устанавливается, что и в данном случае одна формальная сторона не вскрывает значения разбираемой формы.

Если в отмеченном выше русском словосочетании с лексическим значением каждое из слагаемых слов имеет свои грамматические показатели (*красному уголку* и т. д.), то в гиляцких построениях (paɧlaɖoŋx, в отдельности paɧla ʽкрасный’ и ʈoŋx ʽугол’), наоборот, выступает порядок слагаемых элементов. В русском языке особыми показателями выражаются синтаксические связи, давшие в своем итоге лексическую единицу (хотя бы и составную). Эти показатели оказываются тем самым лексико-синтаксическими. В гиляцком же весь цельный инкорпорированный комплекс по форме приближается к слову, иногда получая все же и синтаксическое значение. Следовательно, и тут правильнее будет дифференцированный подход к внешне сходным построениям.

Так, инкорпорирование типа paɧlabos (ʽкрасная материя’) может меняться, имея параллелью təibos (ʽсиняя материя’) и т. д., тогда как paɧlaɖoŋx (ʽкрасный уголок’), в современных условиях

использования данного термина, представляет собою цельность лексической семантики. В последнем случае перед нами лексическое объединение двух основ, в первом же легко усмотреть наличие лексико-синтаксического соединения. На том же основании придется в современной гиляцкой речи признать синтаксическим построением всякого рода слияние объекта с предикатом (лексико-синтаксическая единица). На такое слияние указывал еще Л. Я. Штернберг, по словам которого прямое дополнение в гиляцком языке, представленное чистою основою, ставится непосредственно перед глаголом, образуя с ним одно целое, что сближает гиляцкий язык с инкорпорированием американских.[1]

Можно, с известною степенью вероятности, признать, что лексико-синтаксические построения инкорпорированного слова-предложения распались в гиляцком языке на их составные части, выделив слова, конкретизованные определителями, неотъемлемыми от них, и составляющие с ними семантическое целое. Получившийся затем количественный рост подобных «слов» с разнообразными определителями при общности стержневой основы самого определяемого элемента инкорпорирования придал им уже вид синтаксического словосоединения.

Таким образом, более вероятным представляется мне, что инкорпорированные гиляцкие комплексы воспринимались раньше как самостоятельные лексические единицы и лишь впоследствии стали получать различные функциональные оттенки в своих слагаемых частях, выражающих то лексическое целое, то лексико-синтаксическое соединение. А если это так, то мы тем самым приближаемся к стадиально последующему строю предложения, в котором разбиваются на составные части и эти лексико-синтаксические сочетания. В свою очередь это неизбежно ведет к новому объединению их посредством увязки синтаксемами. В результате последней языковой перестройки образуется качественно новый тип предложения с выступающим в нем новым качеством слова.

Получились те же комплексы, но утратившие лексическое единство, взамен которого выступает синтаксическое единство (синтаксические комплексы). Яркий пример подобного строя дают языки банту, в которых слова несомненно выделились, иначе они не могли бы получить соответствующий грамматический показатель, но синтаксически они увязаны друг с другом, или, вернее, связаны со своим стержневым словом, которое передало им свой классный показатель: ki-tabu hi-ki ki-zuri 'книга эта красивая'.[2] Тут уже со всею отчетливостью выступают слова как лексические единицы, более абстрактные каждая в отдельности,

---

[1] См.: Sternberg L. Bemerkungen über die Beziehungen zwischen der Gilyakischen und amerikanischen Sprachen. — XIV Internationaler Amerikanisten Kongress, Stutthart, 1904, S. 137 usw.

[2] Слово ki-tabu принадлежит к классу имен ki. Этим классным показателем снабжено местоимение hi-ki и прилагательное ki-zuri. В русском переводе та же связь передается родовым согласованием: 'книга эта красивая'.

но конкретные в их синтаксической связи. Целостность семантики всего комплекса обусловливает синтаксическое объединение слагаемых частей. Семантика предложения и входящих в него синтаксических комплексов получает в данном случае решающую роль.

Идя намеченным путем, нам удается с определенною последовательностью проследить ход развития языкового строя. Мы видим известного рода преемственность построений, раскрытие которой достигается стадиально-сравнительным подходом. Более того, при таком сравнении получается возможность в пределах реально доступных языковых фактов спуститься до начальных периодов образования предложения и выделения слова как лексической единицы. Можно даже проследить пути развития предложения, проводя палеонтологический анализ, не отрываясь от живого языкового материала.

Только признание качественных изменений языковых признаков и всего языкового строя, появление новых показателей, выросших взамен старых и на их же почве, дает основание для построения стадиальной периодизации с заданием в будущем составить стадиальную сравнительную грамматику.

Возвращаясь к проблеме слова и предложения в том виде, в каком я пытался поставить ее в начале моей работы, и, учитывая основы стадиального анализа, мне приходится признать, что я подходил к характеристике обоих до некоторой степени стабильно. Это объясняется тем, что мною затрагивалась одна из основных сторон языковой структуры. Действительно, если слово и предложение в их взаимоотношениях определяют строй языка, то в первую очередь нужно выяснить детали этих взаимоотношений. Но ни в коем случае не следует при этом забывать, что не только предложение, но и само слово было качественно иным в разные периоды развития речи.

Необходимый корректив можно сделать теперь, когда получилось общее представление о качественном разнообразии целого ряда языковых признаков, хотя бы и на весьма ограниченном материале. Дело в том, что обнаруженные расхождения как в построениях предложений, так и в оформлении слов, являются не чем иным, как разными ступенями развития языка, последовательно сменяющими друг друга и выступающими как звенья единого глоттогонического процесса. И когда Э. Сепир определяет слово как мельчайшую самодовлеющую речевую единицу, которая не может быть без нарушения смысла разложена на более мелкие части,[3] то естественным образом встает вопрос о том, что же представляет собою приведенное выше инкорпорирование, которое может быть разложено на составные части, сохраняющие смысловое значение слова? Если же под предложением понимать

---

[3] Сепир, с. 28.

выраженное в речи суждение,[4] то инкорпорированный комплекс слова-предложения вполне подходит под это определение, но не отвечает свойствам предложения, имеющего субъект высказывания и предикат как две его основные части.[5] Ясно, что инкорпорированный комплекс приведенного типа не подходит под обычные определения предложения и слова.

Э. Сепир считает, что субъект высказывания есть имя, формы же, выделенные для надобностей предикации, иначе говоря, глаголы, группируюся вместе с понятиями, выражающими действие. Таким образом, выделяются имя и глагол, и какой бы неуловимый характер ни носило в отдельных случаях различение имени и глагола, нет, по словам Сепира, такого языка, который вовсе бы пренебрегал этим различением.[6] Спрашивается, так ли это?

Во фразе тундренного диалекта одульского (юкагирского) языка köde-d-ilen-geḑil 'человеко-олене-принесение' субъектом высказывания будет 'принесение', которое, выражая действие, окажется в русском переводе не именем, а глаголом ('принес'), тогда как 'человек' в построении приведенной юкагирской фразы выступает в атрибутивном значении. Здесь разница между именем и глаголом, действительно, неуловима. И если она уловима в другом строе юкагирской речи, где предложение составляется из отдельных слов, то все же в инкорпорировании нет различия между именем и глаголом. Этого различия нет потому, что тут предложение и слово еще не расчленились и потому еще не образовались части речи. И если в некоторых языках, например в гренландском, мы не можем расчленить фразу на слова, так как в них есть тенденция образовать столько слов, сколько есть фраз, и столько фраз, сколько есть слов,[7] то очевидно, что, вопреки утверждениям Сепира, существуют языки, не знающие ни глагола, ни имени в обычном понимании этих терминов.

Даже и тогда, когда предложение распадается на составные части, когда, следовательно, можно говорить о синтаксической единице отдельно от лексической, все же имя (существительное, прилагательное) и глагол появляются не сразу. Так, в гиляцком языке такого типа предложения, как tə-dəf pil-ḑ 'этот дом велик', tə-gan veur-ḑ 'эта собака в беге хороша (хорошо бежит)' и ŋi χa-ḑ 'я стрелял' дают совершенно сходные формы предиката (pil-ḑ, veur-ḑ, χa-ḑ), которым даже в русском переводе не везде соответствует глагол. Такого соответствия не будет потому, что в гиляцком языке предикат вовсе не выражен глагольною формою. Он является членом предложения, а не частью речи. Нельзя отождествлять предикат с глаголом, как это делает Сепир; [8] наоборот,

---

[4] Там же, с. 29.
[5] Там же.
[6] Там же, с. 93.
[7] Вандриес, с. 90, со ссылкой на: Fink N. F. Die Haupttypen der Sprachbaues. Leipzig, 1910, S. 31.
[8] Сепир, с. 93.

как увидим ниже, понятие предиката гораздо шире нашего понятия о глаголе.

В инкорпорированном строе слова-предложения нет тождества с предложением и со словами индоевропейских языков. При распаде слова-предложения на составные части еще инкорпорированного построения получается предложение и выделяется слово, но ни то ни другое и в этом случае не дают еще того качественного содержания, которое вложено в их эквиваленты в европейских языках. Между ними имеется значительное стадиальное расхождение, заставляющее к каждому из них подходить особо, устанавливая для них свои типологические признаки. Они будут одними для тех языков, в которых «столько же фраз, сколько и слов» (Финк, Вандриес), другими для тех, которые образуют предложение и выделяют слова. Но и в последних типология далеко не сходна во всем разнообразии построения предложения, так как и они в свою очередь выявляют типологическую смену грамматических показателей.

Распавшись на составные части, слово-предложение создало единство между выделившимися словами и их сочетанием в синтаксическом комплексе предложения. Получилось многообразие возможностей выражения словосочетаний, определяемых их синтаксическим значением. Синтаксис при таком положении оказался в теснейшей связи с морфологиею, дав диалектическое единство, но не тождество, и Сепир, конечно, не прав, отождествляя член предложения (предикат) с частью речи (глаголом). Этот упрек касается, впрочем, не одного только Сепира.

Нам уже приходилось указывать на то, что гиляцкий предикативный показатель не является согласующею частицею, связывающею сказуемое с подлежащим. Он не образует глагола типа индоевропейских языков, который получает в предложении личное окончание, повторяющее лицо субъекта.[9] Это — безличный предикативный показатель, и, будучи таковым, он — синтаксичен, так как оформляет не слово, а член предложения. Кроме того, постановка субъекта на первое место, а предиката на второе, равным образом, оказывается одним из синтаксических приемов. Следовательно, синтаксемы уже имеются в гиляцком языке.

Они наличны, так как гиляцкое предложение разбито на составные части. Но все же эти составные части (члены предложения) совершенно отличны от тех, какие имеются в предложениях европейских языков. И если в последних устанавливаются подлежащее и сказуемое как два главных члена, вокруг которых группируются остальные, то в гиляцком выделяются два главных члена, к которым примыкают второстепенные (косвенные

---

[9] Ср.: Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Харьков, 1937, с. 190, 227; Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, с. 59—60; Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 91 и сл.

дополнения, вставки типа причастных оборотов и пр.), но ничто не группируется вокруг них, не управляется ими и не согласуется с ними. Вставки в гиляцком предложении обусловлены специальными смысловыми заданиями фразы, и они оказываются в ней самостоятельными и независимыми от главных членов, хотя и второстепенными, поскольку предложение может быть образовано и без них: if təv-uḫe p'u-ḍ 'он дома-из вышел'. Ср. oḫla qan-t'u-ke pol-ḍ 'ребенок, преследуя собаку, упал'. Второстепенный член в последнем примере qan-t'u 'собако-преследование' снабжен показателем одновременности действия ke ('во время собакопреследования', 'одновременно с собакопреследованием'), что дает всей фразе следующее содержание: 'мальчик во время собакопреследования упал'. 'Мальчик' (субъект) характеризуется состоянием 'падения' (предикат) во время 'собакопреследования' (второстепенный член). В русском переводе здесь выступит деепричастный оборот 'мальчик, преследуя собаку, упал' или полная форма придаточного предложения 'мальчик упал, когда преследовал собаку'. Оба эти перевода используют другие синтаксические правила и потому, оказываясь точными по содержанию, неточны по передаче формы.

Полной точности формального перевода соблюсти не удается, так как синтаксические приемы в обоих языках различны. В частности то, что в русском языке согласуется с главным членом предложения (определитель) или управляется им (прямое дополнение), оно же в гиляцком не группируется около главных членов, а сливается с ними в одном инкорпорированном составе: tə-oḫla tə-pila-gan-t'u-ke pol-ḍ 'этот мальчик, преследуя эту большую собаку, упал'. Определители в русской фразе (*этот, эту большую*) согласуются с определяемым словом. Согласующие показатели в русском предложении дают тем самым иное синтаксическое построение с субъектом — подлежащим и предикатом, стоящим в том же лице, как и подлежащее (глагол). В этом различии синтаксического построения нетрудно убедиться, взяв для сравнения параллели из обоих языков. Так, гиляцкое ŋi viiv-ḍ, ţ'i viiv-ḍ, if viiv-ḍ имеет везде предикативную форму, определяющую субъект в его действии хождения, тогда как русское *я ид-у, ты ид-ешь, он ид-ет* выражает в предикате само действующее лицо. Получается сказуемое-глагол,[10] которого нет в гиляцком языке. И когда исследователи этого языка, в том числе и Л. Я. Штернберг,[11] говорят о подлежащем и сказуемом данного языка, они переключаются на строй номинативного предложения и явно не учитывают стадиальных свойств синтаксических построений, качественно различных на протяжении истории развития речи.

---

[10] На глагольных формах придется остановиться ниже, основываясь не только на лексическом, но и на синтаксическом их определении.

[11] См.: Sternberg L. Op. cit., p. 137 etc.

В гиляцком языке при отсутствии личных окончаний у предиката он никогда не имеет полного глагольного оформления. Лексическая, или лексико-синтаксическая, единица, характеризующая другую в ее действии или состоянии, иногда в качественном состоянии (предикативно-атрибутивная форма), оказывается при таких условиях предикатом, т. е. членом предложения, а не глаголом как частью речи.

Так, анализируя форму по ее содержанию и функции в предложении, мы приходим к выводу, что в языках типа гиляцкого не только члены предложения имеют свой спецификум, но и части речи не соответствуют тем, которые известны нам по строю родного языка. В этом и заключается стадиальная характеристика определяемой языковой структуры. Когда же мы проводим параллели и прослеживаем пути языковых перестроек с образованием новых языковых показателей, то тем самым вскрывается стадиальное развитие языкового строя и отдельных его элементов. Только в этом разрезе может быть построена подлинная история языка.

Легко себе представить, какое громадное значение имеет распространение положений диалектического метода на изучение явлений общественной жизни, в частности и на изучение развития языка. Мы только что видели наглядные примеры структурных изменений в речи с образованием качественно совершенно новых форм. Кроме того, весь строй речи отдельно взятых языковых групп дает не менее убедительные доказательства диалектического хода развития в истории языка. Более того, можно с уверенностью сказать, что существующие недоговоренности в общих построениях лингвистики и всякого рода неточности в отдельных определениях, нередко граничащие с ошибкою, объясняются неправильным пониманием процесса развития, рассматриваемого как простой процесс роста, не ведущего к качественным изменениям.

Процесс развития ведет к качественным изменениям. Это мы уже видели на примерах инкорпорированного слова-предложения (в чукотском, юкагирском), на примерах предложения с его инкорпорированными членами (в гиляцком). Качественное различие между ними есть различие двух стадий, одной с инкорпорированною лексико-синтаксическою единицею слова-предложения и другой с предложением, представленным инкорпорированными лексико-синтаксическими его членами.[12]

Уже выделились предложение и слово как две диалектически связанные единицы речи. О них обычно и говорят общие курсы языкознания, представляя их изначальными в истории языка. Это, как мы только что видели, неверно. Слово и предложение

---

[12] Эти две стадии характеризованы мною выше, одна в главе о слове-предложении, другая в главе об инкорпорированных комплексах как частях предложения.

являются продуктом истории и характеризуют собою далеко не весь длительнейший период глоттогонии. Им предшествует нерасщепленное состояние, еще и по сей день улавливаемое на многочисленных материалах инкорпорирующих языков.[13]

После распадения слова-предложения все дальнейшее стадиальное движение человеческой речи сводится к качественно различным взаимоотношениям слова и предложения, как со стороны содержания, так и со стороны формы.

Распавшиеся части инкорпорирования сохраняют семантическую между собою связь и получают иную форму объединения. Субъект высказывания семантически связывается с предикатом, что выражается путем выявления предиката его особыми показателями, в том числе и расстановкою этих членов предложения в общем построении фразы. Тяготеющие же к ним слова соединяются с ними путем использования разного вида синтаксем, например классных показателей, наличных в стержневых словах (языки банту, яфетические Северного Кавказа и др.), или использованием согласования (в языках индоевропейских). Объект связывается с предикатом, уточняя направленность выражаемого им действия и соединяясь с ним тем же путем синтаксических соединений (получение предикатом классного показателя объекта в языках банту и яфетических) или примыканием к глаголу в порядке управления им (в индоевропейских языках).

Синтаксические приемы и тут выявляют свою преемственную последовательность, выдвигая проблему стадиальности и для развитого предложения.

В дальнейшем изложении я останавливаюсь на различных путях развития уже сложившегося предложения. И в этом очерке не менее ясно выступают те же решающие моменты диалектического движения.

Предлагаемый далее обзор, конечно, не является исчерпывающим. Я останавливаюсь только на нескольких синтаксических построениях, выступающих все же наиболее ясно в их последовательных изменениях, нередко вскрывающих глубокие архаизмы даже в строе речи наиболее продвинувшихся вперед языков.

---

[13] Весьма возможно, что во многих случаях школьные грамматики, построенные на традициях изучения классических языков, преемственно переключенных на строй индоевропейских с их богато представленною морфологией, искусственно скрывают в целом ряде языков еще наличные в них нормы более архаического строя речи. Возможно, что даже инкорпорирование отмеченного выше типа, объединяющее определителя с определяемым словом в одно лексическое целое, вовсе не замыкается указанным выше кругом языков. Возможно, что выделение в особую систему инкорпорирующих языков закрепило только за ними, в порядке лишь кабинетной работы, свойства инкорпорирования, отняв таковые у языков других систем, тогда как на самом деле они наличествуют и у них.

СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ГЛАГОЛА

Северные азиатские языки, так же как и некоторые американские, представляют собою, как уже отмечалось выше, исключительные примеры сосуществования двух различных строев речи. Один из них передает цельную фразу единым инкорпорированным комплексом слова-предложения, другой же выявляет грамматическое оформление отдельных слов, образующих предложения в своем синтаксическом сочетании. Одновременное наличие этих двух строев речи дает, при их сопоставлении, достаточное основание считать, что второй является трансформационным дериватом первого,[1] что еще более углубляет научно-исследовательский к нему интерес.

Разрыв единого комплекса слова-предложения и последовавшее в связи с этим построение предложения из отдельно оформленных слов вызвали к жизни как нормирование синтаксиса, так и способы его выявления в структуре предложения. И то и другое наличествует во втором строе речи названных языков.

Оставляя в стороне уже разобранное нами слово-предложение, обратим особое внимание на формы, получившиеся в результате распада инкорпорированного состава. Просматривая в этих целях достаточно обильный языковый материал, придется признать, что в итоге выхода из инкорпорирования не получилось однообразия в путях развития синтаксиса и лексики. В этих языках, в их более употребительном строе речи, использующем уже грамматическое оформление слова, наблюдаются различные нормы, следовательно и различные ведущие типологические свойства. Оказывается, таким образом, что языки, сохранившие еще инкорпорированные построения, пошли в своем другом, более развитом, строе разными путями построения как синтаксиса, так и лексики.

Один из этих путей указывает унанганский (алеутский) язык эскимосской группы. В этом языке имя получает свой особый показатель [2] со значением неопределенного члена (*x*', в двой-

---

[1] Это непосредственно вытекает из всего предыдущего разбора: 1) слова-предложения как одного инкорпорированного целого, ср. юкагирск. nimeyuolsoromoḣ 'домосмотрениечеловек' ('человек смотрит на дом'); 2) предложения, состоящего из двух или нескольких инкорпорированных членов; ср. гиляцк. pilagan ţuziŋiḑ 'большесобака мясоест' ('большая собака ест мясо'); 3) инкорпорирования, сохранившегося в отдельных членах предложения, уже построенного словосочетанием; ср. юкагирск. ţomoḑăasak aruleŋ morimele 'большеолень голос услышал'; 4) синтаксических комплексов, представляющих собою синтаксическое соединение отдельных слов, входящих в состав одного члена предложения; ср. русск. *большой-олень услышал громкий-голос.*

[2] Ср. неопределенные местоимения *анагих*' 'ничего', 'никто', *акух*' 'кто-нибудь', *анг'аг'их*' 'кто-нибудь' (ср. *анг'аг'их*' также в значении 'человек', т. е. 'какой-то человек'). Местоимения определенные не снабжаются указанным показателем *x*', например: *гван* 'он рядом находящийся', *аман*

ственном числе *х*, во множественном числе *н*), глагол же ставится в предложении в определенном согласовании со связанным с ним именем. Таким образом, казалось бы, что унанганский язык выделяет части речи в своем лексическом составе, так как мы можем говорить и о более развитой лексике и о синтаксисе во втором из упомянутых выше строев этого языка. Но все же в некоторых случаях дифференциация частей речи еще достаточно не выявилась. Так, например, имя существительное имеет упомянутый выше показатель (*х*', *х*, *н*), но тем же самым показателем снабжается и 3-е лицо глагола в местоименном строе спряжения (*ада-х*' 'отец', *суку-х*' 'он берет').

Оказывается, таким образом, что 3-е лицо глагола, хотя и снабжается показателем времени, все же носит именную форму, близость к которой усугубляется еще и тем, что само имя, как утверждает Иохельсон, тоже может получать временной показатель: *к'а-х*' 'еда', *к'а-к'а-х*' 'прежняя еда' и т. д.[3]

Далее, притяжательное оформление имен в точности совпадает с притяжательным оформлением предиката, которое является, следовательно, равным образом именным образованием. Поскольку в дальнейшем мне придется подробнее остановиться на данном построении предиката, ограничиваюсь сейчас лишь краткими примерами: *адан-н*' 'мой отец', *суку-н*' 'мое взятие' (в предикативном значении), *ада-н* 'твой отец', *суку-н* 'твое взятие' (в предикативном значении), *адā* 'его отец', *сукӯ* 'его взятие' (в предикативном значении) и т. д.

Все эти схождения не случайны, хотя кажутся неожиданными при подходе к ним с позиций синтаксиса европейских языков. Наоборот, они получают вполне ясное истолкование при подходе к изучаемому языку с его собственных позиций. Для этого требуется лишь осознание особенностей его строя без предвзятых положений, заранее навеянных нормами иноструктурных языков.

Имя существительное как часть речи ясно выступает в унанганском языке, получая в предложении свои синтаксические показатели. Таким показателем является место слова в предложении и особый показатель косвенного-относительного падежа *м* в единственном числе.

Здесь исследователями данного языка выделены два падежа. Оба они функционально различны. Первый из них, прямой падеж, лишен падежного окончания. В нем выступает имя с его именным

'он дальний невидимый', *уман* 'он близкий невидимый' и т. д. То же самое прослеживается и в существительных, ср. *адах*' 'отец' ('вообще отец'), *адан*' 'мой отец'. В последнем случае показатель *х*' уже опускается. См.: Иохельсон В. И. Унанганский (алеутский) язык. — ЯПНС, III, с. 133.

[3] Иохельсон В. И. Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка. — ИАН, 1912, с. 1040. Повторяю здесь приведенные утверждения В. И. Иохельсона, которые проверить на материале живой речи мне не представилось возможности.

показателем (упомянутым выше неопределенным).[4] Второй падеж — косвенный, относительный, оформляет имя существительное только тогда, когда оно имеет по семантике предложения косвенное значение, выражая принадлежность ему чего-то. От этого косвенного (относительного, или притяжательного) падежа получается целый ряд послеложных образований. Для выражения же субъекта и объекта используется указанная выше именная форма, которая в этом случае получает уже синтаксическое назначение (прямой падеж) и, приобретая тем самым синтаксическую функцию, выступает в этом своем значении наряду с другим падежом.[5] Второй падеж (относительный, или притяжательный, на *м*) выполняет лишь синтаксическую функцию, являясь с этой точки зрения падежом в действительном понимании данного термина, как и все косвенные падежи других языков.[6]

Глагол согласуется с субъектом, стоящим в прямом падеже, который можно было бы назвать именительным, если бы кроме субъекта в той же фразе и в том же прямом падеже не стоял бы также объект, что именительному падежу не свойственно.[7]

Что касается глагола, то, по существу, имеется в том же унанганском (алеутском) языке только одно спряжение, отвечающее основным требованиям глагольного образования, но имеющее и свои особенности. Глагол изменяется по лицам, временам, наклонениям и т. д. Такое его изменение вполне отвечает требованиям, предъявляемым к глаголу также и строем индоевропейской речи, хотя в самом унанганском языке далеко не все эти признаки свойственны только глаголу. Все же изменение по лицам личными местоименными показателями остается специальной особенностью глагольной формы. К этой особенности и придется обратиться дальше, так как именно ей унанганский язык придает особый оттенок, который, как мне кажется, прослеживается и в ряде других языков, хотя и менее ярко.

Все же при наличии выделенных частей речи наблюдается в унанганском языке теснейшая между ними связь. Она выражается в общности ряда грамматических показателей, что до из-

---

[4] В значении прямого падежа может выступать не одно только имя, снабженное показателем *х'*, ср., например: *адах' хваг'акух'* 'отец сюда-пришел' и *адан хваг'акух'* 'твой отец сюда-пришел'.

[5] В том же отношении находится известный нам по другим языкам именительный падеж (nominativus), носящий свое наименование по той же лексической функции и используемый в предложении как падеж подлежащего, т. е. уже в синтаксическом значении; ср.: Кацнельсон С. Д. К генезису номинативного предложения. М.—Л., 1936, с. 22, 38, 41.

[6] Ср. в старофранцузском, падежи которого сводятся к двум — к именительному и косвенному, который в сочетании с предлогами служил для выражения всех прочих падежных функций. Позднее (в XIV—XV вв.) из двух падежных форм остается только форма косвенного падежа. См.: Сергиевский М. В. История французского языка. М., 1938, с. 58, 106—107.

[7] Ср. С. Д. Кацнельсон: «При помощи залогов именительный падеж становится универсальным падежом субъекта, становится способным выражать любой предмет» (ук. соч., с. 38).

вестной степени сближает уже обособившиеся категории. Это дает возможность постановки на данном материале ряда генетических вопросов, в частности и о происхождении местоименного спряжения глаголов.

Части речи в унанганском языке весьма близки друг к другу. Это отмечалось и другими исследователями. Так, В. И. Иохельсон признает, что между именными и глагольными основами и их изменениями формально демаркационная линия очень слаба. «Глаголы могут заключать в себе ласкательный, пренебрежительный, ругательный и другие атрибутарные элементы по отношению к действующему лицу, а имена могут соединяться с идеей о времени». Он приводит примеры лексического изменения глагольного по существу построения, идущего по линии именных лексем: *к'адä* 'ешь', *к'āдадä* 'ешь, милый'. В то же время он указывает изменение по времени имен существительных: *к'ах'* 'еда', *к'ак'ах'* 'прежняя еда' и т. д.[8] Все подобного рода примеры и многие другие дали мне повод остановиться для обоснования ведущей темы настоящей главы на строе унанганской речи.

Образование унанганского глагола с этой стороны весьма показательно. Так, прежде всего, глагольной основы как отличной от именной не существует, напротив, каждая глагольная форма образуется от именной основы. К той же упомянутой выше именной основе с ее именным окончанием *х'* прибавляется местоимение, что и дает в своей совокупности глагольное построение. Тем самым лишний раз подтверждается, что окончание *х'* в именах существительных имеет лексическое значение. От указанной именной формы образуется новая лексико-синтаксическая единица, используемая в значении предиката с выраженным в нем действующим лицом. Все сказанное здесь о глаголе относится только к его личному спряжению, использующему личные местоимения. Что же касается притяжательных форм предиката, о которых речь будет ниже, то таковые изменяются по лицам так же, как и притяжательно оформленные имена, встречающиеся в предложении не в одном только предикативном значении.

Прибавляемые к глаголу личные местоимения равным образом весьма показательны и в значительной степени содействуют выяснению функциональной значимости унанганской глагольной формы. Личные местоимения имеются только в первых двух лицах: *тин'* 'я', *тхин* 'ты', *тхидих* 'вы двое', *тхичи* 'вы'. Отсутствие личного местоимения в 3-м лице сохраняет в глаголе чистую именную основу с ее упомянутым выше именным показателем, который выступает так же в двойственном и множественном числах 3-го лица глагола.

---

[8] Иохельсон В. И. Ук. соч., с. 1040.

ануку-к'ин'	'бросаю я' [9]
ануку-х'-тхин	'бросаешь ты'
ануку-х'-тхидих	'бросаете вы двое'
ануку-х-тхичи	'бросаете вы'
ануку-х'	'бросает он'
ануку-х	'бросают они двое'
ануку-н	'бросают они, бросаем мы двое, бросаем мы'

Глагол в названном местоименном спряжении согласуется только с субъектом, что явствует из того, что изменение числа объекта не отражается на глагольной форме, которая, наоборот, изменяется при перемене числа субъекта. Это легко проследить на примерах:

ну-х' ануку-х'-тхин	'камень бросаешь ты'
ну-х ануку-х'-тхин	'два камня бросаешь ты'
анг'аг'и-х' ну-х' ануку-х'	'человек камень бросает'
анг'аг'и-х' ну-н ануку-х'	'человек камни бросает'
анг'аг'и-х ну-х' ануку-х	'два человека камень бросают'
анг'аг'и-н ну-х' ануку-н	'люди камень бросают'
анг'аг'и-н ну-х ануку-н	'люди два камня бросают' и т. д.

Всматриваясь подробнее в приведенные разновидности глагольных форм и вполне присоединяясь к тому, что в этих формах во всех трех лицах мы имеем уже глагольное построение, все же нельзя не заметить различия в оформлении всех трех лиц. Так, 1-е лицо имеет показателем *к'ин'*, непосредственно прибавляемый к основе с временны́м показателем (*ку*). 2-е лицо прибавляет местоимение *тхин* к той же основе, снабженной именным формантом *х'*. 3-е лицо не имеет никакой приставки, обнажая чистую именную основу. Что все эти три лица все же воспринимаются как глагол, свидетельствуется включением в них временно́го показателя (*ку*, настоящего-прошедшего времени).[10]

Такое построение унанганского глагола вызывает к себе особое внимание ясностью своей структуры, указывающей на его происхождение. В основе лежит именная форма с уже отмеченным выше именным показателем *х'* (не исключая и 1-го лица, о чем см. ниже). Даже временной показатель помещается между основою слова и его именным формантом (*ану-ку-х'*). К этой именной форме присоединяется местоимение, и в результате получается глагол.

---

[9] В. И. Иохельсон с полным основанием считает, что и в 1-м лице глагола налицо именная форма с тем же именным показателем, т. е. что *ануку-к'ин'* вышло из *ануку-х'-тин'*; см.: Там же, с. 1041, примеч.

[10] Временны́е показатели в глаголе и именах при предикативном использовании последних не всегда тождественны, о чем см. ниже.

Особого внимания заслуживает также и то, что только в 1-м лице изменяется присоединяемая местоименная форма (*к'ин'*, ср. местоимение 1-го лица *тин'*). Во 2-м лице она сохраняется полностью (*тхин*), тогда как 3-е лицо никаким местоимением не снабжается.

Все эти особенности дают полное основание взять в основу анализа именно унанганский глагол. В нем процесс образования глагольной формы выступает еще достаточно ясно. Именное ее прошлое настолько очевидно, что местами (в 3-м лице) оно выступает полностью без каких-либо личных показателей при наличии спряжения по лицам.

Используя все эти данные как материал для построения исторической схемы развития унанганского глагола, придется в первую очередь учесть, что в его основе лежит, как мы видели, именная форма. А если из этой именной формы образовался глагол, то для этого имя предварительно должно было получить функцию предиката. Попадая же в предикат, имя получает именное предикативное значение, а иногда и соответствующее оформление.[11] Но предикат может выражать в себе и действующее лицо. Для его указания унанганский язык использовал уже наличные в нем местоимения, которые и прибавились к предикату, обращая именную предикативную форму в глагольную. При таких условиях придется признать, что 3-е лицо местоименного спряжения, не получившее местоименной приставки, сохранило еще именную предикативную форму.

Можно было бы сказать, что глагол здесь выражен не во всех трех лицах, т. е. что его нет там, где не имеется местоименной приставки, следовательно нет в 3-м лице, сохраняющем только именную основу с ее именным же показателем. Отсюда лего прийти к неправильному выводу о том, что глагол в унанганском (алеутском) языке наличествует только в первых двух лицах. Но, учитывая особенности данного глагольного построения, можно прийти и к другому заключению. Дело в том, что местоимения как таковые выделяются в унанганском языке как самостоятельная часть речи, со своею лексической семантикой: *тин'* 'я', *тхин* 'ты' и др.,[12] тогда как глагол, снабженный этими же личными местоимениями, выступает только в предикате, следовательно в предложении. Если даже допустить изолированное его исполь-

---

[11] Ср., например, предикативные формы имени в ненецком языке: Прокофьев Г. Н. Ненецкий (юрако-самоедский) язык. — ЯПНС, I, с. 34.

[12] Местоимение в унанганском языке имеет даже свои специальные синтаксические показатели; так, от него образуется дательный-направительный падеж: *тин'* 'я', *нун'* 'мне', *тхин* 'ты', *имин* 'тебе' и т. д., которого нет у имени. Даже 3-е лицо, выражаемое десятками указательных местоимений (*хван* 'он близкий', *ин'ан* 'он видимый', *акан* 'он выше находящийся' и пр.), получает формы того же падежа: *ин'ан* 'он видимый', *ин'ан-н'ан* 'ему видимому' и т. д. Прибавляемые к имени те же окончания выражают оттенок направления. Имя в этом случае ставится в косвенном (относительном) падеже: *ада-х'* 'отец', *ада-м* 'отца', *ада-м-н'ан* 'отцу', 'по направлению к отцу' и т. д.

зование, то и в этом случае он не будет самостоятельною лексическою единицею, так как, содержа в себе выражение субъекта, уже получает полное значение предложения, хотя бы и однословного, примером чего служит также и глагол индоевропейских языков, могущий образовать собою однословное предложение (*бросаю* и т. д.).

Выходит, таким образом, что там, где имеется глагольная форма, имеется и предложение. Имя подобным свойством не обладает. Для того чтобы имя оказалось предикатом (в именном, иначе номинальном, предложении) требуется особое синтаксическое построение, в котором предикативное значение имени в предложении устанавливается синтаксическим путем, тогда как глагол уже в своем собственном построении дает выражение предиката с оттенением в нем действующего лица. Это, как увидим ниже, в значительной степени свойственно глагольной форме и в других языках. Предложение, таким образом, получает две возможности своего выражения в зависимости от того, в какой форме выступает предикат, в глагольной ли (вербальное предложение) или именной (номинальное предложение).

Глагол с указанной точки зрения можно было бы признать синтаксическою категориею, одним из выражений предиката, вне которого он и не используется. Но, при всем сказанном, нельзя отрицать того, что в целом ряде языков эта грамматическая категория характеризуется специально ей присущими показателями (временны́ми, личными окончаниями и т. д.) и тем самым уже выделяется как часть речи. Наоборот, унанганский глагол во всех трех лицах приближается к именному оформлению, что наиболее ясно выступает во 2-м лице, где к именной основе прибавляется личное местоимение в полной его форме. Мы имеем здесь сочетание имени и местоимения: *ануку-х'* — именная форма, *тхин* — местоимение (ср. *ануку-х'-тхин* 'бросаешь ты', букв. 'бросание-ты'). «Ты» определяется в своем действии бросания. Тут перед нами предикативное определение действующего лица. При разбивке этого построения на его составные части получается имя и местоимение, а от глагола не останется ничего.[13]

Для затронутой нами тематики унанганский (алеутский) глагол тем самым дает богатейший материал. Так, продолжая его анализ в указанном направлении, и в связи со всею данною выше его характеристикою, можно было бы признать, что в 1-м лице уже наличествует глагольная форма со своим, ей только присущим, личным показателем *к'ин'*, тогда как во 2-м лице предикат выражается именною формою с присоединением местоимения *тхин*. В 3-м же лице в предикате выступает чистая именная форма, получившая временной показатель. Предикативное зна-

---

[13] В. И. Иохельсон утверждает, что в унанганском языке между именными и глагольными основами и их изменениями формально демаркационная линия очень слаба (ук. соч., с. 1040).

чение этой формы устанавливается синтаксическими средствами, а именно постановкою предиката в конце фразы. Такой синтаксический прием отмечает синтаксическое значение имени, в данном случае то, чем оно выступает в предложении, а вовсе не лексическое. Имя в этом своем положении остается именем, попавшим в глагольную парадигму.[14] Получается до некоторой степени номинальный строй предложения.

Такого положения не будет в 1-м лице, где предикат выступает в своей явно глагольной форме, его полностью не будет и во 2-м лице. Глагол в этих двух лицах, вырванный из контекста фразы, ясно указывает на свое предикативное значение. Он передает действие или состояние с выраженным субъектом.

Формальный анализ приводит именно к этим выводам, но он все же будет не вполне точным. Дело в том, что глагол в унанганском языке, несмотря на то, что имеет в своей основе именную форму, все же получает во всех трех лицах свой спецификум до известной степени лексического значения.

Унанганский глагол, при отмеченном выше различии в оформлении его трех лиц, как бы отражает в нем пройденный процесс становления местоименного спряжения в этом языке. Все же в конечном итоге получилась глагольная схема, в которую попало и 3-е лицо. Все, что было сказано мною об этом лице как о сохранившемся в именной предикативной форме, все это устанавливается лишь научным анализом. Живая речь включила и его в общую парадигму местоименного спряжения, так же как и в некоторых финских языках 3-е лицо с его причастною формою вполне закономерно попадает в таблицу глагольного спряжения.[15]

Что местоименное оформление предиката осознается как глагольное, видно уже по тому, что местоимение хотя и сохраняет полную форму, но, попадая в предикат, не воспринимается отдельно от глагола, иначе не могла бы получиться форма 1-го лица *к'ин'* (ср. *ануку-к'ин'* 'бросаю-я'), в которой прослеживается слияние именного показателя *х'* с начальным согласным местоимения *тин'*. Благодаря такому слиянию в 1-м лице уже получился глагол со своим специальным показателем *к'ин'*. Такой показатель не является местоимением, функционально выступая самостоятельным показателем для выражения лица в предикате.

В современном строе унанганской речи глагол, выступая в значении предиката, получил и свои отличные от имени форманты. Таковым для всех трех лиц будет временной показатель. Изменяясь по временам, и имя, и глагол получают в давнопрошед-

---

[14] Что в унанганском (алеутском) языке глагол уже выделяется как часть речи, видно хотя бы потому, что глагол в некоторых временах получает свой, специально ему присущий, временной показатель, связанный с его предикативным значением (изменение предиката по временам). Тем самым имя, выступая в роли предиката, получает глагольное оформление. Об этом см. непосредственно ниже.

[15] См.: Новое учение, с. 238—240.

шем времени каждый свои формативы: глагол — *на*, имя — *к'а*, ср. *к'а-к'а-х'* 'прежняя еда',[16] *к'а-на-х'* 'он ел', *к'а-на-х'тхин* 'ел ты', и т. д. Не различаясь от имени в других временах, все же глагол в этом времени получает свой особый от него показатель.

Нельзя не отметить также особое синтаксическое значение предиката-глагола, весьма сложного в выражении различных времен, различных оттенков модальности, в использовании разного рода суффиксируемых частиц, указывающих на пассивность субъекта, воспринимающего действие на себя и т. д.: *су-лга-ку-х'* 'его берут', *су-г'и-ку-х'* 'он взят', *су-ла-ку-х'* 'его этим берут' и т. д. (ср. активную форму *су-ку-х'* 'он берет'), или отмечающих орудийное значение рядом стоящего имени, например: *су-ку-к'ин'* 'я беру', *су-са-ку-к'ин'* 'я им беру' (букв. 'брать им-сейчас-я'), *ча-н' су-са-ку-к'ин'* 'я беру своей рукой' (букв. 'рука-моя братьею-сейчас-я') и др.

Все это много подробнее уже отмечено мною в другом месте.[17] Дело теперь не в этих деталях. В заданиях проводимого здесь анализа вполне достаточно выяснить ведущие линии синтаксического значения, характеризуемые данным строем глагола, и форму самого глагольного построения, уже затронутого выше в своих лексико-синтаксических особенностях, весьма близких к именной форме.

Именная форма, как мы видели выше, ясно выражается в структуре глагола не только в 3-м лице, где нет местоимения (ср. *ада-х'* 'отец' и *суку-х'* 'он берет'), но и во 2-м (*суку-х'-тхин* 'берешь ты'). Более того, даже в 1-м лице, получившем свое уже личное окончание *к'ин'* (*суку-к'ин'* 'беру я'), это окончание в прошлом восходит к той же именной форме (*х'тин'*).

Основываясь на всем проведенном выше анализе, можно вскрыть процесс образования личного местоименного спряжения, который представляется на материалах унанганского языка в следующем виде: в предикате используется именная форма (ср. *суку-х'* 'он берет'). К этой именной предикативной форме прибавляется личное местоимение (ср. *суку-х'-тхин* 'ты берешь'). Присоединяемое к именной предикативной форме личное местоимение сливается с другими формантами, давая в результате глагольное окончание лица (ср. *суку-к'ин'* ← *суку-х'-тин'* 'я беру'). Мы начали, таким образом, с именной предикативной формы и пришли в итоге к глагольной.

Все изложенное здесь служит иллюстрацией к высказываниям Н. Я. Марра по тому же поводу. «Постепенно, — говорит он, — из частей предложения выделяются имена, которые служат основою для образования действия, т. е. глаголов переходных и

---

[16] См.: Иохельсон В. И. Ук. соч., с. 1040. Эта форма встречается в именном предикативном значении.

[17] Новое учение, с. 62—74, где материал формально дается в правильном виде, но строй спряжения унанганского глагола изложен неверно, следовательно, неправильно представлена и синтаксическая характеристика.

впоследствии непереходных».[18] «Глаголов вовсе не было раньше; действие или состояние выражалось в результате комбинации требуемого для выражаемого состояния или действия имени в окружении других имен, служебных, в числе их с течением времени возникших местоименных элементов».[19] «Местоимение, — по словам Н. Я. Марра, — предшествует непосредственно образованию морфологии глаголов, именно их так называемому спряжению. Таким образом, первично имя, существительное ли оно было или прилагательное, равно местоимение и глагол, не различались формально».[20]

В этом и усматривается мною особый интерес в построении унанганского глагола. На его примере вскрывается ход трансформационного процесса, характеризуется качественное изменение отдельных языковых признаков. Мы имеем здесь уже не ту схему субъекта и предиката, с которой встретились в предыдущей главе, где шла речь о гиляцком предложении. Там разделение лексического состава по частям речи еще не выявилось настолько, чтобы можно было говорить о глагольной форме предиката.[21] Не меняясь по лицам, гиляцкий предикат передает только синтаксическое значение того или иного слова, нередко еще комплексно-инкорпорированного, выполняющего предикативную функцию в общем семантическом выражении предложения. Лексически в гиляцком языке глагол еще недостаточно выделился даже своими глагольными основами. В этом языке нет еще четкого выявления имени в нашем его понимании имени существительного, прилагательного и др., нет также и глагола. Можно сказать, что там до известной степени выступало еще «имя» в его более общем значении еще не дифференцированной части речи.[22] Поэтому гиляцкий строй предложения можно было бы назвать «именным». Это прежде всего простой предикативный строй предложения, в котором предикат еще не характеризуется частями речи.

Унанганский (алеутский) язык по сравнению с гиляцким имеет совершенно иное качество языковых признаков. В нем уже проходит разделение по частям речи, члены же предложения получают иные способы выражения синтаксического отношения. В нем субъект предложения оформляется своими лексическими и

---

[18] Марр Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком. — ИР, II, с. 417.

[19] Марр Н. Я. Происхождение терминов *книга* и *письмо*. — ИР, III, с. 223.

[20] Марр Н. Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. — ИР, III, с. 67.

[21] В тех языках, в которых предикативное значение имени в предложении не выражается никакими показателями, устанавливаясь только местом во фразе, нет глагола как части речи, а есть только предикативное использование имени, в частности и имени действия. В гиляцком имеется особый показатель, которым снабжается каждое имя в роли предиката. Следовательно, мы имеем и в гиляцком языке показатель члена предложения, а не части речи.

[22] Марр Н. Я. Актуальные проблемы. . . — Там же.

синтаксическими показателями, а предикат видоизменяется в зависимости от своего выражения той или иной частью речи. Получаются различные структуры предложения другого стадиального состояния.

В целом ряде других языков глагол уже достигает вполне законченного оформления, имея свои показатели, например *ркын* в чукотском языке (*ты-пела-ркын* 'я покидаю кого-то третьего') и др. Вырабатываются свои показатели лица, присущие только глагольной форме, например *ты* в чукотском, отличающееся от местоимения того же 1-го лица *гым*. В североамериканском индейском языке немепу префиксируется для 2-го лица å, для 3-го hi.[23] Прибавляемые к глаголу вместе с показателями времен, эти префиксы образуют глагольную форму: tamtay-tsa 'я рассказываю', å-tamtay-tsa 'ты рассказываешь', hi-tamtay-tsa 'он рассказывает'. Все эти формы ясно отличаются своими показателями от именной (ср. tamtay-n 'рассказывание'), имеющей свой собственный именной формант. Участие этих глаголов в строе фразы образует четкий тип вербального предложения.

То же самое прослеживается в русском *говор-ю*, *говор-ишь*, *говор-ит*, во французском je-parl, tu-parl, il-parl (в фонетическом их написании). Во всех этих языках показатели лица отличаются от личных местоимений, имеющихся в тех же языках. Откуда образовались эти личные показатели — это еще не везде точно выяснено. Но не в них дело. Возможно, что определенный член предложения (предикат) получил определенные показатели, характеризующие определенную часть речи (глагол), которая к тому же нередко имеет свои самостоятельные лексические основы, иногда общие с именными корнями, иногда и отдельные.

Итак, в унанганском (алеутском) языке имеется только одно глагольное спряжение, местоименное, при котором и субъект и объект оба ставятся в прямом падеже, и два возможных построения предиката: одно только что указанное, глагольное, и другое именное, притяжательное, с предикативною формою имени,[24] при котором субъект стоит в косвенном (относительном, или притяжательном) падеже. Одно из этих образующихся предложений будет вербальным, другое номинальным. Последнее, судя по наличным материалам в современном состоянии их разработки, обычно соединяется с первым как определение его объекта, представленное в форме дополнительного комплекса со своим предикатом и субъектом. В таком положении этот дополнительный комплекс выступает скорее всего не как самостоятельное предложение, а как составная часть распространенного простого предложения, в котором главенствует предикат-глагол.

---

[23] Я сохраняю латинскую транскрипцию исследователя языка немепу Арчи Финней, у которого учился данному языку.

[24] Разбору этого предикативного именного построения посвящается следующая глава.

Спрашивается, какое из этих двух построений предиката ближе к инкорпорированному комплексу слова-предложения, еще используемому тем же языком?

Как мы только что видели, наличие объекта в унанганской фразе не требует его отражения в тут же стоящем глаголе. Если при таких условиях предложение, состоящее из субъекта, объекта и предиката-глагола, оформляет последний по местоименному строю спряжения (ср. *адах' нух' анукух'* 'отец камень бросает'), то инкорпорированный комплекс, в который объект входит в одно целое построение слова-предложения, являясь его составною частью, сближается именно с этим строем предложения и потому должен был бы строиться по типу фразы с местоименным спряжением предиката. Так мы и имеем на самом деле.

Оба только что указанные построения сходны по заключенному в них содержанию, различаясь в формальной передаче. Так, объект входит в состав инкорпорированного комплекса как определитель направленности действия на предмет, субъект же в такого рода комплексе конкретизирует выполнителя действия, выраженного в предикативной части. Что же касается предложения, разбитого на составные его элементы, то в нем мы видим те же компоненты, но выступающие уже членами предложения, как-то: субъект, объект и предикат, размещаемые один за другим в этом их порядке, но с грамматическим оформлением каждый. Если сопоставить обе конструкции, т. е. привлечь в параллель к слову-предложению то предложение, в котором находится объект, мы увидим в них значительную близость даже и в формальной стороне.

Сложный комплекс, в котором прямой объект — имя — инкорпорируется вместе с глаголом, например *ик'ясикух'* (*ик'я-си-ку-х'*) 'байдару-делает-теперь-(он)', построен в своей оформляющей части (объект перед предикатом и форматив последнего *х'*) весьма близко к тому, как строятся уже синтаксически выявленные предложения той же унанганской речи (ср. *ада-х' ну-х' ану-ку-х'*), в которых объект ставится перед глаголом, но не повторен в виде особого показателя в глаголе-предикате.*

В глаголе, как мы видели выше, не представлен объект, когда он и без того присутствует во фразе. Наличие его в предложении унанганского языка освобождает глагол от повторного его выра-

---

* В отличие от В. И. Иохельсона в настоящее время специалисты по эскимосско-алеутским языкам образования типа *ик'я-си-ку-х'* 'байдару-делает-теперь-он' не рассматривают как инкорпорированные комплексы, поскольку морфема *с* со значением 'делать что-либо' определяется ими как словообразовательный суффикс, при помощи которого от существительных образуются отыменные глаголы. В этих языках есть и другие словообразовательные морфемы, подобные суффиксу *си*, с весьма абстрактным значением. См.: Меновщиков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. 2. Л., 1967, с. 23—35. В силу этого эскимосско-алеутские языки в настоящее время квалифицируются как полисинтетические-агглютинативные неинкорпорирующие языки.

жения в самой глагольной форме. Получается более упрощенная схема, при которой объект отделяется от инкорпорированной связи с предикатом и становится в управляемую глаголом связь с ним. Объект получает свой именной форматив и помещается непосредственно перед предикатом, который сам в себе содержит выражение действующего лица. Благодаря этому глагол, выражая только субъект, получает или местоименную приставку (*тин*' 'я', *тхин* 'ты'), когда действует 1-е и 2-е лица, но тогда субъект тем самым уже представлен в глаголе и специально не выражается в предложении, или же сам оформляется как имя, снабжаясь именным показателем *x*', когда действие исходит от 3-го лица. Получается, таким образом, упомянутое выше местоименное спряжение с именною формою в 3-м лице, включаемою в ту же глагольную схему. Сюда же попадает и безобъектное предложение, вовсе не требующее объекта по смысловому значению фразы. В этом случае глагол и не может получить объектного показателя, не только вовсе отсутствующего формально, но и не требуемого по семантике самого предложения, выражающего непереходность действия.

Объект стоит во фразе, субъект же выражен в самой глагольной форме. Налицо все три основные компонента предложения, три главных его элемента при переходности глагола-предиката, представленные двумя главными членами предложения: предмет действия и само действие, содержащее в себе выражение субъекта. Как уже отмечалось выше, такая схема ясно выступает в первых двух лицах, тогда как в 3-м лице она осложняется выделением субъекта, требуемым его многообразием в этом лице, поскольку 3-е лицо передает всякое имя. Таково построение унанганского предложения с субъектом, объектом и предикатом, представленным глагольною формою в местоименном строе спряжения.

Ту же схему мы видим и в инкорпорированном комплексе *ик'ясикух*' 'он делает байдару'. В нем наличествует объект (*ик'ях*' 'байдара'), включенный в состав самого комплекса. Присутствие объекта в нем выявляет во всем сложном слове-предложении указание на предмет действия, почему и не требуется особого повторного его выражения. Объект выступает здесь целиком как составная часть комплекса, он уже представлен в нем, и потому все инкорпорированное целое отмечает в своем форманте («окончании», вернее конечном составном элементе) или субъект-местоимение, или именной показатель. В последнем случае все инкорпорирование получает именную форму, но и в первом случае, при действии первых двух лиц, оно все же не превращается в глагол. Местоимение в нем является выразителем субъекта, а вовсе не глагольной формы. Последняя появляется лишь при разбивке инкорпорирования, когда глагол получает синтаксическую связь с именем-субъектом. Лишь в этом случае его показатели имеют синтаксическое значение, обращаются в синтаксические показатели, тогда как в инкорпорированном комплексе эти же показа-

тели лица, ни с кем не согласуясь, оказываются элементами инкорпорирования, а не особыми показателями, ни лексическими, поскольку здесь слово-предложение, ни синтаксическими, поскольку нет еще предложения, составленного из отдельных оформленных слов.

Тождество формативов инкорпорированного построения с формантами местоименного спряжения можно иллюстрировать примерами. Для этого достаточно сопоставить приведенное выше инкорпорирование *ик'ясикух'* букв. 'байдароделает', во-первых, с безобъектными по семантике предложениями: *ик'ях' тан'тукух'* 'байдара течет' (т. е. 'байдара имеет течь'), *анг'аг'их' ун'учикух'* 'человек сидит', и во-вторых, с предложениями, в которых наличествует объект, присутствие которого во фразе не требует его же повторения в глаголе: *анг'аг'их' нух' анукух'* 'человек камень бросает'.

Инкорпорированный комплекс, как и всякое конкретизирующее построение, может включать в себя целый ряд показателей, уточняющих характер действия или состояния, так, например: *ик'я'-си-г'ута-к'али-ка-ку-х'* 'байдару-делать-опять-начать-может теперь-он' (*х'* — показатель имени, но он же и показатель 3-го лица вообще). Такие же показатели сохраняются и за глаголом в разбитом на слова строе речи того же унанганского (алеутского) языка: *су-дука-г'ута-масу-ка-ку-х'* 'брать-будет-опять-в-состоянии-может-теперь-он' (т. е. 'он может опять взять'). В первом случае мы имеем инкорпорирование, а во втором выступает синтетизм, даже полисинтетизм.

На основе этих сопоставлений проводится мною различие между инкорпорированием и синтетизмом. Под инкорпорированием понимается словосочетание, дающее одну лексико-синтаксическую единицу, как-то: слово-предложение, например чукотское *тымэйн'ы-левты-пыгты-ркын* 'я-большой-голова-раздувание-деление' (в значении 'у меня очень болит голова'), унанганское *ик'я-сику-х'* 'байдаро-делание' (т. е. 'он делает байдару') и др., или инкорпорированные члены предложения: гиляцкое pilagan ţuz-niḑ 'больше-собака мясо-ест' ('большая собака ест мясо'), чукотское *тан'-клявол* 'хороший человек' и др. Синтетизмом же называется мною нанизывание служебных показателей в отдельном слове.[25]

Как мы видели, и инкорпорирование, и синтетизм прослеживаются оба по материалам унанганской речи. Но поскольку инкорпорированное слово-предложение как таковое является более архаичною формою, чем предложение, составленное из отдельных слов, к чему сводится весь проведенный выше анализ, постольку же синтетизм придется признать вторичным явлением по сравнению с инкорпорированием. В последнем налицо лексико-синтаксический

[25] Ср. примерно такое же объяснение В. И. Иохельсона (Алеутский язык в освещении грамматики Вениаминова. — ИАН, 1919, с. 291).

процесс, не выходящий за рамки слова-предложения или инкорпорированных комплексов предложения, в первом же мы имеем уже грамматический процесс, являющийся следствием выхода из прежнего инкорпорированного построения, процесс оформления отдельного слова. Этот грамматический процесс вовсе не стремится поглотить предложение, как полагает Штейнталь в своей характеристике словообразования мексиканского индейского и эскимосского языков,[26] наоборот, он является итогом разрыва инкорпорирования и создает предложение.

Наконец, разбор приведенного материала позволяет сделать еще один вывод, весьма существенный для истории развития языковых форм, а именно: унанганский инкорпорированный комплекс типа *ик'ясикух'* 'байдароделение' (в значении предложения 'он делает байдару') сближается в своем оформлении с местоименным строем спряжения, имея в конце тот же формант имени (*х'*), выступающий и в 3-м лице глагола. В этом инкорпорированном составе наличествует показатель настоящего времени *ку*, тот же, что и в глагольной форме разбитого на слова унанганского предложения. В этом последнем отделяется предмет действия от инкорпорированной связи с предикатом и занимает место отдельного члена предложения, получая свой именной показатель (ср. *ик'ях'*).

Оказывается, таким образом, что при разбивке слова-предложения на его составные элементы получается предложение с предикатом в виде глагола с местоименным строем спряжения, причем отдельные части инкорпорированного целого, сохраняя тот же свой распорядок, получают качество членов предложения. Отсюда легко признать в данной конструкции предложения непосредственный дериват слова-предложения, его следующее стадиальное построение. Все это дает основание видеть в вербальном предложении с глаголом в местоименном строе спряжения более древнюю форму, чем притяжательное оформление предиката в его именной конструкции унанганского языка.

За позднейшее происхождение притяжательного (поссессивного) предложения говорит также и то, что для его образования требовалось наличие притяжательных форм имени, т. е. уже развитая грамматическая категория, что могло иметь место главным образом после распада инкорпорирования.

В пользу этого же вывода говорит и то, что само притяжательное окончание имен представляет собою, как правильно указывает и В. И. Иохельсон,[27] усеченную форму личного местоимения. Она прибавляется к имени взамен его именного окончания — х', встречающегося еще в инкорпорированном комплексе как показатель имени (оно же 3-е лицо), синтаксически используемый в зна-

---

[26] Steinthal H. Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860, S. 214, 220; см.: Иохельсон В. И. Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка. — ИАН, 1912, с. 1042.

[27] Алеутский язык . . ., с. 145—146.

чении падежного суффикса при имени существительном (прямой падеж). Если же притяжательное окончание действительно оказывается усеченною формою личного местоимения, то тем самым подтверждается позднейшее происхождение и самого притяжательного формaтива. Сопоставление последнего с личными местоимениями говорит за несомненную их связь.

Личные местоимения		Притяжательные формы имен	
тин'	'я'	*улан-н'*	'дом-мой'
тхин	'ты'	*улан-н*	'дом-твой'
тхидих	'вы-двое'	*ула-дих*	'дом-вас-двоих'
тхичи	'вы'	*ула-чи*	'дом-ваш'

Притяжательные формы предиката

суку-н'	'взятие-мое'
суку-н	'взятие-твое'
суку-дих	'взятие-ваше-двоих'
суку-чи	'взятие-ваше'

Как видно из этой таблицы, в притяжательных формах усекается первый слог личного местоимения: *тин'* → *н'*, *тхин* → *н*, *тхидих* → *дих*, *тхичи* → *чи*.[28] Что такое усечение вполне возможно, подтверждается такими же усеченными формами тех же местоимений: *илими-н'* 'во мне', *илими-н* 'в тебе', *илим-дих* 'в вас обоих' и т. д. Кроме того, участие личного местоимения в значении притяжательных оборотов вскрывается в формах двойственного и множественного чисел субъекта владения 1-го лица, где вместо притяжательного окончания при предмете владения используется имя с предшествующим ему местоимением *туман* (1-е лицо двойственного и множественного чисел): *туман улах'* 'нас двоих (наш) дом', *туман улах* 'нас двоих (наши) два дома', *туман улан* 'нас двоих (наши) дома'.

Позднейшее образование притяжательного построения предиката в унанганском языке представляется, таким образом, вполне вероятным. Отмечаемая близость местоименного спряжения к инкорпорированному комплексу и более сложный строй притяжательного оформления предиката при тождестве его с притяжательными окончаниями имен, т. е. уже с грамматическими формами, определенно говорит за это.[29] Кроме того, за это же

[28] Другой вопрос, не представляется ли само личное местоимение двусоставным в своей основе. В том случае, если оно является двусоставным, возможно, что притяжательною формою окажется лишь одна из его составных частей. К сожалению, личные местоимения с этой стороны пока не поддаются анализу.

[29] К тому же выводу о генетическом приоритете субъектного построения глагола еще до меня пришел П. Я. Скорик, проводящий работу по материалам чукотской речи. Мои настоящие выводы, несомненно, в значительной степени основаны на его исследовательских изысканиях.

говорит и анализ формальной стороны самого притяжательного окончания имен, следовательно, и окончания предиката, являющихся в унанганском языке усеченным дериватом личного местоимения.

Таким образом, разбор приведенного выше материала приводит нас к определенным выводам, которые можно кратко формулировать следующими подытоживающими положениями: в наличных языковых материалах многих североазиатских, индейских и других языков сосуществуют параллельно действующие два языковых строя. Один из них — инкорпорирующий с элементами синтаксического сочетания слагаемых частей, соединяемых в единое семантически связанное целое, внешне сближающееся с лексическою единицею. Другой же представляет собою синтаксическое соединение разбитого на составные части предложения, составленного из лексически оформленных и синтаксически связанных слов, являющихся членами предложения и представленных уже образующимися частями речи.

Сличение этих двух по своей структуре совершенно различных возможностей построения фразы обнаруживает их генетическую преемственность и указывает тем самым на один из путей образования предложения. Это будет, конечно, не единственный путь, но все же свидетельствующий качественное различие последовательно меняющихся и структурно преобразуемых конструкций.

Было бы ошибочным думать, что материалы унанганского языка разрешают всю проблему становления предложения. Они лишь вносят свою долю к постановке и разрешению этого сложнейшего вопроса. Мы вовсе не оказываемся свидетелями самого процесса становления. Перед нами уже сложившийся строй предложения, но все же сохранивший значительные и ясные следы далекого прошлого. Эти следы и обнаруживаются путем сравнения с еще действующим в языке инкорпорированием более полного вида слова-предложения.

Эти архаизмы вскрывают лишь один из путей образования предложения и, в частности, verbum finitum. Но, тем не менее, образование глагола из имени и местоимения выступает на рассмотренных материалах вполне отчетливо.[30] Что же касается строя предложения, в частности его предиката, оформляемого местоимениями личными и притяжательными, то здесь, судя по данным других языков, пути развития расходятся.

Тот путь, который указывает унанганский язык, как увидим ниже, вовсе не единственный. Так, по материалам чукотского языка, инкорпорирование связывается с переходом в эргативную конструкцию, а вовсе не в притяжательную (см. с. 174 и сл.), и наконец, на материалах эскимосского-юитского языка мы увидим притяжательное построение как в переходных, так и в непере-

---

[30] См.: Марр Н. Я. Безличные, недостаточные, существительные и вспомогательные глаголы. — ИР, II, с. 300—320.

ходных глагольных формах (субъектного и субъектно-объектного строев спряжения).[31]

Следовательно, образование из инкорпорированного комплекса личного местоименного спряжения и последующее оформление притяжательной предикативной формы в унанганском языке оказывается только одним из путей развития.

При всем этом остается незыблемым один уже сделанный вывод, а именно, что глагольная форма образовалась из общей именной формы (см. с. 137, примеч. 21) и что в этом решающую роль сыграло синтаксическое значение члена предложения (предиката), образовавшего глагольное построение.

Тем самым оправдывается утверждение Н. Я. Марра: «Постепенно из частей предложения выделяются имена, которые служат основою для образования действия, т. е. глаголов переходных и впоследствии непереходных».[32]

ПОССЕССИВНЫЙ (ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ) СТРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Упомянутые в предыдущей главе эскимосские языки с одним из их представителей (унанганским-алеутским) настолько архаичны по структуре своего предложения и в то же время настолько продвинуты вперед по сравнению с инкорпорированным строем слова-предложения, что на их материалах значительно яснее выступают не только затронутая выше проблема становления глагола, но и не менее сложный вопрос об использовании имен в построении предложений.

Участвуя в образовании фразы, имена не только уточняют свои лексические показатели, но и получают свои синтаксические показатели, с которыми и выступают в составе предложений. В задание исследователя входит возможно точное разграничение этих показателей по их функциональной роли в слове и предложении, что ведет к уточнению понимания и самого строя фразы и вырабатываемых частей речи как лексических разновидностей словарного запаса данного языка. Смешение этих признаков приводит к непониманию изучаемой речи, что в значительной степени можно проследить и по работам над палеоазиатскими (северными) языками.

Так, в унанганском (алеутском) языке исследователи вместо отмеченного мною выше одного только местоименного строя спряжения устанавливают два строя. Основанием к этому послужили две прослеживаемые в этом языке конструкции предложения. Одна из них выражает действие, выполняемое субъектом, другая же устанавливает принадлежность ему выполняемого дей-

---

[31] См. ниже с. 178 и сл.

[32] Марр Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком, с. 417.

ствия. Тем самым придается предикату различный семантический оттенок: в одном случае предикат выражает действующее лицо, и тогда оно может быть заключено в самом предикате, который является глагольной формой. В другом случае предикат указывает на принадлежность действия субъекту и потому оформляется притяжательными частицами, теми же, которые имеются в притяжательном оформлении имени вообще, т. е. и тогда, когда оно в этом своем значении вовсе не выражает предиката. Принадлежность предмета какому-либо лицу ('мой дом', по-унангански *ула-н'*) и принадлежность действия или состояния кому-либо ('мое бросание', по-унангански *ануку-н'*) передают одно и то же представление о принадлежности.

Все же, поскольку использование такой именной формы может получить в предложении семантику предиката, имя может выступать во фразе в предикативной функции, образуя притяжательный строй предложения. Получается в этом случае отличие от глагольного строя предложения, в котором предикат содержит в себе выражение действующего лица, представленного личными местоимениями. Предикат в обоих строях предложения семантически различен и получает различную внешнюю форму, в связи с чем, естественно, ставится вопрос о возможности наличия здесь двух различных глагольных спряжений, обусловленных двумя различными построениями предложения. Этот вопрос в отношении унанганского языка ставился и разрешался в положительном смысле. К такому решению примыкал в свое время и я. Исходя из двух строев предложения, мы видели два различных спряжения глагола, своего рода два его залога.[1]

Вопрос разрешался бы просто, если бы мы провели знак равенства между предикатом и глаголом, но он становится многим сложнее, когда мы не можем признать такое отождествление. Существование вербального (глагольного) и номинального (именного) предложения остается в силе и является общепризнанным.

Строй предложения с притяжательным оформлением предикативного имени послужил в научной литературе основанием для выделения в унанганском языке второго типа спряжения глагола. На этом придется остановиться несколько подробнее, так как от правильного определения наличной структуры предиката зависит также правильное понимание самой конструкции предложения. С другой стороны, критический разбор высказанных взглядов в свою очередь вносит значительную ясность в действительное положение дела.

Отмеченная выше структура предложения в унанганском языке оформляет именной предикат притяжательною частицею, передаю-

---

[1] См.: Иохельсон В. И. 1) Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка. — ИАН, 1912, с. 1031 и сл.; 2) Алеутский язык в освещении грамматики Вениаминова. — ИАН, 1919, с. 133 и сл.; 287 и сл.; Новое учение, с. 62 и сл.

щей в имени принадлежность объекта субъекту (*ула-н'* 'дом-мой') и указывающею в предикативном его использовании на принадлежность субъекту направленного на объект действия (*ануку-н'* 'бросание-мое', в значении моего бросания чего-то). Поэтому в предикативной форме содержится указание на объект в его числовом обозначении и, кроме того, на выполнителя действия.[2] Тем самым действующее лицо выражено в предикате, и с этой точки зрения он все же мог бы быть назван глаголом. Решающим при таких условиях является восприятие данного построения самим его творцом, т. е. тою социальною средою, которая его создала и которая пользуется ею.

Если глагол уже выражен в речи, то он получает свои, ему только свойственные, показатели, так же как и противополагаемое ему имя получает, равным образом, свои форманты. В унанганском языке, как мы видели выше, глагол при всей его близости к имени все же выделился в особую часть речи, дав местоименный строй спряжения, хотя бы и построенный на именной основе, но с ему присущими показателями лица (ср. в особенности 1-е лицо), времени (ср. давнопрошедшее), наклонения и т. п. Равным образом выделилось и имя с его именным показателем и падежными окончаниями. По этим формативам и можно установить отнесение спорного построения к имени или глаголу. Оказавшись глаголом, та же притяжательная форма отделяется от имени, попадая в общую глагольную схему, и тогда предложение сохраняет и в этом случае вербальный строй. Оставаясь же именным, притяжательное построение может сохранить именную конструкцию, и в таком случае предложение остается номинальным.

Исследователей унанганского языка смутило предикативное значение притяжательной именной формы, и, отождествляя предикат с глаголом, они усмотрели его там, где его в действительности нет. Данная притяжательная предикативная форма, взятая в отдельности вне контекста предложения, попадает в общее число именных притяжательных форм и получает свое предикативное содержание, только оказавшись в составе предложения. Так, например, слово *к'ак'а-н'* может означать и 'моя прежняя еда', если оно является предикатом, и 'я прежде ел (что-то)', если в русском соответствии передавать его предикативное значение в предложении глаголом. При местоименном строе спряжения глагола такого тождества не получается: *к'ак'ах'* означает только имя существительное с его именным показателем ('прежняя еда'),[3] глагол же, хотя бы и в том же 3-м лице, т. е. сохраняющем именную форму, все же получает другой временной показатель, свойственный только глаголу: *к'анах'* 'он ел (прежде)'. Следовательно, в первом случае, в притяжательном построении предиката, нельзя

---

[2] Ср. *ануку-н'* 'бросание мое его одного', *ануку-ки-н'* 'бросание мое их двоих', *ануку-ни-н'* 'бросание мое их многих'.

[3] Ср. эту форму в предикативном значении.

говорить о какой-либо иной, кроме имени, части речи, а поскольку глагол все же является частью речи, то ясно, что в данном случае нет никакой глагольной формы, нет, следовательно, и глагольного спряжения.

В своем синтаксическом использовании эта притяжательная форма предиката, по утверждению В. И. Иохельсона, появляется тогда, когда по семантике фразы не требуется наличия в ней объекта, но все же оттеняется переходность действия на него. Когда же контекст фразы уже содержит объект, выступающий в составе предложения в качестве его прямого дополнения, то ставится глагольная форма, согласуемая только с субъектом, т. е. используется местоименное спряжение.[4] В состав такого предложения с субъектом и объектом, стоящими оба в одном и том же прямом падеже при предикате-глаголе в местоименном строе спряжения, иногда входит упомянутая выше притяжательная форма со своим субъектом, поставленным в косвенном (притяжательном) падеже, связываясь с общим для них объектом своим указанием на него в самом притяжательном оформлении. Об этом синтаксическом различии двух строев предложения уже говорилось выше, когда речь шла об их отношении к инкорпорированному слову-предложению.

Вопреки всему сказанному, притяжательное оформление предиката обычно понимается исследователями как «глагольное восприятие» именной притяжательной формы. Остановимся в отдельности на каждом из указываемых здесь положений. Сначала подтвердим материалом точность соответствия данного псевдоглагольного построения именной форме и вернемся затем к его истолкованию.

Полная парадигма притяжательного оформления предиката, сопоставленная с притяжательными формами имени, не оставляет никаких сомнений в том, что мы имеем в них формальное тождество:

Именные притяжательные формы

ула-н'	'дом мой'	*ула-ди-х*	'дом вас двоих'
ула-ки-н'	'два дома моих'	*ула-чи*	' » ваш'
ула-ни-н'	'дома мои'	*ула*	' » его (их)'
улā-н	'дом твой'	*ула-ки-х*	'два дома его (их)'
ула-ки-н	'два дома твоих'	*ула-н'ин*	'дома его (их)'
ула-тхи-н	'дома твои'		

---

[4] См. выводы В. И. Иохельсона: «Предикату с первым (т. е. местоименным, — *И. М.*) окончанием непосредственно предшествует дополнение, прямое или косвенное, и подлежащее ставится в абсолютном, или именительном, падеже. Например: *анг'аг'их' к'ах' сукух'* 'человек взял рыбу'. При сказуемом со вторым (т. е. притяжательным, — *И. М.*) окончанием объект, поглощенный глаголом, отсутствует, и подлежащее ставится в относительном, или родительном, падеже. Например: *анг'аг'им сукӯ* 'человек взял ее (рыбу)'» (Алеутский язык. . ., с. 296).

суку-н'	'взятие мое' → 'я беру его'
суку-ки-н'	'два взятия моих' → 'я беру двоих'
суку-ни-н'	'взятия мои' → 'я беру их'
сукӯ-н	'взятие твое' → 'ты берешь его'
суку-ки-н	'два взятия твоих' → 'ты берешь двоих'
суку-тхн-н	'взятия твои' → 'ты берешь их'
суку-ди-х	'взятие ваше двоих' → 'вы оба берете его' [5]
суку-чи	' » » ' → 'вы берете его' [6]
сукӯ	' » его (их)' → 'он (они) берут его'
суку-ки-х	'два взятия его (их)' → 'он (они) берут их двоих'
суку-н'ин	'взятия его (их)' → 'он (они) берут их' [7]

Эта сравнительная таблица с полною определенностью указывает на именную форму притяжательного оформления предиката, другими словами, ею подтверждается, что последнее является не чем иным, как изменением имени по притяжательным окончаниям. Следовательно, формально мы не имеем тут глагола.

Все же В. И. Иохельсон усматривает в данном построении предиката глагольное значение.[8] По его словам, «мы видим из предыдущей таблицы, что суффиксы этой формы глаголов тождественны с притяжательными суффиксами имен. Морфологически sukuŋ означает, таким образом, 'мое теперешнее взятие', или anqaq im sukū означает 'человека его теперешнее взятие', т. е. 'теперешнее взятие человека'. Но в данном случае важно не историческое происхождение этой формы, а понимание ее говорящим. На сáмом деле алеут, насколько я мог убедиться, понимает sukuŋ как глагол, и, стало быть, мы тут имеем дело с действительным включением объекта в предикат».[9]

Из этой цитаты можно заключить, что и сам В. И. Иохельсон не отрицает именного образования интересующей нас формы, даже допускает именное ее восприятие в прошлом. По его мнению, она ныне уже понимается как глагольная. Позволяю себе усумниться и в этом.

Руководствуясь русским переводом номинального предложения вербальным, В. И. Иохельсон усмотрел в унанганском (алеутском) обороте такое же вербальное построение, если не в самой форме, то в ее понимании говорящим. Некоторым основанием

---

[5] Эти формы *сукудих* и *сукучи* ошибочно признаются Иохельсоном за причастные, о чем см. ниже (там же, с. 292).

[6] См. предыдущее примечание.

[7] Формы 'нас двоих', 'наш' и 'вас двоих', 'ваш', последние с дв. и мн. числом объекта владения, в именах не имеют протяжательных окончаний, их же нет и в предикате, ср. *туман ула-х'* 'наш дом', где *туман* — мн. число местоимения 1-го лица.

[8] То же самое усматривал прежде и я сам, вполне соглашаясь с выводами В. И. Иохельсона; см.: Новое учение, с. 64—66, 69—70.

[9] Иохельсон В. И. Заметки . . ., с. 1043—1044.

к этому послужило, между прочим, то, что предикат в притяжательной именной форме, так же как и местоименное спряжение глагола, изменяется по временам, получая в большинстве случаев сходные с ним форманты, например в будущем неопределенном *дукаку* (*су-дукаку-к'ин'* 'я возьму', *су-дукаку-н'* 'мое будущее взятие') и т. д., иногда же различаясь по формативам, например в давно прошедшем (*су-на-к'ин'* 'я взял', *су-к'а-н'* 'мое прежнее взятие').

В. И. Иохельсон тут не заметил того, что, по его же собственному утверждению,[10] имя в унанганском языке также изменяется по временам. Если бы Иохельсон обратил на это свое внимание, то увидел бы, что расхождение во временны́х показателях глагольных форм, с одной стороны, и притяжательных именных, с другой, идет как раз по линии различения показателей времен в именах и глаголах, ср. *к'а-к'а-х'* 'прежняя еда', *су-к'а-н'* 'мое прежнее взятие', ср. *су-на-к'ин'* 'я взял' и т. д.[11]

Являясь именною формою, предикат в данном случае принимает временной показатель имени, отличный от глагольного, как раз потому, что он не является глаголом. Тут мы имеем предикативную форму имени.

Выводы Иохельсона необычайно поучительны для каждого исследователя, берущегося за изучение языка, структура которого не укладывается в нормы его собственной родной речи.[12] Добросовестно подходя к анализу материала, он воспринимает его под углом зрения структурных свойств более известных ему языков и оказывается в связи с этим в плену у предвзятых и заранее усвоенных норм. С одной стороны, Иохельсон не отрицает тождества притяжательных форм предиката с именем, и в этом отношении он глубоко прав. С другой стороны, он признает те же формы глагольными, поскольку они выступают в роли предиката. Отождествляя предикат с глаголом, Иохельсон тем самым шел по линии сближения синтаксиса унанганского языка с синтаксисом индоевропейских. Отсюда легко могло получиться восприятие им синтаксических оборотов унанганской речи с точки зрения русской. Это и получилось.

В. И. Иохельсон, незаметно для самого себя, впал в противоречие также и в другом своем выводе. Он подходит к притяжательному построению предиката со стороны грамматического его оформления и выделяет его в особое глагольное спряжение, и в то же время, беря те же формы в синтаксическом их использовании, относит их же в главу о причастиях, то есть на этот раз уже к именным формам, хотя бы и отглагольным.

---

[10] Там же, с. 1040.

[11] Имя в давнопрошедшем времени получает временной показатель *к'а*, глагол же снабжается временны́м показателем *на*.

[12] Вновь подтверждаю, что и я сам шел по той же линии, вполне соглашаясь с В. И. Иохельсоном в его научном анализе этого языка; см.: Новое учение.

Ошибка заключается здесь в неучете стадиальных синтаксических особенностей изучаемой речи. Синтаксис, как и все в языке, находится в движении, нормы его меняются, приобретая совершенно иные качественные свойства. Целью исследователя именно и является установление их и определение по ним наличных языковых признаков. Так, пользуясь в основном структурою простого предложения, унанганский язык допускает стечение в одном и том же предложении двух предикативных форм, что в русском переводе, при его строе сложного предложения с сочинением и подчинением, передается подчиненным построением, в котором выступают относительные местоимения или причастные обороты. Например: *к'ах' сук'ан' к'акух'* букв. 'рыба взятие-мое-ее (он) ест' дает точный по содержанию, но не точный по форме русский перевод 'он ест рыбу, взятую мною', 'он ест рыбу, которую я взял', или *к'ах' сук'ā к'акук'ин'* 'рыба взятие-его-(ее) ем-я', т. е. 'я ем рыбу, взятую им', 'я ем рыбу, которую он взял' и т. д. Сюда же попадают и упомянутые выше, ошибочно причисляемые к причастиям, формы с окончаниями *дих* и *чи*, встречающиеся в совершенно аналогичных построениях:[13] *итхаях' к'анадих асханнак'ин'* 'олень ваша-двоих-еда-прежняя-его убил-я', т. е. 'оленя, которого вы оба ели, я убил'.

Синтаксис унанганского языка ставит глагольную форму в основной части предложения. Глагол выступает здесь в его синтаксическом использовании в качестве главного члена предложения, второстепенный же член его, характеризующий объект, ставится в притяжательной конструкции. Первый предикат определяет действие субъекта, направленное на объект, тогда как второй предикат характеризует состояние того же самого объекта в направленности на него действия со стороны другого субъекта. Этот второй предикат оказывается тем самым предикативно-атрибутивным по семантике предложения. Он определяет объект направлением на него действия, принадлежащего другому лицу. Объект в данном случае оказывается субъектом состояния, лицом, испытывающим на себе действие другого лица. Именно этот второй предикат и ставится в унанганском языке в именной форме притяжательного построения, ср. *к'ах' сук'ан' к'акух'тхин* 'рыба взятие-ее-мое ешь-ты', в русском переводе 'ты ешь рыбу, взятую мною', и *к'ах' к'акун' сунах'тхин* 'рыба еда-ее-моя взял-ты', по-русски 'ты взял рыбу, едомую мною'.[14] В русском языке тот же

---

[13] Иохельсон В. И. Алеутский язык. . ., с. 292. Пример приводится мною в той форме, в какой он дан Иохельсоном. Судя по его же утверждениям (см. с. 298), в слове *к'анадих* должен быть временной показатель *к'а*, а не *на*.

[14] Ср. аналогичные построения в ненецком (юрако-самоедском) языке. «Конструкция сложного предложения ненецкому языку не свойственна. В ненецком языке нет ни сочинения, ни подчинения. Конструкциям сложного предложения русского языка в ненецком языке соответствуют конструкции простого предложения, распространенного в той или иной степени» (Прокофьев Г. Н. Ненецкий (юрако-самоедский) язык. — ЯПНС, I, с. 50).

предикат-атрибут может быть выражен также и полным придаточным предложением, в котором вновь всплывает глагольная форма: 'ты взял рыбу, которую я ем', чего не допускает синтаксис унанганского языка.

Но и в русском языке глагол определительного придаточного предложения, так же как и заменяющая его причастная форма, получает атрибутивную семантику, так как само придаточное предложение определяет стоящий в главном предложении объект, являющийся для придаточного субъектом состояния. В предложении оказывается, таким образом, два субъекта высказывания, из которых первый связан с глаголом, выражающим действие, идущее от него, а второй испытывает на себе действие другого. В построении унанганского предложения оба они стоят в одном и том же прямом падеже, являющемся, таким образом, падежом субъекта действия и состояния. С субъектом действия согласуется предикат-глагол, который в первых двух лицах заключает в самом себе действующее лицо, а в 3-м лице выражает его же, уточняемого в контексте фразы (*сукук'ин'* 'беру я', *сукух'тхин* 'берешь ты', *анг'аг'их' сукух'* 'человек берет'). Предикат же атрибутивного значения определяет субъект состояния (объект главной части предложения) и ставится в именной притяжательной форме, указывая на объект (согласуясь с субъектом состояния) и содержа в себе выражение другого действующего лица, которому принадлежит действие. Получается, таким образом, субъектно-объектное построение притяжательной предикативной конструкции. Такого рода субъектно-объектного построения нет в русском языке, так как даже причастная его форма согласуется только с объектом, если она используется в определительном придаточном предложении. В ней не содержится указания на субъект действия.[15]

Пример: *иганом тэмда'мава' вэсако вынд хая* 'лодку покупание наше старик в тундру поехал'. От глагольной основы *тэмда* 'купить' образована именная форма присоединением суффикса имен процесса действия *ма*. К ней добавлен показатель 1-го лица мн. числа настоящего и прошедшего времени *ва*, служащий оформителем именной основы, выступающей в предложении в качестве сказуемого. Таким образом, именная основа, выполняя в предложении роль сказуемого, употребляется как глагол и оформляется суффиксами непереходного глагола (Прокофьев Г. Н. 1) Ук. соч., с. 21, 34; 2) Самоучитель ненэцкого языка. М.—Л., 1936, с. 13—14). В объяснении настоящей конструкции я воспользовался любезным содействием А. П. Пырерка.

[15] В параллель только что сказанному уместно привести нижеследующие выводы С. Д. Кацнельсона, касающиеся причастных форм: «А. Потебня дает схему развития причастия, которая целиком оправдывается материалами языков иных систем. Причастие в том виде, как его вскрывает анализ, является началом подчинения. Началом — ибо причастное предложение носит еще характер самостоятельности, подчинения — ибо вполне самостоятельного значения оно уже не имеет. Самостоятельное глагольное значение причастие, согласно Потебне, имело в недоступное для исследования время, когда язык допускал только паратактические построения. . . Вывод Потебни относительно большей предикативности причастия в древнем языке действителен и для германских языков» (К генезису номинативного предложения. М.—Л., 1936, с. 54). См. А. Потебня: «Зависимое предложение с причастным сказуемым есть нечто промежуточное между членом простого пред-

К подобным субъектно-объектным построениям придется еще неоднократно возвращаться, так как мы их найдем в целом ряде других языков, в тех же североазиатских (ср. в чукотском), в яфетических и пр. Сейчас же ограничусь лишь указанием на то, что унанганской притяжательной форме предиката не удастся найти точного соответствия в русском переводе. Так, *сук'ан'* 'мое взятие его' (в прошедшем времени), *сукун'* 'мое взятие его' (в настоящем времени), *анукун'* 'мое бросание его' (в настоящем времени) и т. д. выражают принадлежность мне действия, идущего от меня на 3-е лицо. Такого построения не имеется в русском. Ему будет соответствовать или глагол, выражающий действующее лицо (*броса-ю*), но в этом случае нет указания на объект, или причастие *бросаемый*, согласуемое в указанном придаточном предложении с объектом, но не выражающее субъекта. Потому унанганское построение, соединяющее собою оба отмеченных варианта, точно не передается ни тем, ни другим. Оба они не соответствуют указанной унанганской конструкции.

Исследователю, стремящемуся подогнать унанганскую схему под индоевропейскую, предоставляется на выбор отождествить ее с любым из только что приведенных русских переводных эквивалентов. Можно подогнать ее под глагол, можно признать ее причастием. И то и другое будет неверным, хотя и то и другое сами напрашиваются на сопоставление. Так и получилось у В. И. Иохельсона, и вина в этом, конечно, ложится не на осведомителей, которые, будто бы, «понимали данную форму как глагол».[16]

Определение каждого языкового признака нельзя брать оторванно от всей структуры изучаемого языка. Более того, каждая языковая форма становится понятною лишь в ее синтаксическом употреблении. Но для этого требуется в первую очередь уяснение структурных свойств самого синтаксического построения. С этой точки зрения Н. Я. Марр был совершенно прав, отмечая именно его решающую роль. Синтаксис различен во многих языковых системах, следовательно, различны и им обусловленные формы слов, входящих в состав предложений, построенных по нормам, вырабатываемым в сложном ходе исторического развития человеческой речи. Это и служит наиболее ярким подтверждением правильности отмеченного выше диалектического единства слова и предложения.

Как мы только что видели, стабильный, до известной степени, подход к синтаксису и вызванное им отсутствие внимания к наличному расхождению синтаксиса в унанганском языке и русском привели исследователя к переносу норм строя предложения с од-

---

ложения и развитым придаточным предложением с личным глаголом в сказуемом. Ср. *заутра въставъ и рече* (Лавр. 4) и *и заутра въставъ рече* (Ип. 6). (Из записок по русской грамматике, I—II. Харьков, 1888, с. 220). См. также: Рифтин А. П. О двух путях развития сложного предложения. — Советское языкознание, III.

[16] Иохельсон В. И. Заметки. . ., с. 1043—1044.

ного языка на другой. Между тем, если обратиться к анализу структуры речи самого унанганского языка как такового, с учетом присущих ему типологических особенностей, то окажется, что по конструкции предложения этого языка мы не имеем в нем причастных форм, которых вообще в унанганском языке нет. Их нет потому, что они не вызваны к жизни требованиями синтаксиса данного языка, не использующего сложноподчиненных построений предложения в тех богатых его разновидностях, которые наблюдаются в индоевропейских языках, в том числе и в русском.

К сожалению, синтаксис североазиатских языков, как, впрочем, и вообще многих других, остается не только не разработанным, но даже и вне поля зрения ученого, между тем слово вне предложения не может получить всестороннего своего освещения. Выдвинутое Н. Я. Марром задание неразрывного изучения синтаксиса и лексики в их органической взаимосвязи ждет еще своего применения к конкретным материалам североазиатских языков, оставшихся, благодаря одностороннему лексико-морфологическому к ним подходу, структурно не понятыми и грамматически неточно объясненными.

Если подойти к унанганскому (алеутскому) языку с учетом особенностей его синтаксического построения, то станет вполне понятным целый ряд особенностей в оформлении членов предложения, в том числе и постановки субъекта в косвенном падеже при предикате в притяжательной форме. Эта черта отмечается всеми исследователями и прослеживается в целом ряде других языков, в которых взамен притяжательной формы имени появляется уже глагольная конструкция. Ниже нам придется подробнее затронуть такое построение предложения с переходным глаголом и субъектом в косвенном падеже.[17]

В вербальном предложении упомянутое сочетание глагола с «подлежащим» в косвенном падеже остается не только неестественным для человека, привыкшего к строю европейской фразы, но и неясным в своем структурном обосновании и тем более в своем генезисе. Но поскольку в унанганском языке в его притяжательном строе мы имеем номинальное, а не вербальное предложение, постольку же в нем постановка субъекта в косвенном падеже вполне естественна.

Будучи, по существу, именем с притяжательным окончанием, предикат в притяжательной форме, по точной аналогии с именем, должен иметь при себе субъект не в прямом падеже, а в относительном (притяжательном). Имя определяется в своей принадлежности кому-то, и тот, кто определяет имя как ему принадлежащее, сам ставится в косвенном падеже. Получается притяжательная

---

[17] Такой косвенный падеж, выражающий субъект действия в предложении с переходным глаголом, получил в лингвистической литературе последних годов наименование эргативного. О нем см. в главе об эргативном строе предложения.

конструкция, в которой имя связывается с его определителем взаимным согласованием притяжательными частицами. Второй из них получает показатель принадлежности, а первый имеет при себе формант, отмечающий, что ему что-то принадлежит. Притяжательное построение предиката является таким же именным оборотом. В нем указывается, что действие принадлежит определенному лицу, которое воспринимается не как действующее лицо, а как то, которому принадлежит указанное в предикате действие. Таково построение унанганского притяжательного предложения. Что это именно так и обстоит в действительности, нетрудно убедиться из следующих сопоставлений: *ада-м ула̄* 'отца дом его' ('дом отца') и *ада-м сукӯ* 'отца взятие его', т. е. по-русски 'отец берет'.

Такая взаимная связь обоих членов предложения во втором примере построена по той же именной линии и отличается от первого примера семантикою своего второго члена. Словосочетание *адам ула̄* не содержит в себе семантики цельного предложения, и чтобы обратить его в предложение, требуется дополнение предикативного содержания: *адам ула̄ ан'унакух'* 'отца дом-его велик'.[18] Совершенно иную семантику содержит *адам сукӯ*. Основное их различие заключается в смысловом значении второго компонента (*ула̄* и *сукӯ*). В первом из них нет обозначения ни действия, ни состояния, так как *ула̄* ('дом-его') является объектом отцовского владения, тогда как *сукӯ* ('взятие-его') содержит обозначение действия, принадлежащего отцу и направленного на какой-то объект, который и всплывает в развернутом строе предложения: *нух' адам сукӯ анукук'ин'* 'камень отца взятие-его бросаю-я' ('я бросаю камень, взятый отцом', или 'отец берет камень, а я его бросаю'). В последнем случае отец определяет действие взятия как ему принадлежащее, а предикат (взятие-его) указывает на принадлежность действия субъекту. *Адам* при таких условиях не только устанавливает владельца деяния, так же как в первом примере устанавливает владельца дома, но и сам, в свою очередь, характеризуется предикатом (*сукӯ*) как обладатель действия, оказываясь с этой точки зрения его субъектом. Получилось предложение с субъектом в косвенном (притяжательном) падеже и предикатом в притяжательной именной форме.*

---

[18] Предикат *ан'унакух'* представляет собою глагольную форму в 3-м лице с показателем настоящего времени *ку* в полной аналогии с именною формою.

* В сопоставляемых алеутских конструкциях типа *ада-м ула̄* 'отца дом его' и *ада-м сукӯ* 'отца взятие его', например, в предложении *нух'адам сукӯ анукук'ин'* 'камень отца взятие-его бросаю-я' ('я бросаю камень, взятый отцом') субъект обладания и субъект действия (*ада-м*) выражаются именем в одном и том же притяжательном-относительном падеже. Наличие общности именных притяжательных форм и притяжательного оформления предиката (см. здесь с. 151) дало И. И. Мещанинову основание рассматривать подобного рода предикат как именной по своему характеру, а всю конструкцию предложения указанного выше типа как пассивную. Поскольку предикат в предложениях этого типа, помимо суффиксов, общих у него с притяжательными

Коснувшись данного построения, В. И. Иохельсон на этот раз пришел к более правильному выводу, говоря: «Так как морфологически алеутский глагол с включенным объектом[19] есть имя с притяжательным суффиксом, то понятно, почему субъект ставится в относительном падеже».[20] Такое определение Иохельсона вполне соответствует действительному значению формы субъекта.

Выражающий это оформление относительный падеж (*ада-м*) является косвенным падежом в противоположность другому — прямому, или, вернее, падежно-неоформленному, поскольку в нем имеется лишь именной показатель (*ада-х*'). Основное семантическое значение косвенного падежа устанавливается его функциею выражения принадлежности чего-то тому имени, которое он характеризует.[21] Эти два падежа, прямой и косвенный, лежат в основе унанганского склонения, так же как отмеченные выше два строя предложения, глагольный — местоименный и именной — притяжательный, лежат в основе его синтаксических построений. Прямой падеж связан с вербальным предложением, а косвенный с именным, причем все остальные падежи, уже послеложные, образуются от косвенного.

Эта же притяжательная фо́рма субъекта и предиката вскрывает причину постановки в относительном падеже именно 3-го лица, а не двух других лиц местоимений. Поскольку предикат в первых двух лицах выражает субъект местоименною притяжательною приставкою с полной и исчерпывающей его точностью и поскольку предикат в этом случае уже сам точно конкретизирует действующее лицо, постольку же оно не нуждается в своем особом выражении в предложении и потому в нем опускается. Местоимения «я» и «ты» уже сами по своей семантике достаточно определяют действующее лицо и потому не требуют в предложении особой дополнительной своей конкретизации. Наоборот, 3-е лицо, к которому принадлежат и все имена, весьма разнообразно и недостаточно конкретно, ввиду чего предикат в 3-м лице нуждается в дополнительном определении своего субъекта. Так, например, *анукӯ* 'бросание его' указывает на действие 3-го лица, но не устанавливает, кто именно является действующим лицом. Здесь требуется дополнительная конкретизация субъекта в предложении, который, появляясь в нем, подчиняется синтаксису

формами имени, оформляется также специфически глагольными морфемами, его правильнее рассматривать как глагольный, а не именной. Поэтому в последующих работах сам И. И. Мещанинов определял конструкцию предложения с такого рода предикатом и именем субъекта действия в относительном падеже как эргативную, а не пассивную.

[19] Как мы видели выше, В. И. Иохельсон имеет здесь в виду предикат притяжательного оформления, который он ошибочно считает глаголом.

[20] Иохельсон В. И. Заметки. . ., с. 1044, тут же ссылка на работу: Kleinschmidt S. Grammatik der grönländischen Sprache mit theilweisem Einschluss der Labradorsprache. Berlin, 1851, S. 14.

[21] «Относительный падеж можно назвать также родительным, ибо его основное значение — это указание владения предмета чем-нибудь или кем-нибудь» (Иохельсон В. И. Заметки. . ., с. 1036).

всего притяжательного построения, в результате чего субъект оформляется относительным падежом: *ада-м анукӯ* 'отца бросание его'. Относительный (притяжательный) падеж имеется в именах существительных и в 3-м лице местоимений, уже не личном, так как личных местоимений нет в 3-м лице. Этот же падеж отсутствует в первых двух лицах местоимений унанганского языка, что в полной мере подтверждает все изложенное выше. Он и не требуется для этих лиц.

Разобранный нами материал унанганского языка устанавливает один из видов предложения поссессивного строя — с именною предикативною формою в притяжательном ее построении. Но поссессивная конструкция предложения усматривается рядом исследователей тех же северных языков не только с именной предикативной формой, но и с глагольной. Так, например, в юитском-эскимосском языке непереходные формы глагола получают притяжательное оформление.[22]

В. Н. Чернецов, изучавший мансийский (вогульский) язык, выделяет в нем два спряжения глагола: безобъектное и объектное и усматривает в последнем поссессивное построение. По его словам, «помимо наличия в формах объектного спряжения особых показателей числа объекта, формы объектного спряжения характеризуются тем, что они принимают к себе в качестве показателя действующего лица лично-притяжательные суффиксы».[23] В ненецком (юрако-самоедском) языке Г. Н. Прокофьев устанавливает соответствие между личными суффиксами непереходного (безобъектного) залога и суффиксами для предикативных форм имен. Личные же суффиксы переходного (объектного) залога совпадают, по его словам, с суффиксами лично-притяжательного склонения.[24] То же прослеживается в селькупском (остяко-самоедском) языке [25] и т. д.

Притяжательная конструкция предиката прослеживается в целом ряде других языков, но далеко не везде с такою ясностью и выдержанностью, как в эскимосских.[26] Во многих из них от-

---

[22] См.: ЯПНС, III, с. 118—119. Несколько примеров из этого языка мною даются ниже на с. 202 и сл.

[23] ЯПНС, I, с. 184.

[24] Там же, с. 40.

[25] Там же, с. 114—115.

[26] Ср.: Thalbitzer W. The Absolutive and the Relative in Eskimo. — In: A Grammatical Miscellany offered to Otto Jespersen, on his Seventieth Birthday, Copenhagen—London, 1930, pp. 319—328, где дается краткий обзор существующей литературы о пассивном и поссессивном строе переходного глагола в эскимосском языке. О том же см.: Fink N. F. 1) Die Grundbedeutung des grönländischen Subjektives. — Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaft, 1905, vol. 9; 2) Der angeblich passivische Charakter des transitiven Verbs. — Zeitschrift für vergleischenden Sprachforschungen, 1907, vol. 41; Thalbitzer W. Eskimo, an Illustrative Sketch. — Handbook of American Indian Languages. Bulletin of the Bureau of American Ethnolog, № 40, Washington, 1911; Богораз В. Г. 1) Материалы для изучения языка азиатских эскимосов. — Живая старина, 1909, кн. 70—71; 2) Юитский (азиатско-эскимосский) язык. — ЯПНС, III, с. 105 и сл.

дельные притяжательные формы вскрываются лишь грамматическим разбором глагольного построения и получают свое истолкование только путем стадиально-сравнительного анализа. Так, например, в североамериканском индейском языке немепу (сахаптинской группы) прослеживаются притяжательные построения и в имени и в глаголе, но как те, так и другие в значительной степени отличаются от унанганской ясности притяжательной конструкции. Имя в этом языке не имеет притяжательного окончания, кроме падежного (относительный падеж), глагол же идет личным строем спряжения, а не местоименным. И тем не менее сравнительный анализ устанавливает в нем аналогии к указанным выше притяжательным формам.

В языке немепу имеется, как и в унанганском (эскимосской группы), только два основных падежа в именах существительных, а именно прямой и косвенный-относительный. Последний из них имеет те же функции, как и его соответствие в унанганском, и характеризуется тем же показателем m.[27] В этом падеже ставится субъект владения вообще (inim sikam 'моя лошадь', inim ayat 'моя жена' и т. д.) и, кроме того, действующее лицо при переходной глагольной форме, т. е. той, которая, так же как и притяжательное построение предиката в унанганском, имеет согласование с субъектом и объектом, вернее, имеет показатели обоих одновременно (субъектно-объектное согласование в языке немепу).

Глагол в этом языке получает или непереходные формы (субъектное согласование, ср. местоименный строй спряжения в унанганском), или переходные (субъектно-объектное согласование, ср. притяжательный строй в унанганском). Показателями субъекта и объекта являются здесь уже личные приставки, а не местоименные частицы, и используются они следующим образом: все они префиксируются, причем в 1-м лице нет никаких показателей ни для субъекта, ни для объекта. Во 2-м лице один и тот же показатель ȧ (во мн. числе ȧtx) может выражать и субъект и объект. В 3-м лице глагола показатели субъекта и объекта уже дифференцируются: субъект выражается префиксом ħi, а объект префиксом a (при действии 3-го лица на 3-е используется префикс pa). Особо отмечается действие, идущее со стороны 20-го лица на 1-е, в этом случае в конце глагольной формы суффиксируется m. Показатель времени и числа прибавляется в конце. Такими показателями служат: для настоящего времени tsa (sa), во множественном числе субъекта tsix (six), для прошедшего несовершенного времени tsana (sana), при множественном числе субъекта tsina (sina) и т. д.[28]

После этого краткого изложения грамматических правил перейдем к выявлению притяжательных форм в данном языке,

---

[27] Примеры из языка немепу приводятся мною в латинской транскрипции.

[28] Строй речи языка немепу несколько подробнее см.: Новое учение, с. 75—91.

для чего в первую очередь сопоставим предложения с переходными и непереходными глагольными спряжениями:

Непереходное		Переходное	
(in) kusa	'(я) иду'	(in) anpisa sikámna	'(я)-ее-беру какую-то лошадь'
(im) á kusa	'(ты) идешь'	(im) a anpisa sikámna	'(ты) ты-ее-берешь какую-то лошадь'
(ipi) ħikusa	'(он) идет'	(ipmin) panpisa sikamna	'(он) он-ее-берет какую-то лошадь'
ħama ħikusa	'человек идет'	ħamanm panpisa sikámna	'человек он-ее-берет какую-то лошадь'

Разбор грамматического строя в приведенных сопоставлениях останавливает наше внимание на том, что: 1) местоимения при личном строе спряжения глагола обычно опускаются, поскольку лицо и без того указано в самом глаголе; 2) левый столбец с непереходными формами имеет субъект в прямом падеже (неоформленном) во всех трех лицах, тогда как в правом столбце с переходным спряжением при глаголе в 3-м лице появляется относительный падеж субъекта (ср. ipi 'он', отн. ipħim; ħama 'человек', отн. ħamanm); 3) объект sikám 'лошадь' получил показатель na, означающий неопределенность объекта, неизвестность его принадлежности кому-либо (sikám 'лошадь', sikámna 'какая-то лошадь', 'чья-то лошадь').

В этих примерах из языка немепу ясно выступает различие непереходного и переходного спряжения глагола как по их оформлению (первый выражает субъект, второй — субъект и объект), так и по синтаксическим особенностям постановки при них субъекта в предложении. При непереходном спряжении субъект во всех трех лицах ставится в прямом падеже, при переходном же действующее 3-е лицо ставится в относительном (притяжательном) падеже.

В этих структурных особенностях речи немепу получается схождение с унанганским (алеутским) языком, а именно в обоих наблюдается двоякое построение предиката. Одно из них знает только субъектное согласование, другое — только субъектно-объектное. Но в то же время имеются и расхождения весьма существенного свойства, как-то: язык немепу утратил местоименное спряжение и развил взамен его личное спряжение, причем глагол субъектного согласования оказался в нем связан с семантикою предложения, со смыслом фразы, не требующей объекта. Указанное различие выявляется в том, что унанганское местоименное спряжение не согласуется с объектом, все же стоящим во фразе, тогда как субъектное (непереходное) спряжение в языке немепу стоит во фразе, не требующей объекта. Следовательно, субъектное согласование глагола в его непереходной форме

в языке немепу не имеет показателя объекта, так как его и нет во фразе, он и не требуется смыслом фразы. Наоборот, субъектно-объектный строй глагола в том же языке (переходные формы) обусловлен наличием объекта во фразе, конкретно выраженного или предполагаемого, показатель которого попадает в глагольную форму, тогда как притяжательный строй в унанганском имеет предикат, указывающий на объект при его отсутствии в предложении. Здесь отмечается уже резкое синтаксическое различие. Это различие выявляется в том, что когда, по правилам унанганской речи, в предложении при наличии в нем объекта должен стоять глагол непереходной формы (местоименное спряжение), в этом же случае в языке немепу обязательно ставится переходная форма (субъектно-объектное построение).

Выясняется таким образом, что в языке немепу содержание фразы влияет на постановку в предложении той или иной глагольной формы. Эта форма оказывается синтаксическим построением и по этому своему значению может быть названа залогом.[29] Такое значение подтверждается анализом структуры предложения и анализом глагольной формы. Первый анализ устанавливает тесную зависимость непереходной и переходной глагольной формы (залоги) от смыслового значения фразы. Второй анализ приводит к утверждению о возможности образования обеих форм (залогов) от одного и того же глагола в связи с семантикою предложения. Так, например, от основы ṫamṫayn 'рассказывание' можно образовать ту и другую формы, которые попадут в разные по содержанию предложения: ħama ħiṫamṫayṫsa 'человек рассказывает' (в значении 'болтает'), и ħamanm paṫamṫayṫsa 'человек рассказывает' (что-то конкретное, сказку и т. д.). В первом случае объект и не может быть во фразе, тогда как во втором он или присутствует, или подразумевается.

Возможно наличие в предложении двух предикатов. В этом случае также ясно выразятся особенности синтаксического строя, а именно, когда это имеет место в унанганском языке, то оба предиката будут иметь разное оформление. Построение такого рода мы уже видели выше (см. с. 156—157) и установили особое значение объекта во фразе, выразившееся в том, что притяжательная предикативная форма указывает на объект, наличествующий в другом синтаксическом комплексе, например: *асхинух' сах' адам анукӯ сукух'* 'дочь птицу отца бросание-ее берет' ('дочь взяла птицу, брошенную отцом'). Притяжательная форма предиката в синтаксическом комплексе *адам анукӯ* 'отца его взятие' ('отец берет его') указывает на объект *сах'* 'птица', принадлежащий другому комплексу *асхинух' сах' сукух'* 'дочь птицу берет'. Ссылкою на объект в притяжательной форме предиката связываются обе части предложения, причем в обеих частях семантически выявляется переходность действия на объект, независимо от чего

[29] Субъектное и субъектно-объектное спряжение глагола.

предикаты оказываются разного строя: один непереходного, вернее безобъектного (местоименного спряжения *сукух*'), другой переходного, т. е. субъектно-объектного (притяжательного именного *анук*у). На структуру предикатов повлиял синтаксис, т. е. структура, и смысл фразы. В языке немепу также оба синтаксические комплекса используют глагол согласно семантике самого комплекса. Поэтому глаголы в сложных построениях предложений могут оказаться и переходными и непереходными, отражая смысловое значение всего предложения и его составных частей, связанных с глаголом. Можно привести отдельные примеры таких словосочетаний: akitsa ħatswalm patamyatsa 'его-вижу мальчик он-его-бьет' (т. е. 'я вижу дерущегося мальчика'). В этой фразе переходная форма глагола с субъектом в относительном падеже (ħatswal-m pa-tamyatsa 'мальчик он-его-бьет') обращается в синтаксический комплекс, служащий прямым дополнением к глаголу тоже переходной формы a-kitsa 'его вижу'.

Некоторое различие будет и с относительным падежом, который, так же как и в унанганском, выражает в немепу принадлежность. Но, при отсутствии притяжательных именных форм, снабжаемых особыми притяжательными показателями всех трех лиц, в языке немепу нет другой возможности передачи принадлежности первым двум лицам, кроме использования самих же местоимений. Поэтому в данном языке относительный падеж имеется во всех лицах местоимений, так же как и в именах: ср. in 'я', отн. падеж inim; im 'ты', отн. imim; ipi 'он', отн. ipnim; ħama 'человек', отн. ħamanm и т. д.

Этот относительный падеж имен существительных и всех трех лиц местоимения выступает в поссессивном значении, например, когда требуется указать принадлежность, используя определитель при определяемом. И в этом случае констатируется расхождение с унанганским, а именно отсутствие в немепу взаимного согласования обоих синтаксически связанных слов. Тогда как в унанганском определитель получает притяжательную форму падежа в связи с притяжательным же оформлением определяемого (*айага-н*' 'жена моя', *айага-н* 'жена твоя', *ада-м айагā* 'отца жена-его'), в немепу поссессивность передается только в определителе, обращая его притяжательное оформление в косвенный (родительный) падеж: ini-m ayat 'моя жена', imi-m ayat 'твоя жена', ħaman-m ayat 'человека жена'.

Другим, менее ярким отличием между названными двумя языками будет значительно большее развитие глагольных форм в немепу. Этот язык, вовсе не знающий инкорпорирования, отсутствующего в его современном состоянии речи, обладает развитою структурою вербального предложения. В частности, в немепу местоименное спряжение, как уже отмечено выше, заменилось личным, утратившим признаки именного происхождения, и вовсе исчезло притяжательное именное построение предложения. Все же поссессивная конструкция сохранилась, но уже

не в именной форме предиката, а в глагольной, именно в 3-м лице переходного глагольного построения, при котором субъект ставится в том же относительном падеже: haman-m pa-npisa sikàm-na 'человек берет какую-то лошадь' (букв. 'человека его-взятие лошадь').

В первых двух лицах и здесь относительного падежа не будет: anpisa sikàmna '(я) беру лошадь', à anpisa sikàmna 'ты берешь лошадь'.[30] Как мы видели, этого не требовалось и в унанганском при именном притяжательном строе предиката, но в нем сам предикат был притяжательно выражен своим притяжательным местоименным формантом, тогда как в немепу выступает чистая глагольная форма, в которой усмотреть признаки поссессивного показателя не удается.

Таким образом, притяжательные построения наличествуют и в этом языке, хотя в глагольном их выражении, при постановке субъекта в относительном (притяжательном) падеже, притяжательное оформление самого глагола выявляется весьма слабо. Некоторые его признаки можно было бы усмотреть лишь в том, что показатель лица субъекта именно в 3-м лице, т. е. там, где выступает притяжательный падеж действующего лица, выделяется особо (hi), но все же притяжательное значение и форма этого глагольного префикса не улавливаются. Тут притяжательное спряжение наличествует как бы в снятом виде.

Выражение принадлежности в языке немепу выступает гораздо отчетливее в других построениях, а именно в согласовании глагола не с действующим лицом, а с тем, к кому оно относится (кому оно принадлежит). Например, в таких фразах, как à sikàm inpaysam 'ты берешь мою лошадь', глагол выражает переход действия со 2-го лица на 1-е (суффиксация m), тогда как акт взятия относится к лошади, т. е. к 3-му лицу. Поскольку лошадь принадлежит мне (1-му лицу), постольку же и глагол согласуется с 1-м лицом, что дает буквальный перевод: 'ты лошадь берешь-меня', т. е. 'ты берешь меня-лошадь', 'ты берешь мою лошадь'; ср. другие построения того же типа: à kampaysam 'ты кусаешь меня', à tsiq'amqal hatswal kampaysan 'ты собака сын кусаешь меня' ('твоя собака кусает моего сына'), imim tiwak'mats à kusa 'твой враг ты идешь' ('твой враг идет'), inim piyep kusa 'мой старший брат иду' ('мой старший брат идет') и т. д.

Выдержанность такого построения, при котором принадлежность субъекта выражается глагольным согласованием, ведет к тому, что притяжательная форма местоимения, т. е. местоимение в относительном падеже, стоящее в начале предложения, оказывается уже излишним. Ввиду этого оно может опускаться, ничуть не нарушая смыслового содержания фразы. В языке немепу закономерно сосуществуют такие сочетания слов, как imim titoqan à kusa 'твое племя ты идешь' ('твое племя идет'),

---

[30] 'Лошадь' sikàmna здесь с показателем неизвестной принадлежности na.

и просто titoqan å kusa 'племя ты идешь' ('твое идет') и др. Все эти формы вызывают к себе особый интерес тем, что в них глагол согласуется уже во всех трех лицах с наличным или подразумеваемым местоимением, стоящим в относительпом (притяжательном) падеже. Притяжательное спряжение, выраженное в согласовании глагола с местоимением или именем, стоящим в указанном падеже, выступает на этот раз в данных сочетаниях достаточно ясно.

Все же и в этом случае более яркого выражения поссессивного (притяжательного) строя мы имеем полное основание утверждать, что он является уже архаичным языковым построением для современного состояния речи немепу. К этому заключению приводит нас то, что параллельно отмеченной форме как более архаичной используется и новая форма, в которой смысловой упор переносится уже на само действующее лицо. Его определитель с ним сливается в одно целое, и тогда глагол согласуется уже со всем слитным комплексом и ставится в лице подлинного субъекта. В современной речи немепу без различия употребляются обе формы: imim titoqan å kusa 'твое племя ты-идешь (твое идет)', ср. imtitoqan hikusa 'твое-племя оно-идет'; å tsiq åmqal hatswal kampaysam 'ты собака сын кусаешь-меня', ср. imtsiq' amqalm hatswal hikampaysa 'твоя-собка сына она-меня-кусает'. В последнем примере вновь вскрывается притяжательное построение, но на этот раз не в согласовании субъекта с глаголом, а в выражении объектного отношения. Первое слово (im-tsiq' amqal-m), снабженное префиксом усеченной формы местоимения 2-го лица imim → im, обратилось целиком в субъект и получило окончание относительного падежа субъекта действия при переходном глаголе (m). Глагол же hi-kampaysa, при нулевом показателе 1-го лица, означает 'он-меня-кусает', имея в виду на этот раз принадлежность объекта 1-му лицу ('мой сын'). Буквальный перевод этого предложения будет: 'твоя-собака кусает-меня сын', т. е. 'кусает моего сына'.

Таким образом, в языке немепу одновременно используются полные притяжательные построения: imim sikåm å kusa 'твоя лошадь ты-идешь (твоя идет)', такие же сокращенные построения с пропуском местоимения: sikåm å kusa 'лошадь ты-идешь (твоя идет)', субъектные построения со слитным выражением определителя и определяемого:[31] imsikåm hikusa 'твоя лошадь она-идет'. При переходных формах глагола сохраняется и в последнем случае притяжательное отношение к объекту, см. выше пример с imtsiq'amqalm hatswal hikampaysa.

Язык немепу не имеет инкорпорированных форм типа североазиатских языков, и в нем поссессивные построения сохранились

---

[31] Здесь тоже получается своего рода инкорпорирование. Но основное его различие с изложенным выше инкорпорированием заключается в том, что в немепу сливается с именем только местоименный определитель, а не всякий определитель вообще.

в общем, уже развитом, строе глагольного спряжения и в структуре предложения. В этом языке глагол и имя не стоят уже в такой близости, как в эскимосских языках. Глагол и имя могут иметь общую основу, более того, от имени легко образуется глагольная форма, но все же лексически они обособились, получая различные формативы.

Притяжательные формы в строе предложения и в оформлении глагола можно проследить в целом ряде языков, причем обычно притяжательному строю глагола сопутствует другой строй — субъективного личного спряжения. В некоторых языках оба строя выступают в залоговом значении (немецу и др.), различаясь по смысловому заданию фразы, по наличию или отсутствию объекта и по согласованию с ним. В некоторых языках происходит семантическая дифференциация самих глаголов на переходные и непереходные как различные лексические единицы.

В этом положении то же поссессивное (притяжательное) построение улавливается анализом абхазского глагола. Яфетический строй речи абхазского языка затуманил понимание наличного в нем построения, вовсе не воспринимаемого как поссессивное ни говорящим лицом, ни даже исследователем. Тем не менее, стадиальный анализ устанавливает и в нем наличие этих форм в глагольном строе. Пережиточно уцелевшее, притяжательное спряжение попадает в иное структурное окружение и само становится качественно иным, сохраняя лишь свою формальную сторону. С точки зрения исторической перестройки речи материалы абхазского языка приобретают для нас особое значение.

В абхазском языке, при его крайне слабом развитии падежей (падежи в этом языке плохо прослеживаются), синтаксические отношения выражаются строем предложения, местом слова во фразе и развитым глагольным оформлением. Глагол снабжается показателями субъекта и объекта, причем глагольные приставки в 3-м лице точно делятся на абсолютные, выражающие субъект непереходных глаголов и прямой объект переходных, и эргативные, представляющие субъект при переходных глаголах и косвенный объект.[32] В первых двух лицах глагольные приставки формально по этим признакам не различаются:

	Абсолютные приставки		Эргативные приставки
1-е лицо	s	‘я’	то же
2-е »	u/w	‘ты (мужчина)’	» »
	b	‘» (женщина)’	» »
3-е »	d	‘он, она (активн.)’	i ‘он (мужчина)’
	i	‘», », оно (пассивн.)’	l ‘она (женщина)’
			i ‘он, она, оно (пассивн.)’ [33]

[32] Термин «эргативный» введен в научную литературу впервые А. Дирром и Ж. Дюмезилем. Название абсолютного падежа и глагольной приставки, в указанных выше функциях, предлагается для яфетических языков мною.

[33] В большинстве случаев имена существительные делятся на классы: 1) активный, куда относятся названия людей вообще (этот класс в свою оче-

Все эти приставки обратились уже в личные показатели, хотя генетически они несомненно восходят к местоимениям. В подтверждение этого достаточно сослаться на такие сопоставления, как: sara 'я' (ср. показатель s), wara 'ты мужчина' (ср. показатель w), bara 'ты женщина' (ср. показатель b) и т. д.

Абсолютные приставки выступают в значении действующего лица при непереходных глаголах: s-ϑoyt 'я-иду', u-ϑoyt 'ты-(мужчина)-идешь', b-ϑoyt 'ты-(женщина) идешь', и пр. Они же выражают предмет действия в переходных глаголах, где субъект представлен эргативною приставкою: s-i-goyt 'меня-он-(мужчина)-берет' (например, отец меня), w-a-qoyt 'тебя-он-(пассивный)-берет' (волк тебя), d-i-goyt 'его-(активного)-он-(активный)-берет' (отец сына) и др.

Субъектно-объектное значение абсолютных приставок, стоящих на первом месте как в непереходных, так и в переходных глаголах, выступает в приведенных примерах достаточно ясно. Косвенное же значение эргативных приставок, стоящих на втором и третьем месте в переходных глаголах и выражающих действующее лицо, подтверждается примерами глагольного построения, передающего также косвенный объект местоименными же приставками. В последнем случае таковые ставятся между показателями прямого объекта и субъекта: i-s-ϑueyt 'его-(это)-я-даю', i-w-s-ϑueyt 'это-тебе-я-даю', s-i-w-ϑūeyt 'меня-ему-(активному)-ты-даешь', s-a-w-ϑueyt 'меня-ему-(пассивному)-ты-даешь', s-lə-w-ϑuet 'меня-ей-ты-даешь'. Здесь для выражения косвенного объекта используются те же эргативные показатели (s, w, i, l, a).[34]

В абхазском языке нет такой свободы построения глагола, как в унанганском и немецу. В нем, как и в других яфетических языках, глагол уже семантически закрепляется в выражении переходности и непереходности. Непереходный по своей значимости глагол остается непереходным и по оформлению, поскольку он по своей семантике не требует объекта, который поэтому в нем и не выражается, так же как не может стоять отдельно и во фразе, раз сама фраза с непереходным глаголом не передает перехода действия на прямой объект. Его нет в самом содержании глагола и фразы, в виду чего его нет ни в глаголе, ни во фразе.

В этом заключается коренное различие с унанганским (алеутским) предикатом, который, как мы видели выше, не изменяет своей лексической семантики, оставаясь по значению тем же и в субъектном (местоименном) построении глагола и в субъектно-объектном (притяжательном) построении имени. В абхазском языке, наоборот, субъектный и субъектно-объектный строй

редь делится на мужской и женский), и 2) пассивный, к которому принадлежат все остальные существительные, одушевленные и неодушевленные.

[34] Примеры заимствуются мною из работы: Услар П. К. Абхазский язык. — ЭК, 1887, с. 59, и др. См. также: Новое учение, с. 165—169.

не являются более залогами. Оба эти строя закрепляются за переходными и непереходными глаголами, причем только первые могут быть субъектно-объектными в своем построении, тогда как вторые всегда только субъектны. Они безобъектны при отсутствии указания передачи действия на предмет. В абхазском, при ярко выраженной конкретизации, нельзя переходный глагол согласовать только с субъектом, если в предложении имеется объект. Последний в таком случае обязательно выразится также и в глаголе. Нельзя сказать ašwkwa d-woyt 'он пишет письмо'. Такое субъектное построение глагола недопустимо, поскольку во фразе содержится объект. При его наличии обязательно субъектно-объектное построение глагола: ašwk̦wa i-i-woyt 'письмо его-он-пишет'. В тех же случаях, когда появляется безобъектная форма, например s-woyt 'я-пишу, невозможно указание во фразе на предмет писания.[35]

Даже в тех случаях, когда используется одна и та же основа для переходных и непереходных глаголов, они семантически различны. Возьмем для примера корень ƀl, выражающий действие огня. Непереходный от него глагол (только субъектный) будет передавать действие огня на субъект (пассивное состояние субъекта), переходный же (субъектно-объектный) выражает действие огня, направленное субъектом на объект. Таким образом, и в этом случае получается строгое семантическое различие, не допускающее наличия объекта во фразе, построенной с непереходным глаголом, так как сам субъект пассивен: s-ƀlueyt 'я горю' (т. е. я испытываю действие огня), u-ƀlueyt 'ты горишь', ƀə-ƀlueyt 'ты (женщина) горишь'; ср. переходные глаголы: i-z-ƀlueyt 'это-я-жгу', i-u-ƀlueyt 'это-ты-жжешь', i-ƀ-ƀlueyt 'это-ты-(женщина)-жжешь' и т. д.

Абхазский переходный глагол «жечь» не может быть построен иначе. В частности, если изъять у него объектный показатель, то он и семантически изменится. Абхаз не может сказать u-ƀlueyt в значении 'ты жжешь', так как отсутствие объекта обращает глагол в непереходный: 'ты горишь'.

Таким образом, приходится констатировать, что абхазский язык по своему строю значительно отличается от унанганского (алеутского). В унанганском языке наблюдаются тождественные грамматические элементы в имени и глаголе, например, в притяжательном оформлении имени и предиката, в 3-м лице местоименного спряжения, имеющего именное окончание (ср. прямой падеж). В абхазском языке, напротив, такое тождество элементов не лежит на поверхности, но и в нем при углубленном анализе имени и глагола прослеживаются тождественные грамматические показатели. Это наиболее отчетливо выступает в притяжательных формах имен и в уже иначе осмысленных, но генетически все же притяжательных, формах глагола. Для их установления тре-

---

[35] См.: Там же, с. 166.

буется выход за пределы данного языкового материала, так как в нем самом глагольные формы подведены под общие нормы яфетической речи, в которой для переходных глаголов свойствен эргативный, а не поссессивный строй спряжения и соответствующая ему структура предложения.

Обратимся к притяжательному оформлению в обоих взятых нами языках и прежде всего отметим уже указанное выше тождество притяжательного оформления имени и предиката в унанганском (алеутском) языке:

В именах		В предикате	
асхину-н'	'дочь-моя'	*анӯку-н'*	'бросание-мое'
асхиӯ-н	'дочь-твоя'	*анӯку-н*	'бросание-твое'
асхинӯ	'дочь-его'	*анӯку*	'бросание-его'

Притяжательное оформление имен налично и в абхазском языке, в котором префиксируются притяжательные местоименные показатели, они же показатели личных местоимений, которые, «будучи поставлены впереди имен существительных, принимают значение местоимений притяжательных»: [36]

s-ab	'мой-отец'	y-ab	'его-(активн.)-отец'
w-ab	'твой-отец'	l-ab	'ее-отец'
b-ab	'твой-(женщины)-отец'	a-ab	'его-(пассивн.)-отец'

Если сопоставить наличные тут притяжательные местоименные показатели (s, w, b, i, l, a) с уже приведенными выше глагольными префиксами, то прежде всего бросается в глаза полное их тождество с эргативными показателями действующего лица при переходных глаголах (s, w, b, i, l, a).

Такое совпадение находит полное себе объяснение. Для этого приведу в несколько развернутом виде примеры со словом «собственность», использованные в грамматике П. К. Услара.[37] Эти примеры делают более понятным понимание структуры абхазского переходного глагола.

Для большей ясности начнем с сопоставления последовательных форм уже отмеченных притяжательных построений имени «отец» и вновь привлекаемого слова «собственность»: ab 'отец', tə 'собственность', s-ab 'мой отец', s-tə 'моя-собственность' и т. д. Слово «собственность» в его притяжательном оформлении нуждается в конкретизации как субъекта владения, так и объекта. Абхазский язык не только не избегает конкретизации, но, наоборот, полностью проводит ее во всем своем строе. Так, глагол, если он переходный и если предмет действия наличествует в предложении, обязательно содержит указание и на субъект, и на объект.

---

[36] Услар П. К. Ук. соч., с. 72.
[37] Там же, с. 73.

Даже имя существительное выражается не иначе, как в сопровождении числительного или притяжательного местоимения («своих детей любит их отец» и т. п.).[38] Собственность тоже должна быть конкретизована, выражая принадлежность кого-то (чего-то) кому-то. Поэтому и притяжательное именное построение с глагольным формантом u̥p, отмечая субъект владения притяжательным показателем (s-t̊ə-up 'моя-собственность-есть'), нуждается, для полноты своего построения, в выражании еще и объекта. Он и передается в глагольном построении добавлением к именной притяжательной форме, кроме временно́го окончания, еще и местоименной частицы, передающей предмет владения. Отсюда получаются субъектно-объектные (переходные) формы: i-s-t̊ə-up 'он-(это)-моя-собственность-есть', что в конечном итоге образует чисто глагольную форму 'я имею его' ('его-я-имею').

Тем же путем строятся вообще все переходные глаголы абхазского языка, в чем нетрудно убедиться, если в параллель к только что упомянутому притяжательному оформлению глагола «иметь» привлечь другие переходные глаголы. В результате увидим полное тождество:

1) основа t̊ə с окончанием аориста up:[39] w-s-t̊ə-up 'ты-моя-собственность-есть' → 'я тебя имею'; bə-s-t̊ə-up ты-(жен.)-моя-собственность-есть' → 'я тебя (жен.) имею'; də-s-t̊ə-up 'он-(активн.)-моя-собственность-есть' → 'его (активн.)'; i-s-t̊ə-up 'он-(пассивн.)-моя-собственность-есть' → '(пассивн.)';

2) основа g̊əφ̦h с окончанием настоящего-будущего ueyt: w-s-g̊aφh-ueyt 'ты-моя-любовь-есть' → 'я тебя люблю; bə-s-g̊aφh-ueyt 'ты-(жен.)-моя-любовь-есть' → 'я тебя (жен.) люблю'; də-s-g̊aφh-ueyt 'он-(активн.)-моя-любовь-есть' → 'его (активн.) люблю'; i-s-g̊aφh-ueyt 'он-(пассивн.)-моя любовь-есть' → 'его (пассивн.) люблю';

3) основа gə с окончанием настоящего-будущего oyt (→ ueyt): w-s-g-oyt 'ты-мое-взятие-есть' → 'я тебя беру'; bə-s-g-oyt 'ты-(жен.)-мое-взятие-есть' → 'я тебя (жен.) беру'; də-s-g-oyt 'он-(активн.)-мое-взятие-есть' → 'его (активн.)'; i-s-g-oyt 'он-(пассивн.)-мое-взятие-есть' → 'его (пассивн.)' и т. д.

Весь сделанный выше анализ спряжения абхазского глагола, со всеми приведенными примерами, позволяет прийти к выводу о том, что приставки, выражающие в абхазском переходном глаголе действующее лицо, т. е. так называемые «эргативные приставки», являются не чем иным, как притяжательными местоименными показателями, прослеживаемыми как в имени, так и в глаголе.[40]

---

[38] Там же, с. 76—77.

[39] Аорист по-русски выражается через настоящее время; см.: Услар П. К. Ук. соч., с. 17, § 10.

[40] См.: Дондуа К. Д. Сравнительно-превосходная степень в картвельских языках. — ЯМ, IX, с. 30—31.

В современном строе абхазской речи все эти формы переходного глагола воспринимаются под углом зрения господствующей в яфетических языках эргативной конструкции. Конечно, я вовсе не намерен отрицать наличие упомянутой конструкции в этих языках, столь ярко выступающей, например, в языках Дагестана,[41] но все же остается в силе сделанный выше вывод о том, что в абхазском языке эргативное построение переходного глагола вышло из поссессивного.

Три выступавших перед нами типа предиката, прономинальный, поссессивный и эргативный, зависят от истории семантики предложения и различаются по грамматическим формам. В центре исследования лежит раскрытие развивающихся взаимоотношений между субъектом высказывания и предикатом, этими двумя главными членами предложения. Восприятие субъекта как действующего лица мы видели выраженным в прономинальном построении унанганского предиката с глагольною формою местоименного спряжения (*адах*', *нух*', *анукух*' 'отец камень бросает', *нух*', *анукук*' *ин*' 'камень бросаю-я' и т. д.). Восприятие его же как лица, которому принадлежит действие, имеется в притяжательном построении предложения того же языка (*анукун*' 'мое бросание', *адамануку* 'отца бросание' и др.). Восприятие субъекта как выполнителя деяния выражается эргативным построением, на котором придется подробнее остановиться ниже.

При первичной близости имени и глагола, о чем речь была выше, параллельно выступают номинальные и вербальные предложения (см. в унанганском), при последующем же развитии глагольной формы идет расширение использования вербального предложения за счет сокращения номинального (см. немепу и абхазский). Ряд предикативных показателей в связи с этим начинает восприниматься как глагольные формативы, и отнесение их к числу таковых нередко оправдывается в полной мере, так как глагол выступает только в предикате и частое его употребление в нем переносит на него же предикативные показатели, которые тем самым вербализуются.

Оказавшись предикатом, притяжательная именная форма в абхазском языке получила предикативный показатель и тем самым стала в один ряд с местоименным спряжением непереходного глагола. Если сопоставить такую местоименно-личную форму непереходного глагола (s-ϑ̊oyt 'я иду') с указанным выше притяжательным построением w-s-təup 'тебя-я-имею', то едва ли могут быть какие-либо колебания в отнесении последнего построения к числу глагольных, хотя оно, как мы только что видели, восходит к именной притяжательной форме s-t̊e 'моя-собственность' (ср. s-aḃ 'мой отец'), получившей в функции предиката его временной показатель, в данном случае — up. Именная

---

[41] Эргативная конструкция как особый строй предложения мною выделяется, и ей посвящается отдельная глава.

форма обратилась в глагольную. Таким образом, при всем структурном расхождении унанганского (алеутского) языка с абхазским мы все же вправе констатировать наличие признаков структурного схождения в построении переходных форм в обоих названных языках. Это схождение выражается в притяжательном строе спряжения, согласованного одновременно с субъектом и объектом абхазского глагола, и в упомянутом притяжательном оформлении предиката поссессивного предложения в унанганском. В последнем используется в именах и в предикате одна и та же притяжательная суффиксация, без какого-либо различения в том и другом случаях, в абхазском же в обоих выступают притяжательные префиксы. К этим префиксам в абхазском предикате в отличие от имени присоединяется еще префикс объекта и временной суффикс в конце всего поссессивного построения. В унанганском осталась в предикате именная форма, тогда как в абхазском выявляется уже ее глагольная перестройка. Все только что сказанное можно подтвердить сравнительною таблицею:

Унанганский (алеутский) язык

ада-н'	'отец-мой'	*сукӯ-н'*	'взятие-мое' → 'я его беру'
адāн	'отец-твой'	*сукӯ-н*	'взятие-твое' → 'ты его берешь'
адā	'отец-его'	*сукӯ*	'взятие-его' → 'он его берет'

Абхазский язык

s-ab	'мой-отец'	i-z-bl-ueyt	'он-мое-горение-есть' → 'его-(это)-я-жгу'
w-ab	'твой-отец'	i-w-bl-ueyt	'он-твое-горение-есть' → 'его-(это)-ты-жжешь'
b-ab	'твой-(женск.)-отец'	i-b-bl-ueyt	'он-твое- (женск.)-горение-есть' → 'его- (это)-ты-(женщина)-жжешь'
y-ab	'его-отец'	i-i-bl-ueyt	'он-его- (активн.)-горение-есть' → 'его-(это)-он-(активн.)-жжет'
l-ab	'ее-отец'	i-l-bl-ueyt	'он-ее-горение-есть' → 'его-(это)-она-жжет'
a-ab	'его-(пассивн.)-отец	v-a-bl-ueyt	'он-его- (пассивн.)-горение-есть' → 'его (это) он (пассивн.) жжет'
		d-a-bl-ueyt	'он-(активн.)- его- (пассивн.) горение-есть' → 'его (активн.) он (пассивн.) жжет' и т. д.

В абхазском языке, конечно, переходный глагол не воспринимается как притяжательное отыменное построение с глагольным

временным окончанием, но формально он все же восходит к таковому. Притяжательная форма изменила свое содержание, стала осмысляться иначе.

В унанганском языке притяжательное оформление предиката бросается в глаза, лежит, так сказать, на поверхности, чего никоим образом нельзя сказать про построение абхазского переходного глагола. В последнем генезис формы в ее притяжательном содержании затуманен сложным окружением глагольного построения и улавливается только научным анализом, в значительной степени подкрепляемым и даже подсказываемым материалами несходной и географически крайне отдаленной речи населения Командорских островов Тихого океана.

В абхазском языке имеются две основные конструкции предиката. Одна из них субъектная (непереходная), другая субъектно-объектная (переходная). Генезис последней, с установлением ее поссессивного в прошлом значения, был только что затронут нами. Поссессивная форма, отмечающая принадлежность чего-то кому-то, выражает тем самым отношение и к субъекту и к объекту. В итоге получается притяжательное построение, обратившееся в переходное спряжение, по своему построению субъектно-объектное. Другое предложение имеет только субъектное согласование предиката, образуя спряжение непереходного глагола в абхазском.

В абхазском языке, равным образом, допускается образование глагола от имени. Каждое прилагательное или существительное, будучи предикатом, сливается со связкою, в значении временно́го показателя, и составляет с ним настоящий глагол, подчиненный всем условиям абхазского спряжения.[42]

Для этого имя префиксируется местоименною приставкою и суффиксируется глагольным окончанием. Так, например, от основы аb отец получается настоящая глагольная форма, спрягаемая по всем трем лицам. Таким образом, 'я (есмь) отец' по-абхазски выразится 'я-отец-есмь', что в русском буквальном соответствии даст нечто вроде: 'я отцу, ты отцишь, он отцит' и т. д.

Эти получившиеся глагольные формы означают не действие, а состояние. Поэтому действие такого глагола не переходит на объект и сам глагол остается, таким образом, безобъектным, имея только субъектный показатель. Тем самым получается непереходное спряжение с односторонним равнением на субъект. В таких отыменных глаголах состояния выступают не притяжательные или эргативные приставки, а абсолютные местоименные частицы. Они же будут и в других абхазских непереходных глаголах, тоже безобъектных по своим показателям, в чем нетрудно убедиться по нижеследующей параллельной таблице:

---

[42] Услар П. К. Абхазский язык, с. 17, § 9.

Отыменное спряжение		Непереходный глагол	
s-ab-up	‘я-отец-(есмь)’	s-t̊o-up	‘я сижу’
w-ab-up	‘ты-отец-(еси)’	w-t̊o-up	‘ты-сидишь’
d-ab-up	‘он-(активн.)-отец-(есть)’	d-t̊o-up	‘он-(активн.)-сидит’
y-ab-up	‘он-(пассивн.)-отец-(есть)’	i-t̊o-up	‘он-(пассивн.)-сидит’

Тождество образования форм спряжения глаголов состояния, непереходных или средних, с именным спряжением выступает в данных парадигмах с полною отчетливостью. В обеих мы видим глагольный временной показатель в конце и абсолютную местоименную приставку в начале. Следовательно, и в абхазском языке местоименные показатели субъекта в глаголах непереходных и переходных не тождественны. В первых мы имеем в этом значении абсолютные приставки, а во вторых эргативные (в абхазском поссессивные, или притяжательные). В первых (непереходных) налично лишь субъектное согласование, а во вторых (переходных) обязательно субъектно-объектное, если предмет действия присутствует во фразе и глагол не представляет собою отвлеченного действия. В последнем случае и переходный глагол получает только субъектное согласование, но тогда субъект в нем выражен уже не эргативною (поссессивною) приставкою, а абсолютною, как и в других непереходных глаголах, ср. s-ɯ̦oyt ‘я пишу (вообще)’, aɯɯ̦k̓wa i-z-ɯ̦oyt ‘письмо его-я-пишу’.

Притяжательное спряжение, как мы только что видели, устанавливается в абхазском языке анализом. В современной речи оно воспринимается как обычное для яфетических языков построение переходного глагола. В этом отношении наблюдается значительное продвижение вперед по сравнению с унанганским языком, в котором то же образование совпадает по своему формальному строю с притяжательным изменением имен. Данное построение предиката органически связано с поссессивным строем всего предложения.[43]

Стадиально, как мы видели, более древнею будет унанганская форма, еще тождественная с именною и сосуществующая с другой, инкорпорированной, структурой слова-предложения. В абхазском же языке мы имеем значительное продвижение вперед и самой формы, ставшей уже явно глагольною, и содержания, далеко отошедшего от прежнего поссессивного понимания наличной в языке структуры. В унанганском данное построение связано с указанием на отсутствующий в синтаксическом комплексе объект, тогда как в абхазском оно тесно связано с присутствием объекта в предложении. Здесь получился уже субъектно-объектный строй переходного глагола.

[43] В настоящем изложении мною использована, местами дословно, моя же предварительная статья: Притяжательное спряжение в унанганском (алеутском) и абхазском языках. — ЯМ, IX.

С этим строем сосуществует другой, субъектный по своему построению, который в унанганском языке отличается от первого односторонним согласованием с действующим лицом, хотя бы объект и присутствовал во фразе. В абхазском и здесь глагол субъектного согласования стоит в тесной связи с семантикою или своей собственной или предложения, в котором он находится, не требующей в обоих случаях объекта.

Если рассматривать каждый из привлеченных языков в отдельности, то и в них ясно прослеживается ход преемственной перестройки языковых элементов. Так, например, материалы унанганского языка дают основание усмотреть в притяжательных частицах дериват личных местоимений и тем самым дают повод к заключению о позднейшем образовании поссессивных форм.[44] Материалы же абхазского языка раскрывают действующую в нем эргативную конструкцию переходного глагола как восходящую к притяжательной (поссессивной), причем в этом же языке непереходный глагол отличается от глагола местоименного спряжения только качеством своих приставок, обратившихся в процессе усечения из местоименных в личные.

Казалось бы, отсюда только один шаг к установлению законов исторического развития предложения с признанием эргативного строя как результата трансформации предшествующего поссессивного. Я не спешу, однако, с выводами подобного рода, наоборот, полагаю, что монизм языкового развития, обусловливающий преемственность языковых форм, не устанавливает только единственный путь исторического перехода из одного качественного состояния в другое. Эргативная конструкция в ряде языков могла иметь и иные исходные моменты, на чем я предполагаю детальнее остановиться в следующей главе.

ЭРГАТИВНЫЙ СТРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Изложенный в предыдущей главе процесс разложения инкорпорированного комплекса слова-предложения на местоименный и притяжательный строй не является единственным возможным выходом из инкорпорированного построения при образовании предложения. Материалы других языков указывают еще и иные способы образования синтаксического строя и развития морфологии. Переходя к рассмотрению этих материалов, придется в первую очередь обратиться к языкам — представителям инкорпорирования, т. е. к тем, в которых, как и в затронутых выше эскимосских, имеются две структуры: одна пережиточно сохранившаяся в виде отдельного использования инкорпорирования, другая уже более употребительная и вытесняющая первую своим развернутым предложением. Сосуществование обоих структур в одном и том же языке облегчит, как это было и с анализом унанганского языка, задачу сравнительного подхода к формам той и другой

---

[44] См. с. 143 и сл.

систем в их стадиальной последовательности. Обратимся к рассмотрению самого материала.

В одном из северных азиатских языков, в луораветланском (чукотском), инкорпорированные слова-предложения употребляются одновременно с предложением, построенным из отдельных слов и имеющим иную, чем в эскимосских языках, конструкцию как глагола, так и всего предложения. В чукотском языке инкорпорированный комплекс, равным образом, может быть сопоставлен со структурою глагола, действующего в другом строе той же речи. Это дает достаточное основание и здесь выдвинуть вопрос о последовательной смене одной языковой структуры другою. Для разрешения затронутого вопроса необходимо, хотя бы весьма кратко, ознакомиться со строем чукотской речи.

В ней устанавливаются исследователями шесть падежей с различными падежными окончаниями, в числе их: абсолютный (с нулевым показателем), исходный (*йпы*, *эпы*, *гыпы*), направительный-дательный (*гты*, *эты*, *вты*), орудийный-творительный (*тэ//та* → *э//а*), назначительный (*ну//но* → *у//о*) и местный (*ык*, *кы*). От орудийного падежа присоединением префикса *гэ//га* образуется сопроводительная форма.

Глагол в этом языке имеет два спряжения: непереходное (с субъектным согласованием) и переходное (с субъектно-объектным согласованием). Непереходный глагол получает временны́е и личные показатели, причем последние или совпадают с местоимениями, или же имеют свои особые показатели, например, для 1-го лица используется префикс *т* в единственном числе и *мыт* во множественном, не находящие своего соответствия в схеме личных местоимений. В первом случае, когда суффиксируется местоименный показатель, таковой в первых двух лицах в точности повторяет личные местоимения в абсолютном падеже: *гым* 'я', *гыт* 'ты', *мури* 'мы', *тури* 'вы' (во вторых временах настоящего и прошедшего). В 3-м лице тут выступают уже не местоименные формы, а особые показатели *кин//кэн*, *лин//лен*, которые являются одновременно и формативами прилагательных, например: *ны-мэл-кин* 'хороший', 'он хорош'; *ны-тэры-кэн* 'слезливый', 'он плачет'; *га-кора-лен* 'имеющий оленей' и т. д. Для краткости ограничусь таблицей спряжения двух форм непереходного глагола:

Настоящее первое		Настоящее второе	
ты-чейвы-ркын	'я-хожу'	*ны-чейвы-й-гым*	'хожу-я'
чейвы-ркын	'ты-ходишь'	*ны-чейвы-й-гыт*	'ходишь-ты'
»	'он-ходит'	*ны-чейвы-кин*	'ходящий (он ходит)'

Таким образом, и в чукотском языке в 3-м лице глагола с местоименным строем спряжения (см. настоящее второе) отчетливо выступает именная форма, чему соответствием служит такая же

форма унанганского глагола, в местоименном спряжении которого 3-е лицо не получает местоименной приставки: *ун'учику-к'ин* 'сижу-я', *ун'учику-х'-тхин* 'сидишь-ты', *ун-учику-х'* 'сидение' ('он сидит').

В 3-м лице чукотского непереходного глагола имеется, как мы только что видели, отступление от местоименного спряжения. Это лицо принимает особое окончание (*кин*, *лин*), хотя в чукотском языке имеется свое местоимение для 3-го лица (*ытлён*). Очевидно, это уже не личное местоимение, почему оно и не попало в схему глагольного спряжения, хотя в живой речи оно воспринимается как лицо в одном ряду с первыми двумя, несомненно личными.

Этот строй спряжения непереходного глагола в точности повторяется и в инкорпорированном комплексе слова-предложения, получая те же формативы. В подтверждение сказанному сошлемся на такие сопоставления: *ты-чейвы-ркын* 'я-хожу', *ты-валя-мна-ркын* 'я-ноже-точение-делание', ('я точу нож'), *ге-чейвы-лин* 'ходящий' ('он ходит'), *г-ача-каа-нмы-лен* 'жиро-олене-убийство-делание', или 'жиро-олене-убийство-делающий' ('он убил жирного оленя', 'жирного оленя убили ему').

Это совпадение форм указывает на близость непереходного глагола, т. е. глагола с одним субъектным согласованием, к инкорпорированному слову-предложению, наличие в котором объекта не требует особого его повторения в том же едином инкорпорированном построении.[1] Объект тут уже наличен, поэтому он не нуждается в особом показателе при глаголе, которого и нет в слове-предложении. Показатель объекта при таких условиях может появиться только тогда, когда выделяются глаголы с их специальными показателями, следовательно, уже после распада инкорпорирующей конструкции. При ее разложении на составные части выделяются члены предложения, получающие свои синтаксические показатели в едином синтаксическом комплексе предложения. В этом случае выделившийся предикат, ставший уже глаголом-сказуемым, получает в порядке синтаксической связи или один показатель субъекта (непереходное спряжение), или же, кроме того, и показатель объекта (переходное спряжение чукотского языка), указывающий на отдельно стоящий или подразумеваемый предмет действия.

Таким путем оформляются субъектно-объектные по согласованию переходные глаголы, вернее переходное спряжение с его показателями лица и предмета действия, обусловленными в своем наличии появившимися требованиями синтаксиса, т. е. взаимосвязи отдельно стоящих слов предложения, образовавшегося после распада инкорпорирования. Синтаксическое в данном слу-

---

[1] На это впервые указал молодой специалист по чукотскому языку П. Я. Скорик.

чае значение показателей, субъекта и объекта в глагольной форме, выступает в достаточной степени ясно. Тем самым определяется их синтаксическая функция (синтаксемы).

Субъектно-объектное построение глагола, другими словами, его переходное спряжение, использует в отдельных случаях, например в настоящем времени, в прошедшем и будущем (в первых их временах), те же показатели лица, как и непереходные глаголы (префиксы *ты*, *мыт*), и одновременно выражает объектное отношение местоименными суффиксами (*гыт* в значении 'тебя'), чаще видоизмененными (*мык* 'нас', ср. *мури* 'мы', *тык* 'вас', ср. *тури* 'вы'). Сочетанием этих частиц получается субъектно-объектное выражение переходного глагола: *ты-пэля-ркын-е-гыт* 'я-покидаю-тебя', *ты-пэля-ркын-е-тык* 'я-покидаю-вас', *мыт-пэля-ркын-е-гыт* 'мы-покидаем-тебя' и др.

Каждый из указанных типов спряжения, непереходный и переходный, связан с различным построением предложения. Его структура зависит от семантики фразы, от смыслового ее значения, требующего постановку глагола в том или ином спряжении. Так, безобъектное по своему смыслу предложение использует непереходную форму глагола и имеет субъект в абсолютном падеже: *клявол чейвыркын* 'мужчина ходит'. В предложении же с переходным оформлением глагола субъект ставится в орудийном падеже: *клявол-я ена-пэля-ркын* 'мужчина (букв. мужчиной) меня он покидает'. Переходное спряжение связано, таким образом, с особым синтаксическим строем, отличным от строя с непереходною формою глагола. Отмечаемое здесь различие в структуре обоих видов предложения выражается не только в одностороннем или двустороннем согласовании глагола, но и в грамматическом оформлении других членов предложения. В первую очередь оформляются синтаксически с ним связанные субъект и объект, а именно: абсолютный падеж, выражающий субъект действия при глаголе в непереходном спряжении, передает объект при глаголе переходного спряжения, когда действующее лицо ставится в орудийном падеже, несмотря на двустороннее согласование глагола одновременно с субъектом и объектом.

Такая своеобразная с точки зрения индоевропейской речи конструкция представляет по сравнению с нею несомненный стадиальный архаизм, хотя она прослеживается полностью не только в чукотском, но и в наиболее типичных представителях яфетической системы. В чукотском языке такая конструкция ясно выступает во всех предложениях, смысловое содержание которых содержит переход действия на объект и требует постановки глагола в переходном спряжении. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять такие примеры: *гымнан гыт тыпэляркынегыт* 'я тебя я-покидаю-тебя', *гынан гым енапэляркын* 'ты меня меня-ты-покидаешь'. В этих двух примерах местоимения стоят в двух различных падежах: в орудийном (*гымнан* 'мною', *гынан* 'тобою') и в абсолютном (*гым* 'я', *гыт* 'ты'). В том случае, когда эти местоиме-

ния выражают действующее лицо, они ставятся в орудийном падеже (*гымнан, гынан*), когда же эти местоимения выступают во фразе в значении объекта, то они же стоят в абсолютном падеже (*гым, гыт*).

Благодаря такому несоответствию с правилами построения русского предложения получается при буквальном переводе неестественная конструкция, в которой наше подлежащее окажется в творительном падеже, несмотря на согласование с ним глагола при помощи личного показателя. Глагол своим другим показателем согласуется одновременно и с объектом, который, таким образом, выступает тоже как указанный в глаголе член предложения. Тем самым в одном и том же предложении будут два отраженных в глаголе члена предложения, стоящих в разных падежах, тогда как предикат согласуется с ними обоими: *гымнан гыт ты-пэляркыне-гыт* 'мною ты я-покидаю-тебя'. Последний глагольный суффикс *гыт* есть не что иное, как личное местоимение 2-го лица, используемое здесь в его пассивном значении, первая же приставка *ты* может и в других случаях выступать как активная, что мы и имеем в непереходном спряжении, где она выражает действующее лицо, ср. *ты-чейвыркын* 'я хожу'. Активное значение она имеет и в разбираемом нами примере с переходным спряжением глагола. Изменению подверглось содержание местоименной приставки *гыт*, ставшей пассивным выразителем объекта, так же как меняется активное значение абсолютного падежа субъекта при глаголе непереходного спряжения на пассивное значение объекта при переходном (ср. выше примеры с абсолютным падежом имени существительного *клявол* 'мужчина' и местоимением *гым* 'я' и *гыт* 'ты').

Если бы глагол *ты-пэляркыне-гыт* не имел последней приставки *гыт*, он принял бы непереходную форму *ты-пэляркын* 'я-покинул' без указания объекта (ср. *ты-чейвыркын* 'я-хожу'), и по своему одностороннему согласованию с субъектом (логическим и грамматическим) совпал бы с нашим действительным залогом. В этом случае стоящий при нем субъект в абсолютном падеже, в котором он должен быть по нормам построения безобъектного предложения с непереходным глаголом (ср. *клявол чейвыркын* 'мужчина ходит', *гым ты-чейвыркын* 'я хожу'), оказался бы подлежащим, а сам абсолютный падеж совпал бы с именительным падежом индоевропейских языков, т. е. с падежом подлежащего. Если тот же глагол не имел бы первого элемента *ты*, сохранив лишь второй (*гыт*, 'ты', 'тебя') в его пассивном грамматическом значении, то получился бы отрыв глагола от согласованного с ним субъекта *гымнан* и последний перестал бы быть грамматическим субъектом (подлежащим), и тогда получился бы наш страдательный залог с односторонним равнением на логический объект: 'мною ты покидаешься'. Но для чукотского переходного спряжения оба указанные случаи невозможны. Переходное спряжение в этом языке должно иметь отношение и к субъекту и к объ-

екту. Одностороннее согласование только с одним из них не допускается всем строем речи. Отсюда неминуемо следует вывод о том, что чукотское переходное спряжение не соответствует ни действительному, ни страдательному залогам, являясь одновременно и тем и другим. В нем действительный и страдательный залоги находятся еще в нерасщепленном состоянии. В таком же положении, как увидим ниже, находятся и некоторые яфетические языки Кавказа с их переходными глаголами.

Материалы чукотского языка, на которых придется еще несколько остановиться, дают иную схему выхода из инкорпорированного комплекса, чем та, которую мы видели выше на примерах эскимосских языков, унанганского-алеутского и др. В унанганском мы имели местоименное спряжение с односторонним равнением на субъект и притяжательное построение с субъектно-объектным согласованием.[2] Чукотский язык дает другую схему, а именно непереходное спряжение при согласовании с субъектом и переходное при двустороннем согласовании с субъектом и объектом. В последнем случае действующее лицо, имеющее свой показатель в глагольной форме, стоит в косвенном, в данном языке в орудийном, падеже, выражающем действующее лицо и получившем наименование эргативного падежа. Это уже не относительный (притяжательный) падеж, который стоит в предложении, связанный с притяжательным оформлением предикативной формы, совпадающей с именным притяжательным построением. Там имеется поссессивная конструкция всего синтаксического комплекса, выдержанная и по форме и по содержанию. Поссессивное оформление имени, ставшего предикатом, требует такого же оформления связанного с ним члена предложения: *ада-м анукӯ* ‘отца бросание-его’ (‘отец бросает’).

В эргативном построении получился разрыв между смысловым значением фразы и ее выражением в предложении. Указание на того, кем выполняется действие, обратилось в обозначение самого действующего лица. Тем самым новое содержание, внесенное в старую форму, превратило ее в субъект предложения, согласованный с глаголом вопреки формальной стороне. Глагол указывает на действующее лицо, тогда как само действующее лицо сохранило форму косвенного падежа. Получился падеж

---

[2] Притяжательная форма предиката в унанганском языке своею притяжательною частицею отмечает субъект владения, обращаемого в предикативном значении в действующее лицо. Кроме того, в той же притяжательной форме предиката содержится также и указание на число объекта, например: *ануку-н*’ ‘бросание мое (его одного)’, *ануку-ки-н*’ ‘бросание мое их двоих’, *ануку-ни-н*’ ‘бросание мое их’, *ну-хануку-ки-н*’ *суку-х*’*-тхин* ‘два камня (именной показатель в дв. числе — *х*) бросание мое их двоих (показатель дв. числа объекта — *ки*) берешь-ты’, т. е. ‘ты берешь два камня, брошенных мною’. См.: Иохельсон В. И. Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка. — ИАН, 1912, с. 1035, 1043. Ср. то же в ряде других северных языков — ненецком, селькупском, мансийском: ЯПНС, I, с. 40, 105, 115, 184.

деятеля, который, будучи падежом косвенным, в отличие от нашего именительного падежа (падежа подлежащего) получает имя эргативного. Генезис этого падежа не вполне ясен. Его происхождение не вскрывается материалами яфетических языков Кавказа, не вскрывается оно и по наличным данным чукотского языка, где в роли эргативного падежа выступает, как мы только что видели, орудийный падеж: *гымнан гыт ты-пэляркыне-гыт* 'я тебя покидаю', букв. 'мною ты я-покидаю-тебя'.

Можно указать только предварительно данные для разрешения этого вопроса, если его удастся углубить в будущем. Эти данные сводятся к следующему: в именах существительных чукотского языка наличествует орудийный-эргативный падеж, но вовсе нет относительного; в местоимениях же этого языка имеется и тот и другой, причем орудийный падеж в местоимениях, по своему оформлению, стоит крайне близко к притяжательным формам: *гымнан* 'мною', *гымнин* 'мой', *гынан* 'тобою', *гынин* 'твой'; *ынан* 'им', *ынин* 'его' и т. д. Близость этих форм не вызывает никаких сомнений. В них можно видеть образование притяжательных форм местоимений путем прибавления притяжательного именного окончания — *ин//ен* к основе орудийного падежа (*гымн-ин* и др.) или же прибавление различных (орудийных и притяжательных) окончаний к общей для них основе.

Такое схождение форм устанавливается только в местоимениях, в именах же чукотский язык имеет разные формативы для тех и других (ср. окончания орудийного падежа *тэ//та* → *э//а* с окончаниями притяжательных именных форм *ин//ен*). Все изложенное приводит к выводу о том, что, при всей близости в отдельных случаях (в местоимениях) притяжательных форм к окончанию орудийного падежа, все же вопрос о происхождении последнего продолжает оставаться открытым.

При таких неточных знаниях о первичных формах падежных окончаний и строя предложения придется пока признать возможным параллельное образование поссессивных и эргативных построений, обоих все же как форм, следующих за распадением инкорпорирования, в котором их еще нет.[3]

Весь проведенный выше анализ материала приводит к выводу о том, что после распадения слова-предложения, после его взрыва, давшего структуру предложения, образовались в северных азиатских языках две конструкции предложения и глагольной формы. Одна из них непереходная, с одним только субъектным согласованием, непосредственно вытекающая из строя самого инкорпорирования. Об этом достаточно подробно говорилось и в настоящей, и в предыдущей главах. Другая конструкция — это переходная, субъектно-объектная по согласованию глагола, получившая два пути своего развития: или через осознание принад-

---

[3] О строе чукотского языка см.: Bogoras W. Chukchee. — In: Boas Fr. Handbook of American Indian Languages, Part 2, Washington, 1922, pp. 639—903. В кратком изложении см. также: Новое учение, с. 108—133.

лежности действия лицу (поссессивный, притяжательный строй),[4] или же через выделение выполнителя деяния, понимаемого в инструментальном, орудийном значении (эргативный строй). Другими словами, различие этих двух путей выражения переходности действия можно характеризовать следующим образом: нормы сознания отмечают или того, кому принадлежит данное действие, или того, кем оно выполняется.

Непереходное спряжение с односторонним согласованием глагола в общих чертах сходно в обоих строях предложения (в параллельных поссессивному и эргативному), поскольку речь идет о построении глагола. В обоих глагол согласуется только с субъектом действия. Но синтаксис и в этом случае выявляет свои особенности. Так, в тех языках, в которых имеется поссессивный строй предложения с переходным глаголом (в унанганском, эскимосских), предложения с непереходным глаголом могут быть все же по своему значению переходными, потому что объект может стоять во фразе с глаголом одного только субъектного согласования. Здесь и сам глагол по своей семантике может выражать переходность действия. В последнем случае он непереходен лишь формально. Так, например, унанганское предложение *ада-х' ну-х' ануку-х'* 'отец камень бросает' содержит переходную по смыслу фразу, поэтому и глагол в нем будет переходного содержания, хотя он согласуется только с субъектом, ввиду чего мы и называем его непереходным лишь по форме (непереходное спряжение).[5] В языках же с эргативным строем переходного глагола его антипод, непереходное спряжение, используется только в безобъектных предложениях, т. е. в тех, которые по своему содержанию не требуют перехода действия на объект. В них глагол оказывается вследствие этого непереходным и по форме и по содержанию.

Некоторое отступление от указанных здесь особенностей представляет абхазский и те многие другие языки, в которых непереходное построение глагола тоже связывается с безобъектным предложением, т. е. непереходным не только по форме, но и по содержанию. Ср. абхазск. aшʯkwai-i-ʯoyt '(он) письмо его-он-пишет', где оттеняется переход действия на конкретный объект, и d-ʯoyt 'он-пишет', где отмечается лишь одно действие, только процесс самого действия.[6] Но именно эти языки и именно с этой стороны представляют особый интерес. В частности, абхазский

---

[4] Ср.: Schuchardt-Brevier, S. 300 usw (гл. VI, раздел «Possessivisch und Passivisch»).

[5] Бывают, конечно, непереходные глаголы и по своему содержанию, но, попадая в предложение, тоже непереходное по содержанию, глагол конструктивно ничем не отличается от только что приведенного построения, предложение же будет в этом случае отличаться только отсутствием в нем объекта, что в глаголе ничем не отразится, поскольку глагол и без того согласуется с одним лишь субъектом.

[6] То же самое, как увидим ниже, прослеживается и в ряде других яфетических языков.

язык включается в языки эргативной системы, и поссессивное построение его переходного глагола оказывается таковым лишь по пережиточно сохранившейся форме. Сохранив поссессивную конструкцию переходного глагола, абхазский язык во всем своем целом уже примкнул к эргативным языкам, вкладывая тем самым в поссессивное построение глагола иное содержание, затемнившее, как мы видели выше,[7] формальную его сторону. Абхазский язык ввиду всего сказанного являет собою прекрасный пример стадиальной перестройки. Формально, по одним данным, он пережиточно связан с одним строем (поссессивным), по содержанию же этих данных и по формальной стороне других фактов он примыкает к иному строю (эргативному).

Еще в большей степени выявляется расхождение в синтаксисе. Поссессивная конструкция фразы, благодаря притяжательному содержанию, т. е. выражению принадлежности совершаемого действия лицу, его совершающему, иногда тождественна именной форме (эскимосские языки, унанганский-алеутский), иногда близка к ней (абхазский), но всегда восходит к ней в генезисе, чем и обусловливается все построение предложения, по существу своему еще именное. Эргативная же конструкция в том виде, в каком она дошла до нас, несомненно использует уже глагольную форму, и субъект в предложении согласуется со сказуемым особым в нем личным показателем, не имеющим в чукотском языке ни притяжательной формы, ни орудийной. Эти показатели, иногда общие с непереходным спряжением (*ты-чейвыркын* 'я хожу', *ты-пэляркын* 'я-покидаю-его', *ты-пэляркыне-гыт* 'я покидаю-тебя' и др.), не передают формы косвенного падежа, в котором ставится действующее лицо, воспринимаемое как выполнитель действия, выражаемого переходным глаголом. Таким образом, устанавливается, что субъект притяжательной конструкции и субъект эргативного построения различны и по форме и по содержанию. Первый ставится в относительном падеже поссессивного строя предложения, второй же стоит в косвенном, в чукотском языке в орудийном, падеже.

Расхождения в обоих строях предложения, в поссессивном и эргативном, отразились и на другом падеже, которому в рабочем порядке присваивается мною наименование в одном случае прямого падежа, а в другом — абсолютного. Как увидим ниже, это два различные падежа, синтаксически различаемые по их функции в предложении, хотя оба они могут быть использованы для выражения и субъекта и объекта. Различаются они потому, что синтаксис поссессивного предложения в корне отличен от синтаксиса эргативного.

Первый из них, прямой падеж, вызван к жизни синтаксическими особенностями местоименного строя, при котором объект во фразе может стоять и при безобъектном оформлении глагола,

---

[7] См. выше, с. 164 и сл.

т. е. при глаголе с одним только субъективным показателем, так называемом непереходном. Таким образом, в указанной конструкции наличие или отсутствие объекта в предложении, завися от семантики последнего, не связано с формою глагола. Поэтому в прямом падеже в одном и том же предложении могут стоять субъект и объект (*али-х' са-х' суку-х'* 'старик птицу берет'). Это недопустимо для эргативной конструкции, при которой семантика предложения, отражаясь на семантике глагола, допускает наличие объекта только в предложении с переходным глаголом, имеющим субъектно-объектное согласование. Непереходная форма глагола используется лишь в безобъектных предложениях. В связи с этим падеж, именуемый нами абсолютным, получает свою синтаксическую четкость: он выражает действующее лицо в предложении с непереходным глаголом и предмет действия в предложении с переходным (ср. выше примеры: *гыт чейвыркын* 'ты ходишь', *гымнан гыт тыпэляркынегыт* 'я тебя покидаю', букв. 'мною ты я-покидаю-тебя').

После этих примеров грамматического оформления членов предложения перейдем к рассмотрению обычных форм спряжения переходного глагола со стороны синтаксической. В результате увидим, что его приставки, благодаря синтаксической связи с соответствующими членами предложения, а именно с субъектом и объектом, получают то же качество, какое присуще абсолютному и эргативному падежам. Так, например, абсолютные приставки в непереходном строе глаголов действия и состояния могут выражать действие, идущее от них, следовательно, они в этом случае оказываются логически активными: *нычейвы-й-гыт* 'ходишь-ты'. Между тем в эргативном построении глаголов эти же частицы пассивны, потому что действие идет на них: *тыпэляркыне-гыт* 'я-покидаю-тебя'. Глагольная приставка *гыт*, наличная в приведенных примерах и представляющая собою местоимение 2-го лица, в первом случае активна, поскольку она выражает действующее лицо, во втором случае пассивна, поскольку она уже выражает предмет действия. Она активна при непереходном глаголе, выражающем безобъектное действие,[8] и пассивна при переходном, являясь в обоих суффиксом, тогда как используемая в предложении самостоятельно в качестве местоимения, а не местоименной глагольной приставки, она же в одном случае (*гыт чейвыркын* 'ты ходишь') выступает как субъект, а в другом (*гымнан гыт тыпэляркынегыт* 'я тебя покидаю') оказывается в роли объекта.

---

[8] Я имею тут в виду лишь непереходные глаголы действия, т. е. выражающие безобъектное действие, но не глаголы состояния. Субъект при глаголах состояния пассивен. Если же и безобъектное действие рассматривать тоже как своего рода состояния (*я иду=я нахожусь в состоянии хождения*), то и в них субъект действия может быть понят как пассивный. Отсюда можно с полным основанием прийти к выводу, что абсолютный падеж, следовательно и абсолютные приставки в глаголе, в основном пассивны. Об этом подробнее см. ниже, с. 269 и сл.

Все эти фактические данные указывают на несомненную связь между синтаксическою ролью соответствующих членов предложения и синтаксическим значением их же показателей в глаголе. Последние, согласованно с синтаксическою функциею имен в абсолютном падеже, оказываются, равным образом, выразителями субъекта при непереходном глаголе и объекта в переходном (отсюда и даваемое им мною название абсолютных приставок, или абсолютных личных показателей).

По существу обе глагольные формы близки друг к другу, имея одну и ту же частицу: *ны-чейвы-й-гыт* 'ходишь-ты', *ты-пэля-ркын-е-гыт* 'я-покидаю-тебя'. Эти два примера, один в непереходном спряжении, другой в переходном, различаются между собою лишь по активности и пассивности содержания частиц, т. е. в обоих случаях те же местоименные показатели в глаголе (*гыт*) конкретизируют его действие согласно нормам синтаксиса, установившим активно-пассивное значение абсолютного падежа, с которым согласуются указанные глагольные показатели. Так, при семантической непереходности глагола само действие остается связанным только с субъектом как с определителем активности: *ны-чейвы-й-гыт* 'ходишь-ты'. Здесь 'ты' (*гыт*) определяется в своей активности хождения. Отсюда получается активное оформление глагола ходишь-ты с активным значением наличной в нем местоименной приставки. При переходном же глаголе абсолютные частицы указывают на пассивное отношение к действию, активная принадлежность которого (согласование с субъектом) определяется уже другими личными показателями.

Чукотский язык в указанном своеобразии своего языкового строя стоит вовсе не изолированно. Отмеченные особенности его структуры — косвенный (эргативный) падеж действующего лица при переходном глаголе и объект в абсолютном падеже, который в то же время может служить для выражения действующего лица в предложении с глаголом непереходного спряжения, — объединяют целую группу северных азиатских языков: луораветланский (чукотский), нымыланский (корякский) и ительменский (камчадальский). Всем этим языкам свойственно эргативное построение предложения.

Еще более ярко прослеживается эргативная конструкция в северо-кавказских горских яфетических языках. Эти языки стадиально неоднотипны, что и отмечалось неоднократно акад. Н. Я. Марром, считавшим яфетические языки многостадиальными.[9] Это совершенно правильное указание основателя нового учения о языке полностью подтверждается материалами яфетической речи Кавказа. Так, на примере абхазского языка, относящегося по структуре речи к западной группе горских языков, мы уже видели структурную типологию, выявляющую отдель-

---

[9] См.: Марр Н. Я. К вопросу о происхождении арабских числительных. — ИР, IV, с. 232.

ные черты, стадиально сближающиеся с отдельными свойствами эскимосских языков в части построения переходного глагола, пережиточно сохранившего в абхазском схему поссессивного строя. Другие же языки Северного Кавказа, восточные горские, дагестанские, наоборот, выявляют эргативное построение, стадиально сближаясь с северными азиатскими языками — чукотским, коряцким и ительменским. В этих языках, так же как и в яфетических языках Дагестана, наблюдается, как общее правило, резкое противопоставление непереходного глагольного спряжения переходному. Эти два разных спряжения теснейшим образом связаны с синтаксисом. Предложения, по своей семантике безобъектные и использующие в силу этого непереходные глаголы, строятся совершенно иначе, чем предложения, передающие переход действия на объект. Различно оформляются и сами глаголы.

В дагестанских языках имеется развитое склонение имен с различным в разных языках числом падежей, но во всех них абсолютный падеж [10] служит для выражения субъекта действия только при непереходных глаголах, тогда как субъект при переходных ставится в косвенном падеже (обычно в орудийном-творительном или дательном при verba sentiendi), имея объект в абсолютном. Иллюстрировать такое построение можно примерами из любых языков. Так, а аварском предложении *вац инев вуго* 'брат идет' или *чу инеб буго* 'лошадь идет' действующее лицо стоит в абсолютном падеже (*вац*, *чу*). В этом же падеже окажется объект в предложении с переходным глаголом, где субъект выражен эргативным-творительным падежом: *вацас босила чу* 'брат купит лошадь' (букв. 'братом ее-купит лошадь').[11] Если эти примеры из аварского языка сопоставить с приведенными выше примерами из чукотского, то ясно бросится в глаза их структурная близость: *клявол чейвыркын* 'мужчина ходит', *кора чейвыркын* 'олень ходит', *кляволя кора нмыркынен* 'мужчина убивает оленя' (букв. 'мужчиной олень (он)-убивает-его').[12]

---

[10] П. К. Услар, а за ним и другие исследователи называют этот падеж именительным. Неточность такого его наименования будет объяснена мною в дальнейшем изложении, где придется подробнее остановиться на определении его синтаксических функций.

[11] В аварском языке: *вац* 'брат', твор. падеж *вацас*. Глагол в этом языке не изменяется по лицам, но получает классный показатель согласуемого с ним слова; так, например, предикат *инев вуго*, образованный из причастия и вспомогательного глагола, получил классный показатель *в* (*ине-в в-уго*) по согласованию со словом *вац* (активн. класса), тогда как *ине-б б-уго* имеет классный показатель *б* согласованно со словом *чу* (пассивн. класса). Глагол *б-осила* снабжен тем же классным показателем, так как согласовался с тем же словом *чу*, выступающим на этот раз в значении объекта.

[12] В чукотском языке: *клявол* 'мужчина', твор. падеж *кляволя*. Деления существительных по классам в этом языке нет. Согласование глагола выражается личными показателями. В 3-м лице непереходного глагола личного показателя нет, в переходном глаголе (*нмыркынен*) окончание *ен* указывает на действие 3-го лица на 3-е в ед. числе.

Чтобы яснее представить себе особенности наиболее типичных построений эргативного предложения горских яфетических языков, нелишним будет дать краткую характеристику их важнейших грамматических особенностей. Далеко не во всех горских языках, но все же во многих, глагол изменяется по лицам и получает классные показатели связанных с ним имен. Горские яфетические языки делят имя существительное на определенное число классов. Некоторые языки, например чеченский, доводят их количество до шести,[13] лезгинский вовсе не имеет классного деления имен, большинство же других языков сводит их к трем основным группам: к активному классу (разумных существ, по терминологии П. К. Услара) и к классу пассивному (неразумных существ), причем активный класс, к которому относится человек, делится в свою очередь на два класса — мужчин и женщин. В языках, имеющих классное деление, имя существительное, принадлежа по своему содержанию к определенному классу, обычно снабжает согласуемый с ним член предложения своим классным показателем, хотя само такового может не иметь. При таких условиях классные показатели в названных языках играют роль показателей связи согласуемых слов. Сама лексическая единица, имя существительное, остается нередко неоформленною по своей принадлежности к тому или иному классу, но и в этом случае соответствующее оформление классным показателем получают синтаксически согласуемые с ним слова.

Приведем несколько примеров, поясняющих значение упомянутых выше классных показателей в различных синтаксических сочетаниях слов предложения: 1) примеры передачи классного показателя прилагательному: аварск. *кIудияв чи* 'большой человек', *кIудияй чIужу* 'большая женщина', *кIудияб чу* 'большая лошадь'; 2) примеры передачи классного показателя глаголу: даргинск. *адам лив* 'отец есть', *ава лир* 'мать есть', *урчи либ* 'лошадь есть', *галга либ* 'дерево есть' (лошадь и дерево принадлежат к одному классу). Эти классные показатели обладают свойствами тех глагольных частиц, которые указывают или представляют собою в глаголе субъект предложения с непереходным глаголом и объект предложения с переходным. Другими словами, глагол получает классные показатели того слова, которое стоит в предложении в абсолютном падеже.

Классные показатели, по их ясно выступающей синтаксической роли, должны быть отнесены в упомянутых яфетических языках к числу синтаксических показателей. Они же, выражая синтаксические отношения между словами предложения, выявляют наличные в нем синтаксические комплексы. Такими ока-

---

[13] Эти сведения заимствуются мною у П. К. Услара, см. его: Чеченский язык. — ЭК, II, с. 9 и сл.; ср.: Dumézil G. Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du Nord. Paris, 1933, p. 9; Dirr A. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig, 1928, S. 131.

жутся в безобъектном предложении сам глагол в его связи с действующим лицом, а в предложениях переходных — соединенные классным показателем объект с глаголом. Так, например, в даргинской фразе *къакъривсад вашар гьит* 'по улице ходит он'[14] имеется один синтаксический комплекс. В нем стоит непереходный глагол в связи с безобъектным содержанием самой фразы. Поэтому в глаголе *в-аша-р* и личное окончание (*р*), и классный показатель (*в*) оба согласованы с одним и тем же членом предложения (*гьит*), стоящим в абсолютном падеже и выражающим субъект действия.

Совершенно иное синтаксическое построение будет во фразе с переходною семантикою и потому с переходным глаголом. Здесь с глаголом свяжется уже объект через свой классный показатель, классный же показатель субъекта в глаголе не отразится. Он окажется уже в определении как синтаксически связанном с субъектом слове. Связь действующего лица с глаголом выразится в личном окончании последнего. Таков строй предложения с переходным глаголом, ср. даргинское *диштъал хунуй биштъал галга хабушиб* 'маленькая женщина срубила маленькое дерево'. В этом примере классные показатели указывают на выделение двух синтаксических комплексов. Один комплекс, *д-иштъал хунуй*, объединяет имя существительное, являющееся в данном случае субъектом предложения (*хунуй* орудийно-творительный падеж от абс. *хунул* 'женщина, жена'), с его определителем, прилагательным *д-иштъал*, получившим его же классный показатель (*д*). В другом синтаксическом комплексе: *б-иштъал галга ха-б-уши-б* прилагательное *б-иштъал* 'маленькое' и глагол *ха-б-ушиб* 'срубил, срубила-его' снабжены одною и тою же частицею *б*, служащею показателем класса, к которому принадлежит слово 'дерево' (*галга*). Оба эти синтаксические комплекса, составляющие одно предложение, связываются в свою очередь согласованием глагола с субъектом, личным окончанием первого (*хабу-ши-б* 'срубил-он, срубила-она'). Таким образом, личное окончание глагола соединяет два синтаксических комплекса, объединяемых каждый своими классными показателями: *д-иштъал хунуй* связан классным показателем *д*, *б-иштъал галга ха-б-уши-б* соединен классным показателем *б*.

То же деление предложения на составные части, синтаксически выявляемые при помощи классных показателей, мы уже видели выше, когда речь шла о классных показателях в языке суахили.[15] В нем эти показатели не менее отчетливо разделяют фразу на группу слов, связанную с субъектом, и на группу, связанную с объектом, в которую включается и глагол, получаю-

---

[14] Пример дается по Услару, см. его: Хюркилинский язык. — ЭК, V, с. 316, под словом *вашис*. Следуя П. К. Услару, примеры даются мною по урахинскому диалекту с переводом их на русский алфавит.

[15] См. с. 115.

щий, в порядке согласования с первым комплексом, также классный показатель и его ведущего слова, т. е. в данном случае субъекта: wa-tu w-ema wa-na-ki-soma ki-tabu hi-ki ki-zuri 'люди хорошие они-читают-ее книгу эту красивую'.[16] Впрочем, этим только и ограничивается схождение строя предложения в суахили и даргинском. Во всем остальном они резко между собою различаются.

Стадиальное схождение здесь выражается лишь в синтаксическом разделении предложения на два слагаемых, имеющих каждое свой ведущий член, передающий свой классный показатель всей объединенной с ним группе слов. Это будет субъект и объект, глагол же воспринимает показатели обоих: в языке суахили — их классный показатель, в яфетических языках Кавказа (в даргинском и др.) — классный показатель объекта и личный показатель субъекта.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что порядок согласования классными показателями оказывается свойственным многим языкам различных систем (ср. хотя и качественно иное, но все же идущее по той же линии согласование по родам в индоевропейских языках). Наличие классных показателей само по себе не является, таким образом, отличительным типологическим свойством той или иной стадии, той или иной системы языков. Это — формальная сторона, требующая уточнения в своей функции и в своем содержании. Отличительные свойства тех или иных формально близких языковых явлений определяют их стадиальное состояние, а не одно только их наличие в языке. Как увидим ниже, классные показатели африканских языков банту и яфетической речи Кавказа далеко не тождественны, несмотря на бросающееся в глаза их внешнее сходство в синтаксическом их использовании.

Характерным свойством яфетических языков Кавказа является упомянутая выше эргативная конструкция предложения с переходным глаголом и ее противоположность — предложение с непереходным глаголом, отличающееся отмеченными свойствами как в оформлении глагола, так и в построении всей конструкции. Эргативная конструкция придает свое содержание и указанным классным показателям, а именно: они приобретают отмеченные выше свойства абсолютного падежа, т. е. обращаются в выразитель субъекта действия при непереходном глаголе и в выразитель объекта при переходном. Этими свойствами не обладают классные показатели языков банту.

Благодаря такому подчинению названных показателей стадиальному строю речи получается в эргативной конструкции

[16] Watu 'люди' входит в состав класса существительных, имеющего показатель wa (wa-tu). Этот классный показатель в порядке согласования наличен в прилагательном 'хороший' (w-ema) и в предикате wa-nakisoma. Другой синтаксический комплекс объединен классным показателем слова 'книга' (kitabu). Его классный показатель ki имеется в местоимении 'этот' (hi-ki) и прилагательном 'красивый' (ki-zuri), а также в упомянутом выше предикате (wana-ki-soma).

более точное распределение членов предложения по синтаксическим комплексам при отчетливом выявлении связующей роли глагола. Последний, отражая в себе и субъект и объект, оказывается тем самым как бы центром всего предложения, сосредоточивающим в себе, как в фокусе, связующие нити основных компонентов всего синтаксического целого. И в то же время ясно вырисовывается его ближайшая связь с объектом в противоположность обособившемуся субъекту. В языках банту (зулу и суахили) глагол, содержа показатели обоих, как бы играет роль связующего звена между ними, одновременно и равноправно тяготея и к тому и к другому. В языках же с эргативным строем предложения выявляется превалирующая связь его с объектом. Он входит в один с ним комплекс и лишь увязывается со своим действующим лицом личным с ним согласованием. Вся эта сложная схема группировок слов и предложений, с одной стороны, и согласования групп слов между собою, с другой, вырисовывается благодаря приобретенным в этих языках свойствам классных показателей.

Классные показатели, как общее правило, связывают воедино синтаксически тяготеющие друг к другу слова. Стержневой член данного комплекса передает остальным его словам свой классный показатель. Этим классным показателем, как мы только что видели на даргинском примере, объект связывается с глаголом: *галга ха-б-ушиб* 'дерево его-срубил-он'. Здесь глагол получил показатель объекта 'дерева' (в данном случае его показатель *б*). Тем самым устанавливается связь переходного глагола с объектом. Сходное сочетание мы имели уже повод отметить, когда речь шла о строе предложения в гиляцком языке. Там предложение составляется из двух частей, из субъекта с его определителями и из глагола-предиката, с которым объект сливается в одно инкорпорированное целое: ţ'vilagan eɷaḑuzniḑ 'твоя большая собака коровье мясо ест' (букв. 'твое большесобака коровомясоедение').[17] Тут налицо два инкорпорированных члена предложения, в яфетических же языках, в частности в даргинском, та же связь объекта с глаголом представлена синтаксически, а не построением инкорпорированного комплекса, как в гиляцком.

Даргинский язык выделяет в предложении такие же два комплекса: комплекс субъекта и комплекс объекта, уже разбитые каждый на отдельные слова, причем глагол, согласуясь и с тем и с другим личным окончанием и классным показателем, как бы стоит между ними, ср. в даргинском *нуни галга ха-б-уши-ра* 'я дерево срубил' (букв. 'мною дерево его-срубил-я'), где глагол *ах-б-уши-ра* связан с объектом классным его показателем *б* и согласуется с субъектом личным окончанием *ра*. Но существует целый ряд яфетических языков на том же Северном Кавказе, и среди тех же дагестанских, в которых нет изменения глагола по лицам и в которых, тем самым, отсутствует связь глагола

[17] См. с. 96 и сл.

с субъектом. В этих языках глагол уже всецело входит в одну группу с объектом, объединяемую его классным показателем.

Возьмем для примера несколько фраз из аварского и цезского языков, в которых не наблюдается глагольного спряжения. Начнем с непереходных глаголов. Они классным показателем согласуются с именем, стоящим в абсолютном падеже, т е. в данном случае с субъектом: аварск. *гьитIина-й й-ас й-ачIана* 'маленькая девочка пошла'. Тут субъект *й-ас* (орфографически *яс*) 'девочка' передал свой классный показатель *й* как своему определителю, так и глаголу; ср. цезскую фразу с тем же значением *й-егъвени кид й-икIис*, в которой, равным образом, классный показатель *й*, отсутствующий на этот раз в самом имени (*кид*), объединяет его с прилагательным и глаголом. Ввиду безобъектного содержания предложения и отсутствия поэтому в нем прямого дополнения глагол оказывается односторонне согласованным с действующим лицом. Другое дело с переходным глаголом, который, за отсутствием личного согласования с субъектом, оказывается односторонне связанным только с объектом: аварск. *гьитIина-й й-ас-алъ гьитIина-б хIинчI ккуна* 'маленькая девочка маленькую птицу поймала', цезская фраза в том же значении: *й-егъвени кидба-а б-ихъерси б-егъвени агъи*. В обоих этих примерах нет согласования глагола с субъектом, и потому оба комплекса резко отделяются. Первый из них с субъектом в эргативном (косвенном) падеже заключает в себе и его определитель — прилагательное, связанные вместе классным показателем субъекта (девочка) *й*. Второй комплекс, *гьитIина-б хIинчI*, *б-ихъирси б-егъвени агъи*, соединяется классным показателем объекта (птицы) *б*. В нем нет личного согласования глагола с субъектом, нет тем самым грамматической связи обоих комплексов. Они соединяются лишь фактом своего наличия в одном предложении, образуя одну семантического значения единицу, одну фразу.[18]

Все же и в этом случае сравнение гиляцкого построения с аварским ограничивается только близостью выражения синтаксических связей между глаголом и объектом. Оба эти языка объединяют в одну группу действие и предмет действия, но даже формальные пути передачи указанных связей у них различны. В одном (гиляцком) они осуществляются средствами инкорпорирования, в других (аварском, цезском и пр.) использованием классных показателей. Структурные расхождения ясно видны в различных выражениях сходных представлений об объектно-предикатных связях. В остальном эти языки совершенно различны. Они — представители различных языковых стадий.

Нельзя сказать того же самого про чукотско-корякско-ительменскую группу северных азиатских языков и яфетическую группу

---

[18] За указанные мне примеры из северокавказских языков приношу глубокую благодарность: С. Л. Быховской за даргинские, А. А. Бокареву за аварские и Е. А. Бокареву и И. В. Мегрелидзе за цезские.

горских языков Кавказа. Тут схождения прослеживаются уже в плоскости одной стадии. И в тех и в других имеется эргативная конструкция предложения, и те и другие структурно отличают предложения с непереходным глаголом от предложений, выражающих переход действия на объект. В обеих языковых группах падеж субъекта во фразе с непереходным глаголом служит также падежом объекта в предложении с переходным глаголом (абсолютный падеж). В них, равным образом в обеих, используется для выражения действующего лица при переходном глаголе эргативный падеж, чаще орудийный, иногда другой, но всегда косвенный.[19]

Глагол в только что упомянутых языках имеет лишь субъектное согласование в непереходном спряжении и субъектно-объектное в переходном, за исключением языков, не имеющих спряжения по лицам, в которых согласование переходного глагола остается исключительно объектным (аварский, цезский и др.)[20] или глагол вовсе ни с чем не согласуется, если нет и классного деления имен. Переходный глагол, когда он изменяется по лицам и классным показателям (даргинский и др.),[21] передает ими свое двустороннее согласование, обращая их в субъектные и объектные показатели. В северных азиатских (чукотском, корякском, ительменском) для этого служат главным образом местоимения и личные показатели, в яфетических же языках Кавказа согласование выражается личными и классными показателями.

Наиболее типичное построение предложения эргативной конструкции находим в тех яфетических языках Северного Кавказа, которые имеют и личное спряжение, и классные показатели. В них классный показатель во фразе с переходным глаголом объединяет синтаксически связанные слова: определитель с определяемым, глагол с объектом. Личные глагольные окончания, когда действие направлено на 3-е лицо, согласуются с объектом, стоящим в косвенном падеже. Обратимся за примерами к даргинскому языку: *д-иштъал хунуй б-иштъал галга ха-б-уши-б* 'маленькая женщина маленькое дерево срубила', *нуни б-иштъал галга ха-б-уши-ра* 'я маленькое дерево срубил', *б-иштъал вицли б-иштъал гIвари ха-б-уши-б* 'маленький волк маленького зайца убил', *в-иштъал адамъий б-иштъал виц ха-б-уши-б* 'маленький человек маленького волка убил', *б-иштъал вицли в-иштъал адамъили ха-в-уши-б* 'маленький волк маленького человека убил' и т. д. Субъект во всех случаях стоит в орудийном падеже (*хунуй*, *нуни*, *вицли*, *адамъий*),

---

[19] В лакском языке эргативным падежом служит родительный, являющийся в то же время и орудийным. В некоторых языках (ср. упомянутые выше аварский и цезский) эргативный падеж иногда представляет собою специальную форму косвенного падежа, в ином значении не употребляемого. См.: Услар П. К. Лакский язык. — ЭК, IV.

[20] См.: Услар П. К. Аварский язык. — ЭК, III; Дирр А. М. О классах (родах) в кавказских языках. — Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, Тифлис, 1907, вып. XXXVII.

[21] Услар П. К. Хюркилинский язык.

его определитель, прилагательное маленький, получает тот классный показатель, который характеризует классную принадлежность субъекта (*в* для активного класса мужского, *д* для активного класса женского, *б* для пассивного класса, куда относятся все остальные имена без различения одушевленности и неодушевленности). Объект везде поставлен в абсолютном падеже (*галга*, *гIвари*, *виц*, *адамъили*), с ним согласуется его определитель-прилагательное, получая его классный показатель. Глагол всюду согласован классным показателем с объектом (*ха-б-ушиб*, *ха-в-ушиб*). Ср. *б-иштъал вицли д-иштъал хунул ха-д-уши-б* 'маленький волк маленькую женщину убил', где глагол и прилагательное, относящиеся к объекту, получили оба его классный показатель *д*. Личное окончание меняется в зависимости от изменения лица субъекта: 1-е лицо *ра*, 2-е лицо *ди*, 3-е лицо *б*, ср. *хIуни галга ха-б-уши-ди* 'ты дерево срубил'.

Такие синтаксические правила не соответствуют правилам индоевропейских языков. Поэтому буквальный по форме перевод дает неприемлемое для русского языка построение: 'тобою дерево его-срубил-ты' и т. д. Русский глагол, за исключением возвратных форм, имеет одностороннее согласование или с действующим лицом (действительный залог), или с предметом действия (страдательный залог), причем оба выступают как подлежащее. Даже и возвратные формы по существу выявляют одностороннее согласование, поскольку субъект при них оказывается одновременно и объектом. Глаголу индоевропейских языков не свойственна та конкретизация, которая в эргативных построениях сосредоточивает в глагольном оформлении показатели главных членов предложения. Такая схема чужда русскому языку, поэтому ему ближе будут формы яфетических языков, с непереходным глаголом. В них, при отсутствии объекта в предложении, глагол согласуется с субъектом, стоящим в абсолютном падеже, не только личными, но и классными показателями. Такое одностороннее согласование глагола с субъектом, хотя бы и двумя показателями, вместо одного, как это имеется в русском языке, все же дает построение, близкое нашему действительному залогу, и буквальный перевод, благодаря этому, совпадает с предложением, составленным по правилам русского синтаксиса: *къакърнвсад в-аша-р гьит* 'по улице ходит он' (даргинский пример).[22]

Отмеченные выше особенности яфетических языков с характерною для них эргативною конструкцией резко отделяются всем строем своего синтаксиса не только от языков индоевропейской системы, но и от ранее затронутых нами поссессивных форм ряда северных азиатских языков (эскимосских и др.). Но в то же время

---

[22] Строй речи с эргативною конструкцией весьма сложен. Я затронул здесь лишь несколько наиболее характерных его свойств. Несколько подробнее, но все же далеко не полно, см. в другой моей работе (Новое учение, с. 158—186). Пример приведен по: Услар П. К. Хюркилинский язык, с. 316.

у яфетических языков прослеживается много общих структурных черт с определенною группою северных азиатских языков — чукотским, коряцким и ительменским. Эта структурная близость не доходит до полного тождества в отдельных формальных выявлениях, впрочем и в самих яфетических языках нет такого же тождества. Вопрос о стадиальных схождениях разрешается, таким образом, не общностью лексического состава и даже не одной только близостью морфологических элементов, но в гораздо большей степени близостью синтаксического построения.

Все только что сказанное находит себе обоснование в палеонтологическом анализе и в стадиальных сопоставлениях даже в пределах только что затронутых нами материалов. Так, например, в ряде горских яфетических языков классные показатели приобретают те же функции в предложении, как и абсолютный падеж имен существительных. Таких показателей вовсе нет в глагольной форме упомянутых выше северных азиатских языков (чукотском и др.), все же в них имеется субъектно-объектное построение переходного глагола с отмеченными свойствами эргативности. Таким образом, придется признать, что поскольку наличие классных показателей в африканских языках банту (зулу, суахили и др.) и в яфетических Северного Кавказа само по себе еще не объединяет эти языки в одну систему и стадию, постольку же отсутствие их в чукотко-корякско-ительменской группе северных азиатских языков не служит основанием для выделения их в разные стадии.[23] Классные показатели в горских кавказских языках являются формальными выразителями тех же отношений, которые в названных северных азиатских языках формально выполняются иными средствами. Это нетрудно подтвердить примерами. Ограничимся несколькими, более характерными, из чукотского и даргинского:

чукотск.	*клявол чейвыркын*	'человек ходит'
	коран'ы »	'олень » '
даргинск.	*адамъили в-аша-р-*	'человек » '
	вартκел б-аша-р-	'олень » '

Во всех этих примерах действующее лицо стоит в абсолютном падеже (*клявол*, *коран'ы*, *адамъили*, *варткел*), глагол же согласуется с ним в лице, а в даргинском языке, кроме того, и классным показателем (*в*, *б*). Другой строй предложения, но равным образом одинаковый и в чукотском и в даргинском, дает фраза с переходным глаголом:

чукотск. *кляволя коран'ы нмыркын-ен* 'человек оленя убил' (букв. 'человеком олень убил-он-его');

даргинск. *адамъий варткел ха-б-уши-б* 'человек оленя убил' (букв. 'человеком олень его-убил-он').

[23] Встречаются и яфетические языки, в которых нет деления существительных на классы (например, лезгинский).

В отличие от примеров с непереходным глаголом, субъект здесь стоит в эргативном-орудийном падеже (*кляволя*, *адамъий*), объект же в том же абсолютном как и субъект при непереходном (*коран'ы*, *вартке́л*). Глагол согласуется с обоими членами предложения: в чукотском окончанием *ен* ('он-его'), в даргинском — окончанием 3-го лица (*б*) с субъектом и классным показателем *б* с объектом.

Эти сопоставления ясно говорят за то, что в указанных языках имеется структурное схождение, конструктивная близость синтаксиса при некоторых формальных расхождениях.

Сравнивая далекие языки Чукотского полуострова с горскими языками Кавказа, мы, естественным образом, не можем эти схождения объяснить ни общностью этнического состава носителей речи, ни заимствованиями и влияниями совершенно разобщенных друг с другом языков, ни происхождением от одного праязыка. Схождения объясняются здесь близостью норм сознания (мышления), приведшей к близости структурного выражения в языковом строе.

Нам уже приходилось указывать на значительные структурные расхождения даже внутри яфетических языков Северного Кавказа. Они, как говорит Н. Я. Марр, полистадиальны,[24] они являются носителями признаков различного стадиального состояния. Поэтому на фактах яфетической речи представляется возможность поставить вопрос о сосуществовании элементов разных стадий и проблему смены языковой типологии, хотя бы лишь на определенном отрезке языкового движения.

Некоторые из кавказских горских языков лишены классных показателей (например, лезгинский) и потому не имеют возможности при их содействии выявлять синтаксическую связь внутри присутствующих в предложении комплексов. Они создают синтаксические конструкции, выявляя иные синтаксические средства. У некоторых отсутствуют личные окончания в глаголе (ср. аварский и др.), в связи с чем сам глагол может не выражать действующего лица и, выступая предикатом, связывается с субъектом своими предикативными, следовательно синтаксическими, средствами, сохраняя все же ряд глагольных признаков, как-то: изменение по временам и т. д.

Кроме того, мы видели в предыдущей главе, что абхазский язык в эргативном строе ясно указывает на его поссессивное происхождение, т. е. фиксирует свое прошлое, тяготеющее к другой системе построения всего предложения. Отмечая данную особенность в предыдущей главе, я вовсе не склонялся там к утверждению о неизбежном переходе всех поссессивных оборотов в эргативные. При этом мнении мы остаемся и теперь после более де-

---

[24] «Языки яфетической системы. . . представляют, несмотря на вхождение в один круг, полистадиальные образования» (Марр Н. Я. К вопросу о происхождении арабских числительных, с. 232).

тального ознакомления с эргативною конструкциею северокавказских языков и ряда северных азиатских (ср. чукотскую группу). Но все же в отдельных случаях моменты именно такого рода перестройки отрицать не приходится. Примером этому служит не один только абхазский язык. На нем мы достаточно останавливались, и ничего нового сейчас я прибавить не могу, но могу сослаться еще на один язык, который указывает на тот же путь перестройки. На этот раз я имею в виду уже один из дагестанских языков, в частности лакский (казыкумухский).

В этом языке нет вовсе орудийного-творительного падежа и для выражения эргативности субъекта используется форма родительного. В основе лакского склонения, по утверждению П. К. Услара, лежат абсолютный (именительный, по его терминологии) падеж и родительный. Все остальные падежные формы, которых можно насчитать до пятидесяти, образуются от этих двух главных падежей. Абсолютный падеж (именительный) оформляет субъект и объект во всех случаях их выражения в предложении, за исключением 3-го лица субъекта при переходном глаголе, когда для его обозначения используется косвенный (родительный, притяжательный) падеж.[25]

Поссессивное значение родительного падежа выступает не менее ясно в местоимениях: личные местоимения в родительном падеже являются в то же время местоимениями притяжательными.[26] Получается близость к поссессивной конструкции, ибо тот же родительный падеж имен и местоимений служит, как только что отмечалось выше, падежом субъекта при переходном глаголе. Это дает схему, весьма похожую на притяжательный строй предложения, ср. *танал арс* 'его сын', *танал бивкIунни ниц* 'он убил быка' ('его убиение бык'), *танал арснал бивкIунни ниц* 'его сына убиение бык' (в значении 'его сын убил быка') и т. д. Для анализа строя предложения весьма показательным оказывается третий пример, в котором два родительных падежа (*танал*, *арснал*) функционально различны по своей роли в предложении. Первый из них (*танал*) устанавливает принадлежность субъекта, являясь его определителем, тогда как сам субъект, стоящий, равным образом, в родительном падеже (*арснал*), указывает на принадлежность ему действия, выраженного предикатом.

Близость к поссессивному строю в лакском языке сказывается еще и в том, что в нем (так же как и в языке немепу и ряде других) родительный падеж выступает в роли субъекта действия лишь в 3-м лице. Если же действуют два первых лица, то предмет действующий отличается от предмета, на который обращено действие, только тем, что располагается впереди. Оба они ставятся в одном и том же прямом (именительном) падеже. Когда же действует 3-е лицо, то оно принимает форму родительного падежа, а пред-

---

[25] Услар П. К. Лакский язык, с. 16, 31, §§ 15, 22.
[26] Там же, с. 59, § 57.

мет, на который обращено действие, остается в упомянутом выше прямом (именительном).[27]

Элементы поссессивного построения в лакском языке можно вскрыть, если сравнить его с пережитками поссессивного строя в языке немепу. Параллельную таблицу предварим несколькими замечаниями, касающимися структуры предиката-глагола. В лакском языке глагол согласуется личным показателем с субъектом действия, когда им оказываются два первых лица, и он же согласуется теми же показателями с предметом действия, если субъектом является 3-е лицо.[28] В языке немепу мы видели согласование глагола не с самим действующим лицом, а с тем, кому оно принадлежит.

Предварим примеры указанием на основные падежные формы местоимений в обоих названных языках:

Немепу				Лакский			
in	'я'	inim	'мой'	*на*	'я'	*ттул*	'мой'
im	'ты'	»	'твой'	*ина*	'ты'	*вил*	'твой'
ipi	'он'	ipnim	'его'	*та*	'он'	*танал*	'его'

Примеры из языка немепу

in ȧ impaysa	sikȧm	'я беру твою лошадь' ('я тебя беру лошадь')
(im) » impaysam	»	'ты берешь мою » ' ('ты берешь меня лошадь')
in anpisa	»	'я беру его » '
ipnim ħinpaysa	»	'он берет мою » ('его он берет меня лошадь', его действие взятия направлено на меня, на мою лошадь)
» paanpaysa	»	'он берет его лошадь' (его действие взятия направлено на 3-е лицо)[29]

Примеры из лакского языка

на ина уцлай ура	'я тебя беру (перевожу)'
ина на » »	'ты меня берешь'
на та » »	'я его беру'
танал на » »	'он меня берет' (его действие направлено на 1-е лицо)
» *чу буцлай ур*	'он лошадь берет' (его действие направлено на 3-е лицо)[30]

[27] Там же, с. 141, § 183.

[28] Там же, с. 144, § 185.

[29] Чтобы облегчить понимание приведенных примеров, повторяю схему показателей лица в языке немепу. Субъектные: 1-е лицо —, 2-е лицо ȧ, 3-е лицо ħi; объектные: 1-е лицо —, 2-е лицо ȧ, 3-е лицо *a*; действие 3-го лица на 3-е pa, при действии 2-го лица на 1-е суффигируется m. Примеры взяты из моих записей по указаниям А. Финней.

[30] Особое положение с согласованием глагола в 3-м лице наблюдается и в эргативном предложении; так, например, в даргинском, если действие

Поссессивное построение предложения с 3-м действующим лицом выступает здесь, казалось бы, достаточно ясно.[31] Тем не менее лакский язык не без основания причисляется к эргативным. Поссессивный характер указанных оборотов устанавливается только научным анализом, но не воспринимается в живой речи. Следовательно, он сохранился только пережиточно в еще уцелевшей формальной части. А это и является одним из лучших доказательств генезиса данного лакского построения, которое осмысляется иначе и перестраивается по нормам эргативной конструкции.

Итак, под эргативной конструкцией понимается особое построение предложения, которое нередко именовалось в научной литературе «пассивным». Первым из кавказоведов, внесших определенную точность в классификацию различных типов структур предложения, был А. Дирр. Работая в основном над материалами кавказской речи, он выделил эргативную конструкцию предложения с субъектом, стоящим в косвенном эргативном падеже, аффективную конструкцию с субъектом в дательном падеже (mir-lieb-ist, ich liebe) и номинативную конструкцию с подлежащим в именительном падеже (ich gehe, ich schlafe).[32]

После работ Н. Я. Марра, выдвинувшего кавказоведение на общую арену лингвистики и поставившего со всею остротою задачу исторического изучения языковых фактов в процессе их качественной перестройки, вся только что изложенная схема Дирра нуждается в значительных изменениях. Прежде всего эта схема вовсе не учитывает движения речи и является стабильной. Она могла бы быть приемлемою, и то с некоторыми оговорками,[33] если бы касалась только современного состояния кавказских яфетических языков, но наличие примеров из иноструктурного немецкого языка уже само по себе указывает на стремление автора обратить данную схему в универсальную. Кроме того, она носит узко формальный характер, так как классификация предложений на группы проводится им в зависимости от формы «подле-

---

обращено на 1-е два лица, то глагольное окончание сообразуется с этими лицами и совершенно не зависит от того, какое лицо действует. Если же действие обращено на 3-е лицо, то глагольное окончание сообразуется с субъектом. См.: Услар П. К. Хюркилинский язык, с. 158, 161 и др.

[31] Я ограничиваюсь здесь этим кратким указанием на близость к поссессивной форме лакского переходного глагола. Более подробное обоснование этого наблюдения я переношу в следующую главу, в которой на общем фоне предложений различных конструкций, сосуществующих в яфетических языках Северного Кавказа, представится более удобный случай затронуть ту же тему. См. с. 220 и сл.

[32] Dirr A. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen, S. 75—76; Dumézil G. 1) Etudes comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-Ouest. Paris, 1932; 2) Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du Nord; Быховская С. Л. Пассивная конструкция в яфетических языках. — ЯМ, II.

[33] Оговорка касается главным образом номинативной конструкции, которой посвящается мною особая глава.

1

жащего». Этого недостаточно. В предложении субъект выступает не изолированно, а во взаимосвязи с предикатом, следовательно, требуется и его определение. Более того, в самом определении взаимосвязи субъекта и предиката нужно принять во внимание смысловое значение всего построения, обусловившее внешнюю форму предложения и его главных членов.

Не говоря уже о том, что предлагаемая А. Дирром классификация должна быть дополнена поссессивной конструкцией с постановкою субъекта действия в притяжательном (ср. родительном) падеже, которую он не заметил в кавказских языках, так как она выступает в яфетических языках не как действующая норма, а как пережиточная, вся эта схема должна быть уточнена прежде всего установлением смыслового значения всех основных элементов разнообразящихся структур.

Главное внимание придется обратить в первую очередь на осмысление взаимоотношений двух основных членов предложения — субъекта и предиката. Ими устанавливается основное содержание предложения, и ими же характеризуется то восприятие субъекта и действия, которое обусловило структуру предложения.

Если в предложении передается односторонняя связь предиката с субъектом, т. е. предикат выражает только его, никак не реагируя на объект (субъектное согласование или непереходная форма глагола), то все предложение характеризуется безобъектным построением предиката. Субъект здесь обычно выступает без каких-либо приставок синтаксического характера, сохраняя цельность своей лексической формы (прямой падеж). Все же предложение может иметь переходное значение, и объект может не только подразумеваться, но и наличествовать во фразе. Только он никак не отражается в глаголе. Последний оказывается в этом случае безобъектным, что и характеризует весь строй предложения (ср. предложения унанганского языка с глаголом в местоименном строе спряжения). Другое качество получают предложения с безобъектным построением предиката в том случае, когда само предложение оказывается по своей семантике безобъектным. Здесь объект уже не может присутствовать во фразе, и тем самым такое же одностороннее согласование предиката с субъектом или определяет субъект в его состоянии, или же выражает действие, не переходящее на объект (яфетические языки Кавказа). В первом случае (унанганский и другие языки) мы имеем безобъектное построение предиката вне зависимости от того, является ли само предложение безобъектным, тогда как во втором случае (яфетические языки) и само предложение безобъектно (здесь субъект стоит в абсолютном падеже).

Другой строй предложения получается в том случае, когда в предложении выражается принадлежность субъекту того действия, которое передается предикатом. Здесь выступает поссессивное построение предложения с притяжательными показателями как в субъекте, так и в предикате. Субъект ставится тут, как общее

правило, с притяжательным местоименным показателем или в притяжательном (родительном) падеже, сохраняя свое согласование с предикатом в именной или вербальной форме (ср. унанганское предложение с притяжательною предикативною именною формою и предложения ряда других северных языков). Этот поссессивный строй предложения, получая в некоторых языках вербальную форму предиката, заменяет его притяжательное оформление показателями личного спряжения, согласуемыми с субъектом, стоящим в косвенном притяжательном (родительном) падеже (например, предложение с глаголом в переходном спряжении языка немецу, притяжательные конструкции предложений в некоторых яфетических языках, в даргинском и др.). В тех языках, в которых нет личного спряжения, поссессивные предложения характеризуются поссессивным падежом субъекта без его отражения в бессубъектном предикате. Последний же сохраняет классные показатели объекта в тех языках, где таковые наличествуют (например, в аварском), или не выражает и этой связи при отсутствии в языке классного деления имен существительных (например, в лезгинском).[34]

Когда же в предложении передается действие, выполняемое кем-либо, тогда субъект, воспринимаемый как выполнитель действия, выражаемого предикатом, оформляется косвенным, главным образом орудийным падежом. В этом случае выступает эргативный строй предложения. Глагол, если он имеет личные окончания, согласуется с этим субъектом, стоящим в косвенном падеже. С новым содержанием предложения, когда выполнитель действия воспринимается как действующее лицо, получается новое содержание и самого инструментального оформления. В результате косвенный падеж получает содержание активного падежа. Им выражается действующее лицо в предложениях, передающих его действие, направленное на объект. Этот эргативный падеж, по своему активному содержанию, выделяется в ряде языков (в том числе и в древнегрузинском) в особый падеж, косвенная форма которого улавливается лишь в отдельных моментах (например, во множественном числе в грузинском и т. д.). Наличествующий во фразе объект отражается в глаголе своими классными показателями в тех языках, где таковые имеются.

Когда же субъект мыслится пассивно и оформляется дательным-направительным падежом, а действие воспринимается как действие аффекта, тогда выступает особая конструкция предложения, которую можно было бы условно назвать, сохраняя данное А. Дирром наименование, аффективной. Этот строй предложения хорошо известен по кавказским яфетическим языкам, включая и закавказские (картвельские). Предикат-глагол «чувственного восприятия» своими личными показателями связан с субъектом, образуя в результате особый строй предложения. И тут

---

[34] См. главу о поссессивном строе предложения.

глагол, при наличии в языке деления имен существительных по лингвистическим классам, согласуется классными показателями с объектом (см. аварский язык и др.), а при отсутствии классного деления и личного спряжения не согласуется ни с субъектом, ни с объектом (см. лезгинский язык).[35]

И наконец, когда строй предложения передает особое восприятие грамматического субъекта, который может быть как активным, так и пассивным по содержанию, получается номинативный строй предложения с подлежащим в именительном падеже. Предикат, обычно глагол, сохраняет одностороннее согласование с подлежащим, определяя его активность или пассивность во фразе, характеризуя его в действии или в испытываемом состоянии. Объект в этом строе предложения получает связь с предикатом в порядке управления и выделяется особым падежом (винительный падеж). Этого строя предложения нет в тех яфетических языках Кавказа, которые полностью сохранили эргативную конструкцию.[36]

Этим, конечно, далеко не исчерпываются все возможные разновидности строя предложения.[37] Я затронул сейчас лишь некоторые из них, наиболее показательные и ведущие в прослеживаемых этапах развития речи. Остальные системы являются главным образом различными формальными разновидностями только что отмеченных. Но и в этом кратком обзоре осталась без внимания структура самого предиката как основного члена предложения. В зависимости от того, чем является предикат, глаголом или именем, образуются вербальные (глагольные) или номинальные (именные) предложения независимо и параллельно с указанною выше формою субъекта. Таким образом, можно говорить о номинальном или вербальном поссессивном предложении и т. д.

Вторым коррективом к упомянутой схеме А. Дирра является обязательство рассматривать не только субъект и предикат в их взаимоотношениях внутри предложения, но и взаимоотношения различных структур предложения, сосуществующих в изучаемом строе языка. Нормы склонения и спряжения вырабатываются не в одном каком-либо сепаратно взятом предложении, но во всем языковом строе, получая тем самым свое особое качество. Так, например, в непереходном по семантике предложении горских языков Кавказа субъект получает одностороннее согласование с предикатом-глаголом, внешне напоминая структуру номинативного предложения, хотя тот же падеж субъекта выступает

---

[35] См.: Быховская С. Л. Объективный строй verba sentiendi. — ЯМ, VI—VII, с. 19 и сл. Подробнее см. ниже в следующей главе.

[36] О наличии номинативного строя предложения в грузинском языке см. в главе «Переход к номинативному строю предложения».

[37] Ср.: Schuchardt-Brevier, S. 300, где приводится, по Финку, деление синтаксических структур на четыре большие группы: 1) поссессивные, 2) пассивные, 3) чувственного восприятия, 4) безразличного указания, откуда образуются субъективные глаголы.

в значении падежа объекта при переходном глаголе тех же самых языков, что вовсе не свойственно именительному падежу. В этом и заключается стадиальность речи, характеризуемая своими ведущими нормами, иногда сближающимися с нормами другой стадии, но все же сохраняющими свои свойства, им специально присущие.

Можно полагать, что примеров языковых перестроек, о которых упоминалось в настоящей главе, как-то перехода поссессивной конструкции в эргативную (в абхазском, лакском) и т. д., удастся подобрать значительное количество, но я далеко не убежден в том, что все они будут свидетельствовать об однообразном ходе языкового развития. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что на материалах любого языка удается проследить те или иные моменты языковой структурной трансформации.[38] В частности, яфетические языки Закавказья представляют собою прекрасный пример перехода эргативной конструкции в номинативную. Для большей наглядности изложения самого хода указанной перестройки я переношу эту тему в последующие главы.[39]

АФФЕКТИВНЫЙ И ЛОКАТИВНЫЙ СТРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О глаголах «чувственного восприятия» (verba sentiendi) уже приходилось упоминать при изложении эргативной конструкции. Выражая субъект высказывания в дательном падеже, строй предложения с verba sentiendi до известной степени примыкает к эргативному строю, равным образом использующему косвенный падеж для выражения субъекта. Все же его близость к эргативной конструкции на самом деле лишь кажущаяся. И по структуре, и по семантике аффективные предложения отчетливо выделяются в особую группу.

Если подходить формально и считать всякую передачу действующего лица косвенным падежом за эргативную конструкцию, то не только аффективные обороты, но и поссессивные должны были были бы войти в эту группу. Если же рассматривать эти разновидности построения предложения со стороны заключающегося в них различного содержания, то все три только что названные конструкции отчетливо выделятся как по своему содержанию, так и по своей форме.

Нам уже приходилось указывать на то, что основным для эргативной конструкции является выражение выполнителя действия, т. е. того лица, через которое или посредством которого выполняется действие.[1]

---

[38] Ср. утверждение Шухардта о том, что именительный падеж часто является в своей основе инструментальным (S c h u c h a r d t - B r e v i e r, S. 278).

[39] См. главу «Переход к номинативному строю предложения».

[1] В страдательном залоге индоевропейского строя предложения фактический исполнитель действия равным образом ставится в орудийном (твори-

Сознание делает в этом случае упор на действие, воспринимающееся с точки зрения его выполнителя, который и оформляется в предложении инструментальным (орудийным, ср. творительным) падежом. Это будет субъект высказывания,[2] представленный в виде исполнителя действия, указываемого предикатом и им определяемого. Поэтому естественно, что такого рода падеж субъекта может стоять лишь при предикате, выражающем действие с его активным выполнением, следовательно, при глаголах только переходных по своей семантике.

При таком понимании строя эргативного предложения особо выделяются не только поссессивные обороты, передающие принадлежность действия субъекту, но и только что упомянутый аффективный строй предложения. В последнем субъект воспринимается не как активный, каким является выполнитель действия или тот, кому оно принадлежит, а как пассивный. Субъект в этом строе предложения не действует. Ему не принадлежит действие и не через него оно совершается. Наоборот, субъект воспринимает на себя действие, совершаемое независимо от него. Он ощущает на себе результаты того, что происходит вне его активной воли. Подобного рода содержание предложения, передающего испытываемое субъектом ощущение, не может подойти ни к поссессивному предложению, активному в своем выражении принадлежности действия субъекту, ни к эргативному строю, равным образом активному по восприятию действующего лица как выполнителя данного действия. Аффективное предложение по своему содержанию пассивно.

Глаголы «чувственного восприятия» передают уже развитое мышление, анализирующее состояние субъекта. Глаголы отмечаемой группы, выделяемые особо от других по своему содержанию, теснейшим образом связаны с противопоставлением глаголов действия глаголам состояния. Последние, как указывает Н. Я. Марр, относятся к числу более поздних языковых форм, так как осознание действия предшествует осознанию состояния субъекта.[3] Отсюда мы вправе заключить, что и сам строй предложения с verba sentiendi (аффективный строй) не может относиться

тельном) падеже, но предикат определяет не его, а объект, на который направлено деяние. Глагол согласуется с последним, характеризуя его состояние, испытываемое им от действия другого лица. Поскольку здесь предикат определяет не выполнителя действия, а субъект состояния (объект), постольку же страдательный залог не может быть отнесен к числу эргативных построений. Характеризуемый предикатом объект является в страдательном залоге подлежащим, поэтому о страдательном залоге подробнее говорится мною в главе о переходе на номинативное предложение.

[2] По эргативному строю глагола, в котором могут иметь свои показатели как субъект, так и объект, одновременно выделяются, собственно говоря, два субъекта высказывания, т. е. субъект и объект, один выступающий как субъект действия, а другой как субъект состояния, о чем подробнее см. ниже.

[3] См., например: Марр Н. Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. — ИР, III, с. 66—67.

к древнейшим стадиям. И действительно, оставляя начальные эпохи развития речи, ускользающие от нас по недостатку материала, видим, что дошедшие до нас более продвинувшиеся вперед языки, из числа все же отсталых в своем развитии, дают полное основание утверждать позднейшее происхождение аффективных оборотов.

Судя по дошедшим до нас живым материалам, сознание народов первоначально не выделяло глаголов состояния, и они не выделяются в предложении особым синтаксическим построением. Так, например, юитский язык строит по притяжательной именной форме всякий вообще предикат также и тогда, когда он по семантике предложения не выражает перехода действия на другое лицо. В этом случае выявляется принадлежность конкретному лицу определенного действия или состояния: *каюхту-н'а* 'питье-мое' (в значении 'я пью'), *аролаку-н'а* 'отъезд-мой' ('я отправляюсь'), *пи-н'а* 'разговор-мой' ('я говорю'), *кабахту -н'а* 'сон-мой' ('я сплю') и т. д. Здесь действие и состояние выражаются принадлежностью их субъекту без выделения особо оттенков самого действия или состояния. «Мое взятие» («я беру»), «моя любовь» («я люблю»), «мой сон» («я сплю») и т. д. строятся совершенно одинаково даже без образования вербальной формы.

Последняя, в том же юитском языке, вскрывается в другом строе, выражающем переход действия на объект при наличии субъекта, который все же выступает равным образом в притяжательном оформлении. Он ставится в относительном падеже на *м* (ср. унанганский), используемом в юитском для определения владеющего лица, отчасти совпадая, по словам В. Г. Богораза, с родительным падежом европейских языков: [4] *мытыхлух'ым ирними пима* 'вóрона свой сын сказал-он-ему' (т. е. 'ворон сказал своему сыну').

Язык азиатских эскимосов, к крайнему сожалению, пока мало еще исследован, в связи с чем я не мог использовать его материалов при изложении притяжательного строя предложения. Судя по тому, что собрано В. Г. Богоразом, этот язык выявляет лишь поссессивные обороты в двух их разновидностях, а именно, когда по смыслу фразы не требуется объекта и когда, наоборот, предложение выражает переход действия на объект. В первом случае используется уже отмеченная выше именная притяжательная конструкция с притяжательным именным оформлением предиката. Во втором случае выступает уже глагольная форма, ср. *токоту-н'а* 'смерть моя, умирание мое' ('я умираю') и *токота-мкин* 'убиваю я тебя', *токота-хпы-н'а* 'убиваешь ты меня'. В последнем построении оба форманта имеют притяжательное значение, так как *хпык* является относительным падежом

---

[4] По материалам, собранным В. Г. Богоразом в 1901 г. во время трехмесячного его пребывания в эскимосском поселке Ун'азик (Юктский (эскимосский) язык. — ЯПНС, III, с. 105 и сл.).

притяжательного окончания 2-го лица, а *н'а* служит притяжательным показателем 1-го лица (ср. *аролаку-н'а* 'отъезд мой').

Учитывая притяжательное значение формантов в *токота-хпы-н'а*, мы получаем буквальный перевод 'убивание-твое-мое'. В этом построении притяжательные частицы оказываются различной семантики. Первая из них, *хпык*, выражает активную принадлежность, тогда как вторая, *н'а*, оказывается в данном случае пассивною. Эту же приставку мы только что встретили в непереходном построении предиката, выражающем состояние субъекта, а не его действие, направленное на другой предмет, ср. *аролаку-н'а* 'мой отъезд' ('я отправляюсь', т. е. нахожусь в состоянии отправления), *пи-н'а* 'мой разговор' ('я говорю что-то,' говорю вообще, следовательно, нахожусь в состоянии разговора), и т. д.[5] С тем же значением субъекта состояния, испытывающего на себе действие, исходящее от другого лица, выступают те же приставки в переходных формах предиката, что можно с достаточною ясностью видеть в параллельных таблицах обоих построений юитского предиката:

Непереходное построение

аролаку-н'а	'отъезд-мой'	(я нахожусь в состоянии отъезда)
аролаку-кут	'отъезд-наш'	(мы находимся » »)
аролаку-тын	'отъезд-твой'	(ты находишься » »)

Переходное построение

токота-хпы-н'а	'убиваешь-ты-меня' (я испытываю действие, совершаемое тобою)
токота-хпыт-кут	'убиваешь-ты-нас' (мы испытываем действие, совершаемое тобою)
токота-тын	'убивает-он-тебя' (ты испытываешь действие, совершаемое 3-м лицом)

Притяжательные частицы выступают с такою ясностью не во всех лицах предиката. Иногда они видоизменяются, и тем самым образуется глагольная форма со своими глагольными показателями, передающими субъект и объект в переходном построении, требующем при себе постановку действующего лица в относительном падеже: *мытыхлух'ым ирнини пима* 'ворон сказал своему сыну' (во́рона сказ направлен на его сына). Получилась вербальная притяжательная конструкция. Аффективному обороту при таких условиях трудно найти себе место в юитском-эскимосском языке. Судя по наличным материалам, его в этом языке нет.

Трудно себе представить тот же оборот и в гиляцком языке при сохранившемся инкорпорированном построении членов предло-

---

[5] См.: Богораз В. Г. Ук. соч., с. 119. Ср. также: Thalbitzer W. Eskimo as a Linguistic Type. — Proceeding of the 23[d] International Congress of Americanists. September 1928, New York, 1932, pp. 898 etc.

жения. Показатель предикативности второго члена (суффикс ḍ) указывает здесь только на его функцию в предложении и вовсе не дифференцирует семантики используемого в предикате слова: pax-keḍ 'камень брать', ətək-smoḍ 'отца любить' и др. построены совершенно одинаково, содержа объектно-предикативное выражение. Тут особому аффективному обороту, равным образом, нет места. По-видимому, он не прослеживается и в чукотском языке, явно выражающем эргативное построение переходного глагола. Эргативным же построением обычно передаются и verba sentiendi, например чукотск. *ытлыгэ ылгу нинэлгыкин экык* 'отцом любимым считается сын' (т. е. 'отец любит сына').[6]

Пассивное осознание субъекта с предикатом, характеризующим его состояние, как мы только что видели, не выделяет особой конструктивной формы во всех поименованных выше языках.[7] Состояние и действие выражаются не семантически обособленными глаголами, а строем предложения.

Если от северных азиатских языков обратиться к яфетическим Кавказа, то в них в отличие от первых пассивное состояние субъекта, ощущающего на себе действие, выявляется с исключительною ясностью. Глаголы чувственного восприятия семантически выделяются в них в особую группу, тесно связанную с особым строем предложения. Они связаны с этим строем до такой степени, что обычно никакого другого рода оборотами не могут быть переданы. Даже в грузинском языке, при его перестройке на номинативную конструкцию, все же глаголы названной группы стойко сохраняются на своих обособленных позициях.

Как было уже сказано выше, субъект в аффективном предложении не действует, а испытывает на себе результаты действия, которое может совершаться над кем-то или чем-то и в итоге испытываться «субъектом» предложения. При таком положении могут оказаться одновременно в одном и том же предложении два пассивных члена. На один из них направлено действие (объект), тогда как другой испытывает его (субъект). Предикат в этом случае может указывать на обоих. Один из них характеризуется как субъект состояния, другой же как субъект, принимающий на себя испытываемое другим действие, ср. грузинск. mamas ukvars švili 'отцу ему-любим-он сын'. Показатель u в предикате (u-kv-ar-s) есть косвенный падеж местоименного элемента и связан с именем mama-s, стоящим равным образом в косвенном (дательном) падеже; субъект же состояния švili, не снабженный падежным формантом (nominativus), имеет своего выразителя в глагольном суффиксе s, показателе 3-го лица.

Сын определяется состоянием любви к нему (сын любим). Он сам не действует, а испытывает на себе результаты чужого

[6] *Ылгу* представляет собою отглагольную основу в назначительном падеже. Пример дан мне П. Я. Скориком.

[7] Некоторое из этого исключение можно найти только в чукотской группе языков.

действия, тогда как отец является тем лицом, к которому направлено действие, который тем самым испытывает любовь к сыну. Отец в данном построении выступает, равным образом, не как действующее лицо, и когда в грамматиках обычно говорится, что при verba sentiendi субъект ставится в дательном падеже, то это утверждение не вполне соответствует действительности, хотя формально, судя по только что приведенному грузинскому примеру, оно может быть обосновано ссылкою на согласование с глаголом. Такое обоснование может показаться убедительным, в особенности, если забыть про то, что тот же глагол-предикат своим другим показателем согласован в грузинском языке и с объектом.

Некоторое объяснение данной своеобразной структуры предложения мы получим только тогда, когда к анализу формы присоединим также и анализ ее содержания. По семантике предложения, прекрасно в грузинском языке оттененной самою формальною стороною, действие совершается и направляется к отцу. Он испытывает на себе («чувствует») это действие и выступает в предложении скорее всего в роли косвенного дополнения. Понимание подобного рода высказывания могло потом измениться, и косвенное дополнение в сознании говорящего могло обратиться в субъект, в результате чего получилась инверсивная форма, к разбору которой в ее историческом аспекте придется еще вернуться.[8] 'Отец' (mama-s) стоит в дательном падеже, 'сын' же (švili) в именительном. По-русски, при развитом номинативном строе предложения, эту фразу можно передать активным содержанием субъекта 'отец любит сына', пассивным выражением субъекта состояния 'сын любим отцом' и пережиточным, реже употребляемым оборотом 'отцу любим сын'. Последний перевод ближе всего подходит к подлинной передаче verba sentiendi, при которой предикат-глагол связывает оба компонента, указывая на субъект состояния (сын) и на член предложения, ощущающий действие любви (отец). Только последний оборот и возможен при выдержанном строе аффективного предложения грузинской речи. В частности, в грузинском языке, как и в других языках картвельской группы (чанский-лазский и мингрельский), иное построение, как общее правило, не допускается. Ясное обособление указанной группы глаголов «чувственного восприятия» (verba sentiendi) с их особым строем предложения отмечается и Н. Я. Марром. Он выделяет особо глаголы, передающие пассивное состояние субъекта и выражающие нужду, чувства и аффекты (des besoins, des sensations et des affections).[9]

Здесь можно отметить исключительно интересную особенность картвельских языков (грузинского и мингрельского), в которых

---

[8] Ср.: Чикобава А. Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта. Тифлис, 1936 (на грузинск. яз., резюме на русск. яз.).

[9] Marr N. et Brière M. La langue géorgienne. Paris, 1931, p. 114, § 142.

вся третья группа времен (прошедшее совершенное и др.), как общее правило, строится по схеме аффективной конструкции, тогда как первая группа времен (настоящее и производные от него) явно образуют номинативный строй предложения, при котором аффективные обороты сохраняются только в группе глаголов, условно именуемых «глаголами чувственного восприятия». Они сохраняют, по терминологии Н. Я. Марра, объективный строй спряжения.

Если ближе подойти к анализу грузинского языка, то одного уже сделанного указания на тождество аффективного строя предложения с построением всех вообще предложений с переходными глаголами в третьей группе времен (прошедшее совершенное, давнопрошедшее) вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что сама конструкция, о которой сейчас идет речь, генетически вовсе не связана с глаголами чувственного восприятия. Дело в том, что вся перфективная группа времен, выражающая результативность действия, делает упор на само действие и его объект и отмечает направленность достигнутого результата на то лицо, которое воспринимается нами как субъект выполняемого действия, которым оно фактически и является. Здесь оттеняется не чувственное восприятие пассивного лица, а направленное на объект действие, результаты которого в свою очередь направлены другому лицу, хотя бы и активному участнику данного деяния.

Такое предложение, как грузинское qal-s u-stav-s ʒaφ-ı 'женщина спряла нитку' (прошедшее совершенное),[10] в котором не содержится никакого выражения чувственного восприятия, построено в полной аналогии с mama-s u-k̇var-s švili 'отец любит сына' (аффективный оборот), в котором, напротив, выступает субъект пассивного восприятия действия без активного в нем участия. И в том и в другом выделяется объект как основное слагаемое фразы ('нитка спрядена' и 'сын любим'), и в обоих логический субъект (qal-s 'женщина', mama-s 'отец') стоит в дательном-направительном падеже, обозначая направление результата действия к фактическому его выполнителю или к тому, кто пассивно его воспринимает.[11] Такой строй глагола и всего предложения в перфективной (третьей) группе времен грузинского языка объединяет переходные глаголы всех семантических группировок. Это — общая конструкция, связанная с результативною семантикою предложения и не зависящая от значимости отдельных используемых в предложении глаголов.

Отсюда легко прийти к выводу, что для грузинской конструкции предложений с verba sentiendi послужила основою обычная

[10] Глагол ustavs имеет префиксом местоименную частицу (u) в косвенном падеже и личное окончание 3-го лица ед. числа (s), согласованное со словом 'нитка' (ʒaφ-ı) в им. падеже.

[11] См.: Быховская С. Л. Объективный строй verba sentiendi. — ЯМ, VI—VII, с. 35—36.

схема передачи пассивного построения вне всякой зависимости от семантики глаголов. Можно полагать, что семантически обособившаяся группа verba sentiendi закрепила за собою уже существовавший в языке «объективный строй спряжения». Для этого требовалось, во-первых, существование такового строя до семантического выделения глаголов чувственного восприятия в особую группу и, во-вторых, само последующее семантическое распределение глаголов на группы, в том числе и на группу verba sentiendi.

Можно предполагать, что эти глаголы, еще не выделившиеся в особую группу, в числе прочих строились по тому же объективному спряжению, но лишь они сохранились в этом строе спряжения, отвечающем пассивному содержанию их субъекта, тогда как другие глаголы в первой группе времен (настоящее и производные от него) перестроились в грузинском языке на активную конструкцию, в которой предикат согласуется только с субъектом по нормам номинативного предложения.

Сохранившись в старой конструкции, от которой отступили другие глаголы в первой группе времен, verba sentiendi тем самым оказались в центре особой конструкции аффективного предложения. Таким образом, и на материалах грузинской речи подтверждается уже высказаное ранее предположение о позднейшем выделении аффективного строя предложения.[12]

Наличные в глаголах чувственного восприятия инверсивные формы вызывают к себе особый интерес лингвиста-историка. Прежде всего бросается в глаза явное противоречие между формой и содержанием. Так, при активном восприятии действующего лица последнее все же оформляется пассивно. Оказывается, что говорящая среда видит действующее лицо в том члене предложения, который, судя по своей форме (дательный падеж), является не действующим, а воспринимающим действие. Можно предполагать, что в данном случае вложенное во фразу содержание не взорвало еще старой формы, созданной иным представлением о действующем лице.[13]

А. Чикобава, как мне кажется, совершенно правильно понял данное языковое явление, характеризуя его следующими словами: «Инверсивность форм глагола представляет собой в высшей степени интересное явление с точки зрения истории мысли: в отдаленном прошлом субъект глагола мыслился и в реальности субъектом, объект глагола — реальном объектом: machk'urinu

[12] Литература по данному вопросу приведена и подробно разобрана в упомянутой выше статье С. Л. Быховской.

[13] При инверсионных формах в картвельских языках глагол выражает логический субъект его показателями в трех косвенных падежах: неоформленном, родительном и дательном. Возможно, что в этих разновидностях сохранились пережитки также и поссессивного строя предложения. См.: Marr N. et Brière M. Op. cit., pp. 114, 388—391, paradigmes XX, XXI, XXII; Марр Н. Грамматика чанского (лазского) языка. СПб., 1910, с. 60; Кипшидзе И. Грамматика мингрельского (иверского) языка. СПб., 1914, с. 79; Чикобава А. Ук. соч.

значило не 'я испугался', а 'страх вселился в меня', причем реальным субъектом мыслился 'страх', 'я' же представлял собою объект воздействия 'страха'. С течением времени изменяется взгляд на реальное положение вещей: то, что признавалось за субъект действия (страх), превратилось в объект, бывшее же реальным объектом лицо (я) выступило в роли субъекта; конструкция же глагола осталась старинная; первоначальный прямой строй оказался инверсивным».[14]

Такая перестройка в понимании фразы действительно имеется налицо. В этом нетрудно убедиться хотя бы из того, что перенос содержания субъекта с одного лица на другое, со 'страха' на 'меня', внешне выразился в отрыве прежнего субъекта от глагольной формы в связи с новым представлением о нем как об объекте действия. Тем самым прежняя выдержанная схема субъектно-объектного построения глагола начинает нарушаться.

В грузинском языке наиболее ярко обособились именно глаголы чувственного восприятия, но в других кавказских яфетических языках, особенно в северокавказских, группировка глаголов по их семантическим свойствам, связанным с особым строем предложения, выступает во многих разновидностях. Проводя сравнительные сопоставления, можно прийти к выводу, что грузинский язык, да и вообще все картвельские языки Закавказья изжили это многообразие, еще уцелевшее в языках Северного Кавказа.

В дагестанских языках предложения с verba sentiendi выступают вполне ясно и обособленно от строя предложения с глаголами других групп. Эти языки дают весьма показательные примеры сосуществования нескольких конструктивных разновидностей. В них мы найдем приближающиеся к номинативному строю безобъектные предложения, в которых предикат-глагол согласуется с действующим лицом, характеризуемым в его состоянии или в отвлеченном действии без конкретного обозначения направленности последнего на объект.[15] Остальные типы предложений обычно относятся исследователями к переходным глаголам. В числе их мы найдем как эргативные построения, так и поссессивные и аффективные. В большинстве случаев все названные разновидности наличествуют в одном и том же языке. Так, например, в аварском имеются такие построения предложений, как: *дир чу буго* 'моя лошадь есть' (в значении 'у меня есть лошадь, я имею лошадь', субъект в родительном падеже); *дие чу бокьула* 'мне лошадь любима' (т. е. 'я люблю лошадь', субъект в дательном падеже); *дица чу босула* 'мною лошадь берется' (т. е. 'я лошадь беру, покупаю', субъект в эргативном-инструментальном падеже);

---

[14] Чикобава А. Ук. соч., с. 220.

[15] Различие с номинативным строем данного безобъектного предложения заключается не в построении самого предложения, а в функции падежа субъекта, который не соответствует именительному падежу, являясь в то же время падежом объекта при переходном глаголе.

дида чу бихьула 'на мне лошадь видна' (т. е. 'я вижу лошадь', субъект в локативном падеже); *дих чу буго* 'возле меня лошадь есть' (в значении 'я имею лошадь') и т. д.

Во всех приведенных примерах предикат согласуется с объектом, получая его классный показатель *б* (*б-уго*, *б-осула*, *б-окъула* и др.). Не изменяясь по лицам, предикат в этом языке получает одностороннее согласование только с объектом, сближаясь со страдательным залогом европейских языков. Но это будет лишь частичною особенностью аварского языка, который лишен глагольной формы личного спряжения; в ряде же других языков, например в даргинском, где имеется и личное спряжение, глагол сохраняет связь также и с субъектом, получая субъектно-объектные показатели при известном сочетании действующего лица и предмета действия.[16] К тому же и само приведенное выше аварское построение не является залогом, так как оно представляет собою единственно возможную схему предложения с глаголом точно установленной семантики, в связи с чем отпадает противопоставление действительного залога страдательному.

С другой стороны, в этих языках выступает прикрепление глагола по его семантике к определенному строю предложения, в чем и заключается одно из различий предложения дагестанских языков Северного Кавказа от ранее приведенных северных азиатских.

Содержание предложения обусловливает собою структуру основных членов предложения: субъекта и предиката с направлением его действия на объект, если таковой требуется по смыслу фразы. В ряде северных (палеоазиатских) языков, как мы видели, различные конструкции предложений могут использовать глагол одной и той же семантики, изменяя его оформление в зависимости от смысловой стороны всей фразы. Так, один и тот же глагол может оказаться и в безобъективном предложении, и в предложении поссессивного строя (см. в унанганском языке). Все зависит от того, какое смысловое значение выражается в предложении: указывается ли в нем на действие субъекта или же на принадлежность субъекту совершаемого действия.

В дагестанских языках Кавказа, наоборот, содержание предложения требует постановки глагола определенной семантики и определенного оформления, причем и субъект может ставиться только в точно определенном падеже. В результате оказывается, что здесь глагол по своей семантике может быть использован только в определенном строе предложения и тем самым связывается с субъектом в определенном падеже; так, например, в удинском языке Азербайджана глагол «иметь» сопровождается субъектом в родительном падеже (поссессивный строй предложений),

---

[16] Когда действие направлено на 3-е лицо, то глагол связывается с ним классным показателем, а личным окончанием согласуется с субъектом, что и дает субъектно-объектное выражение глагола.

при глаголах «слышать», «знать», «быть в состоянии», «хотеть», «любить», «бояться», «стыдиться» субъект ставится в дательном падеже (аффективный строй предложения), при большинстве переходных глаголов субъект стоит в инструментальном-творительном, указывая на того, кем выполняется действие (эргативный строй предложения), при глаголах состояния и действия, не переходящего на объект, используется абсолютный падеж субъекта (безобъектный строй предложения).[17]

Такое стечение разнообразных конструкций предложений в северокавказских языках дает возможность проследить процесс движения языка в пользу той или иной структуры предложения, в особенности когда дело имеем с младописьменными языками, вырабатывающими общие нормы литературной речи. Исследующий эти языки нередко встречается с колеблющимися формами изживаемых архаизмов и внедряемых новых оборотов. Обратимся для примера к лакскому языку. В нем ясно выделяется аффективный оборот с дательным падежом «субъекта», уже воспринимаемого как таковой в живой речи современного населения: *ттун чу ххирар* 'мне лошадь любима' (в значении 'я люблю лошадь'). Равным образом отчетливо выступает поссессивное предложение с глаголом «иметь», «быть» и с родительным падежом «субъекта»: *ттул чу буссар* или *ттул чур бур* 'моя лошадь имеется' или 'моя лошадь есть' (в значении 'я имею лошадь'); *танал чу буссар* 'его лошадь имеется' (т. е. 'он имеет лошадь') и т. д.

Последнему построению до некоторой степени соответствует уже упомянутая выше эргативная конструкция обычного переходного глагола действия при 3-м лице субъекта в том же лакском языке: *танал чу буцлай ур* 'он лошадь берет', букв. 'его лошадь берется' (ср. *танал чу буссар* 'он имеет лошадь'). Эти сопоставления и дали мне право высказаться за наличие пережитков притяжательного спряжения в лакском переходном глаголе вообще.

В отличие от поссессивного предложения с глаголами «иметь», «быть», в которых притяжательные формы выступают во всех трех лицах, при переходных глаголах сходные формы выявляются лишь при действующем 3-м лице, что ясно прослеживается по нижеследующим примерам, в которых субъект и объект стоят то в одном и том же абсолютном падеже, то в различных падежах, ср. падежи местоимений:

	Абсолютный (именительный) падеж	Родительный падеж
1-е лицо	*на*	*ттул*
2-е »	*ина*	*вил*
3-е »	*та*	*танал*

[17] См.: Дирр А. М. Грамматика удинского языка. Тифлис, 1903, с. 15—18, 80. Удинский язык по строю примыкает к дагестанской группе языков.

В именах существительных: *чу* 'лошадь', родительный падеж *чал* и др. Рассмотрим поссессивное предложение с глаголами «иметь», «быть»: *ттул чу буссар*, *ттул чу бур* 'я лошадь имею, у меня лошадь есть'; *вил чу буссар*, *вил чу бур* 'ты лошадь имеешь, у тебя лошадь есть'; *танал чу буссар*, *танал чу бур* 'он лошадь имеет, у него лошадь есть'. Во всех трех случаях глагол (*б-уссар*, *б-ур*) получает классный показатель объекта (*б*) и согласуется с последним не только этим классным показателем, но и личным окончанием (ср. 3-е лицо *ур*, 1-е и 2-е лица *ура*). Следовательно, субъект владения, вовсе не согласованный с глаголом, не является подлежащим, но он в то же время не является и определителем другого лица, наоборот, он остается субъектом владения, выражая не действие «моей лошади» (моя лошадь имеет), а принадлежность «мне» того, что имеется или существует (у меня есть лошадь, я имею лошадь). Подлежащим в этом случае выступает «лошадь», иными словами, здесь грамматическим субъектом оказывается объект владения. В предложении отмечается принадлежность определенному лицу того, кто характеризуется глаголом в своей принадлежности (букв. 'лошадь есть моя, лошадь имеется моя'). Тот, кому что-то принадлежит, не согласуется с глаголом, ср. лакские примеры в прошедшем времени: *ттул чу буссия* 'я лошадь имел', *вил чу буссия* 'ты лошадь имел', *танал чу буссия* 'он лошадь имел'.

Та же схема взаимоотношений субъекта, объекта и предиката выступает и в некоторых аффективных построениях предложений. Обратимся к примерам из лакского языка: *ттун ина ххирара* 'я тебя люблю'. Местоимение 'я' стоит в дательном падеже, объект любви 'ты' поставлен в абсолютном («именителном») падеже, глагол согласован в лице с объектом любви, ср. *ттун чу ххирар* 'я лошадь люблю', где глагол стоит в 3-м лице и т. д. То же самое находим в аварском языке: *дие вац вокъула* 'я брата люблю', букв. 'мне брат любим'. Глагол здесь согласован классным показателем *в* с предметом любви, т. е. с тем грамматическим субъектом ('брат любим мне'), который характеризуется глаголом как объект любви, испытываемой кем-то, в данном случае 'мною'. Логический субъект, испытывающий любовь к брату, стоит в дательном падеже (*дие*) и оказывается, равным образом, вне согласования с глаголом.[18] Мы имеем тут пассивное построение предложения, т. е. такое его построение, в котором предикат характеризует не действие, а испытываемое состояние связанного с ним субъекта: *вац вокъула* 'брат любим'. Указание на того, кто именно любит брата (*дие* — 'мне') оказывается уже дополнением, уточняющим испытываемую к брату любовь и указывающим на кого направлено действие аффекта (дательный-направительный падеж).

---

[18] Глагол в аварском языке не изменяется по лицам, поэтому в нем имеется лишь одностороннее согласование классными показателями.

Когда данная форма становится инверсивною, т. е. когда центр суждения переносится на того, к кому направлено действие чувственного восприятия, то субъектом суждения оказывается тот, кто испытывает аффект, прежний же субъект состояния обращается в предмет испытываемого ощущения ('брат любим мною'~'я люблю брата').

Сохранившаяся формальная связь предиката с объектом суждения (*вац вокьула* 'брат любим') перестает отвечать смысловому сочетанию членов предложения, и в результате получается упомянутая выше инверсивная конструкция, давшая основание говорить «о субъекте в дательном падеже при verba sentiendi».[19] Даже в грузинском языке так называемый объективный строй спряжения (по Н. Я. Марру) сохраняет еще ту же формальную сторону, ставя испытывающий действие аффекта субъект в косвенном падеже косвенного дополнения: mamas uķvars švili. Глагол u-ķvar-s 'любим'~'любит' указывает своим личным окончанием (s) на предмет действия аффекта (švili 'сын') и связан с лицом, испытывающим аффект, косвенною местоименною приставкою (u), выражающею в глаголе косвенное дополнение (mamas 'отцу').

Такая перестройка в понимании формальной стороны предложения привела Н. Я. Марра к следующему определению пассивной конструкции, при которой объектное согласование глагола с косвенным дополнением стало восприниматься как объективное согласование с субъектом суждения ('отцу ему-любим-он сын'~'отец любит сына'): «В объективном спряжении слово, которое обычно рассматривается как субъект глагола, — его можно впредь называть явным субъектом — стоит не в прямом падеже, то есть не в именительном, но в косвенном, как-то: в родительном, или дательном-винительном, или даже в абсолютном падеже, который теоретически может заменять все падежи склонения; другими словами, предполагаемый субъект стоит в падеже, который указывает реальное управление, а именно объект: отсюда — обозначение „объективное спряжение", противополагаемое „спряжению субъективному" (общие замечания к залогам активному и пассивному)».[20]

Все только что сказанное о предложении с глаголом чувственного восприятия ясно указывает на происшедшую в языке смену, приведшую к образованию данного построения и ведущую к его же изживанию. Согласование глагола с предметом или лицом, являющимся объектом чувственного ощущения, по существу своему оказывается не чем иным, как обычным оборотом, построенным на схеме определения предикатом субъекта состояния (*сын любим*). Это действие, результат которого испытывается объектом, обращает его в субъект состояния и указывает в то же время направ-

---

[19] См.: Быховская С. Л. Ук. соч.

[20] Marr N. et Brière M. Op. cit., p. 112, § 140; ср.: Чикобава А. Ук. соч., с. 220.

ленность действия на другое лицо. Перед нами, таким образом, выступают три члена предложения: субъект состояния, определяющий его предикат и косвенное дополнение в направительном (дательном) падеже.

Такое построение обращается в особую аффективную конструкцию позднее, именно тогда, когда происходит переосмысление взаимоотношений самих членов предложения с восприятием косвенного дополнения как субъекта предложения (*отец любит сына*). Отсюда вновь прийти только к выводу о сравнительно позднем образовании предложений с глаголами чувственного восприятия, что и подтверждается самим материалом, в частности уже приведенною в начале настоящей главы ссылкою на северные азиатские языки, в которых подобного рода конструкция отсутствует.

Таким образом, в отличие от поссессивного (притяжательного) построения, выражающего принадлежность действия субъекту и встречающегося в языках, сохранивших еще инкорпорированные составы, аффективная конструкция предложения засвидетельствована в своем развитии языками уже с богатою морфологиею и с делением глаголов на группы по семантическим признакам (глаголы состояния, глаголы действия, verba sentiendi и др.). Эти группы глаголов используются в определенном строе предложения, что уже само собою указывает на позднейшее их происхождение как следствие значительной дифференциации в семантике глагола и связанного с ним предложения.

По семантике глагол, в известном периоде развития речи, относится к определенной группе, используемой лишь в определенном строе предложения. И сам строй предложения закрепляется за определенным значением фразы. Благодаря этому получается ряд сосуществующих различных конструкций предложений, не заменяющих друг друга и каждая со своим точно установленным строем. Все они равноправны и могут использоваться в одном и том же языке. В итоге получается разнообразие в структуре предложений данного языка, причем это разнообразие оказывается точно регламентированным. Предложение строится совершенно иначе, если в нем передается действие, переходящее на объект, и если в нем выражается безобъектное действие или передающее восприятие субъектом действия аффекта и т. д. Каждое из них имеет свою структуру и каждое использует глаголы к нему относящейся группы. Такое положение наблюдалось не во всех тех языках, которые уже были предметом нашего внимания.

Мы видели в предыдущих главах, что тот или иной строй предложения мог характеризовать собою всю структуру отдельно взятого языка; так, например, безобъектные предложения и поссессивные свойственны эскимосским языкам, безобъектные и эргативные прослеживаются в чукотском и т. д. Они используют нередко один и тот же глагол, выражая его непереходность или

переходность. Поссессивный строй в этих языках отражает общее восприятие всякого действия под углом зрения принадлежности самого действия субъекту. В поссессивную конструкцию предложения попадали при таких условиях не одни только глаголы поссессивные по своему собственному значению.

Иное качество строя предложения имеется в рассмотренных в настоящей главе яфетических языках. Так, например, в них поссессивный строй предложения возможен только в том случае, когда во фразе говорится о принадлежности объекта субъекту. Поэтому и глагол в таких предложениях может быть по семантике только поссессивным. И с другой стороны, такой поссессивный по своей семантике глагол может быть использован только в данном строе предложения. Вне его он не употребляется вовсе.

На этой почве в яфетических языках выделяются отдельные конструкции предложений аффективных, поссессивных, локативных, эргативных, безобъектных. Они вовсе не все возникают вновь. Большинство из них представляет собою трансформацию предшествующего состояния, когда они же, вовсе еще не закрепившие за собою глаголы определенной группы, оказывались конструктивными оборотами предложений различной значимости.

Развивающаяся конкретизация привела к конкретизации самого действия или состояния, и семантическое различие последних перешло от выявления их в предложении на самого лексического их выразителя в лице глагола. На этом и строится высказанное мною положение, что предложение как таковое стало тогда оформлять предикат (ср. эскимосские языки), и сам последний в зависимости от своей семантики оказался тесно связан с тем или иным строем предложения (ср. яфетические языки).

Некоторые конструкции предложений с определенною семантикою передали свою схему предложениям с глаголами поссессивного значения и закрепили за ними органическую связь с данного рода глаголами. Некоторые, например аффективные, закрепили свою объективную конструкцию за глаголами чувственного восприятия и т. д. Все эти конструкции в современном состоянии яфетического строя могут сосуществовать, но генетически они могут восходить к различным стадиальным состояниям. В современном состоянии речи все они выступают как нормально действующие, разнообразясь в своих еще сохранившихся особенностях.

В этом отношении аффективные предложения выделяются особо. Они не создают новой своей конструкции, а сохраняют за собою старую, не употребляющуюся при других семантических разновидностях глагола. Тем самым предложения с семантикою аффекта при пассивном субъекте чувственного восприятия оказались качественно новым образованием среди других построений фраз тех же яфетических языков.

Поссессивное построение в своем генезисе является, как мы видели в соответствующей главе, лишь одним из возможных пре-

дикативных выражений, обусловленных строем предложения, выражающего принадлежность действия совершаемому его лицу. Тут мы имеем формальное выражение, связанное с определенным восприятием связи совершаемого действия и субъекта. Семантика самого глагола здесь не имела еще решающего значения. Постановка резко меняется, когда сознание говорящего закрепляет этот семантический оттенок за самим глаголом, выделяя группу глаголов поссессивного значения.

Отмечаемое тем самым коренное различие поссессивного построения как чисто-синтетического в своем прошлом оборота и аффективного построения как синтаксического оборота, связанного с семантикою глагола, стирается только в тех языках, в которых глагол выделяется как часть речи и разделяется по группам как лексическая единица. В этих языках также и поссессивная конструкция закрепляет за собой определенную группу семантически выделенных глаголов «иметь», «быть» и т. д.

На примере поссессивной и аффективной конструкций можно проследить качественное изменение языковых признаков. Так, в эскимосских языках поссессивная конструкция является чисто синтаксическим оборотом. В абхазском, лакском и др. поссессивные обороты пережиточно выявляются в спряжении переходных глаголов. В аварском, том же лакском и пр. особая группа глаголов связывается с поссессивным строем предложения. В европейских языках, при их стремлении к единообразию глагольного спряжения, поссессивные обороты сходят на нет. Аффективные же построения образуются тогда, когда глаголы распадаются на семантические группы, а в своем генезисе восходят к объектным построениям предиката, характеризующим субъект состояния (*сын любим*). Они, как совершенно справедливо указывает С. Л. Быховская, идут равным образом к изживанию в языках, выявляющих уравнительную тенденцию, тенденцию к сведению разных парадигм ко все меньшему их числу, тенденцию ко все большему их единообразию (ср. европейские языки).[21]

И в поссессивном предложении и в аффективном построении последнего субъект владения и субъект аффекта характеризуются в предложениях северокавказских яфетических языков направленностью к ним действия или состояния, принадлежности или аффекта. Эти два генетически совершенно различные типа предложений структурно уже сближаются в яфетических языках, различаясь постановкою субъекта в разных падежах (родительном и дательном) в зависимости от семантической разновидности предложения, использующего соответствующую группу глаголов. Они сближаются настолько, что исследователь обычно проходит мимо их резкого семантического различия. И это вполне понятно, так как в современном состоянии речи все эти обороты отделяются от других своим объектным согласованием с глаголом, т. е. его

[21] Быховская С. Л. Ук. соч., с. 41—42.

конструктивною связью с предметом действия или восприятия, причем «субъект» сохраняет грамматическое выражение направленности к нему выявляемого предикатом действия или состояния, относящихся к нему как к активному субъекту владения или пассивному субъекту аффекта.

В яфетических языках Кавказа эти конструкции все же близки. Строй яфетической речи резче выделил структурную противоположность непереходных глаголов и переходных, чем структурное различие внутри последних. При таком положении их иное стадиальное прошлое вскрывается наиболее ясно только путем палеонтологического анализа формы наличных членов предложений и их современного смыслового значения во фразе.

Проводя палеонтологическое исследование, мы на анализе самого материала убеждаемся: то, что мы считаем в аффективных предложениях за субъект, называя его действующим лицом при verba sentiendi, является на самом деле, как только что отмечалось выше, косвенным дополнением. И если последнее приобретает содержание субъекта, то косвенная его форма говорит за совершенно иное его прошлое в предложении, построенном при другом его восприятии, чем то, которое наличествует в современной речи. Отсюда и следует приведенное выше заключение о том, что обычная наша формулировка, гласящая: «Действующее лицо при глаголах чувственного восприятия ставится в дательном падеже», оказывается неточною, хотя она и близка к действительному пониманию фразы говорящим лицом.

Последнее объяснение, т. е. фактическое понимание самой фразы, вынуждает нас признать в ней ту инверсивную форму, о которой говорит проф. А. Чикобава, т. е. формальный архаизм, получивший в наличном строе речи новое содержание.[22] Следовательно, пассивное по форме предложение получает новое осмысление, что в свою очередь служит подтверждением наблюдаемой ломки языкового строя. Такое новое содержание имеется не в одном только объектном спряжении картвельских языков (грузинском и др.), но и в приведенном объектном построении языков Дагестана с их глаголами, согласуемыми с логическим объектом. Ясный пример такой перестройки дают, между прочим, и отдельные приводимые ниже формы лакского переходного глагола.

Для современного строя яфетических языков таким же архаизмом, в значительной степени сохранившим лишь формальную сторону, является тип локативного построения предложения, когда субъект владения или аффекта выступает как локативный уточнитель объектно-предикативного выражения. Так, например, параллельно предложению *дир чу буго* 'я лошадь имею' (букв. 'моя лошадь есть') можно в том же аварском языке и в том же самом значении сказать *дих чу буго*, что в точном русском переводе означает 'возле меня лошадь есть' и т. д.

---

[22] Чикобава А. Ук. соч., с. 220.

Наличие в языках Северного Кавказа локативных оборотов речи, сосуществующих вместе с притяжательными, а иногда заменяющих их, образует накопление разнообразных синтаксических конструкций в одном и том же языке. Иногда эти различные построения сближаются, давая возможность двоякого построения одной и той же фразы, но в большинстве случаев тот или иной строй предложения связан с семантикою наличного в нем глагола. Наблюдаемое в этих языках распределение глаголов по семантическим группам привело к использованию разных типов предложения с закрепляемыми за ними глагольными группами. Получилось значительное многообразие структурных форм, не наблюдавшееся в стадиально отличающихся от яфетической речи языках Северной Азии (палеоазиатских) и не наблюдаемое в той же сложности в языках другого стадиального состояния, а именно в индоевропейских. Северокавказские яфетические языки сохраняют безобъектное, поссессивное, аффективное, инструментально-эргативное, локативное построения предложений, переходных и непереходных по своей семантике.

Используем аварский язык для выяснения на его примерах различных конструктивных типов предложения, имея в виду направленность предиката на субъект или объект, точнее говоря, на субъект действия (активный) и на субъект состояния (пассивный). В первом случае субъект характеризуется в его действии, во втором — в направленности на него действия. В зависимости от того, кем оказывается субъект, получается активное построение с активным субъектом и пассивное с пассивным субъектом. Остановимся на нескольких примерах:

1) *вац инев вуго* 'брат идет' (глагол получил классный показатель *в* от субъекта, стоящего в неоформленном падеже, т. е. сохранившего именную форму, — активное безобъектное предложение, структурно отвечающее русскому переводу);
2) *дир чу буго* 'я имею лошадь' (глагол снабжен классным показателем *б*, полученным в порядке согласования с объектом 'лошадь', субъект же владения стоит в родительном падеже и с глаголом не согласован — пассивное поссессивное предложение, букв. 'моя лошадь есть');
3) *дих чу буго* 'я имею лошадь' (глагол, как и в предыдущем примере, связан классным показателем с 'лошадью', субъект же владения указывает, где находится 'лошадь', и стоит в локативном падеже, 'возле меня' — пассивное локативное предложение);
4) *дида чу бихьула* 'я лошадь вижу' (глагол тоже связан классным показателем *б* с 'лошадью', субъект же стоит в локативном падеже ('на чем') и с глаголом равным образом не согласован, 'на мне лошадь видна' — пассивное локативное предложение);

5) *дие чу бокьула* 'я лошадь люблю' (при глаголе в том же сочетании с объектом субъект аффекта стоит в дательном падеже и с глаголом не согласован — пассивное аффективное предложение, буквально означающее 'мне лошадь любима');
6) *дица, чу босула* 'я лошадь беру, покупаю' (глагол согласован только с объектом классным показателем *б*, субъект в инструментальном падеже — пассивное эргативное предложение, букв. 'мною лошадь берется').[23]

В аварском языке все приведенные построения, кроме первого, оказываются пассивными. В них глагол согласуется с логическим объектом, и только в первом примере с безобъектным предложением глагол согласуется с субъектом действия или состояния ('брат идет', 'брат спит' и т. д.). Аффективный строй предложения попадает тут в общую схему со всеми остальными видами предложений с переходными глаголами. Везде в них действующее лицо стоит в косвенном падеже и с глаголом не согласуется. Глагол согласуется с субъектом лишь при непереходном глаголе (см. пример). Таким образом, данный язык противопоставляет непереходные глаголы переходным и строит предложения с последними по одному общему образу, видоизменяя в зависимости от семантики косвенные падежи действующего лица. Следовательно, в аварском языке постановка действующего лица в косвенном падеже (родительном, дательном, инструментальном и одном из локативных) сочетается с односторонним равнением глагола на предмет действия. При таких условиях действующее лицо выступает в предложении в роли косвенного дополнения и не является грамматическим субъектом. Но в данном языке нет личного окончания глагола, который только поэтому и сохраняет одностороннее согласование с объектом во всех тех случаях, когда логический субъект стоит в косвенном падеже.

Положение резко меняется в тех языках, где предикат имеет выдержанную глагольную форму, т. е. изменяется и по лицам. В этих языках, кроме предложений с непереходными глаголами (безобъектных предложений), выявляет свое активное построение также и эргативная конструкция с переходным глаголом, в которой глагол может получать согласование с субъектом, стоящим в косвенном (обычно инструментальном) падеже. Об этом уже была речь выше. Эргативность, т. е. активное значение косвенного падежа, послужила темою особой главы.

Но эргативный строй во всех яфетических языках оказывается активным по своей форме не во всех лицах глагольного спряжения. Так, например, в даргинском языке, в том случае когда объектом являются 1-е или 2-е лицо, глагол в большинстве случаев согласуется с ними и классными показателями и личными окончаниями

---

[23] За указанные примеры из аварского языка приношу глубокую благодарность А. А. Бокареву.

независимо от того, кто именно действует: *ну хIуни вякьилла* 'я тобою сделан', *ну гьитиин вякьилла* 'я им сделан', *хIу нуни вякьилли* 'ты мною сделан', *хIу гьитиин вякьилли* 'ты им сделан'.[24] Здесь получается одностороннее равнение глагола только на объект, что сближает его с только что приведенным аварским эргативным предложением, в котором субъект ставится, равным образом, в инструментальном (творительном) падеже и с глаголом не согласуется. Когда же объектом действия оказывается 3-е лицо, то глагол своим личным окончанием согласуется с субъектом действия, и в этом случае косвенный падеж субъекта (инструментальный) перестает выражать косвенное дополнение и приобретает эргативное значение активного падежа. Предикат-глагол в этом последнем случае получает двустороннее согласование и с объектом, через его классный показатель, и с субъектом, своим личным глагольным окончанием: *гьит нуни вякьилла* 'он мною сделан' (*в-якьи-лла* 'его-сделал-я'), *гьит хIуни вякьилли* 'он тобою сделан' (*в-якьи-лли* 'его-сделал-ты').[25]

Та же схема отношений глагола к субъекту и объекту выступает в даргинском языке и в глаголах чувственного восприятия: *нам хIу игулли* 'мне ты любим', *хIуд ну игулла* 'тебе я любим', *нам гьит игулла* 'мне он любим' (глагол стоит в 1-м лице).[26] Согласование глагола с объектом в первых двух его лицах и с субъектом при объекте в 3-м лице характеризует, как мы видим, и эргативные и аффективные предложения в даргинском языке. Различие их в этом языке все же имеется. Оно сводится в основном к различию падежей субъекта действия (эргативный-инструментальный падеж) и субъекта аффекта (дательный падеж). В ряде других кавказских языков расхождение между названными двумя конструкциями предложений наблюдается и в самом их построении (см. ниже в лакском языке).

Особое значение 3-го лица и выделение его иным построением глагола и всего предложения прослеживается во многих кавказских яфетических языках. Так, в даргинском языке, как мы только что видели, строй предложения меняется при 3-м лице объекта. В лакском языке, наоборот, строй предложения меняется при 3-м лице субъекта.[27] На этом особом положении 3-го лица прослеживается в том же лакском языке, с одной стороны, обособление аффективного строя предложения, с другой — сближение эргативного предложения с поссессивным. Это сближение, как мы сейчас увидим, в 3-м лице глагола доходит до полного схождения.

---

[24] Примеры даны в прошедшем несовершенном времени урахинского диалекта; см.: Услар П. К. Хюркилинский язык. — ЭК, V, с. 157 и сл.

[25] В прошедшем несовершенном времени.

[26] Примеры в настоящем времени; см.: Услар П. К. Хюркилинский язык, с. 169 и сл.

[27] В лакском языке глагол «согласуется с лицом действующим, если оно есть 1-е или 2-е, и с лицом, на которое обращено действие, если действует 3-е» (Услар П. К. Лакский язык. — ЭК, IV, с. 144).

В лакском языке поссессивный строй предложения пассивен по своему оформлению во всех трех лицах.[28] Глагол отмечает предмет владения, а тот, кому принадлежит действие, связанное с объектом, ставится в родительном (притяжательном) падеже без согласования с предикатом-глаголом. Таким образом, в лакском языке поссессивная конструкция обособляется от других как постановкою субъекта в родительном падеже во всех трех лицах, так и согласованием глагола только с объектом равным образом при всех лицах субъекта и объекта. Следовательно, и в 3-м лице субъекта поссессивный оборот сохраняет пассивную форму, т. е. одностороннее согласование глагола с объектом. Совершенно та же форма согласования глагола с объектом имеется и в лакском переходном глаголе при 3-м действующем лице, т. е. именно в том случае, когда выступает эргативное спряжение.

Эргативное спряжение лакского глагола выступает только при действии 3-го лица. Когда действуют два первых лица, то глагол согласуется с ними своими личными окончаниями, сохраняя согласование с объектом своими классными показателями (двустороннее согласование глагола). Но в этом случае и действующее лицо и предмет действия ставятся в одном и том же абсолютном (именительном) падеже, различаясь в своем синтаксическом значении распределением членов предложения; на первом месте субъект, на втором объект. Когда же действует 3-е лицо, то глагол получает уже одностороннее согласование с объектом, имея при себе субъект, стоящий в косвенном (родительном) падеже: [29] *на чу буцлай ура* 'я лошадь беру', *на та уцлай ура* 'я его (мужчину) беру'. В обоих случаях субъект и объект стоят в абсолютном падеже, глагол имеет окончание 1-го—2-го лица и классный показатель *б*, согласованный с объектом; во втором примере отсутствие такого показателя указывает на объект мужского класса, ср. *танал чу буцлай ур* 'он лошадь берет' (субъект в родительном падеже, глагол стоит в 3-м лице и содержит классный показатель *б*, согласованный с объектом).

Схождение эргативного построения переходного глагола при 3-м действующем лице с поссессивною формою ясно выступает в нижеследующих сопоставлениях нескольких форм эргативного предложения с поссессивным. Начнем с первых двух лиц, где такого схождения не будет:

---

[28] Говоря об активном и пассивном построении предложения, я имею в виду согласование глагола с субъектом действия (активное построение) и с объектом (пассивное построение), форма прямого или косвенного падежей субъекта в этом случае мною не принимается во внимание.

[29] Поссессивный строй переходного глагола в лакском языке сближается также и с эргативною конструкциею, так как в этом языке нет особого творительного падежа, функции которого выполняет родительный; см.: Услар П. К. Лакский язык, с. 31.

Предложение с переходным глаголом

на ина уцлай ура 'я тебя (мужск. класс) беру'
» *чу буцлай* » ' » лошадь беру'
танал на дуцлай дура 'он меня (женск. класс) берет'
» *чу буцлай ур* ' » лошадь берет'

Поссессивный строй предложения

ттул ина уссара 'я тебя (мужск. класс) имею'
» *чу буссар* '» лошадь имею'
танал на дуссара 'он меня (женск. класс) имеет'
» *чу буссар* '» лошадь имеет'

В поссессивном предложении субъект, которому что-то принадлежит, стоит везде в родительном падеже и глагол везде согласуется только с объектом, тогда как в предложении с переходным глаголом это же построение налицо лишь в двух последних примерах, в которых действующим лицом является 3-е. В двух же первых и субъект и объект стоят в абсолютном падеже, тогда как глагол классным показателем (префиксами *б*, *д* или нулевым) согласован с объектом, а личными окончаниями (*ра*, *р*) с субъектом). Сличение двух последних предложений в обеих схемах, при ясном в этом случае тождестве, дает полное основание признать, что в спряжении переходного глагола в 3-м лице субъекта сохранилась поссессивная форма, от которой отошли построения глаголов при первых двух действующих лицах. Таким образом, переходный глагол не дает эргативной конструкции в двух первых лицах субъекта, а в 3-м лице, где всплывает косвенный падеж субъекта, предложение получает притяжательное вербальное построение.[30]

От этих построений в том же лакском языке резко отличается аффективная конструкция, которая имеет субъект аффекта в дательном падеже всех трех лиц, глагол же при первых двух лицах субъекта согласуется с объектом, а при 3-м лице субъекта получает согласование с ним.

Аффективное предложение в лакском языке не только отличается от строя безобъектного предложения с непереходным глаголом, но и от поссессивного, следовательно, и от предложения с переходным глаголом, имеющего субъектно-объектное согласование при первых двух действующих лицах и поссессивное построение при 3-м действующем лице. Все только что сказанное можно подтвердить соответствующими примерами из лакского языка.

1) Безобъектное предложение с непереходным глаголом. Субъект стоит в абсолютном (именитель-

---

[30] Вспомним, что и в языке немепу притяжательная форма субъекта при переходном построении глагола обнаруживается только в 3-м лице (см. с. 159).

ном) падеже, глагол согласуется с субъектом как классными показателями, так и личными окончаниями (субъектное согласование):

на ура 'я есмь'	(отсутствие в глаголе классного показателя — префикса — указывает в данных примерах на то, что субъект принадлежит к классу мужчин)
та ур 'он есть'	
ина дура 'ты (женск.) еси'	(*д* — показатель класса женщин)
чу бур 'лошадь есть'	(*б* — » пассивного класса, по Услару — класса неразумных существ)

2) Предложение с переходным глаголом. Объект везде стоит в абсолютном (именительном) падеже, субъект же ставится в этом падеже, если действуют первые два лица, и в родительном, когда действует 3-е лицо. Глагол при первых двух действующих лицах согласован личными окончаниями с субъектом, а классными показателями (префиксами *б*, *д* и нулевыми) с объектом (субъектно-объектное согласование). При действии 3-го лица глагол согласуется только с объектом как классными показателями, так и личными окончаниями (объектное согласование):

на чу буцлай ура	'я лошадь беру'
ина » » »	'ты берешь'
на ина уцлай »	' » тебя (мужск. класс) беру'
ина на » »	' » меня (» ») берешь'
» » *дуцлай* »	' » (мужск. класс) меня (женск. класс) берешь'
» » *уцлай дура*	' » (женск. ») » (мужск. ») »
танал чу буцлай ур	'он лошадь берет'
» *арс уцлай* »	' » сына » '
» *на дуцлай дура*	' » меня (женск. класс) берет'
» *ина уцлай ура*	' » тебя (мужск. ») » '[31]

3) Предложение поссессивного строя. Субъект во всех трех лицах ставится в родительном падеже, с глаголом не согласуется. Объект стоит в абсолютном (именительном) падеже. Глагол везде согласован только с объектом как классными показателями, так и личными окончаниями (объектное согласование):

---

[31] В приведенных примерах имеется причастная форма и вспомогательный глагол. Последний при согласовании выявляет указанные выше свойства глагольного окончания как в своих классных показателях, так и в личных окончаниях, т. е. обоими вместе согласуется по отмеченным правилам согласования глагольного окончания. Причастная форма везде в этих примерах согласуется теми же классными показателями с объектом.

ттул чу буссар	‘я лошадь имею’
вил » »	‘ты » имеешь’
ттул ина уссара	‘я тебя (мужск. класс) имею’
вил на »	‘ты меня (» ») имеешь’
» » дуссара	‘ » (мужск. класс) меня (женск. класс) имеешь’
» » уссара	‘ » (женск. ») » (мужск. ») » ’
танал чу буссар	‘он лошадь имеет’
» арс уссар	‘ » сына » ’
» на дуссара	‘ » меня (женск. класс) имеет’
» ина уссара	‘ » тебя (мужск. ») » ’ [32]

4) Предложение аффективного строя. Субъект чувственного восприятия составится в дательном падеже во всех трех лицах и с глаголом согласуется только при субъекте в 3-м лице (субъектное согласование). Объект стоит в абсолютном (именительном) падеже. Глагол согласован с объектом лишь при действии первых двух лиц и в этом случае он с субъектом не согласуется (объектное согласование):

ттун чу ххирар	‘я лошадь люблю’
вин » »	‘ты » любишь’
ттун ина ххирара	‘я тебя люблю’
вин на ххирара	‘ты (мужск. класс) меня (мужск. класс) любишь’
» » »	‘ » (» ») » (женск. ») » ’
» » »	‘ » (женск. ») » (мужск. ») » ’
танан чу ххирар	‘он лошадь любит’
» арс »	‘ » сына » ’
» на »	‘ » меня » ’
» ина »	‘ » тебя » ’ [33]

Приведенные таблицы дают полное основание прийти к выводу о том, что в яфетических кавказских языках строй предложения вовсе не ограничивается в своих разновидностях отмеченным выше противопоставлением переходных глаголов непереходным. В этих языках сосуществует целый ряд различных конструкций предложений, закрепивших за собою определенные семантические глагольные группировки. Так, например, в лакском языке непереходные глаголы, как и в других языках, участвуют в образовании безобъектных предложений, поссессивные глаголы до известной степени оказываются формально бессубъектными, так как тот, кому принадлежит действие, с глаголом не согласуется и выступает в предложении в качестве косвенного дополнения. Переходные глаголы в лакском языке имеют поссессивное построение

---

[32] Вспомогательный глагол в этих примерах сливается с глагольною основою.

[33] В приведенном глаголе отсутствует классный показатель. Тем самым отпадает возможность выражения классной принадлежности субъекта и объекта.

в 3-м лице субъекта, а в других дагестанских языках получают ярко выраженный эргативный строй. Особую конструкцию сохраняют и verba sentiendi.

Я ограничиваюсь разбором предложений лакского языка как примером сочетаний в одном языке целого ряда различных конструкций предложений. Это общее для яфетических языков явление достаточно проиллюстрировать материалами одного какого-либо языка, что мною и сделано.[34]

Заканчивая на этом обзор строя аффективного предложения с кратким упоминанием и о локативном построении в их общем языковом окружении, мне остается лишь отметить известного рода устойчивость аффективного предложения. Оно сохраняется в неизменяемом виде. Такого же рода устойчивости не наблюдается в живой речи по отношению к предложениям, выражающим переход действия на объект. Мы видели, что структура предложения с переходным глаголом в лакском языке разнится в зависимости от того, кто именно действует, и что эргативное построение с родительным падежом субъекта (он же творительный) наличествует в этом языке только при субъекте в 3-м лице. Такого эргативного построения нет при других действующих лицах. При действии первых двух лиц как предмет действия, так и действующее лицо стоят в одном и том же абсолютном падеже.[35]

Живая лакская речь приводит к той же схеме и предложение с 3-м действующим лицом, заменяя косвенный (эргативный) падеж субъекта абсолютным. В этом случае эргативное построение исчезает во всех лицах субъекта в предложении с переходным глаголом в лакском языке. Отсюда легко прийти к выводу, что в этом языке изживается и сам эргативный падеж, так как он употребляется лишь в предложениях с переходными глаголами действия и только в отмеченном выше его использовании. Так, например, *танал чу буцлай ур* 'он лошадь берет', с косвенным падежом субъекта (*танал*), уже получает в живой лакской речи свой другой вариант, аналогичный с первыми двумя лицами в том же значении, но уже с субъектом в абсолютном падеже: [36] *та чу буцлай ур* 'он лошадь берет', *та арс уцлай ур* 'он сына берет', *та на дуцлай ур* 'он меня (женщину) берет', *та ина уцлай ур* 'он тебя (мужчину) берет' и т. д.

Приведенный пример служит прекрасным доказательством идущего процесса упрощения крайне сложного строя глагольного спряжения и конструкции предложений. При созданных ныне исключительно благоприятных условиях роста национальных

---

[34] Приведенные примеры из лакского языка даны мне Г. Б. Муркелинским, за что и приношу ему глубокую благодарность, так же как и студенту филологического факультета ЛГУ Гаджиеву за помощь в анализе строя их родной речи.

[35] См. выше примеры предложений с переходным глаголом, с. 195.

[36] Приводится по указанию Муркелинского.

языков и с введением для них письменности этот процесс получает на наших глазах мощное развитие.

Яфетические языки представляются мне как бы воспринявшими и сохранившими различные системы построений фраз. С этой стороны они оказались, как утверждает Н. Я. Марр, многостадиальными. Такое исключительное по своему обилию разнообразие начинает сглаживаться и внутри самой яфетической речи.

ПЕРЕХОД К НОМИНАТИВНОМУ СТРОЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В настоящей главе я ограничиваюсь приведением некоторых данных, показывающих становление номинативной конструкции на материалах картвельских языков. Весь уже сделанный обзор языковых признаков, характеризующих тот или иной строй предложения, с полной очевидностью подтвердил качественные отличия в синтаксических построениях различных языков. И если в северных азиатских и яфетических языках вскрывались элементы, напоминающие номинативные обороты (например, при безобъектных предложениях), то все же самого номинативного строя предложения уловить в них не удавалось. Этот строй устанавливается в других языках, о которых пока приходилось лишь упоминать. К более детальному обзору этих языков я и намерен сейчас перейти. Прослеживая становление номинативной конструкции, представится случай точнее установить ее ведущие признаки.

Для большей наглядности изложения я начну с просмотра отдельных языковых данных, о которых уже была речь и которые останавливали на себе наше внимание своими новыми свойствами, проникающими в еще действующий, старый строй речи. Одним из таких фактов является обособление эргативного падежа от других косвенных и закрепление за ним выражения действующего лица при переходных глаголах. Я имею в виду те окаменелые формы косвенного падежа, которые утрачивают назначение последнего и закрепляются в языке в единственной функции выражения субъекта действия.

Окаменелые формы косвенного падежа, используемые исключительно для выражения действующего лица в предложении эргативного строя, уже наличны в некоторых горских яфетических языках Северного Кавказа, например, в аварском *алъ* (ср. *яс-алъ* 'девочка' в эргативном падеже). Этот падеж встречается в данном оформлении (*алъ*) лишь в значении действующего лица при переходном глаголе. Во многих других горских языках (в даргинском, табасаранском, лакском и др.) в роли такого падежа используется обычный косвенный падеж живой речи.[1] Таким об-

[1] Даже и в аварском языке в значении действующего лица при переходном глаголе может использоваться тот же инструментальный (творительный) падеж: «Активный (падеж) выражает действующее лицо или действующий

разом, горские языки Кавказа в этом отношении оказываются далеко не однообразными. Они местами отмечают выдвижение особого эргативного падежа, только активного по своему содержанию во фразе. Они свидетельствуют о том, что сознание говорящего выделяет этот падеж как падеж субъекта, а не простого лишь выполнителя действия, каким является инструментальный (творительный) падеж, обычно в целом ряде языков используемый для передачи эргативного падежа действующего лица.

Обычный косвенный падеж получает функции эргативного только синтаксически. Взятый вне контекста фразы, он остается косвенным падежом, тогда как окаменелая его форма, о которой сейчас идет речь, уже в самой себе заключает активное содержание, поскольку она может быть использована в предложении только для выражения действующего лица.

Такой активный падеж наиболее ясно выступает в закавказских языках картвельской группы (грузинский, мингрельский, лазский-чанский).[2] Эргативный падеж окаменелой формы является в них исключительно падежом действующего лица в предложении эргативного построения. Он ничем в этой роли не заменяется, и сам ни в каком ином значении не выступает.

Так, в грузинском языке падеж на ma⌈n⌉, в мингрельском и лазском (чанском) падеж на q не выступают в каком-либо ином значении, кроме эргативного. Этот падеж при таких условиях получает содержание наиболее активного из всех других падежей, поскольку он служит для выражения лишь действующего лица и поскольку глагол с ним же согласуется. Он, таким образом, оказывается всегда выразителем и логического и грамматического субъектов.

В этом заключается его коренное отличие от упомянутого эргативного (инструментального) падежа яфетических языков Северного Кавказа. Мы уже видели, что в горских языках, за некоторым исключением (например в аварском, лезгинском и цезском),[3] падеж субъекта действия при переходном глаголе употребляется также и в каком-либо косвенном значении (чаще в орудийном), например в даргинской фразе: *нуни гIвари хабушира тупангли* 'я зайца убил ружьем'. Тут действующее лицо 'я' (*нуни*) и орудие действия 'ружье' (*тупангли*, ср. абсолютный падеж

предмет при сказуемом, выраженном глагольной формой от глагола с переходным значением. . . Кроме того, (активный падеж) имеет значение орудия действия, соответствуя в этой функции русскому творительному падежу» (Жирков Л. И. Аварско-русский словарь. М., 1936, с. 163).

[2] А. Чикобава выделяет три картвельских языка в другом их распределении, а именно: 1) грузинский с диалектами, 2) сванский с диалектами, 3) занский, двумя диалектами которого являются чанский, или лазский, и мингрельский (самого занского языка не существует, и этот термин вводится условно); см.: Чикобава А. Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта. Тифлис, 1936, с. 207.

[3] В аварском языке в значении эргативного падежа используется также и обычный творительный падеж; см.: Жирков Л. И. Ук. соч., с. 163.

тупанг 'ружье') оба стоят в одном и том же орудийном-творительном падеже. Здесь, следовательно, такой косвенный падеж выступает в одном случае (*нуни*) в значении эргативного, тогда как в другом (*тупангли*) он же используется как обычный косвенный.

В отличие от такого эргативного падежа, косвенного по форме и активного при данном его использовании в предложении, другой эргативный падеж, пережиточно сохранивший косвенную форму, но уже не воспринимаемый ни в каком случае как косвенный и и в этом значении никогда в речи не выступающий, можно было бы назвать эргативным самостоятельным. Иногда ему присваивается имя активного падежа (ср. в аварском и цезском). Таков эргативный падеж в картвельских языках.[4]

Об этом уже была речь выше, когда в главе об эргативном строе предложения разбирались различные варианты интересующего нас падежа. В настоящей главе я вновь останавливаюсь на особенностях этого падежа, но уже в ином аспекте, а именно в его тенденции к сближению с номинативным построением. Используемый только в значении падежа действующего лица в предложении с переходным глаголом, этот падеж функционально и по содержанию сближается с падежом подлежащего, но все же, как увидим ниже, он не тождествен именительному (nominativus) и вся связанная с ним конструкция предложения не получает еще номинативного построения. Этому мешает в первую очередь то, что эргативный падеж грузинского языка используется только в одной группе времен (аористной) и лишь при переходных глаголах. Следовательно, эргативный падеж в грузинском выражает только субъект действия, тогда как именительный падеж может передавать и субъект состояния (при средних глаголах, в страдательном залоге переходных),[5] которого эргативный падеж в строе грузинской речи никогда не выражает.

Все же структура эргативного предложения в названных картвельских языках (грузинском, мингрельском, лазском-чанском) привлекает к себе особое внимание и в затронутом нами вопросе о генезисе номинативного строя. Эргативная конструкция выявляет явно выраженный переходный момент к образованию номинативного предложения и сосуществует с ним в пределах того же грузинского языка. Весьма показательны в этом отношении наблюдения над каждым из картвельских языков в отдельности, поскольку в них пути перестройки в номинативную конструкцию оказываются различными.

---

[4] Этот падеж Н. Я. Марр и И. Кипшидзе называют дательным местоименным; см.: Марр Н. Я. 1) Грамматика древнелитературного грузинского языка. Л., 1925; 2) Грамматика чанского (лазского) языка. СПб., 1910, с. 11; Кипшидзе И. Грамматика мингрельского (иверского) языка. СПб., 1914, с. 021; Marr N. et Brière M. La langue géorgienne. Paris, 1931, pp. 65, 258. А. Чикобава называет этот же падеж повествовательным (ук. соч., с. 221).

[5] О падеже субъекта состояния см. с. 270.

Для того чтобы легче проследить пути идущей перестройки, следует предварить анализ материала краткою общею характеристикою существующих в картвельских языках структур предложений. Прежде всего нужно отметить, что строй предложения резко меняется в зависимости от трех наличных в картвельских языках групп времен: 1) настоящего, 2) аориста, 3) прошедшего совершенного и производных от них. В третьей группе времен (перфектной) предложение сохранило объективный строй, т. е. тот, который и в первой группе времен имеет упомянутые в предыдущей главе глаголы чувственного восприятия.[6] Во второй группе времен (аористной) сохранилось эргативное построение, тогда как в первой группе времен (настоящее и производные от него) явно выразилась номинативная конструкция (в грузинском и мингрельском). Перейдем к рассмотрению каждой из них в отдельности по трем картвельским языкам. Таким путем яснее выявится расхождение эргативного строя с номинативным, и тем самым уточнится понимание последнего.

В грузинском языке в предложении с непереходным глаголом субъект ставится всегда в том же падеже, как и действующее лицо при переходном глаголе в настоящем и производных от него временах (прошедшем несовершенном и желательном субъективного строя спряжения). В последнем случае наличный во фразе объект получает совершенно иное оформление, чем в упомянутых выше горских яфетических языках, а именно — он ставится не в абсолютном падеже, а в особом дательно-винительном (древнегрузинск. sa, новогрузинск. s). Глагол же, согласуясь с субъектом своим личным окончанием, дает выдержанную форму нашего действительного залога с подлежащим в именительном падеже на ɪ. Это уже не абсолютный падеж указанных выше горских языков. Его функциональное использование в предложении резко отличается от последнего. В этом нетрудно убедиться, если повторить краткую характеристику абсолютного падежа. Как мы уже знаем из предыдущей главы, в этом падеже ставится субъект при непереходном глаголе и объект при переходном. В грузинском же языке падеж субъекта остается одним и тем же как при непереходных глаголах, так и в первой группе времен переходных (в настоящем, прошедшем несовершенном и желательном), тогда как объект при глаголе в первой группе времен ставится в винительно-дательном.

Сопоставление этих двух построений подтвердит правильность только что изложенного. Обратимся к примерам из грузинского и даргинского языков, привлекая предложения с непереходным и переходным глаголами:

---

[6] Характеристика этих глагольных форм на материалах картвельских языков будет дана ниже (см. с. 232) в дополнение к их анализу, уже приведенному в предыдущей главе. Там они привлекались в параллель к такому же построению предложения в других языках, здесь же эти предложения рассматриваются в общей схеме строя картвельских языков в связи с вопросом о переходе их в номинативную конструкцию.

Грузинский		Даргинский	
kaϑ̇-ı dadi-s	'человек ходит'	*адамъили в-аша-р*	'человек ходит'
kaϑ̇-ı aшeneb-s saq̇l-s˹a˺	' » строит дом'[7]	*адамъий хъали б-якъи-б*	' » дом построил'

В грузинском языке в обоих примерах субъект стоит в одном и том же падеже (kaϑ̇-ı), в даргинском же в различных (при непереходном глаголе в абсолютном — *адамъили*, при переходном глаголе в эргативном-орудийном — *адамъий*). Глагол в грузинском языке в обоих предложениях согласуется с субъектом (своим окончанием 3-го лица s), тогда как в даргинском языке непереходный глагол согласуется с субъектом обоими показателями (классным *в* и личным *р*), а переходный получает двустороннее согласование (с объектом через классный показатель *б* и с субъектом через личное окончание *б*).[8] Объект в даргинском стоит в абсолютном падеже (*хъали*) и передает свой классный показатель *б* глаголу, в грузинском же предмет действия поставлен в дательно-винительном падеже (saq̇l-s˹a˺) и с глаголом своими показателями не связан. Отсюда легко прийти к выводу о том, что в даргинском языке имеется выдержанная эргативная конструкция, между тем как в грузинском предложении с непереходным глаголом и с переходным глаголом первой группы времен ее уже нет. В грузинском языке в данном случае непереходные и переходные глаголы оформляются одинаково, и оба они согласуются с действующим лицом, оказывающимся подлежащим предложения, в связи с чем и падеж его получает все функции именительного падежа.

В грузинском языке, таким образом, выработалась уже номинативная конструкция предложения с именительным и винительным падежами[9] и с глаголом в действительном залоге, передающим действие субъекта и по содержанию и по форме своего согласования с ним. Параллельно такому построению предложения с действительным залогом глагола в грузинском возможно построение и со страдательным залогом, ср. действительный залог: kaϑ̇-ı s-ṫer-s ṫerıl-s(a) 'человек пишет письмо', страдательный залог: kaϑ̇-ıs mıer ı-ṫer-eb-a ṫerıl-ı 'человеком (букв. через человека) пишется письмо'.[10] В последнем глагол согласуется с логическим объектом, стоящим в том же именительном падеже (ṫerıl-ı, ср. ka-ϑ̇ı в первом предложении). В данном случае логический объект

[7] Грузинские примеры даются в транскрипции Н. Я. Марра.

[8] См. выше с. 188 и сл.

[9] Дательный-винительный, вероятно, в основе своей направительный, т. е. указывающий направленность действия на кого-то или кому-то.

[10] Окончание падежей в грузинском языке: именительный — ı, дательный-винительный — sa (s), родительный — s. Послелог mıer 'через' требует родительного падежа. Окончание глаголов: в 3-м лице ед. числа s, в страдательном залоге a. Глагол в страдательном залоге получает показатель пассивности ı.

выступает в предложении его подлежащим и получает падеж подлежащего, т. е. именительный. И тут мы имеем номинативную конструкцию.

Таким образом, в группе времен, производных от настоящего, грузинский язык в достаточно ясной степени отошел от эргативного построения и выработал все основные черты номинативного предложения. В нем уже нет резкого структурного отличия фраз с переходными и непереходными глаголами. Подлежащее при обоих оформляется одинаково. За подлежащим закрепляется особый падеж (на ı), т. е., судя по его форме, тот самый падеж, снабженный именным формативом, который в эргативном строе используется в значении абсолютного. Объект действия не согласуется с глаголом и начинает управляться последним, т. е. приобретает все функции прямого дополнения и получает для своего выражения отдельный дательно-винительный падеж, по своему содержанию направительный, указывающий в данном случае на направленность действия на объект.

Тем самым стирается конструктивное различие между безобъектными и объектными предложениями, т. е. с переходными и непереходными глаголами, и они получают один общий для них строй предложения. В то же время качественно меняется и само смысловое значение того члена предложения, который выражает действующее лицо. В эргативном строе это был реально действующий субъект, в номинативном это уже грамматический субъект, как действующий (субъект действия), так и испытывающий на себе действие (субъект состояния). Здесь предикат характеризует субъект в его действии или состоянии. Отсюда вырабатываются действительный и страдательный залоги в предложениях с переходным глаголом.

Такие свойства, присущие номинативному предложению, наличествуют и в грузинском языке в отмеченной первой группе времен. В связи с этим получается близость грузинского предложения названной группы времен с индоевропейским строем, что и свидетельствуется самим переводом. Грузинское предложение, построенное в настоящем времени, получает точный и буквальный перевод на русский язык.

Совершенно иную схему построения предложения дает в грузинском языке аористная группа времен (аорист и сослагательное). В ней падежи действующих лиц при непереходных и переходных глаголах уже расходятся. Тогда как непереходный глагол и в этих временах ставится в предложении с именительным падежом подлежащего, переходный глагол всегда имеет субъект в упомянутом выше эргативном падеже застывшей косвенной формы (в древнегрузинском man, в новогрузинском ma). Акад. Н. Я. Марр определяет его как дательный местоименный, исходя из тождества его с архаичным дательным падежом местоимения 3-го лица man, но в то же время усматривает в нем функции инструментального падежа. По его словам, «это окончание man может быть или анали-

зируемо как дательный-винительный на -an от личного местоимения 3-го лица, а именно ma-n, стоящего вместо ma-an, или же может быть рассматриваемо как имя man 'рука', соответствующее в этом случае подлинным функциям инструментального падежа; например: kaϑ-man 'человеком'».[11] Косвенная форма этого падежа в единственном числе недостаточно отчетлива и нуждается в особом анализе, но зато во множественном числе она не оставляет никаких сомнений в своей принадлежности именно к косвенным падежам. Во множественном числе эргативный падеж в древнегрузинском имеет общую форму с другими косвенными падежами на ϑa (ср. им. мн. kaϑ-ni 'люди', мн. число косвенных падежей kaϑ-ϑa).

Такое косвенное значение эргативного (активного) падежа ясно выступает при сопоставлении падежа субъекта в обеих отмеченных группах времен, т. е. в уже перешедшей в номинативный строй (настоящее время) и в еще сохранившей эргативную конструкцию (аорист), ср. kaϑ-nı ağашen-eb-en saq̇l-sa 'люди строят дом', kaϑ-ϑa ağашen-es- saq̇l-ı 'люди выстроили дом'. Эти примеры, взятые из древнегрузинского языка, сами по себе достаточно ясные в выявлении эргативного падежа как косвенного по форме, имеют несколько иное соответствие в новогрузинском, где в точности соблюдается и в этом случае свойственная грузинскому языку агглютинативность.[12] В новогрузинском имена во множественном числе получают свой показатель (eb), к которому дополняется падежное окончание, в том числе и окончание эргативного падежа, ср. kaϑ-ma aашen-a saq̇lı 'человек выстроил дом', kaϑ-eb-ma aашen-es saq̇-lı 'люди выстроили дом'.[13] Здесь утрачивается всякая формальная связь данного падежа с косвенными и он обращается в специальный активный падеж в обоих числах, т. е. сохраняет свою форму как в единственном, так и во множественном (ma).

Этот специальный падеж субъекта при сказуемом в аористе переходного глагола оказывается только активным в обозначении действующего лица, почему ему с полным основанием присваивается наименование активного падежа. Он согласуется с глаголом во фразе, в которой объект стоит в форме того же именительного падежа, который мы уже видели в первой группе времен. Но и объект в древнегрузинском согласуется с глаголом, выражая в нем свое число: kaϑ-man ağашen-a saq̇l-i 'человек выстроил дом', kaϑ-ϑa ağашen-es saq̇l-ı 'люди выстроили дом', kaϑ-man ağашen-n-a saq̇l-n-ı 'человек выстроил дома'.[14] Таким образом, аорист и в

[11] Marr N. et Brière M. Op. cit., p. 65.

[12] Дондуа К. Д. Об агглютинативном характере грузинского склонения. — Доклады АН СССР, серия «В», 1931, с. 63 и сл.

[13] Глагол в приведенных примерах согласуется с субъектом, т. е. имеет в единственном числе 3-го лица показатель *a*, а во множественном числе es.

[14] Глагол окончанием *a* согласуется с субъектом (3-е лицо ед. числа), а показатель множественного числа n согласуется с объектом, имеющим тот же показатель. Существительные во множественном числе получают в именитель-

в древнегрузинском языке получает двустороннее согласование, столь обычное для эргативного построения переходного глагола в других яфетических языках (ср. даргинский и др.). Правда, в грузинском нет классного деления имен существительных, тем самым отпадает возможность согласования с объектом через его классный показатель, и тем не менее в аористе глагол сохраняет согласование с предметом действия в его числе.

И тут новогрузинский язык в значительной степени отступает от отмеченных норм эргативного построения переходного глагола. В нем в аористе отпадает двустороннее согласование, и глагол связывается своими показателями только с субъектом, стоящим в активном (эргативном) падеже и вступающим благодаря этому во все права подлежащего:

kaϑ̇-ma aašen-a saq̇l-ı	'человек выстроил дом'
kaϑ̇-ma aašen-a saq̇l-eb-ı	' » » дома'
kaϑ̇-eb-ma aašen-es saq̇l-ı	'люди выстроили дом'
kaϑ̇-eb-ma aašen-es saq̇l-eb-ı	' » » дома' [15]

В древнегрузинском даже в третьей группе времен, где все переходные глаголы сохраняют инверсивную форму, объект находит свое четкое отражение в построении глагола.[16] В нем глагол изменяет свои показатели при изменении как субъекта, так и объекта:

me mi-stav-s ďaφ̣-ı	'я (оказывается) ткал нитку'
ϑ̣wen gw-stav-an ďaφ̣-nı	'мы (») ткали нитки'
ϑ̣wen gw-stav-s ďaφ̣-ı	' » (») » нитку'
me mi-stav-an ďaφ̣-nı	'я (») ткал нитки' и т. д.[17]

В новогрузинском языке, равным образом, наблюдается отход от этого правила и число объекта перестает выражаться в глаголе: me mı-stav-s ďaφ̣-ı 'я (оказывается) ткал нитку', me mı-stav-s ďaφ̣-eb-ı 'я (оказывается) ткал нитки'. Число же субъекта, наоборот, влияет на соответствующую глагольную приставку и в ней

ном падеже показатель n, а во всех косвенных — ϑa. Этот последний, как мы видим из приведенных примеров, наличен и в эргативном падеже множественного числа, при ед. числе на man, что и служит подтверждением тому, что эргативный падеж, даже в грузинском языке, относится к числу косвенных.

[15] Объяснения глагольных форм даны выше. Множественное число в новогрузинском имеет в именах показатель eb, о чем уже говорилось выше.

[16] В картвельских языках допускается как одностороннее согласование глагола, так и двустороннее и даже трехстороннее, в последнем случае имеется согласование глагола и с косвенным объектом. Одностороннее согласование возможно при непереходных глаголах, но оно же допускается и при переходных, откуда и делается мною вывод о том, что в картвельских языках нет обязательного двустороннего согласования переходного глагола.

[17] Объяснение грамматических показателей в указанных примерах см. в таблице на с. 239.

отражается: ϑven gvı-stav-s ďaφ-ı 'мы (оказывается) ткали нитку', ϑven gvı-stav-s ďaφ-eb-ı 'мы (оказывается) ткали нитки' и т. д. В этом случае, сохранившийся в глаголе показатель логического объекта не связывается с выражением объекта в предложении и оказывается тем самым функционально вырождающимся показателем, обращающимся в окаменелую форму, чего никак нельзя сказать про те же построения древнегрузинской литературной речи.

В новогрузинском языке получается, таким образом, одностороннее глагольное согласование с логически действующим лицом, при котором ожидается появление грамматического субъекта. Между тем уцелело косвенное оформление последнего в инверсивных построениях:

qal-s u-stav-s ďaφ-ı	'женщина (оказывается) ткала нитку'
» » ďaφ-eb-ı	' » (») » нитки'
qal-eb-s u-stav-s-⌈ϑ⌉ ďaφ-ı	'женщины (») ткали нитку',

в которых вместо ожидаемого именительного падежа субъекта qal-ı, qal-eb-ı имеется дательный падеж qal-s, qal-eb-s, не позволяющий в них видеть подлежащее номинативной конструкции.

Получается впечатление, что в данных примерах с инверсивными формами перестройка речи еще не доведена до конца. Нет еще номинативного построения с грамматическим субъектом в именительном падеже, которое имеется в русском переводе 'женщина ткала нитку', 'женщина ткала нитки' и которое уже появляется в первой группе времен того же грузинского языка: qal-ı stav-s ďaφ-s⌈a⌉. Последнее и по содержанию и по форме вполне соответствует строю русской фразы *женщина ткет нитку* с именительным падежом грамматического субъекта (qal-ı 'женщина') и с дательно-винительным падежом предмета действия (ďaφ-s 'нитку').

Одностороннее равнение глагола на субъект выделяет в предложении новые качества подлежащего и сказуемого. Отсюда можно было бы рассматривать эргативный падеж новогрузинского языка как имеющий функции именительного. Он и был бы им, если бы он не был только выразителем активного субъекта, притом лишь в аористе и только при переходном глаголе, и если бы в том же языке не существовало другого именительного падежа в настоящем времени глагола и при его страдательном залоге. К тому же именительным по форме падежом оказывается не активный падеж, а тот, который в том же предложении оформляет объект. Впрочем, и этот падеж при глаголе в аористе лишь совпадает с именительным по своему окончанию, так как в новогрузинском он в аористе не согласуется с глаголом, следовательно, не является падежом подлежащего.

При таких условиях падеж объекта при грузинском аористе более сближается с абсолютным падежом и называется имени-

тельным» только по своей форме. Это — падеж в именном оформлении (абсолютный). Имя с его именным формативом (ı), попадая в предложение, получает различную синтаксическую значимость. В эргативном строе предложения именной форматив выполняет функции абсолютного падежа, в номинативном же выступает в роли именительного. В этих двух значениях он и оказывается в грузинском языке.

В аористной группе времен это еще абсолютный падеж в обычных его функциях при эргативной конструкции. Он выражает действующее лицо при непереходном глаголе, он же в предложении с переходным глаголом оформляет предмет действия, который в древнегрузинском языке согласуется в числе с глаголом.

В первой группе времен (настоящее и производные от него) это уже именительный падеж, т. е. падеж подлежащего, следовательно, падеж грамматического субъекта, которым оказывается логический субъект непереходного глагола и переходного в действительном залоге, а также логический объект страдательного залога, выступающий здесь в значении грамматического субъекта: kaϑ̊-ı, val-s 'человек ходит', kaϑ̊-ı s-ṫer-s ṫerıl-s⌜a⌝ 'человек пишет письмо', kaϑ̊-ıs mıer ı-ṫer-eb-a ṫerıl-ı 'человеком (через человека) пишется письмо'.[18]

При аористе в той же форме оказывается абсолютный падеж предмета действия, не являющегося на этот раз подлежащим и не могущего поэтому стоять в именительном падеже: kaϑ̊-ma⌜n⌝ ṫera ṫerıl-i 'человек написал письмо'. Но в том же аористе грузинского глагола имеется свой страдательный залог, в котором логический объект опять выступает в роли подлежащего с его именительным падежом: kaϑ̊-ıs mıer ı-ṫera ṫerıl-ı 'человеком написано письмо'. Таким образом, внутри самой аористной группы времен получается такое же совпадение абсолютного падежа с именительным в одной и той же падежной форме.

В грузинском языке страдательный залог, по аналогии с настоящим временем, образуется и в аористе, причем он противополагается эргативной конструкции как действительному залогу. Но эргативная конструкция не есть действительный залог, и в ней вовсе нет винительного падежа, место которого занимает при переходном глаголе упомянутый выше абсолютный падеж: kaϑ̊-ma⌜n⌝ ṫera ṫerıl-ı, ср. kaϑ̊-ıs mıer ı-ṫera ṫerıl-ı. Поэтому в итоге получилось совпадение падежа объекта эргативного предложения (т. е. абсолютного падежа) с падежом логического объекта страдательного залога, при котором он, по строю этого залога, является падежом подлежащего (т. е. именительным падежом). Если в страдательном залоге ṫerıl-ı оказывается подлежащим (именительный падеж), то в эргативном построении, хотя бы оно и восприни-

---

[18] Объяснения грамматических форм см. выше.

малось как действительный залог, то же ṫerıl-ı служит прямым дополнением, которое не может стоять в именительном падеже.

Грузинский язык, как мы видели, дает прекрасный пример языковой перестройки эргативной конструкции в номинативную. Он перешел уже в последнюю в первой группе времен и в страдательном залоге всех времен, но еще сохранил эргативный строй в аористе (вторая группа времен). В процессе указанной перестройки абсолютный падеж преобразовался в именительный, чем и можно объяснить его совпадение с ним по грамматическому оформлению. Здесь еще раз мы можем убедиться в расхождении синтаксиса эргативного предложения с номинативным.

Столь же показателен процесс выделения номинативной конструкции из эргативной и на материалах других картвельских языков. Весьма близкие друг к другу языки этой группы все же в части выявления эргативности далеко не одинаковы. Так, например, в чанском (лазском) языке эргативность сохранилась гораздо полнее, чем в грузинском. В чанском эргативная конструкция выступает во всех временах переходного глагола и противополагается непереходному так же, как и во всех языках, имеющих эргативный строй (ср. яфетические горские). Следовательно, во всех временах переходного глагола субъект ставится в эргативном падеже, который в чанском имеет свой форматив q, представляющий собою, как и в грузинском — maʳnˀ, окаменелую форму косвенного падежа, не употребляемого в каком-либо ином значении, кроме выразителя действующего лица. Этому активному падежу, как уже отмечалось выше, акад. Н. Я. Марр присваивает имя дательного местоименного, а проф. А. Чикобава называет его повествовательным.[19] Объект в предложении с переходным глаголом ставится в том же падеже, как и субъект непереходного: koϑ̣-ı gulun 'человек ходит', koϑ̣-ı-q kıduφs oq̇or-ı 'человек строит дом'. Эта особенность синтаксиса чанского языка сближает его с горскими языками и отдаляет от грузинского при всей близости этих двух языков во всем остальном.

Чанский (лазский) и грузинский языки близки с фонетической стороны (при свистяще-шипящих соответствиях), они имеют значительное количество общего корнеслова и даже близки в своих грамматических показателях (сходство падежных окончаний, близость в оформлении глагола и пр.).[20] Но синтаксические правила в них различны.

Обычное понимание связи синтаксиса с морфологией и зависимости морфологии от синтаксиса уточняется на примерах данных двух языков гораздо глубже, чем обычно представляется исследователям, работающим в области общего языкознания.

Близость грамматических показателей в их формальной стороне могла в картвельских языках сохраниться при получившемся

---

[19] Марр Н. Я. Грамматика чанского (лазского) языка, с. 11, 16; Чикобава А. Ук. соч., с. 212, 221.

[20] См. таблицу на с. 239.

расхождении синтаксических норм, давших в своей перестройке новое качество наличным в языке показателям, что и получилось в грузинском языке при сравнении действующих в нем норм с таковыми же чанского. Можно предполагать, что перестройка грузинского синтаксиса, отмеченная еще в древнегрузинской письменности, отдалила строй его предложения от эргативной конструкции, еще сохраняющейся в чанском. В этом нетрудно убедиться путем сравнительных сопоставлений строя грузинского предложения с чанским (лазским) и одним из яфетических горских Северного Кавказа (например, даргинским):

даргинск.	*адамъили в-аша-р*	ʽчеловек	ходит’
	адамъий хъали б-якъи-б	ʽ »	дом построил’ [21]
чанск.	koϑ̣ı gulun	ʽ »	ходит’
	koϑ̣ıq kıduφs oq̇orı	ʽ »	строит дом’
грузинск.	kaϑ̣ı vals	ʽ »	ходит’
	aшenebs saq̇lsʳaˀ	ʽ »	строит дом’

Как в даргинском языке, так и в чанском субъект в обоих примерах стоит в разных падежах, а именно: при переходном глаголе в эргативном (*адамъий*, koϑ̣ıq), при непереходном — в абсолютном (*адамъили*, koϑ̣ı). В том же абсолютном падеже стоит и объект во вторых примерах (*хъали*, oq̇orı). В грузинском, наоборот, субъект в обоих случаях поставлен в одном и том же падеже подлежащего (kaϑ̇ı), тогда как объект получил свое особое окончание дательного-винительного падежа (saq̇lsʳaˀ), которого нет и не может быть в чанском, поскольку в нем предмет действия ставится в том же падеже, как и действующее лицо в предложении с непереходным глаголом (абсолютный падеж).

На материалах чанского (лазского) языка, выявляющего, как мы только что видели, эргативный строй, и на параллельных ему материалах грузинского языка, где имеется уже номинативная конструкция предложения в первой группе времен, можно уточнить особенности двух указанных синтаксических построений. Для этого в первую очередь требуется не узкий морфологический анализ наличных слов в предложении, форм их изменения в склонении, спряжении и т. д., но лексико-синтаксическое изучение их с выяснением ведущих норм синтаксиса в каждом из упомянутых языков.

Если подлежащим в предложении признать тот его член, который путем согласования с глаголом образует одно с ним синтаксическое целое, один синтаксический комплекс, и если падежом подлежащего считать именительный падеж (nominativus), то тем самым определятся синтаксические свойства той структуры предложения, которая характеризуется подлежащим в именительном

---

[21] Примеры берутся по П. К. Услару из урахинского диалекта; см. его: Хюркилинский язык. — ЭК, V.

падеже и глаголом-сказуемым в его синтаксической связи с этим подлежащим. Такой конструкции предложения и присваивается наименование номинативного строя. Исходя из данного определения, удается выявить схождения и расхождения уже разобранного нами эргативного строя с номинативной конструкцией. Для этого прежде всего придется принять за исходный пункт то положение, что изменяется не только языковая типология в части морфологии, но и весь строй предложения. В зависимости же от него меняется содержание синтаксических показателей и получаются качественно иные синтаксические отношения между словами.

Обратимся к широко распространенному и поныне еще сохранившемуся определению основных членов предложения. Для примера возьмем недавно вышедший 5-м изданием труд проф. В. А. Богородицкого. «Главный предмет мысли, — говорит В. А. Богородицкий, — выражается обычно именной частью речи и притом в форме именительного падежа (подлежащее), обычным же словесным выражением того признака, на который обращено главное внимание, служит глагол в определенной форме (сказуемое) и притом согласующийся с подлежащим, что и знаменует в нашей речи, как мы уже указывали, целостность мысли».[22]

Такое определение взаимоотношения главных членов предложения свойственно, конечно, не всем языкам. И если оно приемлемо для индоевропейских, в частности для русского, то для целого ряда других языков придется дать иную характеристику. Так, например, в даргинской фразе *нуни гІвари ха-б-уши-ра* 'я зайца убил' глагол своим личным окончанием (*ра*) согласуется с действующим лицом, но последнее стоит не в именительном, а в орудийном падеже (*нуни* 'мною'). Следовательно, или это будет подлежащим в орудийном падеже, что не соответствует основным правилам индоевропейской речи, согласно которым подлежащее должно стоять в именительном падеже, и в таком случае *нуни* не будет подлежащим, или же в данном построении предложений окажется подлежащее с иными свойствами, чем те, которые обычно вкладываются в него исследователями индоевропейских языков. Затем, глагол-сказуемое должен согласоваться с подлежащим, тогда как в даргинской фразе он согласован одновременно с двумя членами предложения, с субъектом (*нуни*) и с объектом (*гІвари*).

При таком положении двустороннего согласования глагольная форма лишает нас возможности видеть в глаголе *хабушира* то сказуемое, которое свойственно индоевропейским языкам. Значит, и сказуемое оказывается здесь качественно иным. И, наконец, объект (*гІвари*), равным образом, не оформлен именительным падежом, следовательно, во всем предложении нет того подлежащего, которому свойствен этот падеж. Можно было бы все же признать *гІвари* стоящим в именительном падеже как согласованное с глаголом своим классным показателем (*б*), но в таком случае и *нуни*

[22] Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 202.

придется признать стоящим в том же падеже, так как и оно согласовано с глаголом личным окончанием *ра*. Это невозможно прежде всего потому, что *нуни* стоит вовсе не в именительном, а в обычном орудийном-творительном падеже, а затем и потому, что в этом случае пришлось бы признать наличие в одном и том же предложении двух подлежащих, выражающих два различных члена предложения, субъект и объект. К тому же и сам именительный падеж оказался бы в двух совершенно различных оформлениях, притом в одном случае в явной форме косвенного падежа, что совершенно недопустимо с точки зрения того синтаксиса индоевропейских языков, по которому установились понятия и подлежащего и его именительного падежа.[23]

Синтаксис эргативного предложения совершенно иной. Он не укладывается в нормы синтаксиса номинативного предложения. Поэтому в яфетических языках нет и тех членов предложения, каковые наличествуют в предложениях индоевропейской речи. В эргативном построении фразы нет, как мы видели, подлежащего и сказуемого, в обычном понимании их функций и свойств, по материалам индоевропейских языков, нет также и прямого дополнения, так как *гIвари* только что приведенного даргинского примера согласовано с глаголом, тогда как прямое дополнение со сказуемым не согласуется. Поэтому нет в эргативной конструкции и падежа прямого дополнения (винительного). В результате оказывается, таким образом, что из трех членов предложения *нуни гIвари хабушира* ни один не соответствует номенклатуре членов номинативного предложения и ни один из них не стоит в тех падежах, к которым привык лингвист, работающий над индоевропейскими языками. Даже глагол построен по необычной для этих же языков схеме двустороннего согласования. Эту особенность кавказских яфетических языков отметил еще в 60-х гг. прошлого века известный исследователь горских языков П. К. Услар, признав невозможным «объяснить значение этих форм переводом на какой-либо европейский язык и всего менее на русский». Поэтому он предлагает читателю не придавать излишне строгого значения даваемому русскому переводу, а более вникать в значение коренных форм.[24] Между тем исследователи кавказских яфетических языков, главным образом горских, продолжают пользоваться номенклатурою, общею с индоевропейским строем речи, и не углубились в достаточной мере во всестороннее изучение их синтаксиса, что в итоге приводит к построению формальных грамматик, против которых в последние годы своей жизни столь решительно и совершенно правильно возражал акад. Н. Я. Марр.

Если обратить внимание на синтаксис чанского языка, то придется признать, как это уже указывалось выше, что он сохра-

---

[23] Ср.: Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Харьков, 1937, с. 226.

[24] Речь идет об абхазском языке; см.: Услар П. К. Абхазский язык. — ЭК, I, 1887, с. 20. Эта работа писалась П. К. Усларом в 1862 г.

няет эргативный строй речи и дает как членам предложения, так и их падежам иное определение, более близкое к яфетической речи Северного Кавказа, чем к номинативной конструкции грузинского языка в первой группе его времен. Но лазский (чанский) язык не знает классного деления имен существительных (так же как и грузинский), поэтому глагол утратил в этих языках возможность двустороннего согласования при помощи качественно различных показателей (личных и классовых). Все же конкретизация субъекта и объекта действия в глагольном оформлении сохранилась, но передается другим способом, а именно — сами личные показатели разделяются на специальные показатели субъекта и на специальные же показатели объекта, которыми в названных языках являются:

I. Показатели субъекта:

	в грузинском		в чанском и мингрельском	
	ед. число	мн. число	ед. число	мн. число
1-е лицо	v	ϑ	v, b, p, φ	ϑ
2-е »	(s//h)	»	», », », »	»
3-е »	s, n, a	es, an, en	n, s, u	es, an

II. Показатели объекта:[25]

1-е лицо	m	gv	m	an, es, ϑ
2-е »	g	ϑ	g	», », »
3-е »	(s//h)	»	—	», », »

Например, в чанском: m-omleϑın-u 'меня-спас-он' и т. д.

Наличие субъектно-объектного выражения глагола дает в картвельских языках весьма своеобразные случаи обратного использования тех же показателей, как-то: случаи выражения субъекта объектным показателем, объекта же субъектным. Такие инверсивные глаголы (объективный строй спряжения по Н. Я. Марру) сохранились в чанском языке только в настоящем и производных от него временах, в грузинском же и мингрельском, кроме того, вся третья группа времен переходного глагола (прошедшее совершенное, давнопрошедшее и прошедшее сослагательное) имеет лишь инверсивные формы.

В первой группе времен такие формы свойственны семантически обособленной группе глаголов, обычно именуемых verba sentiendi (глаголы восприятия), в которых субъект может быть понят как воспринимающий действие, т. е. как пассивный: чанское m-ığu-n 'я имею', букв. 'у-меня-имеется-то', ma-mqurın-u 'я испугался' ('он-страх-напал-на-меня'), m-anд̂ıre-n 'меня клонит ко сну' и др. Субъект в этом случае ставится в косвенном (дательном)

[25] Показатель объекта может изменяться по падежам; так, в грузинском языке от указанного неоформленного падежа образуются родительный и дательный добавлением соответствующей огласовки: родительный, 1-е лицо mı, 2-е лицо gı, 3-е лицо u; дательный, 1-е лицо ma, 2-е лицо ga, 3-е лицо *a*.

падеже как воспринимающий на себя действие, ср. грузинское mama-s u-k̇var-s шvɪl-ɪ 'отец любит сына', букв. 'отцу ему-любим-он сын', mama-s a-qv-s ṫign-ɪ 'отец имеет книгу', букв. 'отцу ему-имеется-она книга' и т. д. Такую инверсивную форму глагола, придающую всему предложению «пассивное» построение, имеет, как указывалось выше, обособленная группа глаголов чувственного восприятия, которая иначе и не может строиться. Ее семантика придает свой оттенок всей фразе и ставит субъект в косвенном оформлении, сохраняя таковое независимо от восприятия фразы современным носителем речи. Она понимается уже активно в полном соответствии ее русскому переводу.[26]

Не меньший интерес представляют материалы мингрельского языка в первой и второй группах времен глагола (в настоящем времени и аористе с произведенными от них временами). В этом языке все глаголы, как переходные, так и непереходные, имеют в настоящем времени, как и в грузинском, номинативную конструкцию с именительным падежом подлежащего (ɪ) и с дательно-винительным падежом прямого дополнения (s): koϑ- ɪğur-u(n) 'человек умирает', koϑ-ɪ ṫarən-s ṫɪng-ɪ-s 'человек пишет книгу (письмо)'. Исключение составляют только verba sentiendi, в которых так же, как и в грузинском, сохраняется инверсивная форма с субъектом в дательном падеже: ko-s (← koϑ-ɪ-s) u-'or-s 'человек любит'.[27] Таким образом, в первой группе времен мингрельского языка наличествует или инверсивная форма для специально выделенной по своей семантике группы глаголов, или же номинативный строй во всех остальных случаях. Здесь нет существенных различий со строем речи грузинского языка. Существенное различие будет в структуре мингрельского предложения в аористной группе времен.

В мингрельском аористе используется эргативное построение предложения с эргативным падежом субъекта (q, qə) и с абсолютным падежом объекта, по форме совпадающим, как и в грузинском языке, с упомянутым выше именительным падежом первой группы времен (ɪ): koϑ-qə doṫarə ṫɪng-ɪ 'человек написал книгу (письмо)'. Расхождение в этом случае с грузинским и чанским языками заключается в том, что эргативная конструкция сохраняется в мингрельском не только в переходных глаголах, как в названных двух языках, но и в непереходных: koϑ-qə qəmorϑə 'человек пришел сюда', ср. koϑ-qə doṫarə ṫɪng-ɪ 'человек написал книгу (письмо)'.[28] Следовательно, в мингрельском языке вся аористная группа времен во всех глаголах, как непереходных, так и переходных, имеет эргативное построение.

Здесь получилось уже расхождение с общим строем речи яфетических языков, как горских, так и остальных картвельских.

[26] Подробнее см. в главе об аффективном строе предложения.

[27] О грамматических показателях в приведенных примерах см. таблицу на с. 239.

[28] См. там же.

Это расхождение выразилось в том, что эргативный строй, обычно наличный лишь в переходных глаголах и отделяющий их от непереходных во всех временах горских языков и во второй группе времен (аористной) в остальных картвельских, оказался в мингрельском языке отделяющим всю аористную группу от первой группы времен, являясь, таким образом, специальным строем аориста, притом для всех глаголов.[29]

Итак, в мингрельском языке мы имеем резко обособленные первую группу времени и вторую. Первая из них (настоящее, прошедшее несовершенное), в полном схождении с грузинским, выявляет все признаки номинативного предложения. В ней подлежащее при действительном залоге (логический субъект) и подлежащее при страдательном залоге (логический объект) ставятся в одном и том же падеже: ср. мингрельск. koϑ̣-ɪ ṭarəns ‘человек пишет’, koϑ̣-ɪ ṭare⌈le⌉ ‘человек написан’,[30] груз. kaϑ̇-ɪ s-ṫer-s ṫerɪl-s⌈a⌉ ‘человек пишет письмо’, kaϑ̇-ɪs mɪer ɪ-ṫer-eb-a ṫerɪl-ɪ ‘человеком (букв. через человека) пишется письмо’. Во всех этих примерах мы имеем не падеж логически действующего лица, а падеж грамматического субъекта, другими словами, падеж подлежащего (именительный падеж).

Определение номинативного строя легко дается каждому, владеющему любым из индоевропейских языков. Гораздо труднее правильно построить анализ иноструктурного языка без предвзятого представления о структурном шаблоне, которым невольно становится строй предложения европейских языков. В частности, эргативная конструкция в картвельских языках при аористе признается далеко не всеми, хотя она явно наличествует в этих языках, что я пытался подтвердить их же материалом.

Установление эргативных норм в аористе в свою очередь ярко выделяет совершенно иной строй первой группы времен.[31] Если обратиться ко всем привлекаемым нами материалам со стадиально-сравнительным подходом, то с необычайной мощью вскрывается все лингвистическое богатство грузинского и мингрельского языков, ясно показывающих свое продвижение вперед в сторону номинативного предложения, которое полностью и выявляется в их настоящем времени, при еще уцелевшей эргативности в аористе.

Сосуществование эргативной и номинативной конструкции ясно выступает из приводимых ниже сравнительных таблиц. В них именительный падеж подлежащего на ɪ и эргативный на q (в грузинском на ma⌈n⌉) выделяют названные две конструкции предло-

---

[29] Я не касаюсь здесь третьей группы времен мингрельского языка, имеющей инверсивную форму, как и в грузинском языке.

[30] Мингрельские примеры взяты мною из работы: Кипшидзе И. Грамматика мингрельского (иверского) языка, с. 0133.

[31] Некоторые следы эргативности в аористе мингрельского предложения выявляются в падеже объекта. В настоящем времени таким оказывается дательный-винительный, в аористе же таким служит абсолютный, т. е. тот, который в настоящем времени уже перестроился на именительный.

жения. При номинативном строе появляется винительный (он же дательный) падеж на s⌜a⌝, заменяемый в эргативном построении тем же падежом на ı, но уже не в функции падежа подлежащего, т. е. в значении не именительного, а абсолютного падежа, выражающего одновременно и падеж субъекта при непереходном глаголе.

Обратимся к сравнительному обзору материала всех трех картвельских языков с привлечением для параллели одного из дагестанских. Эргативный строй предложения отмечается мною особым знаком (+).

I. Грузинский язык (новогрузинский)[32] — активный (эргативный) падеж ma⌜n⌝, именительный и абсолютный ı, винительный, он же дательный, s⌜a⌝:

Настоящее время

1) kaϑ̇-ı dadis	'человек ходит'
2) » ашenebs saql-s ⌜a⌝	' » строит дом'
3) kaϑ̇-ıs-a gan шendeba saql-i	'человеком (посредством человека) строится дом'

Аорист

4) kaϑ̇-ı movıda	'человек пришел (сюда)'
5) +kaϑ̇-ma⌜n⌝ ашena saq̇l-ı	' » выстроил дом'
6) kaϑ̇-ıs-a gan ашenda saq̇l-ı	'человеком (посредством человека) выстроен дом'

II. Мингрельский язык[33] — активный (эргативный) падеж q, именительный и абсолютный I, e, винительный, он же дательный, s:

Настоящее время

1) koϑ̣-ı mu-urs	'человек сюда-приходит'
2) » 'ude-s ogans	' » дом строит'
3) ('ud-e ıkeϑebu	'дом строится, делается')[34]

Аорист

4) +koϑ̣-⌜ı⌝ -q qəmo-rϑə	'человек-сюда-пришел'
5) » 'ud-e qodaagu	' » дом построил'
6) ('ud-e geekeϑu	'дом построен, сделался')[35]

[32] Выражаю глубокую благодарность К. Д. Дондуа за примеры и указания по грузинскому материалу.

[33] Выражаю глубокую благодарность К. Д. Дондуа и И. В. Мегрелидзе за указания примеров из мингрельского языка.

[34] Страдательный залог в данном примере передает состояние субъекта, при котором действующее лицо обычно не указывается.

[35] См. предыдущее примечание. По словам И. Кипшидзе, аорист и вообще все времена второй группы (в мингрельском языке) так же образуются в страдательном залоге, как и в действительном (ук. соч., с. 071, § 81).

III. Чанский (лазский) язык[36] — активный (эргативный) падеж q, именительный и абсолютный I; винительного падежа нет:

Настоящее время

1) koϑ-ı gulun 'человек ходит'
2) +koϑı-q kiduφs (kodums) oq̇or-ı ' » строит дом'
3) (oq̇or-ı kıderı ren koϑ-ı-ϑe⌈n⌉ 'дом строится есть человеком')

Аорист

4) koϑ-ı ıgzalu 'человек ушел'
5) +koϑ-ı-q dokıdu oq̇or-ı ' » выстроил дом'
6) (oq̇or-ı koϑ-ı-ϑe⌈n⌉ dıkıdu 'дом человеком выстроен')[37]

IV. Аварский язык[38] — эргативный (творительный) падеж *ас*//*яс*, абсолютный падеж — голая основа имени; винительного падежа нет:

Настоящее время

1) *чи инев вуго* 'человек идет (идущий есть)'
2) **чи-яс рукъ балеб буго* ' » дом строит (строящийся есть)'

Аорист

3) *чи ун вуго* 'человек шел (шедший есть)'
4) **чи-яс рукъ бан буго* ' » дом выстроил (выстроен есть)'

Используем только что приведенные таблицы для показа ясно намечающейся перестройки эргативной конструкции в номинативную. Начнем с конца. В аварском языке мы имеем типичного представителя эргативного строя, в достаточной мере охарактеризованного нами в основных его свойствах.

Отсутствие винительного падежа в предложениях с переходным глаголом и использование вместо него абсолютного падежа сближают строй предложения чанского (лазского) языка с аварским и другими дагестанскими (см. табл. III, IV). Если к данному наблюдению подойти исторически, то можно было бы усмотреть в чанском синтаксисе более архаичную схему, чем в мингрельском и в особенности в грузинском. К такому выводу я и прихожу в итоге сравнительных сопоставлений.[39]

---

[36] Примеры из чанского (лазского) языка даны мне студентом ЛГУ Кахидзе, за что ему весьма признателен.

[37] По утверждению Н. Я. Марра, в аористных временах чанского языка страдательный залог ничем не отличается от действительного; см.: Грамматика чанского (лазского) языка, с. 59, § 95.

[38] Весьма признателен А. А. Бокареву за указанные мне аварские примеры и за помощь в анализе строя этого языка.

[39] А. Чикобава приходит к диаметрально противоположному выводу. Ограничиваясь сравнением только с грузинским языком, он полагает, что «эта конструкция подвергается упрощению и в мингрельском и в чанском;

В этом же историческом разрезе обращает на себя особое внимание аористная группа времен в грузинском языке и в еще большей мере в мингрельском (см. табл. I, II). Мы уже имели случай говорить выше, что непереходный глагол в грузинском и чанском (лазском) языках сохраняется во всех временах в одной и той же конструкции с подлежащим в одном и том же падеже. Но в чанском языке переходный глагол в первой группе времен (настоящем и прошедшем несовершенном) имеет эргативный строй (табл. III, 2). В нем во всех временах проводится резкое структурное разграничение между предложением с непереходным глаголом и предложением с переходным. Это разграничение налично даже в настоящем времени. Вспомним приведенные выше примеры: koϑ-ı gulun 'человек ходит', koϑ-ı-q kıduφs oq̇or-ı 'человек строит дом'. Получаются, таким образом, как бы два падежа подлежащего, один при непереходном глаголе (koϑ-ı), другой при переходном (koϑ-ı-q). К тому же падеж подлежащего при непереходном глаголе оказывается также падежом прямого дополнения при переходном (oq̇or-ı). Поэтому мы уже пришли к выводу, что в чанском языке нет того подлежащего, которое свойственно индоевропейской речи, следовательно, нет и именительного падежа, следовательно, нет и номинативной конструкции во всех видах чанского предложения.[40]

В грузинском языке, наоборот, непереходный глагол, по строю всего предложения, не отличается от переходного в настоящем времени (табл. I, 1, 2), но зато резко противополагается переходному в аористе (табл. I, 4, 5).

Если бы настоящее время в грузинском языке строилось так же, как и аорист (ср. в чанском), то не было бы никаких колебаний в отнесении непереходного глагола в аористе к обычной эргативной схеме построения предложения, как это только что отмечалось нами в чанском языке. Но именно наличие явного номинативного строя в первой группе времен в том же грузинском языке (табл. I, 1, 2, 3) заставляет видеть номинативную конструкцию и в непереходном глаголе во всех временах, следовательно, и в аористе (табл. I, 4).

Все зависит от того, с какой стороны подойти к разрешению данного конфликта, возникшего между языковыми формами. Если подойти со стороны аориста и ограничить свой кругозор только его временем (табл. I, 4, 5), выступит ясная картина эргативного построения с его эргативным падежом, согласованным с глаголом при объекте, стоящем в том же падеже, как и действую-

---

в чанском этот процесс упрощения представлен сильнее, чем в мингрельском» (ук. соч., с. 221—222). Н. Я. Марр, наоборот, находит, что в чанском языке «чище должны были сохраниться своеобразные явления, чем в мингрельском: мингрельский сильнее подвергся грузинскому влиянию; здесь сказалось непосредственное соседство грузин и долгое их политическое господство» (Грамматика чанского языка, с. XI). «Мингрельский сохранил неприкосновенно свой синтаксический строй» (К и п ш и д з е И. Ук. соч., с. XXII).

[40] См. выше, с. 235. Ср.: М а р р Н. Я. Грамматика чанского (лазского) языка; Ч и к о б а в а А. Ук. соч.

щее лицо непереходного глагола (kaϑ-ı, saq̇l-ı). Если же сопоставить глагольные формы разных времен, взяв исходным пунктом первую их группу (табл. I, 1, 2, 3), то мы увидим столь же явную схему номинативного предложения, захватившую и непереходной глагол во второй группе времен, в аористе (табл. I, 4). В грузинском языке мы наблюдаем как бы борьбу номинативного строя предложения с пережиточно сохранившимся эргативным построением. Это столкновение двух стадиально различных форм углубляется еще наличием страдательного залога в том же аористе (табл. I, 6). Здесь, в страдательном залоге, вновь выступает номинативная конструкция. В противоположность ему эргативное построение аориста (табл. I, 5) воспринимается как действительный залог, хотя оно ему формально совершенно не соответствует.[41]

Столь же интересен, но в другом роде, аорист мингрельского языка (табл. II, 4, 5). В нем предложения с непереходным и переходным глаголами строятся эргативно: koϑ-q qəmorϑə 'человек пришел сюда', koϑ-q 'ude qodaagu 'человек дом построил'. Тут эргативный падеж (koϑ-q) может быть понят как падеж подлежащего. Таким же он является и в инверсивных построениях в аористе, где подлежащим оказывается логический объект: ma d̆alamq maq̇ıolə e ambe-q 'мне очень было радостно это известие' (т. е. 'я очень обрадовался этому известию'). Этот эргативный падеж (q, qə) оказывается универсальною формою для выражения подлежащего в аористной группе времен всех глаголов, не исключая и тех, которые идут по инверсивному построению, т. е. тех, для которых в грузинском и чанском языках существует особый строй с логическим объектом в именительном падеже. Следовательно, эргативный падеж в мингрельском языке занял собою все места именительного падежа подлежащего в аористе не только в непереходных глаголах, но даже и в инверсивных, не говоря уже про переходные глаголы, где он и должен быть по основным свойствам эргативного строя предложения (табл. II, 4, 5). В другом значении этот падеж не встречается вовсе. К тому же он и формально отделился от косвенного падежа, сохранив как в единственном, так и во множественном числах ту же свою форму на q (qə).[42]

Такой падеж можно было бы назвать именительным как единственный падеж подлежащего в аористе, но в таком случае в мингрельском языке окажется два именительных падежа: один на ı для настоящего времени при непереходных и переходных глаголах без различия (табл. II, 1, 2), а другой на q равным образом для всех глаголов в аористной группе времени, даже для инверсивных (табл. II, 4, 5). Но при этом падеж подлежащего первой группы

---

[41] См.: Марр Н. Я. Грамматика древнелитературного грузинского языка; Marr N. et Brière M. Op. cit.; Новое учение, с. 201—214.

[42] Во множественном числе, кроме окончания эргативного падежа, добавляется, как и во всех других падежах, показатель числа eφ, предшествующий падежному окончанию (eφq).

времен все же оказывается падежом прямого дополнения в аористе: koϑ-ı ṭarənϑ̇ qağardı-s 'человек пишет бумагу (письмо)', koϑ-qə doṭarə qağard-ı 'человек написал бумагу (письмо)'.

При таких условиях больше данных для признания падежом подлежащего имеет эргативный падеж, так как именительный падеж первой группы времен выступает в роли прямого дополнения в аористе (ср. koϑ-ı, 'ud-e, табл. II), что не свойственно именительному падежу как падежу грамматического субъекта. Кроме того, падеж на q утрачивает в мингрельском языке свои эргативные функции выражения субъекта лишь при переходном глаголе. Он, как мы видели, оформляет грамматический субъект при всех глаголах (табл. II, 4, 5).

Придется при таких условиях признать, что в мингрельском языке в достаточной мере ясно прослеживается интенсивная перестройка в номинативную конструкцию двумя различными путями в двух различных временных группах. В настоящем и производных от него временах (табл. II, 1, 2) идет перестройка абсолютного падежа в именительный, а в аористе (табл. II, 4, 5) ту же перестройку переживает эргативный падеж.[43]

Картвельские языки дают прекрасный пример перехода эргативной конструкции в номинативный строй. Причина такой перестройки неоднократно объяснялась акад. Н. Я. Марром: это — изменение норм мышления, вложившее новое содержание в наличные грамматические формы и изменившее весь строй предложения. Поэтому ни один грамматический элемент в его историческом движении не может быть понят, взятый оторванно от его синтаксического окружения в границах синтаксической единицы (предложения).

Получают новое содержание различные члены предложения, переосмысляя и изменяя старые формы. Примеры этого мы только что видели. Но отдельно взятые языки и языковые группы не дают еще той яркой картины идущей языковой перестройки, которую вскрывает сравнительное привлечение материалов разносистемных языков. Такие изменения легче всего и более убедительно устанавливаются стадиальным анализом речи.

Развивая положения Н. Я. Марра о том, что представление об объекте предшествует понятию о субъекте-индивидууме,[44] С. Л. Быховская устанавливает первичность пассивной трактовки субъекта непереходного глагола. Она указывает на то, что «непереходный глагол был первоначально глаголом состояния, и потому грамматический субъект при нем не был субъектом реальным, так как не

---

[43] См.: К и п ш и д з е И. Ук. соч.; также и некоторые указания на этот язык у А. Чикобава (ук. соч.).

[44] См.: М а р р Н. Я. О лингвистической поездке в восточное Средиземноморье. — Известия Гос. академии истории материальной культуры, 1934, вып. 89, с. 128, а также другие его работы.

являлся источником действия».[45] Это высказывание можно подтвердить примерами: в североамериканском языке дакота действие в 3-м лице и имя совпадают, имея одну основу: ṯa 'смерть' и 'действие смерти'; kašk̠a 'вязание' и 'действие вязания'. По своему содержанию оба глагола оказываются переходными, и направление их действия конкретизуется личными показателями: ma-ṯa 'смерть на меня' ('я умираю'), ni-ṯa 'смерть на тебя' ('ты умираешь'); ma-kašk̠a 'действие вязания на меня' ('он вяжет меня'), ni-kašk̠a 'действие вязания на тебя' ('он вяжет тебя').[46]

С осознанием индивидуального лица, последнее становится центром логического построения (логический субъект), в связи с чем впоследствии вырабатывается также и центр грамматического построения (грамматический субъект). Отсюда получаются глаголы состояния с пассивным содержанием действующего лица и глаголы действия с пассивным содержанием объекта. Оба они, и действующее лицо при первых и объект при вторых, оказываются воспринимающими на себя действие. Поэтому и в первом и во втором случаях (ср. ma-ṯa, ma-kašk̠a) те же приставки логически пассивны. Поэтому же с последующей перестройкой на непереходные и переходные глаголы получается совпадение действующего лица при непереходных глаголах и предмета действий при переходных. Тем самым устанавливается в эргативном строе предложения «падеж воспринимателя действия», выражающий пассивность субъекта при глаголе состояния, ставшего затем вообще непереходным (средним) глаголом, и пассивность объекта при переходном глаголе (абсолютный падеж).

Все же при этом переходе грамматического строя на новые позиции нельзя не отметить резкого скачка, приведшего к качественному изменению прежних синтаксических отношений, следовательно, и грамматических оформлений. Активное осмысление действующего лица обращает пассивное лицо при глаголе состояния в действующее лицо непереходного глагола, в зависимости от чего как глаголы состояния, так и вообще глаголы непереходные (средние) формально не различаются (ср. даргинск. *гьит вашар* 'он ходит', *гьит ибкIиб* 'он умер').

Тем самым получается внутреннее противоречие в понимании самого логического субъекта. Логический субъект становится центром грамматического построения, уточняемый в своем действии или состоянии предикатом. Но при глаголах состояния, будучи логическим субъектом, он все же не оказывается реально действующим лицом. Так, например, в дакотской фразе ma-ṯa 'я умираю' реально действующим лицом не будет 'я', испытывающий на себе действие, а не действующий сам, хотя он же ('я')

---

[45] Быховская С. Л. 1) Показатели множественности как классовые показатели в грузинском и баскском языках. — В кн.: Академия наук СССР академику Н. Я. Марру, М.—Л., 1935, с. 188; 2) Пассивная конструкция в яфетических языках. — ЯМ, II, с. 55 и сл.

[46] См.: Новое учение, с. 231.

выступает во фразе логическим субъектом (ср. *я хочу*, *мне хочется*; *я сплю*; *я болею*, *мне больно* и т. д.). Грамматический же субъект выявляется в его формальной связи с предикатом. Поэтому в дакотской фразе ma-ṯa вовсе не будет грамматического подлежащего, так как оно отдельно в предложении не выявлено, хотя логический субъект наличен; в русском же переводе 'я умираю' мы уже имеем и грамматическое подлежащее, все же не выражающее реально действующее лицо.[47]

По словам C. Uhlenbeck, североамериканский индеец считает себя не действующим лицом, а виновником действия, его исполнителем (Urheber).[48] Строй речи индейца должен был отразить это его миропонимание.[49] Но строй речи с изменением норм сознания, равным образом, меняется. Иначе говоря, изменяются и логические категории и грамматические.

Такой же процесс перестройки отмечен А. Чикобава в отношении инверсивных глаголов, в которых первоначальный прямой строй 'страх вселился в меня' (ср. чанск. ma-ɯqurɪn-u) дал инверсивную форму все же с пассивным содержанием субъекта 'я испугался' (в значении 'я испытываю страх').[50] Косвенное оформление глагола (ma 'меня', ɯqurɪn 'страх', u 'он'; 'на меня-страх-он') воспринимается уже активно, несмотря на пассивное оформление и пассивное же логическое содержание субъекта. Оказывается, таким образом, что в связи с переносом субъекта на прежний объект ('он' → 'меня') получилось в осознании говорящим данной фразы другое действующее лицо 'я испытываю страх', которое выступает как бы субъектом действия (ср. русск. *я пишу письмо*).

Тот же процесс языковой перестройки изменил также и конструкцию переходного глагола на активную. Прежняя его форма, указывающая на принадлежность действия кому-либо (поссессивный строй предложения) или на выполнение кем-либо данного деяния (эргативный строй предложения), получила новое осмысление. Изменилось содержание старой косвенной падежной формы, ставшее уже активным. В связи с этим эргативный падеж стал перестраиваться на активный падеж грамматического субъекта. Будучи наиболее выдержанным падежом логического субъекта, эргативный падеж стал переходить на формально актив-

[47] Грамматический субъект может быть выражен и в самой глагольной форме, если он представлен в ней личным или местоименным показателем. При таких условиях под подлежащим понимается мною тот грамматический субъект, который выражен самостоятельным членом предложения.

[48] Uhlenbeck C. Le caractère passif du verbe transitif ou du verbe d'action dans certaines langues de l'Amérique du Nord. — Revue internationale des études basques, 1922, XIII, № 3; Мещанинов И. И. Новое учение о языке. — ИАН, 1933, с. 465.

[49] Индеец говорит «мною съедено», «мною пройдено», вместо «я ем», «я пошел»; см.: Uhlenbeck C. Op. cit., pp. 399, 400, 406; см. также: Мещанинов И. И. Проблема классификации языков. — Советская этнография, 1933, № 2, с. 45 и др.

[50] Чикобава А. Ук. соч., с. 220.

ную роль в предложении, сближаясь с выразителем падежа подлежащего номинативной конструкции, так же как абсолютный падеж в безобъектном предложении сделался грамматическим центром синтаксического комплекса, связанный с предикатом-сказуемым. Прослеживанию этого перехода и было посвящено все предшествующее изложение, опирающееся на материалы картвельских языков.

Номинативная конструкция предложения выросла из материалов предшествующего стадиального состояния речи.[51] В ней выступает формальная активность подлежащего в его одностороннем согласовании с предикатом-сказуемым. Получился формально активный строй с грамматическим субъектом, с подлежащим в именительном падеже.

Отсюда легко прийти к выводу о том, что в яфетических языках Кавказа, там, где имеется субъектно-объектное построение глагола (горские языки), нет еще ни действительного, ни страдательного залогов как двух формальных способов построения предложения с переходным глаголом. Они оба слитно заключены в их глаголе, находясь еще в нерасщепленном состоянии. Процесс этого расщепления на две противоположности по формальному согласованию с субъектом или объектом, каждый раз выступающими в роли подлежащего, и является характерным для номинативного строя предложения. Поэтому же получается внешнее сходство номинативной конструкции с безобъектным предложением эргативного построения, где глагол за отсутствием объекта тоже получает одностороннее согласование. Но и здесь, как мы видели, сходство оказывается только внешним, так как падеж действующего лица непереходного глагола служит одновременно и падежом предмета действия при переходном (ср. в даргинск. *вашар гьит* 'ходит он', *нуни вашухъус гьит* 'я вожу его').

Картвельские языки, как мы видели выше, дают наглядный пример перехода эргативного строя предложения в номинативный, полностью выраженный в индоевропейских языках.

ПРЕДИКАТ И ГЛАГОЛ

Из истории члена предложения и части речи

Предыдущими главами заканчивается обзор основных конструкций предложений. Я преследовал цель дать анализ их формальной стороны, обусловленной определенным содержанием. В итоге должны были выявиться моменты языковой перестройки, вызванные историческим развитием.

---

[51] Марр Н. Я. Индоевропейские языки Средиземноморья. — ИР, I, с. 185; Кацнельсон С. Д. К генезису номинативного предложения. М.—Л., 1936.

Распределенный по главам разбор основных свойств того или иного строя предложения имел своею задачею не только дать структурную характеристику каждого из них в отдельности, но также показать качественные между ними отличия и, по мере возможности, установить их место в общем движении глоттогонического процесса.

При этом изложении значительная доля внимания уделялась основным членам предложения: субъекту и предикату в предложениях безобъектных и направляющих свое действие на объект. Затронутый материал дал возможность остановиться и на таких языках, на фактах которых вскрываются моменты становления тех или иных членов предложения и прослеживается выделение тех или иных частей речи. Тем самым получается основа для постановки и проработки проблемы о взаимоотношении предложения и слова, следовательно, и о членах предложения в их связи с частями речи. Таким образом, можно затронуть вопрос об истории тех и других.

В рамках такого задания я ограничиваюсь в настоящей главе одною более узкою темою, наиболее, как мне кажется, ярко выделяющеюся среди других. Тема эта — одна из основных, одна из весьма показательных и весьма ответственных. Я имею в виду предикат и глагол.

Этому члену предложения и этой части речи уделялось в изложении предыдущих глав значительное внимание с привлечением разнообразного материала. Он в известной доле уже дан выше. Поэтому для общего обзора придется вернуться к уже разобранному материалу, беря его в общих чертах и избегая деталей, которые интересующийся может найти в своем месте. Такая сводка в значительной степени облегчит уточнение стержневой линии нашей исследовательской темы. В то же время она придаст бóльшую ясность анализу ранее использованных языковых фактов, тем более, что, разбирая приведенный выше материал, уже приходилось волей-неволей затрагивать те же вопросы, хотя бы и в более узком задании выяснения лексических и синтаксических свойств обособленно рассматриваемых языковых структур.

Анализ на базе более широких исторических перспектив мог бы в предыдущем изложении затруднить цельность характеристики отдельно разбираемой языковой системы, затруднить осуществление этой основной тогда задачи, согласно которой шло изложение по главам. Сейчас же, имея в виду общую для всех языков проблему слова и предложения, в частности предиката и глагола, можно дополнить недостающее в предыдущих главах и, пользуясь в основном тем же материалом и частично теми же выводами, дать более развернутую схему их исторически обусловленной последовательности и развития.

Каждый язык выявляет в своей структуре отдельные признаки, которые мы и пытались вскрыть при конкретном их анализе.

Теперь в мою задачу входит соединить воедино то, о чем в разрозненном виде приходилось упоминать раньше.

Языковой материал показывает не только выделение слова в его противопоставлении предложению из прежнего слитного состояния, но и весьма сложный процесс взаимоотношения лексических и синтаксических элементов, другими словами, взаимосвязи частей речи и членов предложения. Их роль различна в различных языковых системах, тем самым устанавливаются качественно иные типологические показатели.

Так, например, попав в определенную позицию, имя приобретает в ряде языков различные синтаксические свойства, становясь атрибутом или предикатом и получая соответствующее им оформление. Так, в абхазском и бурятском языках имя, оказавшись предикатом, получает все свойства глагола, изменяется по лицам и временам, выявляя господство вербального строя.[1] Части речи в этих языках существуют, в частности имя и глагол лексически обособились, но они определяются в значительной мере свойствами не только части речи, но иногда в еще большей степени свойствами того члена предложения, в роли которого они выступают. Получается «спряжение имени» (см. в абхазском и бурятском) и «склонение глагола» (см. в целом ряде северных азиатских языков).

Здесь ни в коем случае нельзя говорить о тождестве членов предложения и частей речи. Наоборот, они отделяются друг от друга не менее четко, чем в целом ряде других языков. Здесь скорее всего можно говорить о синтаксических признаках, свойственных члену предложения и передаваемых им той части речи, которая выполняет ее функции в данном конкретном случае. Синтаксические показатели как бы закрепляются тут за членами предложения. И если в некоторых языках предикат должен выражать время и лицо, то ими же и снабжается имя, оказавшееся предикатом.

В других языках мы видим более значительную дифференциацию частей речи с закреплением уже за ними определенных синтаксических показателей в связи с их использованием в предложении в роли того или иного его члена. В этих языках имя как часть речи (существительное, прилагательное и др.), оказавшись предикатом, уже сохраняет свою именную форму, в силу чего противопоставляется вербальному предложению именное (ср. индоевропейские языки, некоторые североазиатские и др.). Можно отметить и такие языки, в которых глагольная форма отсутствует, в связи с чем выступает именной строй предложения, иногда даже как единственно наличный (гиляцкий язык).

---

[1] Господство вербального строя в абхазском языке установлено П. К. Усларом (о чем уже неоднократно упоминалось выше). Относительно того же явления в бурятском языке сведения получены мною у Д. А. Алексеева, аспиранта Института востоковедения АН СССР. См.: Поппе Н. Н. Грамматика бурят-монгольского языка. М.—Л., 1938, с. 183 и сл.

Все эти особенности строя речи придется иметь в виду при знакомстве с каждою языковою группою в отдельности. Равным образом придется иметь в виду специфические свойства действующего строя предложения и лексического состава.

О членах предложения можно говорить тогда, когда имеется уже оформленное предложение. Поэтому те инкорпорированные комплексы, которые образуют собою цельное слово-предложение, не дают еще возможности судить о составных частях предложения в единой лексико-синтаксической единице. Действительно, в таких фразах колымского диалекта одульского (юкагирского) языка, как asa-ţoul-soromoh 'олене-резание-человек' ('человек зарезал оленя'), не может быть речи о членах предложения. Единый в данном случае комплекс хотя и разлагается на составные части, все же не дает предложения, построенного из синтаксического сочетания отдельных слов.

Мы имеем здесь единое слово, составное в своем синтаксическом построении, образующее тем не менее не сложное слово с цельным лексическим содержанием, а комплекс с законченным содержанием фразы. Здесь нет синтаксиса предложения, а имеется синтаксическое сочетание составных частей единой конструкции, представляющей по форме слово, а по содержанию цельную фразу, которая в русском переводе передается уже предложением. Перестановка слагаемых частей меняет содержание всего составного целого. Такой инкорпорированный комплекс не оказывается по содержанию словом, так же как не является предложением по форме. Элементы синтаксиса в нем уже наличны, но все же, формально, тут предложения еще нет. Нет, следовательно, и членов предложения.

В данном случае нет и глагольной формы, поскольку весь комплекс есть цельное слово-предложение, не выделяющее частей речи.

Глагол как часть речи может выступить только тогда, когда нарушится цельность инкорпорированного построения, в связи с чем потребуются новые формы связи между распавшимися частями. Пока оно не распалось, нет места согласованию, тем самым нет места и согласуемым членам предложения, в том числе и предикату как члену предложения.

После распадения инкорпорированного слово-предложения образуется новый строй, характеризуемый уже наличием предложения. Последнее слагается из составных частей (членов предложения) с выработавшимися синтаксическими отношениями между ними. Здесь уже может идти речь о субъекте и предикате, этих двух основных членах предложения. Они прослеживаются во всех языковых структурах, лишенных указанного выше типа полного инкорпорирования. Взамен его получается частичное инкорпорирование, которым выражаются указанные два главных члена предложения. Предикат тут уже имеется, но содержание предиката может быть еще далеко от того содержания, которое

вкладывается в глагольное построение. Пример такого предиката, еще не связанного с глагольною формою, можно найти в гилянком языке.

Как мы видели выше (см. с. 95 и сл.), гиляцкий язык сохраняет еще инкорпорирование, но больше не использует цельного комплекса для выражения законченного предложения. В нем инкорпорируются лишь части предложения, а именно — объект действия сливается с выразителем действия, а определители с определяемым словом.[2] Если объект имеет свои определители, то они тем самым попадают вместе с ним в один комплекс, конкретизирующий совершаемое действие. В результате получаются два основных комплекса: один группирует слова, связанные с субъектом, а другой объединяет слова, связанные с предикатом, с которым сливаются объект и его определители. Два члена предложения уже выступают наружу.[3]

Для гиляцкого языка характерны такие построения: əђrpilakeђ maꞔkilk-soђu-ƀark-ŋiꞆra ‘черный-большой-кит маленьких-рыбок-только-ест’. В этом построении фразы единый лексико-синтаксический комплекс слова-предложения разбился на составные части. Таких составных частей две: одна из них объединяет определителей субъекта с ним самим ‘чернобольшекит’. В состав же другой входит выразитель самого действия с его определителями. Объект оказывается в числе последних.

Поскольку здесь единое целое фразы уже представлено составными частями, постольку же мы можем говорить о наличии предложения как такового. В нем составные части, хотя бы и только две, хотя бы и инкорпорированные каждая в отдельности, все же, взятые врозь, не дают законченного содержания фразы и требуют определенных правил для построения из них предложения. Тем самым вызываются к жизни синтаксические отношения между ними, которые, помимо предикативного показателя, выражаются порядком этих комплексов: на первом месте ставится комплекс субъекта, на втором комплекс предиката.

Что касается самого предиката, то в его положении может оказаться любое имя. Попав в позицию предиката, оно снабжается предикативным показателем (Ꞇ),[4] который, судя по ряду приве-

---

[2] В инкорпорировании, не передающем законченного содержания фразы, удается выделить лексические единицы, которые, по основному свойству инкорпорирования, могут обрастать своими определителями, выступающими в предложении и в ином значении, а потому равным образом улавливаемыми в их самостоятельной лексической роли. Тем самым облегчается задача установления частей речи, выступающих в различной роли как членов предложений, так и в их инкорпорированном составе.

[3] С точки зрения стадиальности такого рода инкорпорирование выдвигается в особую рубрику по основному признаку выражения отдельной части предложения, а не всего предложения целиком. По этому своему свойству инкорпорирование подобного вида не подходит ни под слово-предложение, ни под развернутый строй предложения с ясно выделенными лексическими единицами.

[4] О разновидностях этого показателя см. с. 100.

денных выше примеров,[5] является именно предикативным показателем, т. е. оформляющим член предложения, а не часть речи. Следовательно, в гиляцком языке наличен предикат, но нет еще глагола как обособившейся части речи.

Такой предикат в его определении состояния или действия субъекта предшествует, по словам акад. Н. Я. Марра, глагольному образованию. «Категория части речи, — говорит он, — называемая глаголом, в истории языка есть позднейшее явление. Глаголов вовсе не было раньше; действие или состояние выражалось в результате комбинации требуемого для выражаемого состояния или действия имени в окружении других имен, служебных, в числе их с течением времени возникших местоименных элементов».[6] Подтверждая свой вывод о более позднем оформлении глагола, Н. Я. Марр указывает также на первичное осознание действия (трудового акта): «Действие, впоследствии и состояние».[7]

В ином положении оказываются те языки, в которых инкорпорированные члены предложения разбиваются на составные части, выявляя тем самым бóльшие возможности для выражения синтаксических отношений. Последние в этом случае получают более богатую почву для своего развития. Но все же и здесь в целом ряде языков мы еще найдем сходные требования передачи смысловой увязки слов, хотя бы и иными путями. Так, например, африканские языки банту (зулу и суахили), строя фразу отдельными словами, объединяют их в ясно различаемые группы посредством внутреннего согласования между ними. Вместо слитного инкорпорирования связанных по смыслу словосочетаний эти языки объединяют слова предложения в определенные группы грамматическими показателями. И если инкорпорирование членов предложения гиляцкой речи присоединяет к стержневому слову его определителей, то языки банту выделяют в комплексе стержневое слово среди других равным образом выделенных слов и одновременно связывают их единым его лексическим показателем.

Разрыв единого инкорпорированного комплекса вовсе не означает, как мы видим, нарушения отмеченных выше связей определителя с определяемым, предиката с объектом. Эти связи сохраняются и дальше. Они лишь получают иные виды синтаксического выражения.

В гиляцком языке определитель сливается с определяемым в одно слово, в языках же банту (а затем в яфетических Северного Кавказа и даже в индоевропейских) они разъединяются как слова, но соединяются как синтаксические комплексы. Последнее достигается согласованием классными показателями или в роде,

---

[5] См. с. 99 и сл.

[6] М а р р Н. Я. Происхождение терминов *книга* и *письмо*. — ИР, III, с. 222.

[7] М а р р Н. Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. — ИР, III, с. 66.

иногда же синтаксическим путем размещения слов, своего рода примыканием (в некоторых яфетических языках, тюркских и др.).

Даже связь объекта с предикатом, как увидим ниже, прослеживается не в одних только инкорпорированных построениях. В них эта связь выражается слиянием в одно слово, в языках же банту (так же как и в яфетических) объект соединяется с предикатом передачею ему своего классного показателя. В других языках то же выявляется управлением или примыканием.

Прослеживание только что набросанной схемы исторического развития одной из сторон синтаксиса начнем с материалов африканских языков банту.

Имя, принадлежа в этих языках к определенной лексической группе, получает свой классный показатель, которым и снабжаются все связанные с ним слова, образуя с ними одно синтаксическое целое, хотя бы и разбитое на слова, самостоятельно стоящие во фразе. Тут уже получается большее развитие членов предложения и бо́льшая дифференциация в частях речи.

Примеры подобного рода выражения синтаксических связей мы видели в приведенных выше фразах из языков банту.[8] В них инкорпорированному члену предложения гиляцкой речи соответствует синтаксический комплекс, входящий в состав предложения.

Синтаксический комплекс в этих языках выражается связью синтаксически объединенных слов общим показателем того класса, к которому принадлежит стержневое в комплексе имя существительное. Возьмем для примера фразу из языка зулу aƀa-ntwana aƀa-hle ƀ-etu si-ƀa-tanda 'дети прекрасные наши мы-их-любим' ('мы любим наших прекрасных детей'). Здесь стержневое слово (aƀantwana 'дети', ср. umntwana 'ребенок') передало всем остальным словам свой классный показатель aƀa → ƀa (в ед. числе umu).[9]

Что касается предиката si-ƀa-anda 'мы-их-любим', то последний, помимо согласования с объектом через его классный показатель (ƀa), выражает также и действующее лицо. Субъект заключен в самом предикате, в котором и представлен личным префиксом (si). Если сравнить данную форму с упомянутым выше гиляцким построением, то мы увидим, что тут существенное различие. Оно будет заключаться не только в отделении предиката от уточняющего его действия объекта. Отмеченная их связь налична в обеих схемах (гиляцкой и банту), она лишь выражается различными способами. Так, в гиляцком языке смысловое соединение объекта с предикатом выявляется в их инкорпорировании: ŋi keχq'aḑ 'я чайкостреляял' ('я застрелил чайку'), тогда как в банту те же отношения передаются согласованием классными показате-

---

[8] См. с. 115.

[9] Ср. комплекс определяемого с определителем в других языках, например, в осетинском; см.: А б а е в В. И. Из осетинского эпоса. М.—Л., 1939, с. 113—114.

лями: um-ntwana ngi-m-thanda 'ребенок я-его-люблю' ('я люблю ребенка'). Существенное расхождение заключается не в этих различных способах формального выражения одних и тех же связей, а в выражении предикатом самого субъекта.[10]

Гиляцкий предикат вовсе не передает субъекта, который независимо ставится в предложении: ŋi keχq'aḑ 'я чайку-застрелил', где предикат keχq'aḑ выражает только действие, направленное на объект без всякого личного показателя. Он даже не спрягается по лицам. В языке же зулу (банту) предикат, выражая действие или состояние субъекта, оказался в данном случае субъектно-предикативным построением, дающим определение действующего лица, в нем же самом и указанного: ngi-m-thanda 'я-его-люблю', si-ba-thanda 'мы-их-любим' и т. д. Такого субъектного выражения в предикате нет в гиляцкой схеме. В ней мы имеем только предикат как определитель действия или состояния, в языках же банту предикат придал части речи глагольное построение, а именно — выразителя действия или состояния субъекта, фиксируемого с ним вместе в одной форме.

Действующее лицо выражено здесь местоимениями, включенными в состав самого предиката. Таким образом, получилась глагольная форма. Она ясно выступает в первых двух лицах, снабженных личными местоименными приставками.[11]*

Таким образом, здесь уже имеется не только предикат, но и глагольная форма. Предикат, как мы видели, появился раньше. Это — член предложения. Глагол же — часть речи. Он образовался тогда, когда предикат получил особое оформление и когда это оформление закрепилось за определенной группой слов, обозначавших действие и состояние.

Таким особым оформлением предиката оказалось включение в него показателя лица, т. е. в первую очередь местоимения. Получив выражение субъекта в своем собственном построении, предикат образовал глагольную форму. Но личные местоимения, имеются только в первых двух лицах, поэтому и глагольная форма, на данном этапе ее развития, наиболее отчетливо выступает только в этих двух лицах. В 3-м же лице пока еще сохраняется общая предикативная форма, следовательно, более близкая к именной, лежащей в основе также и глагольного образования.[12] Лишенный последнего, предикат в 3-м лице является еще именем и потому передает синтаксические связи так же, как и другие члены предло-

---

[10] На этом основании, т. е. на выражении предикатом самого субъекта, и строится мною основное определение глагольной формы как особого вида предикативного выражения, о чем см. ниже.

[11] См.: Марр Н. Я. Право собственности по сигнализации языка в связи с происхождением местоимений. — ИР, III, с. 180—198.

* Здесь допущена неточность: объектный согласователь m является не вариантом префикса I класса um, а показателем объекта 3-го лица ед. числа и этимологизируется как вариант показателя класса так называемых «сугубо активных лиц».

[12] См. с. 130 и сл.

жения, в данном случае согласованием классными показателями, т. е. теми же, которые наличны в выражении атрибутивных отношений.

Такое положение ясно прослеживается на рассматриваемых нами материалах языков банту.

В 3-м лице положение глагола в этих языках резко меняется. Он не получает местоименной приставки и снабжается взамен ее классным аффиксом, включаясь тем самым в общее число определителей имени, получающих от него соответствующий его классный показатель. Глагол в этом случае как бы переходит на положение определителя имени в его действии или состоянии (предикат). Поэтому в 3-м лице глагол сближается с именем и получает именную форму. Как и определитель, он не принадлежит ни к одному классу, но получает отношение к нему в порядке согласования с именем. В этом случае имя оказывается ведущим членом предложения, предикат же отступает на второе место, ср. суахили vi-tabu hi-vi vi-metungwa [13] 'книги эти составлены',[14] зулу ⸢l⸣i-hashe e-li-ncinane [15]* li-shiya ama-hashe ama-kulu 'лошадь маленькая оставляет позади лошадей больших'.[16] В последней фразе глагол lishiya 'оставляет позади' получил классный показатель (li) от определяемого им субъекта действия 'лошади': ⸢l⸣ihashe. Здесь глагол lishiya оказывается в том же положении, как и другой определитель (elincinane 'маленькая'), равным образом связанный с тем же именем ⸢l⸣ihashe и выступающий в роли его атрибутивного приложения, тогда как первый (lishiya) играет роль предикативного определения. Синтаксическая же позиция обоих близка. Оба они снабжены одним и тем же классным показателем (li-), полученным от одного и того же слова (⸢l⸣ihashe), определителями которого они являются: один из них (elincinane) — атрибутивный, другой (lishiya) — предикативный. Последний, не имея в 3-м лице личного показателя и снабженный только классным показателем, не отличается в данном своем оформлении от прочих наличных в той же фразе именных форм. Здесь предикат указывает на субъект, так же как и другие его определители.

Положение не меняется и в том случае, когда предикат в том же

---

[13] Приставка wa в глагольной форме vimetungwa указывает на пассивное состояние субъекта. Тут же показатель прошедшего совершенного времени me.

[14] Из газеты «Mambo Leo», Machi 1936, № 159, 38. За указанные примеры и неоднократную консультацию приношу глубокую благодарность Н. В. Юшманову, И. Л. Снегиреву и П. А. Алексееву.

[15] В слове elincinane начальное e служит связующею частицею изафетного типа (указание Н. В. Юшманова).

* Показатель e-li состоит из двух элементов: атрибутивного показателя *a* и префикса V согласовательного класса ilit. Гласный *e* возникает на стыке двух морфем в результате слияния двух гласных (a)+(i), по существующему в языке зулу закону слияния гласных на границах морфем.

[16] Надпись на гравюре из газеты «Umsebenzi»; см.: Снегирев И. Л. Материалы по современной социально-экономической терминологии в языках зулу, коса и суто. — Вестник языка и мышления, М.—Л., 1937, т. I, с. 50.

3-м лице получает субъектно-объектное согласование, т. е. получает в 3-м лице классные показатели обоих: ubu-hlalu be-tu o-bu-ncane bu-lalekile bo-nke kodwa o-bu-kulu lo-bu i-bu-tolile in-tombi le-yo e-ncane 'бусины наши маленькие потерялись все, но большие эти собрала девочка та маленькая' (пример на языке зулу). В этой фразе объект ubu-hlalu 'бусины' объединил своим классным показателем (ubu → bu, be, bo) все свои атрибутивные определения (betu 'наши', o-bu-ncane 'маленькие', bo-nke 'все', o-bu-kulu 'большие', lo-bu 'эти'), так же как объединил с собою и предикативные определители (bu-lalekile 'потерялись', i-bu-tolile 'она-их-собрала'), из которых последний получил также показатель субъекта (in → i, e),[17] наличный в слове 'девочка' (in-tombi, где классным показателем является in). Два имеющихся в данном предложении предиката (bulalekile, ibutolile) различаются формально только тем, что один из них определяет состояние субъекта (бусины находятся в состоянии потери) и потому носит один лишь субъективный показатель, тогда как второй определяет субъект в его действии, направленном на объект, ввиду чего снабжается показателями обоих (действие девочки направлено на те самые бусины, которые в первой половине фразы, определяясь в своем состоянии, были субъектом предложения).[18]

Такое указание в предикате на два наличные в предложении члена, субъект и объект, ставит совершенно по-новому вопрос о его согласовании. Так как он согласован с обоими, то спрашивается, кто же является тут подлежащим?

Обратимся вновь к приведенной фразе суахили watu wema wanakisoma kitabu hiki kizuri 'люди хорошие читают книгу эту красивую'. Здесь оба члена предложения (wa-tu 'люди', ki-tabu 'книга') равноправно выражены в предикате (wa-na-ki-soma), который содержит только указания на них обоих. Взятый в отдельности, вне контекста фразы, предикат не точен в их конкретизации. В этом легко убедиться при сопоставлении предикативных форм в разных лицах: тогда как предикат в первых двух лицах передает действие определенного лица на какой-то предмет (ni-me-vi-tunga 'я-их-составил', т. е. я действую на кого-то, принадлежащего к классу vi), он же в 3-м лице передает чье-то действие, направленное на что-то или на кого-то (wa-na-ki-soma — кто-то, принадлежащий к классу wa, читает что-то, принадлежащее к классу ki).

В предыдущем примере, где шла речь о девочке и бусине, мы имели два предложения. В одном из них был субъект (бусина), находящийся в состоянии потери, в другом был субъект действия (девочка).

---

[17] В слове le-yo 'та' имеется тот же классный показатель i, который, стоя перед релятивным суффиксом *o*, обратился в дифтонг (yo).

[18] Об этом см. ниже в определении абсолютного падежа эргативного предложения, с. 269 и сл.

Во втором примере, с книгою, субъект состояния попал в одно предложение с субъектом действия (люди читают книгу) и воспринимается нами, по контексту фразы, как объект.

В этом последнем построении двустороннее согласование предиката равняет его на оба синтаксические комплекса, из которых один (kitabu niki kizuri 'книги эти хорошие') характеризуется предикатом в его состоянии, а другой (watu wema 'люди хорошие') в его действии: хорошие люди действуют на книгу, тогда как красивая книга оказывается в положении чтения.[19] Отсюда можно прийти к выводу, как это нами и было уже сделано, что предикат в данном построении имеет одновременно два согласованных с ним члена предложения, определяемые один — в действии, а другой — в состоянии. Такая схема не свойственна индоевропейским языкам с их номинативным строем предложения. Обращая преимущественное внимание на согласование предиката, можно было бы признать, что в данного рода предложении языков банту имеется синтаксический комплекс субъекта, определяемого в его состоянии, и синтаксический комплекс другого субъекта, определяемого в его действии.

Предикат во всех указанных случаях получает показатель субъекта в порядке согласования с ним, тогда как сам в себе не носит субъектного выражения, как это мы видели в первых двух лицах, где в предикативную форму включается сам субъект, а не его показатель, прибавляемый по линии согласования: ngi-shiya 'я-оставляю-позади', u-shiya 'ты-оставляешь-позади' и др. Тут субъект (ngi 'я' 'ты') наличествует, тогда как в 3-м лице (shiya) субъекта нет. Он присутствует во фразе и передает свой классный показатель предикату: li-hashe li-shiya 'лошадь оставляет позади'.

В последнем случае «имя-глагол» не самостоятельно в предложении, но, будучи именною формою, оно может по смыслу фразы использоваться и в самостоятельном значении. Тогда оно попадает в особый класс «отглагольных имен», класс имен, выражающих понятия действия или состояния (например, в зулу класс uku: uku-tanda 'любовь', 'любить', uku-tola 'иметь', uku-shiya 'оставление позади', 'оставлять позади' и т. д.). Этот класс имен соответствует лишь до известной степени отглагольной именной форме инфинитива.

Если в первых двух лицах предикат включает выражение субъекта и является поэтому глаголом, то в 3-м лице предикат в языках банту сохраняет еще именную форму, используемую как определитель отдельно стоящего субъекта в его действии и состоя-

---

[19] Структура предиката в этом случае имеет явно выраженную форму, синтаксически сближаясь с другими определителями, получающими показатели от семантически связанных с ними имен. Тем самым устанавливается определительное значение предиката. Но это его значение качественно отлично от атрибутивного, поскольку атрибут является второстепенным членом предложения, тогда как предикат оказывается главною и непременною частью фразы.

нии. Все же, тем не менее, и эта предикативная форма включается в общую глагольную парадигму как 3-е лицо глагола. Попадая в глагольную парадигму, она остается с нулевым показателем: ngi-tola 'я имею', u-tola 'ты имеешь', tola 'имеет', ср. aba-ntu ba-tola 'люди имеют'. Здесь ba-tola получило классный показатель только потому, что согласовано с существительным, относящимся к классу aba → ba (aba-ntu 'люди').

По двустороннему согласованию с субъектом и объектом предикат в этих условиях не является тем сказуемым, которое в индоевропейских языках согласуется только с подлежащим. Если бы мы признали наличие такого подлежащего в означенном предложении, то их, судя по согласованию с глаголом, оказалось бы два, причем одно из них служило бы во фразе субъектом, а другое объектом. Для подлежащего индоевропейских языков такое положение невозможно. Отсюда следует вывод о том, что в разбираемом нами предложении суахили нет подлежащего и сказуемого, свойственных номинативному предложению с односторонним согласованием глагола. Последний согласуется с формально действующим во фразе лицом (грамматический субъект), которым может быть как субъект (действительный залог), так и объект (страдательный залог): «Хорошие люди читают красивую книгу», «Красивая книга читается хорошими людьми».

При согласовании переходного глагола в языках банту одновременно с двумя членами предложения руководящая по содержанию фразы роль одного из них отличается в предложении иными синтаксическими средствами, а именно местом в предложении. Тот его член, который выделяется по содержанию фразы, занимает первое место. Здесь ставится глагол в первых двух лицах, содержащий в себе выражение действующего лица, здесь же ставится логический объект при пассивном обороте предложения, здесь же стоит действующее лицо при двустороннем согласовании переходного глагола. Таким образом, не согласование с глаголом устанавливает в языках банту ведущий член предложения, а место во фразе. Согласование само по себе выполняет лишь функцию соединения обоих, выражая переход действия с субъекта на объект. Субъект состояния оказался в этом случае объектом.

Особая синтаксическая функция предиката зависит от содержания фразы. В том случае, когда предикат определяет состояние субъекта, выражается пассивное содержание последнего. Когда же предикат характеризует субъект в его действии, он выступает в активном значении. Например: nimetunga vitabu hivi 'я составил книги эти', vitabu hivi vimetungwa kwa mimi 'книги эти составлены посредством меня' (примеры из языка суахили). В обоих примерах имя существительное vitabu передает свой классный показатель во множественном числе vi (ср. ед. число kitabu) своему атрибутивному определителю hivi 'эти'. Глагол же в первой фразе (ni-metunga) имеет лишь местоименную приставку ni. Во второй фразе предикат vi-metungwa не получает местоимен-

ной приставки и ограничивается согласованием со словом vitabu 'книги'. Тем самым устанавливается связь предиката с субъектом, которым на этот раз оказываются vitabu 'книги', которые в первой фразе выступают в роли объекта. Глагол-предикат nimetunga, содержащий в себе действующее лицо (ni 'я'устанавливает действие, направленное на книги, тогда как имя-предикат vimetungwa, в котором окончание wa указывает на пассивность субъекта, определяет его состояние. В итоге получается сближение с действительным и страдательным залогами индоевропейских языков.[20]

Но такое сближение с нашими залогами на самом деле оказывается в данном случае лишь кажущимся. Оно выступает только в примерах с односторонним согласованием глагола. При двустороннем же его согласовании получается совершенно иная схема. Так, например, глагол в сочетании nimetunga vitabu 'я составил книги' может получить также классный показатель объекта: nimevitunga vitabu 'я-их-составил книги' и т. д. Различие обеих глагольных форм заключается в согласовании второй с объектом при отсутствии такового согласования в первой. Все же в обоих случаях имеется уже глагольная форма, в которой действующее лицо представлено полностью (nimetunga 'я-составил'). Объект же действия, даже в том случае, когда его классный показатель инфиксируется в глагол (ni-me-vi-tunga 'я-их-составил'), передает глаголу лишь связующий с собою показатель vi, оставаясь сам в положении самостоятельного члена предложения. Таким образом, глагол содержит в себе не сам объект, как это мы видим в гиляцком инкорпорировании ḥirbəkzḍ 'чашкопотерял', а лишь указание на него. Обособленное положение 3-го лица глагола прослеживается в целом ряде языков. Так, например, в эскимосских (в алеутском) первые два лица образуются от 3-го добавлением соответствующего личного местоимения: *игаку-х'* 'летит', *игаку-х'-тин'* → *игаку-к'-ин'* 'лечу-я', *игаку-х'-тхин* 'летишь-ты', тогда как само 3-е лицо получает именные формативы: *игаку-х'* 'летит', *игаху-х* 'они двое летят', *игаку-н* 'они летят' (ср. *ула-х'* 'дом', *ула-х* 'два дома', *ула-н* 'дома'). Такое 3-е лицо глагола, оказавшись во фразе, не отличается своим окончанием от других наличных имен: *аяга-х' ун'учику-х'* 'женщина сидит'. Предикат в данном случае по своей форме не оказывается глаголом, он воспринимается как таковой лишь по аналогии с первыми двумя лицами и равным образом включается в глагольную парадигму.

Особое положение 3-го лица и образование от него первых двух прослеживается также в тюркских языках, например в ту-

[20] Всякий транзитивный глагол (в немецком языке) позволяет выразить то или иное отношение в объективной действительности с двух точек зрения: 1) с точки зрения субъекта как подлежащего, 2) с точки зрения объекта как подлежащего. Грамматическая категория, выражающая направленность действия, называется залогом. См.: Зиндер Л. и Сокольская Т. Научная грамматика немецкого языка. Л., 1938, с. 119, § 211.

рецком анатолийском, в котором от глагола gelmek 'приходить' имеем 3-е лицо gel-di 'он пришел' и образованные от него первые два лица: gel-di-m 'я пришел', gel-di-n 'ты пришел'.[21] В мордовских языках 3-е лицо глагола есть причастие в отличие от спрягаемых 1-го и 2-го лица: nold-an 'я пускаю', nold-at 'ты пускаешь', noldi 'он пускает' ('пускающий') и т. д.[22] Сходное положение встречаем и в чукотском языке: *нытъылкин* 'больной', 'он болеет' и др.

При всем своем отличии от двух первых лиц 3-е лицо, сохраняя именную форму, все же входит в одну с ними схему глагольного спряжения, хотя и не имеет местоименных показателей лица. В целом ряде языков 3-е лицо и формально ничем от них не отличается, в особенности в языках с личным, а не местоименным спряжением. Так, например, в индоевропейских языках каждое лицо получает свой особый показатель. Это прослеживается и по материалам многих других языков, ср. немепу kusa, à kusa, hi-kusa; немецкое geh-e, geh-st, geh-t; французское (в фонетическом написании): je-march, tu-march, il-march; русское *ид-у*, *ид-ешь*, *ид-ет* и др.

Часть речи — глагол выступает, таким образом, во всех трех лицах и, изменяясь по лицам, выделяется в лексическом составе по этому своему синтаксическому свойству. Глагол изменяется по лицам, потому что выступает в роли предиката и, являясь лишь предикативным выражением, отличается тем самым от других лексических групп. Все же в ряде языков наблюдается близость глагола и имени. Глагольная основа может склоняться, например, в чукотском: *вакота тымигчирэтыркын* 'сидя я работаю' (основа *вакота* стоит в творительном падеже). Но и имя может спрягаться. В абхазском языке каждое прилагательное или существительное, попадая в предикат, подчиняется всем условиям абхазского спряжения: sara sə-bzioup 'я хорош', wara u-bzioup 'ты хорош', bara bə-bzioup 'ты хороша' и т. д. (точнее, 'я хорошею', 'ты хорошеешь').[23]

Подобного рода вербализацию любой части речи, попадающей в предикат, можно проследить в целом ряде языков, не исключая до известной степени и самих европейских. В бурятском языке имеются специальные предикативные суффиксы, используемые для образования форм предиката. Эти суффиксы не являются вспомогательными глаголами. Они — местоименного происхождения (ср. bi 'я', предикативный суффикс 1-го лица b; ṣi 'ты', предикативный суффикс 2-го лица ṣ). Указывая, таким образом, лицо и являясь тем самым личными показателями, они сближают именную

---

[21] Новое учение, с. 229—230.
[22] Там же, с. 238.
[23] Местоимения в абхазском языке имеют свое соответствие в местоименных глагольных приставках: 1-е лицо sara → sə, 2-е лицо мужского класса wara → w/u, 2-е лицо женского класса bara → bə. Имя, снабженное этими местоименными приставками, получает в предикате показатель времени, в данных примерах аориста, соответствующего в русском переводе настоящему времени. См.: Услар П. К. Абхазский язык. — ЭК, I, с. 17—18.

форму с предикативною глагольною: erə-b 'я мужчина', erə-ş 'ты мужчина'; axa-b 'я старший брат', axa-ş 'ты старший брат'. Предикативные суффиксы присоединяются не к основе, но к именительному падежу, а также к любой падежной форме, как простой, так и с личными или возвратными местоимениями: xybȳnşn'əb 'я твой сын', xybȳn'in'əb 'я его сын'; alairaib 'я алаирский' (от род. падежа alairai, при им. alair).[24] Такие отыменные глагольные формы могут изменяться по временам, получая обычные глагольные показатели времени и лица, например, в прошедшем совершенном 1-е лицо ham, 2-е лицо han'ş: ygeiteiham 'я был беден', ygeiteihən'ş 'ты был беден' и т. д.

Все приведенные формы бурятского именного сказуемого имеют явно глагольное построение, и сами предикативные суффиксы являются в то же время не чем иным, как суффиксами глагола в соответствующем времени и лице, ср. jaba-na-b 'я иду', jaba-na-ş 'ты идешь'; jaba-ham 'я пошел', jaba-hanş 'ты пошел' и др.[25] Предикативные показатели здесь объединяются с глагольными.[26]

Такое объединение показателя глагола с предикативным показателем имени нередко смущает исследователя. У него возникает сомнение: не следует ли считать последнее за глагол? Мне кажется, что это сомнение вызывается отсутствием четкого различия между частью речи и членом предложения. Когда мы говорим, например, что прилагательное субстантивируется, мы вовсе не всегда предполагаем, что прилагательное обратилось в существительное. Мы имеем иногда в виду лишь то, что прилагательное заняло в предложении место самостоятельного его члена, получив тем самым свойства существительного. Оно перестало быть определителем другого имени в данном построении предложения. То же самое можно сказать и о предикативных формах имени.

Действительно, рассматривая приведенные случаи предикативного использования имени, можно сделать вывод, сводящийся к следующему: или всякая часть речи, попадая в предикат, становится глаголом, или же имя остается и в этом случае именем, но снабжается предикативными показателями. На последнее понимание данного явления стал Н. Н. Поппе в своей грамматике бурят-монгольского языка,[27] то же устанавливает Г. Н. Прокофьев

---

[24] Все примеры и объяснительный текст взяты мною из работы: Поппе Н. Н. Грамматика бурят-монгольского языка, с. 183—186, с сохранением транскрипции.

[25] Там же, с. 207, 208, 213 и др.; ср. в абхазском, кабардинском и других языках.

[26] В письменном монгольском языке имеется обратное явление: именные формы сохраняются в предикате, давая явно выраженную схему именного построения, но в этом языке глагол не изменяется по лицам, т. е. не имеет спряжения. См.: Поппе Н. Н. Грамматика письменно-монгольского языка. М.—Л., 1937, с. 113—114.

[27] Поппе Н. Н. Грамматика бурят-монгольского языка, с. 183—188.

по материалам ненецкого языка,[28] так же полагает и ряд других исследователей.[29]

Идя по правильному пути, все эти исследователи не отрицают схождения данных именных предикативных форм с глагольными,[30] а иногда даже и тождества формантов. Отсюда, мне кажется, можно прийти только к одному заключению, а именно, что имя получает предикативные формы оттого, что оказывается в роли предиката, а если они совпадают с глагольными формами, то и последние являются в этих языках не чем иным, как предикативным оформлением имени. Следовательно, глагол вышел из имени и стал глаголом потому, что предикат закрепил за ним свои показатели, обратившиеся затем в глагольные. При таких условиях становится понятным в рассмотренных нами языках близость к именной форме глагола в 3-м лице личного местоименного спряжения, где местоименные приставки отсутствуют за неимением личного местоимения в этом лице.[31]

Таким образом, на затронутом нами языковом материале ясно выступает особое значение, которое имеет оформление самого предиката, снабжение используемого им имени теми или иными видами местоименных приставок. Ими выражается субъект, следовательно, в известном периоде развития речи включение в предикат выражения субъекта сыграло свою роль в образовании глагольной формы.[32]

Когда эти показатели субъекта, в первую очередь личные и притяжательные, оказываются одними и теми же в предикате и в именах, стоящих вне предиката, имеется схождение глагольных форм с именными (ср. притяжательные оформления имени и глагола). Когда же эти предикативные в своей основе показатели видоизменяются и становятся специальными показателями той части речи, которая используется только в предикате, получается расхождение имени и глагола (ср., например, личное спряжение).

Богатый материал для анализа взаимоотношений глагольных форм с именными представляют яфетические языки Северного

---

[28] Прокофьев Г. Н. Ненецкий (юрако-самоедский) язык. — ЯПНС, I, с. 34.

[29] Неучет данного положения привел В. И. Иохельсона к признанию притяжательной именной предикативной формы унанганского языка за глагольное спряжение, см. выше с. 145 и сл. В унанганском языке предикативная форма имени отличается от глагольной тем, что имеет притяжательные местоименные приставки вместо личных и различные показатели времени в давнопрошедшем.

[30] В индоевропейских языках глагол имеет уже свойственное только ему личное спряжение, но глагол как часть речи сохраняет тесную связь с предикатом. Предикативный показатель в именном предложении этих же языков можно усмотреть в связке (вспомогательный глагол).

[31] Таким образом, разобранный выше на материалах унанганского языка ход образования глагольной формы от именной (см. с. 128 и сл.) подтверждается анализом материала целого ряда языков других систем.

[32] См.: Марр Н. Я. 1) Актуальные проблемы. . ., с. 66—67; 2) Происхождение терминов *книга* и *письмо*, с. 222; 3) Постановка учения об языке в мировом масштабе и абхазский язык. — ИР, IV, с. 63 и др.

Кавказа. Наличие в одних из них и отсутствие в других личного спряжения глагола и деления имен существительных на классы дает крайнее разнообразие в способах передачи синтаксических отношений в предложениях одной и той же значимости. Благодаря этому многие спорные моменты в одних языках вскрываются материалами других.

В некоторых яфетических языках глагол изменяется по лицам и в порядке согласования получает классные показатели других членов предложения (даргинский, лакский и пр.), в некоторых он не изменяется по лицам и лишь согласуется теми же классными показателями (аварский, цезский) или изменяется только по лицам, не получая никаких классных показателей (удинский), в некоторых он не получает классных показателей и не изменяется по лицам (лезгинский). Образуются различные построения предложений, более ярко или менее ярко выявляющие глагольную форму, но при всем отмеченном расхождении в формальной стороне предиката все же имеется в яфетических языках одно общее для всех положение. Это будет прикрепление определенной группы глаголов к определенным конструкциям предложений. Это правило сохраняется даже в тех случаях, когда отсутствует личное спряжение.

Благодаря такому точно соблюдаемому правилу яфетические языки имеют различную структуру предложений безобъектных, эргативных, поссессивных и аффективных. Каждая из этих конструкций предложения имеет свой падеж субъекта, как-то: абсолютный в безобъектных предложениях, инструментальный (в его эргативном значении) или активный в эргативных, родительный в поссессивных, дательный в аффективных. Объект в тех конструкциях предложений, в которых он имеется, ставится в абсолютном падеже, тогда как предикат всегда связан с субъектом, но различными синтаксическими средствами в различных языках.

Здесь решающими являются не только упомянутые выше конструкции предложений, безобъектных, эргативных и т. д., они остаются теми же, — но также и только что отмеченные различные в названных языках способы построения предиката использованием в нем личного спряжения и классных показателей. Не во всех яфетических языках имеется личное спряжение. При отсутствии такового предикат не содержит в себе выражения субъекта (ср. аварский дагестанский язык), иногда он не содержит в себе даже и указания на него классными показателями.

В последнем случае устраняется возможность видеть в самом предикате выражение действующего лица. Предикат оказывается тут бессубъектным по своей структуре. Тем самым получается близость между именем и глаголом как частями речи. Все же связь предиката с субъектом сохраняется и при этих условиях, но, при наличии бессубъектного предиката, она выявляется синтаксическими показателями самого предиката, в первую очередь его местом во фразе.

Предикат в этом его виде, столь необычном для европейских языков, очень ярко выступает в лезгинском языке, где глагол не изменяется по лицам и не получает никаких классных показателей, т. е. формально не связывается ни с каким другим членом предложения в порядке согласования с ним. Он стоит совершенно обособленно, выделяясь только изменениями по временам. Никакого выражения действующего лица в нем не содержится, и при таких условиях субъект должен отдельно стоять во фразе: *зун хъсанди я* 'я хорош', *вун хъсанди я* 'ты хорош', *ам хъсанди я* 'он хорош', *инсан хъсанди я* 'человек хорош', *кIвал хъсанди я* 'дом хорош' и т. д. Предикат во всех приведенных примерах остается тем же самым, меняются лишь стоящие в предложении субъекты.

Предикат в лезгинском языке занимает в предложении совершенно самостоятельное место. Он ни с чем не согласован, и синтаксическая связь его с другими словами предложения устанавливается местом во фразе. Взятый в отдельности из состава предложения, он никакого законченного содержания фразы в себе самом не заключает. Это лишь член предложения и потому не является законченным предложением, которым может быть отдельно взятая глагольная форма, спрягаемая по лицам.

Субъект непереходного предложения и объект предложения с переходным значением ставятся в одном и том же абсолютном падеже (*инсан* 'человек', *кIвал* 'дом'), а действующее лицо при переходном глаголе получает свое особое оформление (*инсанди*): *инсан физва* 'человек идет', *кIвал акъвазнава* 'дом стоит', *инсанди кIвал эцигзава* 'человек строит дом'.[33]

Субъект при переходном глаголе получает свое специальное выражение особыми, лишь ему свойственными падежными суффиксами (*ди*, *жи*, *ни*, *ра*, *ре*, *а*, *е*, *и*, *у*).[34] В этом случае мы имеем, ярко выраженный активный падеж, оформляющий только действующее лицо.[35] Поэтому он наличен лишь при переходных глаголах. При непереходных имеется не субъект действия, а субъект состояния. Таким образом, в лезгинском языке прослеживаются два падежа субъекта, один для субъекта состояния (пассивный), другой для субъекта действия (активный). Такой выразитель субъекта действия оказывается чистым активным падежом, в ином значении вовсе неупотребляемым. Это не падеж выпол-

---

[33] При ознакомлении с материалами лезгинского языка я воспользовался помощью студента ЛГУ З. С. Магомедова, которому крайне обязан за данные мне указания. См. также: Услар П. К. Кюринский язык. — ЭК, VI, 1896.

[34] См. там же, с. 23 и сл. Падеж на *жи* включается мною по указанию студента З. С. Магомедова, он же прослеживается и по материалам Услара, см. там же, с. 490 под словом *къван* 'камень'.

[35] Активным падежом я называю тот падеж, который, даже в том случае, когда он оказывается косвенным по форме, используется только для выражения действующего лица при переходном глаголе и вовсе не употребляется в каком-либо значении косвенного падежа.

нителя действия, а падеж действующего лица.[36] Для выражения орудия действия используется другой падеж, обычно именуемый падежом посредства:[37] ср. *нажах-ди кIарсар кIукIварна* 'топор дерево разрубил', *буба-ди нажах-далди кIарсар кIукIварна* 'отец топором дерево разрубил'; *перо-ди чар кхьизва* 'перо письмо пишет', *буба-ди перо-далди чар кхьизва* 'отец пером письмо пишет'; *къван ала* 'камень лежит (находится)'; *инсан-ди къван гадарзва* 'человек камень бросил', *инсан-ди къван-жалди гъуьлегъ рекьизва* 'человек камнем змею убивает' и т. д.

Различие взаимоотношений членов предложения влечет за собою различие синтаксических построений, в той или иной степени устанавливая действующий строй речи изучаемого языка.[38] Так, например, отсутствие согласования предиката с субъектом при помощи личных окончаний в первом приводит в лезгинском языке к выявлению их взаимосвязи иными формальными путями, а именно расстановкою слов и грамматическим, в данном случае падежным, оформлением управляемых членов предложения. Субъект предшествует предикату, в частности непосредственно примыкает к нему перед ним же стоящий субъект состояния, он же всякий вообще субъект при непереходном глаголе и объект при переходном: *инсан физва* 'человек идет', *кIвал акъвазнава* 'дом стоит', ср. *инсанди кIвал эцигзава* 'человеком дом строится' (т. е. 'человек строит дом').

При образовании предикативной формы в лезгинском языке широко используется вспомогательный глагол. Он изменяется по временам. Этим, главным образом, выделяется в предложении глагол, следовательно и предикат. Им устанавливается, что

---

[36] На основании этих данных можно было бы уточнить падежную терминологию: абсолютный падеж выражает субъект состояния, активный падеж выражает субъект действия. Эргативным же падежом при таких условиях придется назвать используемый для выражения действующего лица косвенный падеж всякого выполнителя действия, наличный в этом значении в данном языке.

[37] Я не касаюсь сейчас вопроса о генезисе этого падежа, образованного от того же активного, от которого образуется целый ряд косвенных падежей — родительный, дательный, все местные падежи покоя и движения. Данный падеж посредства не только образован от активного, но имеет его же суффикс, повторенный в конце. Ср. аварский язык, в котором действующее лицо переходного глагола может стоять в творительном падеже, от которого образуются те же косвенные падежи. См.: Услар П. К. 1) Кюринский язык, с. 22, 37; 2) Аварский язык. — ЭК, III, с. 37, 66, 92—93. По утверждению Н. Ф. Яковлева, активный падеж в кабардинском языке употребляется также в значении родительного, дательного, творительного и местного; см.: Яковлев Н. Ф. Краткая грамматика кабардино-черкесского языка, вып. I. Ворошиловск, 1938, с. 127.

[38] К особенностям строя лезгинского языка относится также и то, что прилагательные в нем выступают как имена качества. Они ставятся обыкновенно впереди определяемых ими существительных, причем не подлежат никаким изменениям, ни по падежам, ни по числам. Они склоняются, когда занимают самостоятельную позицию существительного. См.: Услар П. К. Кюринский язык, с. 55, §§ 73, 74. Ср. то же в тюркских языках.

кто-то действует и испытывает на себе совершаемое действие, но кто именно, в предикате не отмечается.

Несколько полнее отражается в предикате связь его с другими членами предложения в тех языках, в которых имеется деление имен существительных на классы (ср. аварский язык). Но и здесь получается лишь частичное уточнение, так как классный показатель обозначает принадлежность имени к определенному классу, а вовсе не отдельное имя. При таких условиях отмечаемое в предложении имя конкретизуется контекстом всегда, даже когда действуют 1-е и 2-е лица, не имеющие классных показателей.

Отсутствие личного спряжения вынуждает и здесь оттенить в предложении субъект даже тогда, когда действие исходит или испытывается первыми двумя лицами. Не отмечаемые в предикате, они нуждаются в своей конкретизации во фразе. Например, в аварском языке глагольное окончание изменяется с изменением времен, но в одном и том же времени оно остается неизменным для всех лиц и для обоих чисел;[39] *чІчІола* означает в аварском акт становления, оно не указывает, кто именно действует или испытывает данный акт. Поэтому субъект уточняется контекстом предложения: *дун чІчІола* 'я становлюсь', *мун чІчІола* 'ты становишься', *дов чІчІола* 'он становится', *дой чІчІола* 'она становится' и др. Такое же предикативное выражение имеется и в тех случаях, когда предикат получает классный показатель субъекта: *вац инев вуго* 'брат идет', *вац квачан вуго* 'брат холоден' ('брату холодно'), *яц* (*йац*) *иней йиго* 'сестра идет', *яц* (*йац*) *квачан йиго* 'сестра холодна' ('сестре холодно').

При всем своеобразии строя аварского языка с его развитым склонением имен и сложным построением предложения все же и в нем можно установить те же атрибутивные и предикативные отношения, которые столь ярко обнаружились в гиляцком инкорпорировании. Вспомним и сопоставим приведенные выше гиляцкие построения: əḫrqan 'черпособака' ('черная собака'), qan əḫrḍ 'собака черна'. В первом примере 'черный' определяет качество или свойства субъекта (атрибутивное выражение), во втором — его состояние (предикативное выражение). Близкая схема, но уже с помощью вспомогательного глагола, а не предикативного оформителя ḍ, как в гиляцком, выступает в аварском: *дир кІудияв вац* 'мой большой брат', *дир вац кІудияв вуго* 'мой брат велик', ср. во французском mon grand frère, mon frère est grand.[40] Качественное различие этих построений достаточно ясно: тогда как

[39] Услар П. К. Аварский язык, с. 118; Жирков Л. И. Аварско-русский словарь. М., 1936, с грамматическим очерком в конце. В закатальском диалекте аварского языка, в отличие от аварского дагестанского, глагол, помимо классных показателей, получает также и личные окончания. Тем самым в его глаголе могут выражаться субъектно-объектные отношения по нормам, сближающимся с нормами даргинского языка. Сведения о закатальском аварском диалекте мною получены от аспиранта Азербайджанского филиала АН СССР А. Махмудова.

[40] Услар П. К. Аварский язык, с. 86.

в гиляцком языке предикат (член предложения) сохраняет именную форму (часть речи), в аварском он в своем грамматическом оформлении сближается с глаголом настолько, что именному построению сопутствует вспомогательный глагол, хотя сам вспомогательный глагол еще близок к именной форме, в свою очередь не изменяясь по лицам и получая классный показатель по согласованию с субъектом: *вуго*, *йиго*, *буго* (с показателями классов мужского, женского и пассивного, или, по Услару, неразумных существ и предметов).

Классное согласование глагола в названных яфетических языках дает по существу именную предикативную форму, которая все же выделяется от имени существительного своими временны́ми показателями. Имя существительное их не имеет.[41]

В аварском, цезском и других языках непереходный глагол по своему основному содержанию определяет состояние субъекта, что ясно следует из сходства таких построений, как *яц иней йиго* 'сестра идет', *яц квачан йиго* 'сестра холодна'. В первом из них субъект устанавливается в его состоянии хождения, а во втором — в состоянии испытывания холода. Сходство конструкций, все же при различии их понимания ('сестра идет' воспринимается уже активно), указывает на общность непереходных глаголов с глаголами состояния в их далеком прошлом.

Субъект при глаголах состояния испытывает на себе действие, следовательно, оказывается пассивным. Таким образом, и здесь в основе лежит не выражение состояния, а выражение действия, устанавливаемого в своей направленности на пассивный субъект. Затрагивая вопрос о мнимой «пассивности» в конструкции яфетических языков, С. Л. Быховская с полным основанием признала, что «субъект глагола непереходного воспринимается так же, как прямой объект глагола переходного, следовательно, субъект непереходного глагола воспринимается как пассивный».[42]

В подтверждение правильности высказанного здесь положения можно привести такие сопоставления предложений с непереходными и переходными глаголами, как *й-егъвени кид й-аин* 'маленькая девочка пришла', *й-егъвени кидä б-исси б-егъвени гъайатІу* 'маленькая девочка взяла маленькую птичку' (примеры из цезского дагестанского языка). В первом примере *кид* 'девочка' передала показатель своего класса *й* определителям атрибутивному (*й-егъвени* 'маленькая') и предикативному (*й-аин* 'пришла'). Получилась цельность одного синтаксического комплекса с определяемою 'девочкою' в основе. Во втором примере *гъайатІу*

---

[41] Ср. в унанганском языке, в котором временны́е показатели может получать и имя, как это утверждает В. И. Иохельсон; см.: Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка. — ИАН, 1912, с. 1040.

[42] Быховская С. Л. Пассивная конструкция в яфетических языках. — ЯМ, II, с. 67. Тут же подробный разбор высказываний по тому же вопросу Fr. Müller, H. Schuchardt, C. Uhlenbeck, F. Finck, A. Trombetti, G. Deeters и других.

'птичка' снабдила своим классным показателем *б* два таких же определителя (*б-егъвени* 'маленькая', *б-исси* 'взята'), образуя один синтаксический комплекс, сходный с первым примером по нормам согласования, но отличающийся от него порядком размещения слов в комплексе.

Первый синтаксический комплекс в том же предложении, *й-егъвени кидӓ* 'маленькая девочка', не согласован со вторым и управляется им как косвенное дополнение, в связи с чем и стоит в косвенном падеже (*кид-ӓ*). Смысловое содержание фразы говорит о маленькой птичке, определяемой в ее взятии маленькой девочкой. Действие взятия определяет состояние маленькой птички и выполняется при посредстве маленькой девочки. Такое построение напоминает уже разобранную нами фразу из языка суахили: vitabu hivi vimetungwa kwa mimi, где синтаксический комплекс vitabu hivi vimetungwa 'книги эти составлены' объединен показателем класса vi, которому принадлежат книги (vi-tabu), выполнитель же действия стоит вне этого комплекса: kwa mimi 'посредством меня' ('мною').[43]

Сличение строя приведенных двух предложений цезского языка объясняет причину использования одного и того же падежа (*кид* 'девочка', *гъайатIу* 'птичка'), выражающего логически действующее лицо в предложении с непереходным глаголом и логический предмет действия в предложениях с переходным. В основе лежит, очевидно, восприятие состояния, испытываемого от действия. На той же основе строится и страдательный залог индоевропейской речи: *маленькая птичка взята маленькой девочкой*. Все же качественное различие синтаксического строя яфетических языков не допускает отождествления дагестанского предложения со страдательным залогом русского. Если, как мы видели, в целом ряде яфетических языков Дагестана предложения с переходным и непереходным глаголами имеют разную конструкцию, то, сопоставляя их со структурою соответствующих русских предложений, пришлось бы видеть наш страдательный залог и в русских глаголах состояния (средних) и вообще в непереходных глаголах, что может вызвать большие сомнения, поскольку страдательный залог устанавливается в его отношении к объекту, наличному только в переходных глаголах. Тем самым придется признать различия не только в строе предложения, но и в грамматических формах слов.

Классному показателю в предикате соответствует, как мы видели, имя в абсолютном падеже. Последнее выступает в предложении субъектом состояния, т. е. пассивным членом предложения. Следовательно, и оформляющий его абсолютный падеж оказывается, равным образом, пассивным. А так как именно ему и соответствует в глаголе классный показатель, то и этот последний по своему содержанию также пассивен. Поэтому и тот строй

---

[43] См. выше, с. 260.

глагола, который получает лишь классные показатели, будет равным образом пассивным. Значит, и предложения с таким глаголом оказываются тоже пассивными.

Здесь мы имеем пассивную конструкцию. Такую конструкцию трудно усмотреть в лезгинском языке, поскольку в нем отсутствуют классные показатели, но такая конструкция налична в дагестанском аварском языке, поскольку предикат в нем согласуется с другими членами предложения только классными показателями.

Другие синтаксические правила устанавливаются в тех яфетических языках, в которых глагол спрягается по лицам. В них, при наличии классного деления имен существительных, выделяемых в особую часть речи (так же как и во всех других яфетических языках), и при наличии иных имен, получающих классные показатели в порядке объединения с первыми в один синтаксический комплекс (прилагательные тоже как особая часть речи), имеется еще другая часть речи — глагол, изменяемый не только по времени, но и по лицам. Этот глагол, содержа в себе выражение действующего лица, представленного в нем местоименными или личными приставками,[44] получает также классный показатель в порядке согласования с именем существительным. Глагол в этом положении, с одной стороны, выделяется в самостоятельный член предложения, с другой же, включается в синтаксический комплекс, согласуясь с именем через классный показатель.

Такого рода особое положение предиката-глагола имеется в закатальском диалекте аварского языка. В нем в отличие от приведенного выше дагестанстого аварского глагол спрягается по лицам. Тем самым устанавливается связь его в переходных глаголах не только с объектом, но и с субъектом, и весь строй предложения, даже при тождестве многих других оформителей, в частности падежей, получает иное синтаксическое выражение. В этом нетрудно убедиться хотя бы по нижеследующим сопоставлениям:

Аварский дагестанский		Аварский закатальский диалект
дун чIчIола (*вуго*)	'я (муж.) становлюсь'	*дун чIунувишинов*
мун » »	'ты » становишься'	*мун чIунувишина*
дой » (*йиго*)	'она становится'	*дай чIунуйшина*
вац » (*вуго*)	'брат » '	*вац чIунувишина*

[44] Происхождение личных показателей из местоименных прослеживается по материалам некоторых языков с полной отчетливостью, например в абхазском, отчасти в грузинском и др. В ряде других языков генезис этих приставок не ясен. Личные показатели свидетельствуют о равенстве в восприятии действия или состояния всех трех лиц. В них, в отличие от местоименных показателей, даже 3-е лицо снабжается формантом таким же личным, как и в первых двух (*ид-у*, *ид-ешь*, *ид-ет*), а именно показателем 3-го лица вообще, который может отмечать отдельно стоящий в предложении субъект, класс или род которого никак не отражается в этом личном глагольном показателе.

Безличные формы в первом столбце [45] заменяются полною глагольною формою во втором. Получается схема, близкая к нашим подлежащему и сказуемому. Эта кажущаяся близость нарушается в предложениях с переходной семантикой. В них глагол получает согласование с субъектом, чего нет в аварском дагестанском переходном глаголе, хотя сам субъект действия остается в том же инструментальном падеже, как и в дагестанском. И если в последнем, при односторонней связи глагола только с объектом через его классный показатель, получается тип страдательного залога с отдельно стоящим субъектом действия в творительном (инструментальном) падеже, то в закатальском диалекте аварского языка выступает уже более сложное построение. В нем сохраняется тот же косвенный падеж субъекта действия при предикате, выражающем лицо данного субъекта:

Аварский дагестанский		Аварский, закатальский диалект
дица чу босула	'я (мужч.) лошадь покупаю (беру)'	*дилIлIа чу боснубишине*
вацас » »	'брат лошадь покупает (берет)'	*вацас* » *боснубишина*

В первом из них предикат, не изменяясь по лицам, согласуется только с объектом (классным показателем *б*), тогда как во втором глагол, сохраняя то же согласование с объектом, получает, кроме того, и согласование с субъектом, выраженным вовсе не особым падежом действующего лица (активным), а тем же, в котором ставится всякий выполнитель действия, т. е. не только действующее лицо, но и орудие действия (инструментальный падеж), ср. аварск. закатàльск. *имцу-д пIеро-д кагъар хIабишина* 'отец пером письмо пишет' (букв. 'отцом пером письмо его-пишет-он').

Строгий порядок размещения членов предложения сохраняет свою силу и в закатальском диалекте аварского языка. Так, объект предшествует предикату-глаголу, атрибутивные отношения выражаются постановкою определителя перед определяемым именем,[46] тогда как предикат ставится в конце. Попав в позицию предиката, имя, кроме того, получает глагольное оформление прибавлением вспомогательного глагола (связки), ср. аварск. дагестанск. *дир кIудияв вац* 'мой большой брат', *дир вац кIудияв вуго* 'мой брат велик'; аварск. закатальск. *дир кIуда вац* 'мой большой брат', *дир вац кIуда вугу* 'мой брат велик'.

[45] В скобках поставлен вспомогательный глагол, изменяемый только в части классных показателей, следовательно, тоже не по лицам (классные показатели во всех трех лицах одинаковы). Этот вспомогательный глагол может опускаться.

[46] В закатальском диалекте аварского языка, как на то указал мне А. Махмудов, прилагательное получает тенденцию утрачивать классное согласование с именем, им определяемым, т. е. может не снабжаться его классным показателем.

Здесь субъект определяется в его состоянии, поэтому стоит в абсолютном падеже, так же как и объект в приведенных выше предложениях с переходным глаголом. В том же положении оказывается и субъект безобъектных предложений; ср. аварск. закатальск. *дир вац кIунувишина* 'мой брат идет'.

В том случае, когда переходный по семантике глагол выступает в безобъектном предложении, он не только меняет свою переходную семантику, но и свою формальную сторону, получая одностороннее согласование с субъектом как классным показателем, так и личным окончанием: аварск. закатальск. *дун хIадарло* ⌜*в*⌝ 'я пишу',[47] *мун хIадарла* 'ты пишешь', *чи хIадарла* 'мужчина пишет', ср. *чи вегала* 'мужчина лежит', *чу бегала* 'лошадь лежит' и др.

Такое сравнение аварского дагестанского языка с закатальским диалектом в значительной степени помогает пониманию структурных особенностей первого. Становится ясным, что и в нем переходный глагол получает только внешнее сходство со страдательным залогом, сближаясь с ним только благодаря отсутствию изменения по лицам. Снабжаясь лишь классными показателями от наличного в предложении объекта, глагол в дагестанском аварском языке оказывается согласованным только с ним, в связи с чем субъект, стоящий в инструментальном (творительном) падеже, так же не связан с предикатом, как не связано с ним в порядке согласования и действующее лицо при страдательном залоге переходного глагола индоевропейских языков. Стоит появиться спряжению, которое мы видим в закатальском диалекте аварского языка, как получается явная эргативная конструкция с субъектом в косвенном падеже и согласованным с ним глаголом.

Части речи остаются в обеих разновидностях аварского языка теми же самыми, хотя качество их меняется, равно как теми же, по существу, сохраняются и члены предложения. Но и в них наблюдается некоторое изменение; так, например, в закатальском диалекте выступает глагольная форма, содержащая в себе выражение действующего лица. Поэтому все главные члены предложения оказываются увязанными с предикатом путем согласования, тогда как в дагестанском последний сохраняет независимое от субъекта положение в предложениях с переходной семантикой. В них он, входя через классный показатель в один комплекс с объектом, в то же время еще не закончен в передаче содержания цельной фразы. Он выражает лишь действие без указания на того, кто действует. Для полноты предложения присутствие последнего при таких условиях оказывается обязательным.[48]

---

[47] В непереходном значении, т. е. занят вообще процессом писания без какого-либо указания на то, что́ именно пишется (ср. то же в абхазском).

[48] Закатальский диалект аварского языка совершенно не изучен, и первые шаги в его научной разработке делает уже упоминавшийся мною аспи-

Такую же схему, как в закатальском диалекте аварского языка, мы уже имели случай наблюдать в даргинском предложении *нуни хабушира галга* 'я срубил дерево'. Глагол *хабушира* стоит в 1-м лице (*ра*) и носит классный показатель дерева (*б*). Он связан, таким образом, как с действующим лицом, так и с предметом действия, аналогию чему мы уже видели в языках банту.[49] Но в них синтаксическая роль субъектов, или, с нашей обычной точки зрения, — логического субъекта и логического объекта, не выявляется грамматическими приставками, особыми для каждого из них как членов предложения, тогда как в яфетических языках восточного Кавказа вскрывается и эта сторона, что в значительной степени содействует выяснению содержания всего строя предложения.

Содержание его может быть в известной степени выявлено только анализом и сравнительными сопоставлениями со структурными построениями иносистемных языков, считаясь каждый раз с имеющимися качественными различиями. Мы уже видели выше различные способы выражения предикативных отношений. В данном даргинском примере имеется также предикат-глагол, характеризующий действие и состояние субъекта. Он, как мы видим, двусторонен в выявлении этих отношений и характеризует субъект состояния (*галга* 'дерево'), согласуясь также и с выполнителем действия, обращаемым благодаря этому согласованию в участника общего синтаксического комплекса с оттенком, на этот раз, логической активности. Все построение предложения оказывается, тем самым, активно-пассивным. Пассивность его доказывается тем, что глагол увязан с предметом действия его классным показателем, определяя его состояние как пассивного субъекта, почему этот последний и стоит в абсолютном падеже, т. е. в том же, в каком ставится и субъект при непереходном глаголе. Пассивность подтверждается также и косвенным оформлением логически действующего лица (*нуни* — косвенный, в данном случае орудийный падеж).

Что логически действующее лицо в данной фразе стоит в орудийном падеже, в этом не может быть никакого сомнения: *нуни* — это орудийный-творительный падеж от местоимения 1-го лица *ну*. Оно может стоять в фразе как выполнитель действия наравне с другими его же выполнителями, уже косвенными объектами: *нуни гІвари хабушира тупангли* 'мною заяц убит ружьем'. В данной фразе имеется два орудийных падежа (*нуни*, *тупангли*) и лишь один из них (*нуни*) в живой даргинской речи осмысляется в данном контексте как действующее лицо. С ним согласуется в лице и глагол (*хабушира* 'убил-я').

Трудно отделить косвенную форму данного активного по содержанию падежа от его других косвенных эквивалентов и считать

рант, аварец А. Махмудов, которому я обязан своим ознакомлением с материалами этого диалекта.

[49] См. выше, с. 54—55, 115, 256 и сл.

его за специальный показатель активности действия, прибавляемый к имени в отличие от абсолютного падежа, пассивного в своем генезисе.[50] Правильнее будет усмотреть в нем косвенный в прошлом (падеж посредника действия 'мною', 'через меня') и активный в настоящем падеж, т. е. падеж, претерпевший изменение в своем содержании и своей функции в общем контексте фразы. Это могло произойти в связи с коренною ломкою в осознании самого действующего лица, понимавшегося прежде как выполнитель действия и ставшего затем действующим лицом в мышлении говорящей общественной среды. Согласование же имени, стоящего в косвенном падеже, с глаголом само по себе еще не устанавливает его активного значения во фразе. Глагол в яфетических языках может принимать также и показатели косвенного объекта, например в абхазском u-i-s-ϑueyt 'тебя-ему-я-отдаю'. Решающею в данном случае является смысловая сторона фразы, в которой косвенный по форме падеж (*нуни* 'мною') выражает активно действующее лицо, почему он и получает наименование эргативного («повествовательного», или «активного») [51] падежа, характеризуя собою весь строй предложения.

Классный показатель в глаголе указывает на наличие объекта определенного класса, и с ним согласуется глагол через этот классный показатель; ср. даргинск. *гьитиин ха-в-уши-б адамъили* 'он убил человека', *вицли ха-б-уши-б дила унц* 'волк убил моего быка', *хунуй ха-б-уши-б галга* 'женщина срубила дерево' и т. д. Личное окончание глагола, как мы видим на приведенных примерах, везде остается неизменным, независимо от принадлежности субъекта к разным классам, классные же показатели при переходных глаголах меняются в связи со сменою объектов.

В строе предложения, предикат которого выражает испытываемое субъектом состояние от направленного на него действия, выполнитель последнего получает косвенное оформление и понимается как посредник или виновник действия, испытываемого субъектом; ср. суахили vitabu hivi vimetungwa kwa mimi 'книги эти составлены посредством меня (мною)'.[52] В эргативном же

---

[50] Иначе понимает С. Л. Быховская в цитированной выше работе «Пассивная конструкция в яфетических языках» (с. 63 и др.).

[51] Поставленные в скобках его наименования даются исследователями новейших работ по кавказоведению. Я придерживаюсь несколько иной терминологии, а именно: эргативным падежом я называю косвенный (инструментальный) падеж при его использовании в значении действующего лица при переходном глаголе. Активным я называю тот эргативный падеж, который употребляется только для обозначения действующего лица при переходном глаголе, независимо от того, является ли он по форме косвенным или нет. Термин «повествовательный» мне представляется неудачным, так как он не отражает действительного назначения падежа.

[52] В этом примере, в котором нет эргативного построения предложения, предикат имеет показатель прошедшего совершенного времени me и классный показатель объекта 'книги' (vi), наличный также в местоимении hi-vi. Предикат при таком положении согласован только с объектом, выполнитель же действия ничем не отражен в предикате.

строе предложения мы имеем понимание той же фразы под иным углом зрения, при котором действие связывается уже с самим действующим лицом. В результате получилось согласование глагола с ним при сохранении его косвенной падежной формы (эргативный падеж); ср. даргинск. *нуни хабушира гIвари* 'я убил зайца' (букв. 'мною я-его-убил заяц'). Такой же процесс языковой перестройки пережили и глаголы восприятия (verba sentiendi), в которых, даже в грузинском языке, в значительной степени перестроенном в сторону сближения с нормами индоевропейской речи,[53] сохранилась пассивная конструкция вопреки уже активному ее восприятию; ср. грузинск. mama-s⌈a⌉ u-k̇var-s шvil-i 'отец любит сына' (букв. 'отцу ему-любится-он сын'), mama-s⌈a⌉ a-qv-s ṫign-ı 'отец имеет книгу' (букв. 'отцу ему-имеется-она книга') и др.[54]

Эргативный строй при переходном глаголе в предложении как бы сочетал прежнее восприятие состояния субъекта с представлением о самом виновнике данного состояния, причем глагол соединил их обоих, дав сложное и, с нашей точки зрения, своеобразное построение предложения. Чтобы разобраться в нем, придется остановиться на особенностях предикативного выражения в этом строе речи.

Соединение предикатом субъектов состояния и действия мы уже видели в ряде примеров из языков банту. Здесь в первых двух лицах мы имеем уже предикат-глагол, содержащий в себе выражение действующего лица: суахили ni-me-ki-andika kitabu hi-ki 'я-ее-написал книгу эту'. Наличные в глаголе показатели неравноправны. Один из них ni 'я' точно фиксирует действующее лицо, тогда как второй лишь указывает на тот класс имен существительных, к которому принадлежит предмет действия. Им может быть любое имя, относящееся к классу ki. Если не было бы личного показателя, не было бы и глагольной формы. В последнем случае оказался бы налицо только предикат. Такие предикативные-именные формы будут везде, где предикат лишь указывает на наличие субъекта, который в связи с этим должен самостоятельно стоять в фразе. Так, например, в русском языке в глаголах прошедшего времени содержится только указание на принадлежность субъекта к определенной группе имен (роду). Субъект тут не выражен, а только указан. *Шел* не содержит в себе выражения субъекта, как это имеется в настоящем времени глаголов: *иду*, *идешь*, *идет*. *Шел* лишь указывает на принадлежность субъекта к мужскому роду. Таким субъектом могут быть

---

[53] См. выше, с. 226 и сл.

[54] Ср.: Чикобава А. Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта. Тифлис, 1936, с. 220 (об инверсивных формах глагола). В приведенных примерах субъект стоит в дательном падеже на sa → s. На втором месте поставлен глагол с местоименным показателем в косвенном падеже в начале (u, a), отражающим субъект, и с показателем 3-го лица (s) в конце, согласованным с объектом. Объект (книга) стоит в именительном падеже на ı.

разные лица (*я шел*, *ты шел*) и разные представители имен существительных того же мужского рода (*человек шел*, *бык шел*, *дождь шел* и т. д.). Здесь наличествует не глагольная, а именная предикативная форма (причастие), что лишний раз подтверждает возможность определения глагола как предикативной формы, содержащей в себе выражение субъекта состояния или действия; ср. предикат-глагол *я болею*, *ты болеешь*, *он болеет*; предикат-имя *я болел*, *ты болел*, *человек болел*, *бык болел* и др. Таким путем определяется глагол как часть речи.[55]

Наличие в предикате одностороннего согласования классными показателями сближает его с именным построением. Он отличается от него, примыкая к глаголу, главным образом временны́ми показателями. При двустороннем согласовании личным окончанием и классным показателем положение меняется. Тут ясно выступает полная глагольная форма, хотя и здесь сохраняется некоторый оттенок именной.

Глагол в этом случае выявляет свое основное свойство тем, что выражает действующее лицо. Но в то же время он сохраняет еще оттенок именной формы предиката, согласуясь с объектом классными показателями, как это получается и с другими именами в их атрибутивном использовании: даргинск. *гьитиин хабушиб биштъал виц* 'он убил маленького волка',[56] где объект 'волк' снабдил своим классным показателем не только глагол (*ха-б-ушиб*), но и прилагательное (*б-иштъал*).

Такое активно-пассивное построение еще более ясно выступает в предложениях того же языка с непереходным глаголом. Здесь пассивный субъект состояния и пассивный в своем прошлом субъект непереходного действия становится подлежащим и глагол согласуется только с ним.

Будучи уже субъектом безобъектного предложения, оно согласуется в лице с глаголом-сказуемым и, сохраняя в то же время свойства субъекта состояния, передает ему свой классный показатель. Глагол, таким образом, связывается с ним как с субъектом действия личным окончанием и получает от него же как субъекта состояния его классный показатель; ср. даргинск. *къакъривсад*

---

[55] Если вспомнить данное выше определение глагола, то легко прийти к выводу о стадиальном различии самого глагола. Являясь выраженною, где он уже имеется, частью речи, непосредственно связанной с предикатом как членом предложения, глагол качественно все же различен. Там, где предикатом может быть любая часть речи, не обращаемая в глагол и снабжаемая лишь предикативными показателями (ср. гиляцкий язык), нет еще глагола. Там же, где для выражения предиката выделяется, хотя бы и семантически, определенная лексическая группа, уже наличествует часть речи, связанная с предикативным выражением, так же как прилагательное связано с атрибутивным. Здесь уже можно говорить о глаголе в широком понимании данного термина. Некоторые языки, в том числе и индоевропейские, характеризуют глагол в более узком понимании выразителя предиката с выраженным в нем действующим лицом.

[56] Примеры взяты у П. К. Услара и потому приведены по урахинскому диалекту.

вашар гьит 'по улице ходит он'. Глагол в приведенном примере стоит в 3-м лице и снабжен показателем активного мужского класса *в*, к которому принадлежит тот же субъект. Поскольку субъект *гьит* действует, т. е. активен (ходит), он выражен в глаголе личным окончанием, поскольку же *гьит* находится в состоянии хождения, следовательно пассивен, он стоит в абсолютном падеже (пассивный падеж субъекта состояния) и передает глаголу показатель своего класса.

Члены предложения в эргативном строе выдвигаются смысловым содержанием фразы, требующим определенного формального выявления в синтаксисе. Логический субъект выделяется с его компонентами, образующими синтаксический комплекс, согласуемый классными показателями в тех яфетических языках, в которых они имеются, там же, где их нет, комплекс образуется в структуре предложения (порядок слов). Логический объект, равным образом, образует свой комплекс в том же порядке согласования или синтаксического размещения слов. В языках, имеющих спряжение глагола по лицам и классное деление имен существительных, к комплексу объекта примыкает также глагол классным согласованием, выделяясь от него личными показателями. Оба эти показателя, лица и класса, неравноправны в оформлении глагола.

Если под объектом понимать субъект состояния, испытывающий на себе действие, то тем самым оправдывается синтаксическая связь его с предикатом.[57] Такая связь получает в языке различные способы выражения. Мы видели эту связь представленною инкорпорированием объекта в общий с предикатом комплекс, например в гиляцком языке, в котором такие построения, как ḫir-ḃəkzḑ,[58] могут быть поняты и в осознании субъекта в его определении состояния: 'чашка (ḫir) находится в положении потери (vəkzḑ)', и в восприятии действия, характеризованного в своем направлении на субъект состояния (→ объект), испытывающий результативность самого действия: 'действие потери (vəkzḑ) направлено на чашку (ḫir)', 'потерял чашку', 'чашка потеряна'.

Такая же связь пассивного субъекта состояния с предикатом выявляется в эргативном предложении частичным включением предиката в общий с ним комплекс. Субъект состояния в данном случае противополагается субъекту действия своим пассивным содержанием. Находясь с ним в одном и том же предложении, субъект состояния обращается тем самым в объект, сохраняя связь с глаголом своим классным показателем и согласуясь тем же классным показателем со своими собственными атрибутами.[59]

---

[57] Выше уже указывалось, что глагол при известном сочетании субъекта и объекта может согласоваться в лице и с объектом.

[58] См. выше, с. 96 и сл.

[59] Ср. то же в гиляцком языке, в котором в общий предикативный комплекс входят объект и его определители. В гиляцком это осуществляется

Глагол в связи с этим в части согласования с объектом сближается с другими его определителями, получая предикативно-атрибутивное выражение и сохраняя предикативность только в своей связи с субъектом действия, представленной имеющимися в нем личными приставками: даргинск. *нуни хабушира биштъал галга* 'я срубил молодое дерево'. В данном примере глагол содержит как бы атрибутивно-предикативное выражение:[60] отдельно предикативное (личный показатель 1-го лица *ра*) и отдельно «атрибутивное» (классный показатель дерева *б*, наличный также в другом его определителе *б-штъал* 'молодой', 'небольшой, малый'). Глагол тем самым выступает в предложении двусторонним своим согласованием.

В предложении при таких условиях как бы оказывается нерасчлененное объединение действительного и страдательного залогов. Следовательно, в эргативном строе предложения нет ни одного из этих залогов, следовательно, нет и связанных с ними грамматических категорий. Нет винительного падежа, нет также и именительного (nominativus).

Именительный падеж есть падеж подлежащего, другими словами, падеж грамматического субъекта, который может быть и активного и пассивного содержания, т. е. может передавать как субъект действия, так и субъект состояния: русск. *я убил волка, волк убит мною, я иду, я болею* и т. д.[61]

Придя по изложенным выше материалам к выводу, что глагол в горских (северокавказских) яфетических языках содержит в классных показателях оттенок пассивности, придется признать, что согласование глагола личными окончаниями с субъектом, хотя бы и стоящим в косвенном падеже, выражает активное восприятие последнего. В связи с этим мы можем проследить нарушение выдержанности абсолютного падежа в тех случаях, когда, при наличии активных личных окончаний, отсутствуют пассивные классные.[62]

инкорпорированием, в яфетических же горских языках — путем синтаксического объединения классным показателем.

[60] Предикативно-атрибутивные выражения сами по себе указывают на некоторую близость предиката и атрибута как определителей имени. Мы уже имели повод остановиться на этой близости, отмечая в то же время основное их различие по значению в предложении. Атрибут — второстепенный член предложения, уточняющий семантику имени, предикат — главный член, без которого нет предложения (ср. *фабрика хороша* и *хорошая фабрика*).

[61] В индоевропейских языках активность или пассивность субъекта выявляется или семантически (*я болею, я иду*), или синтаксически, в последнем случае — залогами в зависимости от отношения глагола-сказуемого к субъекту действия или субъекту состояния (действительный и страдательный залоги).

[62] Имя в абсолютном падеже согласуется с переходным глаголом классными показателями. Следовательно, в тех языках, в которых классных показателей нет, нет также и согласования имени в абсолютном падеже с переходным глаголом.

Объект в этом случае, утратив согласование с глаголом, занимает самостоятельное место в предложении и может получать свое особое оформление. При таком положении абсолютный падеж уже не участвует в образовании предложения переходной семантики и, оставшись в единственной функции выражения субъекта при непереходном глаголе, оформляет в безобъектном предложении грамматическое подлежащее.

Такой переходный момент к номинативной конструкции можно усмотреть в строе предложения удинского языка. В этом языке имеется личное спряжение глагола и отсутствует деление имен существительных на классы.

Здесь получается в итоге одностороннее согласование глагола лишь с субъектом действия, все же стоящим в косвенном падеже при глаголе, связанном с ним личными показателями, ср. удинское предложение пaq̇rϑ̣in ğaren vi φaϑ̣шaq̇ləğaq̇ aqalle 'пастуха сын твое царство возьмет' (пример из народной сказки). Согласование глагола только с субъектом придает первому значение сказуемого, а второму значение подлежащего в предложении. Кроме того, согласование глагола только с субъектом действия выделяет субъект состояния на самостоятельную позицию в предложении как предмета действия, объекта или прямого дополнения, утратившего согласование с глаголом связующими служебными частицами и получившего свое специальное падежное окончание (aq̇) как падежа объекта (прямого дополнения). Наличие винительного падежа в удинском языке прослежено еще А. М. Дирром и подтверждается также молодым исследователем этого языка В. Панчвидзе.[63]

Казалось бы, что подлежащее и сказуемое при таком их положении в удинском предложении выступают в роли членов номинативного предложения. И все же эти подлежащее и сказуемое не отвечают еще всем требованиям, предъявляемым к ним номинативным строем. Во-первых, подлежащее ğar-en стоит в орудийном-творительном падеже, что уже не соответствует подлежащему индоевропейского предложения. Во-вторых, этот эргативный падеж (орудийный-творительный) используется в роли подлежащего только в предложении с переходным глаголом и наличным в нем предметом действия. Тем самым эргативный падеж оказывается лишь падежом субъекта действия, что слишком узко для именительного падежа, выражающего и субъект действия и субъект состояния. Наконец, в-третьих, данный падеж не является падежом подлежащего в безобъектных предложениях, что равным образом противоречит строю индоевропейской речи с его подлежащим в именительном падеже.

---

[63] Д и р р А. М. Грамматика удинского языка. Тифлис, 1903, с. 17; П а н ч в и д з е В. Н. К вопросу о склонении имен в удинском языке. — Известия Ин-та языка, истории и материальной культуры Грузинского филиала АН СССР, 1937, с. 123—139.

Такие же несоответствия строю предложения индоевропейских языков находим и в безобъектном предложении удинского языка. В нем субъект стоит в абсолютном падеже, а глагол, при отсутствии классного деления имен существительных, согласуется с ним только в лице: ğar ϑaneϑidüs 'сын пошел прямо'.[64] Глагол при одностороннем его согласовании с субъектом выступает в только что приведенном предложении как сказуемое номинативного предложения, а согласованный с ним падеж как оформитель подлежащего. Абсолютный же падеж при таком его положении сближается с именительным, а все предложение получает вид номинативного. Оно и было бы таковым, если бы проникало собою весь строй удинской речи. Между тем этого еще нет в названном языке, так как его предложение с переходным глаголом имеет другой падеж подлежащего — эргативный. В удинском языке оказались, таким образом, два падежа подлежащего, что можно было бы свести к двум номинативным строям предложения: одному с непереходным, а другому с переходным глаголами, но последнему препятствует косвенная форма эргативного падежа.[65]

Во всяком случае, если здесь еще нет номинативного строя предложения, то предпосылки к созданию такового уже наличествуют. Одностороннее согласование с субъектом как в безобъектных предложениях, так и в переходных на объект дает установленную схему сказуемого и подлежащего в их общепризнанном значении главных членов номинативного предложения. Субъект состояния обратился в субъект непереходного глагола, субъект же действия стал субъектом предложения с переходным глаголом, при котором субъект состояния преобразился в предмет действия, управляемый глаголом без согласования с ним. Став в связи с этим прямым дополнением в новой роли самостоятельного члена предложения, грамматический объект получил как таковой свое грамматическое оформление винительного падежа. В удинском языке в отличие от других горских яфетических языков оказался падеж, которому нет места в эргативном строе предложения, падеж, передающий объект действия, для обозначения которого в других языках используется падеж субъекта состояния (абсолютный).

[64] Удинские примеры взяты из народной сказки «Царь и пастух», приведенной в работе А. М. Дирра (Грамматика удинского языка, с. 84—85). Примеры даются в аналитической транскрипции.

[65] Ср.: Hammerich L. Nexus. Subjekt und Objekt. Aktiv und Passiv. — In: A Grammatical Miscellany offered to Otto Jespersen, on his Seventieth Birthday, Copenhagen—London, 1930, pp. 312—317. Здесь говорится об активном и пассивном субъектах или (по схеме Уленбека, Педерсена, Шухардта) о субъекте переходного глагола (casus transitivus) и субъекте глагола непереходного (casus intransitivus). Проводится различение в последовательности временны́х отношений между субъектом и предикатом, предикатом и объектом. Тут же ссылки на: Meyer-Lübke W. Vom Wesen des Passivums. — In: Die Neueren Sprachen, 1926, 34; Schuchardt H. Ueber den passivischen Charakter des Transitivs im Kaukasischen. — Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft, 1896, Bd. 133.

Очевидно, языковой строй выявил тут то новое содержание, которое уже вложено в структуру переходного глагола, определяющего действие субъекта, направленное на объект, понимаемый как таковой в его грамматической роли прямого дополнения, требующего своего особого падежного форматива. Действующее лицо при таких условиях оказалось в односторонней связи по своему согласованию с глаголом, и эргативный его падеж (в данном случае орудийный) закрепился за обозначением реального выполнителя действия, то есть грамматического субъекта при переходном глаголе. Для получения номинативного строя осталось только нарушить внешнюю форму этого косвенного падежа и тождество его с основным инструментальным значением последнего.

Такие языки, как удинский и тем более картвельские,[66] выявляют многие моменты идущей языковой перестройки в сторону переработки норм эргативного строя в номинативный. Отмеченное выше восприятие действующего лица, понимаемого в принадлежности ему совершаемого действия (поссессивный строй) или в выполнении им данного действия (эргативный строй), сменилось пониманием формальной активности субъекта во фразе.

Подлежащее в номинативном предложении выступает в формально активной роли. Предикат, глагольной или именной формы безразлично, синтаксически связывается с ним как с субъектом действия или субъектом состояния, следовательно, активным или пассивным по содержанию. Подлежащее при таких условиях оказывается грамматическим субъектом, а не логическим. Такого подлежащего нет ни в поссессивных, ни в эргативных предложениях. В первых из них субъект ставится в поссессивном (относительном) падеже, выражая принадлежность ему действия; во-вторых эргативный падеж выражает субъект действия, активно действующее лицо, являющееся и логическим субъектом фразы. Подлежащее номинативного строя, наоборот, выражает того, кто связан в предложении с предикатом. Поэтому подлежащее является формально выдержанным членом предложения, по содержанию же и активным и пассивным.

Это не субъект действия (эргативный, активный падеж) и не субъект состояния (абсолютный падеж), а субъект, выделяемый в предложении по его связи с предикатом. Это — тот член предложения, который определяется в своем действии или состоянии. Для его синтаксического выражения используется именительный падеж (nominativus), который тем самым не является ни эргативным, ни абсолютным падежом. Он как бы соединил в себе функции их обоих, но не полностью, так как часть функции абсолютного падежа получил и винительный падеж. Названные два падежа, эргативный и абсолютный, характерные для эргативного строя речи, получили новых, качественно иных заместителей в новом,

---

[66] Грузинский и мингрельский. О них см. выше, с. 227 и сл.

качественно ином строе предложения. Переход эргативной конструкции в номинативную мы уже видели на чрезвычайно ярких примерах картвельских языков, в особенности грузинского.[67]

Номинативный строй предложения, в котором вместо субъекта действия и субъекта состояния выступает грамматический субъект (подлежащее), характерен для целого ряда языков и в первую очередь для индоевропейских, на материалах которых и создана языковедческою наукою соответствующая терминология. Правила синтаксиса в этих языках не отвечают синтаксическим правилам эргативного предложения, и буквальный перевод последнего на любой индоевропейский язык невозможен; ср. пример из даргинского языка *нуни тупангли вяхъяра гьит* 'мною ружьем его-ранил-я он'.[68] Перевод оказался неприемлемым для русского строя речи потому, что члены предложения номинативной конструкции отличны от членов эргативного предложения.

Субъект состояния, о котором так много приходилось говорить выше, получил совершенно различное значение как среди безобъектных предложений, так и среди предложений, передающих действие на объект. Самостоятельно субъект состояния как таковой уже не выступает в номинативном предложении со своим особым оформлением ему приуроченного падежа. Он заменен грамматическим субъектом, подлежащим. В безобъектных предложениях падеж пассивного субъекта состояния и активный падеж действия, не переходящего на другой предмет, формально сблизились, дав общее построение: *я болею*, *я бегу* формально ничем не отличаются, хотя субъект в них по содержанию различен. Смысл обеих фраз тоже различен: одна выражает испытываемое состояние болезни, а другая — совершаемое действие бега. Последняя фраза вовсе не воспринимается как состояние бега, в котором нахожусь я. Живая речь передает только осознание пассивности субъекта в первом предложении и активности его во втором. В обоих случаях выступает синтаксически выделяемый член предложения, характеризуемый или в его действии или в его состоянии. Выработалось единое подлежащее с его именительным падежом.

В предложениях же с переходным глаголом субъект состояния, пассивный всегда, обратился в качественно иное состояние объекта (прямое дополнение как член предложения): *рабочие строят фабрику* или же в пассивное по содержанию подлежащее страдательного залога: *фабрика строится рабочими*. Тут субъект действия, не согласуясь с глаголом, оформляется как выполнитель действия, выступая в роли косвенного дополнения, равным образом как самостоятельного члена предложения.

---

[67] Там же.

[68] Пример дается по П. К. Услару из урахинского диалекта даргинского языка; см.: Хюркилинский язык, с. 317. Глагол имеет классный показатель *в*, указывающий на принадлежность объекта действия к классу мужчин.

Сказуемое в номинативном предложении может быть и глаголом и именем,[69] в частности, именем оно оказывается в прошедшем времени русского глагола, изменяемого по родам, а не лицам, например: *я шел*. Такая застывшая причастная форма не заменяет собою сказуемого, а полностью является таковым, выявляя все функции предиката, хотя обычным носителем предикативного выражения оказывается уже глагол.

Двойственность содержания сказуемого в его активной и пассивной характеристике грамматического субъекта основывается на тех же отмечавшихся выше функциях предиката. В одном случае субъект определяется им в его действии, а в другом — в его состоянии: *я мбю собаку, собака моется мною*. Мое действие в первом примере направлено на объект, не согласованный с глаголом и занявший в предложении место прямого дополнения. Во втором примере собака испытывает определенное состояние от выполняемого мною действия. Исходя из даваемого здесь структурного анализа номинативного предложения, можно было бы сказать, что действительный залог передает предикативное определение субъекта действия в его направленности на объект, а страдательный залог передает определение субъекта состояния, испытывающего направленное на него действие со стороны логического субъекта.[70]

Смысловой упор на грамматический субъект нарушил тождество субъекта состояния безобъектного предложения с ним же в переходном. В последнем выступает уже новый член предложения — прямое дополнение. Выделение прямого дополнения как самостоятельного члена предложения выразилось грамматически в оформ-

---

[69] Отсюда мы имеем номинальные и вербальные предложения индоевропейских языков; см. у А. Мейе: «Индоевропейская морфология отмечает глубокое различие двух рядов форм: форм именных и форм глагольных. Если сказуемое, представляющее существеннейший элемент предложения, является именем, предложение называется именным; если же сказуемое есть глагол или по меньшей мере какой-нибудь глагол, кроме глагола быть, иначе связки, то предложение называется глагольным» (Введение в сравнительное изучение. . ., с. 360). Это возможно в индоевропейских языках при их четком разграничении имени от глагола, но это же отсутствует в абхазском языке, где имя в роли предиката приобретает все глагольные форманты. В абхазском устанавливается тесная связь предиката (члена предложения) и глагола (части речи), тогда как в индоевропейских языках глагол может оказаться далеко не единственным выразителем предиката.

[70] См.: Кацнельсон С. Д. К генезису номинативного предложения. М.—Л., 1936, с. 39, где дается разбор отдельных высказываний о том, что страдательный залог есть простая перелицовка нормального предложения с действительным залогом (A. Trombetti), что действительный и страдательный залоги одинаково действительны (H. Schuchardt), что субъект при страдательном залоге представляется как воспринимающий действие (H. G. Gabelentz). С. Д. Кацнельсон находит, что отсутствие реального субъекта в страдательном залоге подчеркивает то, что ранее оставалось скрытым. А именно: субъект как субстанция представляется носителем бесконечного множества свойств, в том числе и приобретенных извне; назначение страдательной конструкции состоит в выражении последних (см. ук. соч., с. 40).

лении винительного падежа, которого нет и не может быть в эргативной конструкции, где место прямого дополнения занимает субъект состояния (→ объект) с его абсолютным падежом. Тем самым разбилось единство абсолютного падежа как падежа субъекта при непереходном глаголе и падежа объекта при переходном.[71] Согласуемый с глаголом, последний не является прямым дополнением и тем самым свидетельствует о наличии в разных языковых системах различных синтаксических категорий. С другой стороны, по той же причине наличия новых синтаксических отношений получилось тождество подлежащих в безобъектных предложениях и в предложениях, передающих действие на объект. Различия между ними, наблюдаемого в эргативном строе предложения, нет в номинативном, так как грамматический субъект выражает собою и субъект действия и субъект состояния (ср. в действительном и страдательном залогах, ср. также *я болею*, *я бегу* и т. д.).

«Индоевропейский глагол представляет действие прежде всего как деятельность определенного действователя». Такова характеристика глагола индоевропейских языков, даваемая ему А. Мейе.[72]

Индоевропейский глагол заключает в себе указание лица и числа и потому оказывается самодовлеющим: лат. venio, venis, venimus 'прихожу', 'приходишь', 'приходим' и т. д. могут каждое в отдельности составить целое предложение.[73] Это определение, вполне точное для индоевропейского глагола, применимо к вербальному предложению многих других языковых групп, в частности даже и к языку немепу (hi-kusa 'идет', á impaysam 'ты берешь меня' и т. д.). Но оно же имеет и свой специфический оттенок, характеризующий на этот раз не столько глагол, сколько сказуемое. Самодовлеющим оказывается не глагол как таковой, а он же, выступающий в роли сказуемого, т. е. члена предложения. Таким самодовлеющим глаголом-сказуемым не будет, например, вербальная форма предиката в языках банту ni-me-tunga 'я (ni) составил кого-то, принадлежащего к классу vi'. Тут глагол, ясно выраженный в своем построении, не закончен в выражении объекта и нуждается в его конкретизации, так как одного лишь указания на класс еще недостаточно для полноты фразы.

---

[71] Наличие такого, еще абсолютного, падежа прослеживается и в халдском (урартском) языке; см.: Мещанинов И. И. Язык ванской клинописи. Л., 1935, с. 293—295. Там же, в § 13 на с. 299, без всякого основания приписываются дательному падежу функции падежа объекта. Недостаточно усвоив синтаксис халдского языка, я нашел в этом языке прямое дополнение по аналогии с индоевропейскими и в особенности с грузинским, где дательный-винительный падеж оформляет объект в действительном залоге переходного глагола, т. е. там, где уже наличествует номинативная конструкция, отсутствующая в халдском. Впрочем, в ту же ошибку впали и все другие исследователи этого языка, усматривающие в нем наличие винительного падежа.

[72] Мейе, с. 257.

[73] Там же, с. 361.

Такой глагол не образует предложения, и наличный в нем классный показатель получен им в порядке согласования с другим членом предложения, который именно потому и должен присутствовать во фразе. Тем менее подойдут под данный тип глагола-сказуемого номинативного предложения все формы предиката, в которых окажутся классные показатели при отсутствии личных, например в аварском языке *й-ачIана* 'пришла', *б-осана* 'взял (или взяла) кого-то, принадлежащего к классу *б*' и пр. Следовательно, сюда же не подойдут и причастия в роли предиката в русском языке, в которых указывается родовая классификация действующего лица, а не оно само, ср. *шел*, *шла* и пр. Эти формы скорее всего следовало бы включить в число именных предикативных выражений, ср. *береза высока*, *девочка пришла*. На тех же основаниях и бессубъектные, вернее безличные, глагольные формы аварского и других языков того же строя можно было бы считать именными. В аварском *йачIана* указывается на действие кого-то, принадлежащего к классу женщин, в русском *пришла* отмечается действующее лицо, относящееся к женскому роду (*девочка пришла*, *ночь пришла* и др.).[74] Здесь нет самодовлеющего сказуемого, и предикат не дает еще цельного построения предложения.

Даже те яфетические языки, которые в предикате выражают и действующее лицо, не дают той же формы глагола-сказуемого, если в него же включается классный показатель; ср. даргинск. *б-арши-ра* 'я зарядил кого-то, принадлежащего к классу *б*', *в-ашар* 'ходит кто-то класса *в*', *б-ашар* 'ходит кто-то класса *б*' и т. д. Все эти примеры не выявляют независимого положения сказуемого.

Такой сравнительный анализ в значительной мере уточняет многие определения, в частности и определение сказуемого-глагола. Таковым в номинативном предложении окажется часть речи (глагол), заключающая в себе выражение действующего лица и выступающая в предложении предикатом (член предложения), давая ему законченную форму и самодовлеющее положение.[75] Под это определение, как мы только что видели, не подойдут отмеченные выше глаголы яфетических и целого ряда других языков, и тем самым выявится стадиальная особенность глагола-сказуемого номинативного строя предложения. Таким путем получается более точное определение как действующих частей речи, так и наличных в языковом строе членов предложения.

Сравнительный анализ позволяет вскрыть исторический ход развития целого ряда языковых форм. Для примера остановимся

---

[74] При всем сказанном я сохраняю изложенные выше соображения относительно более расширенного понимания глагола как части речи, специально приуроченной для предикативного выражения, хотя бы и без выражения действующего лица. Причастие хотя и носит именную форму, но все же сохраняет и ряд глагольных признаков (изменение по временам в языках, в которых временные показатели свойственны предикату-глаголу). См.: Виноградов В. В. Современный русский язык, I. М., 1938, с. 152 и др.

[75] См.: Мейе, с. 361.

на безличных оборотах индоевропейских языков. «С точки зрения современного человека такой „безличный" глагол, как греческ. ὕει 'дождь идет', означает, что 'дождь падает', но древнее значение было другое: так как каждое явление природы считалось результатом деятельности какого-то существа, подобного живому существу, то ὕει означало 'божество, дух дождит'; и действительно, у Гомера нет формы ὕει, но зато дважды встречается следующее выражение ὗε δ'ἄρα Ζεύς 'а Зевс дождил'».[76] «Все так называемые безличные глаголы, — говорит Н. Я. Марр, — русский *меня лихорадит*, французский il fait chaud 'жарит', французский il pleut, немецкий es regnet 'он льет с неба', смущают теперь как исключительные глаголы, ибо, сообщая о состоянии здоровья или погоды, они оформлены как действительные вопреки ожиданию нашего мышления, и это вынуждает составителей схоластических грамматик называть их „безличными", тогда как на деле лицо это, третье, имеется, но это лицо субъект „он", „она" или „оно", некогда производственный тотем».[77]

Под этим 3-м лицом Н. Я. Марр подразумевает пережиточно сохранившиеся древние формы выражения действующего ирреального субъекта, созданного отсталым мышлением еще весьма примитивного человека. Испытывающий на себе действие субъект состояния воспринимался, при полном незнании законов природы, как находящийся под воздействием активности другого субъекта, созданного самим носителем речи в нормах своего собственного сознания.

Когда индеец племени немепу передает рассказ об охоте на оленя и описывает тяжелые ее условия в холодную погоду, он использует вместо безличной формы 'было холодно' вполне личное построение hiyawtsana с формантом 3-го лица (hi) и окончанием недавнопрошедшего времени (tsana): 'он холодил'.[78] Явления природы обозначаются, следовательно, не безличными глаголами, а 3-ми лицами, подлежащие к которым, более или менее смутно представляемые субъекты, точно не обозначены.[79] Такие построения не противоречат всему строю речи немепу, но сходные же построения во французском языке il fait froid, букв. 'он делает холод', являются, по утверждению Н. Я. Марра, глубоким архаизмом, свидетельствующим о коренной ломке основных норм мышления, осознавшего естественные законы природы и отбросившего ирреальный субъект действия. Этот субъект отпал, но формально, в только что приведенном французском примере, он сохранился, дав личному построению безличное содержание. Получился безличный оборот с использованием личного местоимения или личной глагольной формы.

---

[76] Там же, с. 256.

[77] Марр Н. Я. Язык и мышление. — ИР, III, с. 91—92.

[78] Пример взят из индейской сказки, записанной мною со слов А. Финней; см.: Новое учение, с. 88.

[79] См.: Мейе, с. 256—257.

По своей конструкции такие обороты французской речи отвечают строю номинативного предложения, содержа в себе сказуемое-глагол. Выражаясь словами А. Мейе, глагол в этом построении фразы самодовлеющ. Поэтому он не нуждается в особом подлежащем. Оборот оказывается личным, что и свойственно сказуемому-глаголу номинативного строя предложения.

В том же положении находятся и глаголы состояния. При них, как уже отмечалось выше, субъект пассивен, хотя содержание предложения было активным при активности того же самого ирреального субъекта. Номинативный строй предложения и здесь, сняв ирреального субъекта, сделал субъектом предложения того, кто испытывает на себе результаты действия. Получились своего рода инверсивные формы, о которых уже была речь выше, когда затрагивались предложения с глаголами чувственного восприятия.

Выработавшийся господствующий тип предложения перенес активность и пассивность содержания субъекта на семантику самой фразы, сгладив формальные отличия. Отсюда получилось тождество членов предложения независимо от их содержания в объектных и безобъектных предложениях.[80] Так, например, *я читаю* может быть понято и в состоянии и в действии, ср., с одной стороны, *я сплю*, *я читаю* и, с другой, *я строю дом*, *я читаю книгу*. Такого тождества в структуре предложений нет, например в абхазском языке, в котором отсутствие объекта во фразе придает предикату непереходное построение, ср. s-y̧oyt 'я пишу' ('нахожусь в процессе или состоянии писания, я пишу вообще') и ашy̧k̇wa i-z-y̧oyt 'письмо его-я-пишу'.[81] Это различие в оформлении предиката в обоих приведенных примерах объясняется строем абхазской речи, в которой нет номинативного предложения.

Глагол в абхазском языке несомненно имеется со всеми его свойствами выражения действующего лица, но все же это не тот глагол-сказуемое индоевропейских языков, о котором только что шла речь. В абхазском предикат не самодовлеющ. Его конструкция зависит от строя предложения, от наличия или отсутствия в нем объекта, тогда как глагол-сказуемое индоевропейских языков, по утверждению А. Мейе, в этом отношении независим. Следовательно, мы имеем тут совершенно иное качество членов предложения, хотя бы и при наличии тех же частей речи.

Для индоевропейских языков сказуемое в его глагольной форме настолько характерно, что, по словам А. Мейе, глагол *быть*, вовсе не являющийся глаголом, появился в этих языках вследствие того значения, которое в них вообще приобрел глагольный тип предложения. Глагол *быть*, по широко распространенному его определению, выражает собою лишь связку между

---

[80] Ср.: Быховская С. Л. Пассивная конструкция в яфетических языках. — ЯМ, II, с. 55 и сл.

[81] Новое учение, с. 166.

членами именного предложения, то есть между субъектом и предикатом: *Жучка (есть) собака.* Но, если он не глагол, а только носитель выражения наклонения, лица и времени,[82] то он все же или обращает именную форму предиката в вербальную: Aulus bonus est 'Авл добр есть' ('добреет', ср. приведенные выше абхазские примеры: sara səbzyoup 'я хорош', 'я хорошею' и т. д.), или же сближает ее с глагольным построением, дополняя собою все недостающие в именном предикате свойства глагола-сказуемого. Как бы ни разрешился вопрос об этом глаголе-связке, все равно наличие его в языке ясно указывает на особое значение вербального предложения в индоевропейских языках.

Сюда же, до известной степени, придется отнести и более сложные образования составного сказуемого, оформляемого при помощи вспомогательного глагола. Такого рода образования часто встречаются и в яфетических языках, ср. даргинск. *хIула ада духул сай* 'твой отец умен есть', *дила ава яхIна сари* 'моя мать хороша есть'; лезгинск. *зун хъсанди я* 'я хорош', *вун хъсанди я* 'ты хорош', *ам хъсанди я* 'он хорош'; лакск. *на чу буцлай ура* 'я лошадь беру', *танал чу буцлай ур* 'он лошадь берет'. В последних (лакских) примерах в состав сложного сказуемого входит не имя, а деепричастие (*буцлай*), согласуемое с объектом его классным показателем (*б*), вспомогательный же глагол (*ура*, *ур*) согласуется в лице с субъектом. В этих последних примерах обычно и с полным основанием усматриваются глагольные формы сказуемого, хотя они по своему образованию мало чем отличаются от приведенных выше форм, признаваемых за именные (ср. индоевропейские примеры с глаголом-связкою и вспомогательным глаголом в сложных временах).

С другой стороны, если следовать за А. Мейе, который усматривает во французском tu as laissé одно слово, то можно и сам вспомогательный глагол-связку признать за разновидность того же самого предикативного оформителя. По мнению А. Мейе, «французское слово одно, так как ни один из трех его элементов, которые только по традиции пишутся отдельно, не имеет ни собственного смысла, ни отдельного существования».[83] Но при таком толковании, к которому я полностью присоединяюсь, придется признать ту же вербализацию именных форм и в индоевропейских языках, в которых глагольную функцию в именном построении предиката выполняет та же упомянутая связка.

Акад. А. А. Шахматов, равным образом, отмечает неударяемость вспомогательного глагола в русском языке. В глаголах неударяемыми являются формы глагола *быть* в значении связки: *оте́ц был нездоро́в*, *мы будем стара́ться*, *принужде́н был* и т. д. По словам А. А. Шахматова, неударяемость в этих случаях «зависит прежде всего от принадлежности слова к служебным или

[82] Мейе, с. 360—361.
[83] Там же, с. 359—360.

незнаменательным частям речи: по общему правилу не с полным ударением являются частицы. . ., употребление которых в известном смысле дополняет словесное обнаружение сказуемого».[84]

Все эти факты из приведенных выше языков, включая и индоевропейские, в том числе и русский, указывают на восприятие глагола-связки как служебной приставки к предикату, сводящемуся в основе к вербальной форме предложения.[85] И если субстантивированное слово легко приобретает возможность склоняться, то и вербализированное слово не менее легко начинает спрягаться. Иными словами, одна часть речи может переходить в другую в зависимости от ее позиции в предложении.[86] Следовательно, строй предложения является решающим и в этом случае. Тем самым усугубляется наше внимание к специфическим свойствам синтаксических построений изучаемых языковых групп.

Такое же особое значение вербального предложения мы видели и в целом ряде яфетических языков, но все же, проводя сравнительные параллели, мы имели полное право отметить существенные расхождения в синтаксисе обеих систем. Подлежащее и сказуемое индоевропейской речи, выражаемое именем и глаголом, не получает своего полного соответствия в сходных членах предложения яфетических языков. При рассмотрении каждого из них требуется учет их качественных особенностей.

Одною из бросающихся в глаза особенностей строя предложения не только яфетических языков, но также северных азиатских и в особенности африканских (банту), является конкретизация наличной связи между членами предложения. Глагол в них, как мы уже видели, не самодовлеющ в той степени, в какой оказывается глагол индоевропейской речи. Но не только он связан с другими словами предложения своими указующими на субъект и объект приставками, в той же связи находятся и другие члены предложения, образующие согласованные и взаимосвязанные синтаксические комплексы. Слово не ограничивается своим только оформлением, определяющим его значение во фразе как самостоятельной слагаемой ее единицы, оно может получать, кроме того, ссылочные показатели, непосредственно относящиеся к другому тут же наличному слову, выявляя в их увязанности весьма сложный синтетизм.

Прекрасным образцом такой внутренней связи слов предложения служат, например, такие фразы унанганского (алеутского) языка, как: *к'-ах' ча-н'-н'ан су-са-ку-к'ин'* 'рыба рука-моя-ее

---

[84] Шахматов, 2, с. 8, 12.

[85] В. А. Богородицкий придерживается иной оценки глагола *быть*. По его словам, «в некоторых грамматиках глагол *быть* считается связкою, чем как бы исключается из глагольного разряда слов, тогда как он в рассматриваемых случаях несомненно глагол с глагольною флексиею и не имеет такого признака, который мог бы заставить видеть в нем слово особой категории» (Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 209).

[86] См.: Шахматов, 2, с. 8.

беру-ею сейчас-я' ('я беру рыбу своей рукой').[87] Глагол здесь, взятый в отдельности, не закончен в своем содержании, так как частица *са* указывает на орудие, которое должно быть уточнено контекстом фразы. Последнее в свою очередь отмечает приставкою *н'ан* свою направленность на объект, долженствующий опять-таки стоять в той же фразе. Получается взаимная увязанность всех членов предложения. Связь их настолько сильна, что из предложения не может быть изъято ни одно из его звеньев. Нельзя устранить слово *к'ах'*, так как на него имеется ссылка в слове *чан'-н'ан*, которое в свою очередь раскрывает смысл глагольного инфикса *са*.

Синтаксический строй предложения индоевропейских языков в корне отличен. В нем нет только что отмеченного конкретизирующего синтетизма в построении каждого его члена. В нем каждый член в значительной степени замкнут в своей собственной характеристике. Он имеет свои грамматические показатели, относящиеся только к нему самому, уточняющие его же значение в предложении. Поэтому один глагол, взятый в отдельности, *беру*, уже закончен в своем собственном построении в достаточной мере для образования цельного предложения. Семантика его, а не форма, ведет к желательности включения в предложение прямого дополнения. *Беру рыбу*, равным образом, представляет собою законченную фразу, так же как и *беру рыбу своею рукою*. Только второстепенные члены предложения получают показатели другого слова (ср. *большую рыбу*), но в них еще в значительной доле прослеживается лексико-синтаксическое соединение. Они лишь качественные определители стержневого члена, составляющие с ним одно семантическое целое не только синтаксического, но и лексического значения. Они, по существу, образуют один член предложения.

Анализируя строй предложения индоевропейских языков, А. Мейе приходит к выводу, что каждое слово в этом предложении самостоятельно, хотя связь между словами отмечается соответствиями форм. Определяющие слова не управляются глаголом. Падеж, в котором стоит дополнение, зависит не от глагола, а только от выражаемого смысла. Согласование между глаголом и примыкающим к нему именем, которое мы называем подлежащим, существует только в одной категории числа, так как она одна обща и имени и глаголу. Таким образом, примыкание есть тот прием, который наиболее существенно характеризует индоевропейский синтаксис.[88]

Такое примыкание, обусловленное общим смысловым значением фразы, устанавливается исследователями для предложения

---

[87] Пример взят из работы: Иохельсон В. И. Алеутский язык в освещении грамматики Вениаминова. — ИАН, 1919, с. 153, с переводом на алфавит, принятый для северных языков.

[88] Мейе, с. 362, 363, 366, 367.

индоевропейских языков в отличие от синтетизма, взаимопроникающего связанные слова предложения упомянутой выше иносистемной речи. Устанавливается, тем самым, новое стадиальное качество строя всего предложения, следовательно, устанавливается и качественное отличие в членах предложения и в их связях с частями речи.

Оттеняя это свойство монизма языкового развития, я строил стадиальный разрез, имея своею конечною целью подтверждение моего основного положения о качественной трансформации языковых признаков, о выработке исторически обусловленных качественно новых типологических показателей как в лексических группировках, так и в синтаксисе. В таком задании я вынужден был в значительной степени ограничиться рабочею перспективою в установлении основной исследовательской линии как в изучении отдельных конкретно взятых языковых систем, так и в проблематике общего языкознания. Одной из важнейших задач последнего я считаю построение стадиальной сравнительной грамматики на основе проработанных сравнительных грамматик отдельных языковых групп.

Каждый языковый строй, взятый в отдельности, выявляет далеко не полностью и не всегда с достаточною ясностью наличные в нем и именно ему присущие типологические свойства синтаксиса и морфологии. Схождения и расхождения с иноструктурными языками в их взаимных сопоставлениях уточняют понимание грамматического строя каждого из них и вместе с тем свидетельствуют об исторической преемственности форм, взрываемых в историческом ходе их развития и дающих новые образования.

1940

ПРОБЛЕМА СТАДИАЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА

В работах за последние годы нередко указывается на стадиальность как на одну из проблем, наиболее интересующих советское языкознание. Действительно, выдвинутая акад. Н. Я. Марром, эта проблема продолжает обращать на себя внимание весьма значительного круга специалистов. Она не перестает обращать на себя внимание также и потому, что и по настоящий день продолжает оставаться еще много неясного и много недоговоренного в различного рода опытах по применению стадиального анализа и даже в понимании основного содержания самого термина.

Под стадиальностью понимается качественно новое в языке образование, но не каждое качественно новое состояние будет стадиею. Например, качественно новым может оказаться содержание слова. Исторический ход семантического его движения может в конечном итоге дать совершенно видоизмененное понятие, весьма далекое от первоначального. Сошлемся хотя бы на приведенный еще Лафаргом пример со словом nomos : сначала — пастбище, становище кочевника, отсюда номад, позднее — обычай, закон.[1] Новым по своему содержанию может оказаться имя существительное, застывшее в своей падежной или предложной форме и ставшее наречием, ср. *тайком*, *низком*, *искони* и т. д. Новым будет служебное слово, обратившееся в падежное окончание или аффикс глагольного спряжения. Совершенно иное назначение получили во французском языке личные местоимения, используемые только в служебной функции показателя лица при глаголе и формально разошедшиеся с действующею схемою местоименных основ общего с ними происхождения, и т. д. Едва ли все подобного рода изменения подходят под то понимание стадиальных переводов, о которых обычно идет речь в советском языкознании.

Такого рода анализ семантики слова, значения морфологического показателя, перехода слова из одной части речи в другую и пр. проводится над отдельным явлением в его исторически зафиксированной жизни. Это будет то, что мы обычно именуем

---

[1] Лафарг П. Язык и революция. Русск. перевод. М.—Л., 1930, с. 19—20.

палеонтологическим анализом, но не прослеживанием стадиальных смен. Такие единично взятые факты могут оказаться следствием стадиальных переходов или служить основанием для них, но для этого требуется наличие более глубоких сдвигов, существенно меняющих весь языковый строй.

Под стадиею понимаются не одиночные явления качественных в языке изменений, а переход целой языковой системы в другую. Следовательно, речь в данном случае идет о сдвигах в системе, и потому вполне естественно, что они должны характеризоваться не единичными фактами, а целым рядом признаков, комплекс которых и отделяет одну систему от других. Сосредоточение ряда показателей в одной системе и сосредоточение иного рода показателей в другой противопоставляют эти системы друг другу. Все же одно только противопоставление далеко не всегда ведет к хронологической периодизации сравниваемого материала.

Здесь и становится вопрос о том, в каком разрезе проводятся нами данного рода сопоставления различающихся языковых систем. Видим ли мы в них различные конструкции или же, кроме того, мы стоим перед необходимостью давать им также и соответствующее место в общей хронологии языкотворческого процесса и имеем для этого достаточные данные?

В виде иллюстрации сложности предстоящего ответа обратимся к сравнению двух наиболее изученных и достаточно нам знакомых систем: эргативной и номинативной. Остановимся, в частности, на том — что мы имеем в виду, когда привлекаем к сравнению северокавказские яфетические языки эргативного строя и индоевропейские с характерным для них номинативным строем предложения? Ограничиваемся ли мы констатированием существенных расхождений в этих двух системах, отмечая различные в них конструкции предложения, или нет? Эти и подобные им вопросы, наиболее нас волнующие, представляются мне крайне сложными. Для их разрешения потребуется всестороннее изучение материалов каждой языковой системы в их историческом разрезе, и едва ли я смогу сейчас дать на них исчерпывающий ответ. Все же постараюсь изложить свою мысль.

Историческая школа языкознания еще в XIX в. устанавливала преемственный ход развития языковых структур от аморфных к агглютинативным, затем флективным и, наконец, к аналитическим. В течение длительного ряда лет, то соглашаясь с этой схемой, то оспаривая ее в попытках заменить новою, мы в итоге пришли к иного рода структурным сопоставлениям: аморфность, поссессивность, эргативность, номинативность.

Последняя схема отличается от первой тем, что в ее основу легли противопоставления синтаксического порядка. Уделяя в последнее десятилетие львиную долю внимания синтаксису, мы и схему классификации построили на синтаксической основе. В этом несомненное преимущество нашей схемы. Кроме того, она в значительной доле отвечает ведущей линии наших лингвистиче-

ских исследований, опирающихся на неразрывную связь языка и мышления. Действительно, переход агглютинации во флексию весьма трудно связать с ходом изменений в нормах человеческого сознания, тогда как синтаксические изменения могут отвечать связям языка с мышлением. Впрочем, этим и ограничивается преимущество новой схемы. В остальном она в значительной своей доле продолжает оставаться формально-типологической, как и первая. Обе они построены на формальной языковой стороне, одна — учитывает морфему, т. е. идет по морфологической линии, другая — делает упор на различные виды синтаксических отношений между словами предложения и на их внешнее, опять-таки, выражение.

С этою оговоркою и последняя схема, построенная на синтаксической основе, сохраняет свою силу. Она в известной степени содействует лингвистическому анализу. Тем не менее усмотреть в ней, кроме схемы типологических различий, также и схему стадиальной периодизации в значительной мере преждевременно.

Как бы ни смотреть на поссессивный строй, архаизм которого не без основания отмечался еще Шухардтом, все равно он выступает проникнутым формальным признаком, подчиняя весь строй предложения притяжательному оформлению. В том же положении оказывается и эргативная конструкция, отражающая в своем построении идею активности в противопоставлении пассивному состоянию. При выработке данной схемы явно ложились в основу типологические свойства, подтверждением чему может служить хотя бы то, что параллельно выдвижению поссессивного строя и эргативного пришлось выделить также и аффективный. Постановка последнего в ряд с поссессивным и эргативным проводится, конечно, по формальным признакам, а вовсе не по одной только семантике предложения и семантике используемого глагола. Если они не отразились в построении предложения и в оформлении его ведущих членов, то выделение аффективного строя отпадает. В русском предложении *я люблю* выступает семантика чувственного восприятия, но нет аффективного строя предложения. Это же придется сказать и по отношению ко всем остальным только что упомянутым конструкциям предложений. Все же проведенный за последние годы опыт классификации строя предложения с выделением поссессивного, эргативного и др., опыт хотя бы и типологический, значительно продвинул вперед не только сравнительный анализ языков различных систем, на основе чего он и возник, но и описательную сторону исследовательской работы над отдельными языками. Впрочем, и первая, морфологическая, схема вовсе не утратила своего значения. Мы до сих пор продолжаем различать аморфный строй, агглютинативный, флективный и т. д. Обе схемы, построенные на различных принципах, существуют параллельно и друг другу не мешают.

Попробуем сформулировать напрашивающиеся выводы применительно к проблеме стадиальности. Если утверждать, что

агглютинация предшествует флексии, то придется признать, что агглютинативные языки находятся на предшествующей ступени развития, чем флективные. Равным образом, если считать эргативность предшествующею ступенью по сравнению с номинативною конструкциею, то на языки эргативного строя мы должны будем смотреть как на стоящие ступенью ниже номинативных. Ступенчатые переходы называются Н. Я. Марром стадиальными. Следовательно, стоя на морфологической типологии, придется признать агглютинацию предшествующею стадиею флективности, применение же синтаксической типологии приведет к выводу о стадиальных переходах от эргативности к номинативности. Едва ли такие стадиальные схемы отвечают подлинному историческому процессу развития речи. Оценка морфологической схемы с этой стороны уже сделана, ср. Ж. Вандриес: «Противопоставление флективных языков агглютинирующим или изолирующим совершенно не обосновано. . . Мы говорим фразами, а не отдельными словами. Единственное различие, которое можно с грамматической точки зрения установить между языками, заключается в месте морфемы, в природе связи между морфемой и словом. Это различие — случайное. На нем нельзя построить принципа классификации языков, а тем более на нем нельзя основывать разрешения вопроса о прогрессе в языке».[2]

Различие между обеими схемами, морфологической и синтаксической, заключается прежде всего в том, что первая по своим внешним признакам значительно яснее выделяется, чем вторая. Как бы ни подходить к сложности классификации языков по характеру морфем, все же подавляющее господство агглютинативных частиц ясно выделяет агглютинативные языки даже с первого на них взгляда. Такой ясности, в тех же заданиях установления конструктивных свойств языка, может и не быть при определении синтаксических расхождений в положении слова и его оформления. Так, например, номинативный строй не различает падежною формою подлежащего его активность и пассивность. Действующее лицо и лицо, испытывающее на себе результат действия, выступая подлежащим, получают в этом строе предложения одинаковую падежную форму (*я читаю, я болею*). Но такое же неразличение падежною формою agens от patiens наблюдается в аморфных языках и в целом ряде других, в особенности со слабо развитою падежною системою (ср. абхазский с его эргативным строем предложения).

Это вовсе не единичный пример сложности выявления синтаксических признаков и установления по ним ведущих разграничительных линий между различающимися друг от друга конструкциями. Таких примеров можно привести сколько угодно. Более того, схождения отдельных конструктивных оборотов, отдельных принципов построения грамматических форм и даже

---

[2] Вандриес, с. 315.

самих этих форм удается прослеживать в языках самой различной типологии. Строй языка устанавливается не отдельными грамматическими признаками, а суммою их и ведущими грамматическими построениями, которые выступают в каждой группе языков и в отдельных языках. Именно поэтому типологическая схема, построяемая на синтаксических признаках, многим сложнее схемы, выдвигающей морфологические показатели. По той же причине сравнительные сопоставления в первом случае, т. е. при синтаксической типологизации, как бы выхватывают отдельные моменты схождения, что само по себе далеко не достаточно для построения исторической схемы движения человеческой речи по чередующимся грамматическим системам. Подобного рода сравнительный анализ очень далек от стадиального, задачею которого является прослеживание смен грамматических конструкций в их исторической последовательности.

Такое положение объясняется тем, что мы все время привлекаем к сравнению ту или иную синтаксическую систему, не разрешая вопроса, из чего они вышли и во что они переходят. Говоря об эргативности, поссессивности, номинативности и т. д., мы имеем в виду определенную конструкцию предложения. Каждая из них устанавливается рядом ей присущих внешне выраженных признаков. Так, эргативность характеризуется передачею в главных членах предложения, тем или иным формальным способом, различных смысловых оттенков субъекта, что может заключаться как в построении глагола, выявляющем его отношения к субъекту и объекту, так и в разнообразии падежных форм подлежащего соответственно его содержанию действователя, обладателя действием и восприимателя результатов действия и аффекта. Таким образом, эргативная конструкция может выявиться в грамматической форме глагола, в той же форме подлежащего или в том и другом. Этим конструктивным особенностям не отвечает номинативный строй, которому свойственно одностороннее согласование глагола с подлежащим и центральная форма последнего, выделяющая его синтаксическую роль в предложении без выражения смысловых оттенков субъекта.

Здесь выступают в обоих случаях конструктивные свойства, а именно определенный строй предложения, который и привлекался нами к сравнению. Конструктивные особенности различают языки не только по целым их системам, но и внутри последних. Строй предложения каждой из них может быть более или менее выдержанным. Так, например, абхазский язык передает эргативное построение не падежом подлежащего, а оформлением глагольных показателей. Лезгинский язык, наоборот, при безличном построении глагола переносит выражение смысловых оттенков субъекта всецело на падежные окончания подлежащего. Даргинский язык полностью передает эргативные особенности как в оформлении глагола, так и в падежах подлежащего.

Формальные расхождения выступают в этих примерах, казалось бы, достаточно ясно, но все же по ним, в первую очередь, можно сделать лишь следующий вывод: ведущие свойства эргативности, общие для всех языков данного строя, получают различное внешнее свое выражение. Прибегая к использованию понятийного термина «субъект», где бы он ни выражался, т. е. в глаголе (сказуемом) или имени существительном (подлежащем), можно было бы характеризовать эргативный строй предложения как передающий в грамматическом выражении субъекта различные его смысловые значения. Этим завершается определение эргативного строя. Под это определение подойдут как абхазский язык, передающий эти оттенки субъекта построением глагола, так и лезгинский, использующий в тех же целях падежи подлежащего, так и даргинский, которому свойственно и то и другое. Имея особую форму для выражения пассивного субъекта (абсолютный падеж), языки эргативного строя при наличии в них развитой падежной парадигмы дают схождение данной формы падежа подлежащего с падежом прямого дополнения. Поэтому в них не только нет, но и не может быть винительного падежа.

В то время как типологическая схема с ее деталями внутри взятой нами системы выступает все более и более ясно, хронологическая последовательность меняющихся конструктивных форм, даже внутри той же обособленно взятой системы языков, продолжает оставаться неуточняемою. В частности, трудно решить, утратил ли лезгинский язык развернутую схему глагольной личной аффиксации или еще не развил ее, да и пойдет ли он дальше по пути ее приобретения. При таких условиях легко распределить яфетические языки по формальным признакам: а) с безличным глаголом (лезгинский, аварский), б) с неразвитою падежною системою (абхазский), в) с развитою грамматическою формою подлежащего и глагола в их передаче субъекта (даргинский). В то же время я не беру на себя смелости дать такое же их распределение в хронологической последовательности развития эргативного строя. Общее задание грамматического выражения субъекта получает тенденцию к различному своему выявлению, давая различные пути движения, устанавливаемые в каждом языке даже одной и той же системы.

Если мы встретили некоторые затруднения по пути выявления стадиальных смен внутри изучаемой системы языков, основываясь на разновидностях грамматического выражения свойств эргативности, то это в значительной степени объясняется особенностями применяемого нами сравнительного метода. Пользуясь им, мы привлекали к сопоставлению сложившиеся языковые структуры в их ныне существующем виде, что не выводило нас за грани синхронизма. Такого же рода затруднения окажутся и при сравнительных сопоставлениях языков различных систем, хронологически сосуществующих, но сопоставляемых только по действующим нормам построения предложений.

Возьмем три различные группы языков: яфетических, индоевропейских и самоедских. Изложенным выше ведущим свойствам эргативности не отвечают самоедские языки, в которых выделяется винительный падеж прямого дополнения. Но эти же языки не укладываются и в схему номинативного строя. В нем установление смыслового значения подлежащего переносится на контекст предложения и в значительной степени на семантику глагола, но не на его оформление. Последнее может оставаться одинаковым при своем одностороннем согласовании с подлежащим, не меняющимся по падежам. При таких условиях содержание действия, аффекта, обладания может не различаться ни формою глагола, ни падежом подлежащего (*я строю*, *я люблю*, *я имею*). Таким особенностям не вполне отвечают самоедские языки. В них при наличии особого винительного падежа прямого дополнения в отличие от именительного падежа подлежащего, все же глагол передает свои отношения не только к субъекту, но и к объекту, что противоречит основным свойствам номинативного предложения. Выделяя глагол своим субъектно-объектным построением, самоедские языки в то же время вовсе не смыкаются и с эргативными. В последних, как мы уже видели, глагол своими показателями передает смысловые оттенки субъекта, его активность и пассивность. В самоедских же языках глагол различает своим личным и притяжательным спряжениями положение объекта, степень его определенности в понимании говорящим лицом, что не играет существенной роли ни в построении глагола языков эргативного строя, ни в оформлении глагола индоевропейских языков. Наличием винительного падежа самоедские языки сближаются с языками номинативного строя. Но и это их схождение нуждается в некоторой оговорке: по конструктивным свойствам номинативного предложения глагол согласуется только с подлежащим, падеж же прямого дополнения может и не выделяться, поскольку степень активности субъекта здесь переносится на семантику предложения и на смысловое значение сказуемого. Поэтому французский язык, не различающий именительного падежа от винительного, остается в числе языков с номинативным строем предложения, тогда как самоедские языки, выделяющие особый винительный падеж, все же не включаются в число этих же языков.

Как при таких условиях определить структуру самоедских языков? Можно ли сказать, что они эргативны в построении глагола и номинативны в оформлении подлежащего? И то и другое явно неприемлемо, так как не соответствует тому, что мы понимаем под эргативностью и номинативностью. Прежде всего, не всякий глагол, передающий субъектно-объектные отношения, отвечает основным свойствам эргативности, а только тот, который соответствующею аффиксациею отмечает в подлежащем agens и patiens. Этому не вполне соответствует самоедский глагол, в большей степени выделяющий позицию объекта, чем смысловое зна-

чение субъекта. Что же касается падежа подлежащего в номинативном строе предложения, то его нейтральность в передаче семантических значений этого члена предложения связана с односторонним к нему отношением глагола, чему, равным образом, не отвечает построение глагола самоедских языков, передающего свои отношения как к субъекту, так и к объекту. Более осторожною при таком положении представляется мне следующая формулировка напрашивающихся выводов: самоедские языки имеют оформление подлежащего, сходное с номинативным, при построении глагола, не соответствующем номинативной схеме. Впрочем, сейчас меня интересует совсем другой вопрос, а именно — как определить стадиальное состояние самоедских языков?

Не только трудно дать такое определение, но невозможно в точности установить и пути дальнейшего развития этих языков, и тем самым поместить их на соответствующую ступень хронологической периодизации. Типологическое сравнение с языками других систем с иным строением предложения отмечает ряд формальных расхождений, что само по себе далеко еще не достаточно для установления стадиальной схемы. Последняя может выступить только тогда, когда удастся выяснить, в каком последовательном порядке идет ход структурных изменений. Именно это продолжает оставаться неясным, во всяком случае по отношению к самоедским языкам. Предположим, что мы ставим себе задачею сделать такой вывод сравнением строя предложения самоедских языков с эргативным и номинативным. Можно ли по отмеченным выше особенностям самоедских языков утверждать, что они находятся на грани формирования эргативного строя, имея субъектно-объектное построение глагола, но отмечая им семантические оттенки не субъекта, а объекта, т. е. только patiens, и при том лишь в положении прямого дополнения? Следует ли отсюда, что глагол в этих языках еще не получил требуемых эргативностью оттенков смысловых значений подлежащего или же, наоборот, что самоедские языки пошли по другому пути развития, расходясь с основами эргативной конструкции? При последнем толковании, наиболее отвечающем действительности, окажется, что самоедские языки никогда не были и никогда не будут в одном стадиальном состоянии с эргативными. Такой вывод неизбежен, пока мы при стадиальных характеристиках будем основываться на одних только формальных выражениях синтаксических конструкций. Равным образом и наличие винительного падежа вовсе не влечет за собою обязательного снятия с глагольного оформления имеющегося в нем выражения отношений действия к объекту, сохраняя лишь одностороннее согласование с подлежащим. Значит, и переход к номинативному строю не вполне обеспечен.

Наш анализ, как мы видим, и на этот раз не выходит еще за рамки конструктивных свойств построяемого предложения. Речь идет о строе предложения, а не о стадиальных переходах с одной ступени на другую. Поэтому, если все же рассмотренные нами

конструкции распределить по хронологической лестнице, то самоедские языки не займут на ней никакой ступени. Это положение и смущает в наибольшей степени. Выходит, что самоедские языки при таком понимании стадиальных переходов оказываются носителями признаков разных стадий. Отсюда можно сделать только один вывод, а именно, что такое их понимание не верно. Самоедские языки в рассматриваемом нами разрезе вскрывают не стадиальные соответствия, а схождения и расхождения отдельных конструктивных норм синтаксиса при сравнении с такими же нормами иных языков. Не только расхождения, но и подобного рода схождения оказываются вполне уместными и оправдываются наличным материалом.

Такие схождения отдельных грамматических построений даже в языках самых различных систем встречаются нередко. Все же по ним одним еще очень трудно разрешать вопросы, затрагивающие проблему стадиальных переходов и стадиальных соответствий.

Каждый строй предложения устанавливается рядом присущих ему признаков, получающих свое формальное выявление в построениях предложения. Эти формальные показатели складываются в длительном периоде существования языка и лишь в своей сумме дают его грамматический облик в ту или иную эпоху его исторического существования. При таких условиях отдельные синтаксические построения языков с одним строем предложения могут повторяться в языках с другим строем предложения. Например, в русском предложении *мне хочется* (ср. *я хочу*) при его сопоставлении с языками эргативного строя легко усмотреть дательный падеж подлежащего при глаголе чувственного восприятия. Но в этих языках такой падеж подлежащего при verba sentiendi дает строго выдержанную систему, тогда как в русском языке при тех же глаголах, как общее правило, подлежащее ставится в именительном (ср. *я люблю*, *я вижу*, *я хочу*). Усмотреть в русском примере пережиток эргативного строя можно только в том случае, если мы распределим рассматриваемые нами конструкции предложений в хронологической последовательности меняющихся стадий и если, к тому же, удастся установить, что русский оборот с verba sentiendi восходит к особой стадии чувственного восприятия, что во всяком случае устраняется. Отдельные обороты, связанные с особым восприятием передаваемого ими содержания, проникают в другие синтаксические системы самого разнообразного характера.

Для одних языков та или иная система из числа отмеченных выше является господствующею, в других она же выступает в ограниченных случаях, сосуществуя, но уже вклиниваясь в другую, опять-таки ведущую систему. Каждая система языков характеризуется рядом показателей фонетических, лексических, морфологических и синтаксических. В число последних входят разбираемые нами конструкции предложений. Последние, несомненно, играют большую роль при распределении языков по систе-

мам. Спрашивается — а какую роль они же имеют при распределении языков по стадиям? Не отвечая пока на этот вопрос, отмечу лишь, что сама постановка данного вопроса уже свидетельствует о том, что мы не отождествляем эти конструкции предложений со стадиями. Такое их отождествление прежде всего не убедительно.

Возьмем, например, грузинский язык. В трех его группах времен применяются совершенно различные синтаксические построения. В настоящем времени имеется номинативный строй с именительным падежом подлежащего и с винительным (он же дательный) прямого дополнения. В аористе выступает явная эргативная конструкция с особою формою активного падежа подлежащего. В ряде прошедших времен точно выдерживаются нормы аффективного строя с дательным падежом подлежащего не только при глаголах чувственного восприятия. Если эти синтаксические конструкции признать за стадии, то придется сказать, что грузинский язык, даже в современном состоянии его литературной речи, находится одновременно в трех различных стадиях развития. Едва ли такой вывод можно будет признать правильным.

Каждая конструкция, в том числе и синтаксическая, в своем генезисе уходит в историческое прошлое той или иной давности. По своему происхождению они могут быть разновременны. Но, существуя в определенный период, все они образуют одно целое, одну систему языка. Они же в своей совокупности и устанавливают данную систему с ее характеризующими, ведущими нормами. Выдвижение основных, ведущих синтаксических приемов объединяет весь слагающийся комплекс, в котором могут выступать, сосуществуя с другими приемами, также и не получившие в нем господствующего значения. Так, например, в грузинском языке при номинативном строе предложения в первой группе времен используется аффективное построение предложений с verba sentiendi. Хорошо известный грузинский пример mamasa ukvars švili 'отец любит сына' имеет подлежащее, стоящее в дательном падеже, хотя бы и в настоящем времени, для которого характерно подлежащее в именительном. Такое вклинивание аффективного построения в общий фон господствующей номинативной конструкции трудно назвать разностадиальным их состоянием. Расхождение форм в данном случае может иметь совершенно другое объяснение. Можно сомневаться, чтобы когда-то в далеком прошлом всякое действие, относимое к текущему моменту, понималось как совершаемое под влиянием аффекта и чтобы позднée такое восприятие уцелело бы только за названною узкою семантическою группою глагола. Исторический процесс, по мнению ряда грузиноведов, шел по совершенно иному пути. И эти предложения строились номинативно («отцу любим сын»). Лишь впоследствии они дали аффективное построение в результате инверсии.

Я не берусь оценивать правильность такого вывода, но не в этом дело. Есть ли здесь инверсия или же вместо нее выступает

сохранившаяся форма, созданная особым восприятием предложений с глаголами чувственного восприятия, все равно в обоих случаях тут в современном состоянии грузинского языка выступает особое грамматическое оформление. Оно остается связанным только с предложениями с verba sentiendi и в первых двух группах времен сохраняет силу действующей системы. Оно, к тому же, свойственно вовсе не одним только картвельским языкам. Наоборот, оно имеет широкое распространение вообще в яфетических языках, вне зависимости от их различного стадиального состояния. Что это именно так, можно видеть на многочисленных примерах из этих языков.

Остановимся пока только на яфетических Северного Кавказа, в частности на дагестанских.

Разные падежи подлежащего в названных языках передают различное восприятие обладания, аффекта и действия. При глаголах обладания подлежащее ставится в родительном падеже, при глаголах чувственного восприятия — в дательном, при глаголах продуктивного действия — в активном или другом косвенном, при нейтральной активности глаголов непереходных и состояния — в абсолютном. Различное восприятие отдельных семантических группировок глагола привело к раздельному восприятию смыслового во фразе значения субъекта. Когда такое понимание различия в отношениях субъекта к совершаемому процессу получает соответствующее грамматическое оформление, возникает эргативная конструкция. Подходя к ней как к уже сложившемуся строю, сочетающему различные построения, трудно установить хронологический приоритет одного из них перед другим.

Особые формальные показатели, которыми устанавливается та или иная структура предложения, могут варьироваться в своих деталях. Восприятие отмеченных выше отдельных оттенков процесса может не получать своего отражения в грамматическом построении — тогда нет эргативной конструкции. Оно же может отражаться в грамматическом оформлении — тогда выступает эргативный строй. Но и внутри этого последнего не все детали различного понимания отношений субъекта к процессу обязательно во всех языках выступают в одинаково развернутом виде. В некоторых — грамматическим оформлением отражается большее количество оттенков этих отношений, в других — ряд их остается без особого грамматического выражения и т. д. Так, например, в Дагестане северокавказским языкам эргативного строя, как мы видели, свойственно разнообразие падежей подлежащего соответственно семантике глагола. Поссессивность, аффективность, продуктивное действие, безобъектное действие и состояние — каждое из них сопровождается подлежащим в соответствующем падеже (родительном, дательном, активном, инструментальном, местном, абсолютном). Восприятие процесса детализирует в данном случае эти его оттенки специальными грамматическими формами. Иную схему мы видим в эргативных языках

чукотской группы Дальнего Востока. В них такой же детализированной разбивки нет. Вместо нее выступает ясно выделяемым только противопоставление продуктивного действия безобъектному. Каждое из них отмечается своим падежом подлежащего (инструментальный для продуктивного действия и абсолютный для безобъектного).

Синтаксические расхождения в сравниваемых нами языках, яфетических и чукотском, выступают достаточно ясно. Все же, анализируя их, нет оснований считать чукотский язык недоразвившим полную эргативную схему. Этот язык пошел по другому пути своего развития, оставив ряд отмечаемых яфетическими языками оттенков действия без особого грамматического выражения.

Разные пути развития можно проследить и в тех языках, которые хотя и противопоставляют предложения переходного действия предложениям непереходным, но получают грамматическое оформление, передающее восприятие одного и того же активного действия под различным углом зрения. На этой почве противопоставляется эргативный строй поссессивному. Например, в юитском языке эскимосов Дальнего Востока такое же противопоставление активного действия безобъектному ставит действующее лицо в родительном падеже при всех глаголах переходного действия, а вовсе не при одних только глаголах обладания. Здесь также выступает противопоставление продуктивного действия безобъектному, но восприятие отношения первого к agens несколько иное, чем в яфетических языках Дагестана. В одном случае, в яфетических языках и в чукотском, передается понимание действующего лица (agens) как исполнителя действия (кем выполняется), в другом случае, в эскимосских языках, то же лицо выступает как обладатель действия (кому принадлежит действие). В последних притяжательная конструкция выделяет не отдельную группу глаголов обладания, а целый языковой строй, противополагая все переходные глагольные формы непереходным и передавая восприятие первых под углом зрения поссессивности.

Языки обоих типов сосуществуют не только хронологически, но и территориально. Например, лакский язык Дагестана равным образом выявляет все ведущие признаки поссессивного строя, тогда как соседящие с ним другие языки того же Дагестана — аварский, даргинский, лезгинский и т. д. не менее точно проводят эргативное построение. И все же, несмотря на отмеченные конструктивные расхождения, все яфетические языки Дагестана преследуют одно и то же задание — противопоставить грамматическою формою переходное действие непереходному, хотя бы и различными способами. Таким синтаксическим заданием, наряду с другими показателями, фонетическими и морфологическими, они объединяются с полным к тому основанием в одну общую для них группу яфетических языков. Едва ли при таких условиях можно a priori, без более углубленного анализа и по одному только данному примеру, категорически отстаивать хронологи-

ческий приоритет лакского языка с его поссессивным строем предложения перед другими с эргативным построением. Во всех этих языках в том или ином виде все же противопоставляются две разновидности действия, продуктивного и непродуктивного.

Выделение данных категорий выступает в грамматических построениях, весьма, как мы видели, разнообразных. Происхождение их может быть различным. Оно обусловливается тем или иным восприятием совершаемого действия, вызвавшим соответствующее грамматическое оформление. Последнее выполняет в грамматическом строе определенную функцию. Но не все существующие в сознании представления о свойствах субъекта и действия получают свое грамматическое выражение. Поэтому если чукчи и коряки используют только два падежа для оформления подлежащего, то отсюда вовсе еще не следует, что они не представляют себе отличий между аффектом, обладанием и действием, т. е. тех отличий, которые в яфетических языках Кавказа получили свое выявление и в грамматических построениях. Более естественным будет допустить, что и народы Северного Кавказа и население Чукотского полуострова, как те, так и другие осознают семантическое различие между глаголами «иметь», «любить» и «строить», между предложениями «иметь свой дом» (обладание), «любить свой дом» (чувственное восприятие) и «строить свой дом» (активное действие). И если одни из них не передают особою грамматическою формою осознаваемых различий между аффектом, обладанием и активным действием, то эти все же осознаваемые различия остаются у них категориями понятий, хотя бы и без их выделения особым грамматическим построением.

Разница между яфетическими языками Кавказа и языками чукотской группы сводится, таким образом, к формальной стороне, что вовсе не вынуждает нас относить их к различному стадиальному состоянию. Мы видели, что и такие языки, как лакский с его поссессивною конструкциею, трудно в современном их состоянии выделить из общего стадиального состава с другими яфетическими языками того же Дагестана. Везде различие сводится только к формальной стороне. Вкладываемое же в нее содержание не дает таких же расхождений, какие наблюдаются в грамматических формах. Лакский родительный падеж подлежащего, так же как инструментальный падеж аварского или активный падеж лезгинского, — все они выделяют agens в его активной действующей роли. Если это так, то и противопоставление только что названных языков языкам номинативного строя может быть понято как идущее, равным образом, лишь по формальной линии. Пользующиеся индоевропейскою речью в полной мере воспринимают семантическое различие между глаголами аффекта, обладания и действия, хотя бы в языковом строе эти различия сглаживались общностью оформления глагола и единым падежом подлежащего. Таково современное состояние этих языков, исторически оправданное в своем ныне существующем строе и фонетики, и лексики,

и морфологии, и синтаксиса. Множество падежей подлежащего, сокращение их до двух и даже сведение их до одного могут свидетельствовать о различии оттенков понимания положения субъекта по отношению к действию в процессе становления того или иного строя предложения. Но в последующем ходе развития языков восприятие сохранившегося строя предложения могло измениться. Эргативные языки и номинативные, в их ныне используемых конструкциях, уже различаются главным образом формально. И едва ли мы окажемся правы, если будем утверждать, что и сегодня они свидетельствуют о различии действующих норм сознания современного нам носителя речи, пользующегося этими языками.

Лицо, совершающее продуктивное действие, в настоящее время уже одинаково воспринимается в отмеченных выше языках, в каком бы падеже оно ни стояло. Семантика обладания ничем, кроме грамматической формы, не различается, когда при глаголе «иметь» подлежащее стоит в родительном падеже (ср. дагестанские яфетические языки) и в именительном (ср. индоевропейские языки). Аварское *дир чу буго* передает то же самое содержание, как и русское *я имею лошадь*, хотя подлежащее в аварском стоит в родительном падеже. Равным образом лицо, испытывающее на себе результаты действия, воспринимается в своем пассивном состоянии, хотя бы оно и стояло в именительном падеже, а не в специальном пассивном падеже яфетических языков (ср. русск. *я болею*).

Одинаковое значение получили грамматические формы, хотя бы и различные по своему происхождению, но выполняющие в ныне действующем строе языка одно и то же синтаксическое задание с одним и тем же смысловым содержанием.

Другое дело — исторический процесс образования этих форм. Если отсутствие поссессивного построения в глаголе и имени, выражающем действующее лицо, вовсе еще не указывает на отсутствие соответствующего восприятия в мышлении говорящей на данном языке общественной среды, то, наоборот, наличие притяжательного спряжения переходного глагола свидетельствует не только о присутствии таких форм сознания, но и о преобладающем их значении в восприятии выражаемого в предложении действия в процессе становления этого грамматического оформления. Следовательно, при генетическом анализе мы все же можем спуститься к определенному стадиальному состоянию. Так, например, поссессивный строй спряжения переходного глагола образовался в связи с определенным восприятием отношений действующего лица к совершаемому им действию. Если не было бы особого понимания принадлежности действия действующему лицу, то не было бы и поссессивного строя. В дальнейшем ходе исторического процесса могло выработаться новое понимание тех же синтаксических отношений между подлежащим и сказуемым, в итоге чего родительный падеж стал выполнять общую функцию

подлежащего в предложениях переходного действия (ср. юитский-эскимосский язык и лакский Дагестана). Грамматическая форма в данном примере сохранилась, но содержание ее изменилось. Получилась коренная перестройка во всем содержании языкового строя. В частности, лакский язык ничем, кроме грамматической формы, не отличается от своего языкового окружения в том же Дагестане, в котором кумыкский язык проводит выдержанную структуру номинативного предложения. При таких условиях придется признать, что поссессивный строй предложения в лакском языке уже утратил свое первоначальное значение. В таком изменении содержания можно было бы усмотреть стадиальный переход. Таким образом, проблема стадиальности, казалось бы, переносится в область исторического процесса развития норм сознания, в частности к тому или иному пониманию отношений между действием, предметом действия и действующим лицом. Но именно тут мы можем стать на опасный для языковеда путь перенесения проблемы стадиальности всецело в область мышления и тем самым порвать связь между ним и языком, что в конечном итоге и сделала школа де Соссюра. Если стадиальность относится нами к числу языковых явлений, то и отстранение ее от языкового материала невозможно. В противном случае вовсе снимается вопрос о стадиальности в языке.

Положение о неразрывной связи формы и содержания должно оставаться для нас ведущим и в данном случае. Иначе нам грозит возвращение к узкому формализму. Впрочем, имея дело с языковым материалом, мы ни в коем случае не можем отрываться и от его формальной стороны. Последняя все же не представляет собой неизменно существующего сложившегося целого. В своем развитии она продолжает оставаться в теснейшей связи с вложенным в нее смысловым содержанием. Получается сложнейший комплекс видоизменяющихся, но постоянно связанных друг с другом взаимоотношений. Каждой грамматической форме свойственно определенное содержание, причем в движении находится как форма, так и содержание. Изменение содержания может вызвать к жизни новую форму, но видоизмененное содержание может вкладываться и в старую. Форма может сохраняться и при измененном ее смысловом значении.

Поступательному ходу семантических смен подчиняется вовсе не одна только лексика. Таким же, и при том весьма радикальным, переменам подвергается также вся структура предложения. Ныне действующие ее формы могли в прошлом выступать с совершенно иным назначением. Тем самым вся структура предложения, в смысле распределения ведущих ролей между выступающими в нем членениями, меняется коренным образом. На этой почве переосмысления синтаксических отношений возникает инверсия. Один пример ее уже отмечался выше, когда речь шла об аффективных оборотах грузинского языка. Специалисты по картвельским языкам усматривают в них инверсию. Если она действи-

тельно имела место, то все же речь в данном случае идет не о всей системе языка, а лишь об отдельных выступающих в ней оборотах. Но такого же рода инверсия могла в других случаях проникнуть весь строй предложения и поставить на новую основу всю его конструкцию. Возможно, что в ходе исторического процесса старая грамматическая форма получала иное синтаксическое содержание, например с изменившимся пониманием отношений agens к действию. В частности, как полагает проф. Д. В. Бубрих, инструментальный, поссессивный и любой другой косвенный падеж подлежащего могли в прошлом передавать agens косвенным дополнением. К такому его положению и сейчас еще весьма близки те яфетические языки того же Дагестана, в которых глагол не имеет личных окончаний и согласуется только с объектом своими классными показателями (ср. аварский язык). Подлежащее в этих языках устанавливается не формою косвенного падежа, а местоположением, так как косвенному дополнению при наличии подлежащего не свойственно стоять на первом месте. Таково ныне действующее восприятие синтаксических позиций членов предложения. В прошлом могло быть иное их понимание.

Последующая, в связи с этим, синтаксическая перестройка могла перенести на косвенное дополнение функцию выражения грамматического субъекта.

Если такой синтаксической инверсии подчиняется весь грамматический строй языка, то тем самым закрепляется за подлежащим грамматическая форма соответствующего косвенного падежа. На этой почве действительно могла получиться инверсия в грузинском примере с глаголами чувственного восприятия, в результате которой подлежащее оказалось стоящим в дательном падеже. Если по тому же пути в других яфетических языках шли не одни только аффективные обороты, но и поссессивные и всякого рода эргативные, то в итоге могла в дагестанских языках получиться инверсия всей системы построения предложений. Образовалась грамматическая форма косвенного падежа для выражения активно действующего лица в противоположность пассивному состоянию или безобъектному действию. Весь строй предложения уже получает новое содержание, новое качество, хотя бы и при сохранении того же морфологического оформления. Строй предложения переходит на другую ступень. Получается стадиальный переход.

Если это имело место и если последующие исследования подтвердят наличие в яфетических языках пережитых инверсивных перестроек, то все же придется все эти уже современные нам языки со всеми их разновидностями поссессивных, эргативных и аффективных построений рассматривать как находящиеся в одном стадиальном состоянии. Инверсия окажется причиною стадиального перехода, а грамматический строй, предшествующий инверсии, будет их же предыдущею стадиальною ступенью.

Обратимся к другому примеру. Система использования служебных слов в их синтаксической функции может привести к утрате их самостоятельного значения слова и дать агглютинацию. Синтаксическое назначение остается тем же самым и за словом и за частицею, но в данном случае все же формальная сторона существенно меняется. Причину таких изменений на этот раз легче усмотреть в общественной практике, чем в сдвиге норм сознания. Меняется вся структура речи, в итоге чего можно видеть стадиальный переход. Проблема формы и содержания и тут продолжает оставаться в силе, хотя изменения проходят за счет формальной стороны, а не содержания, как это было в ранее приведенном примере. В том же положении оказывается отпадение флексии и перенос ее синтаксической роли на служебные частицы типа подвижных аффиксов. И тут в корне меняется весь строй языка.

Значительные сдвиги в строе языка удается проследить и в самих грамматических конструкциях. Так, например, исследователями нередко отмечаются расхождения между синтаксическими построениями устной народной и письменной литературной речи. Внедрение письменности отражается на строе языка, внося в него свои особенности. Письменная художественная литература оказывает свое влияние на развитие речи вообще. Уточняются формы глагола, причастные обороты закрепляются в им приурочиваемых синтаксических позициях и т. д. Подобного рода сдвиги можно наблюдать у младописьменных народов. Введение у них письменности может вести к весьма существенным сдвигам даже в построении предложения. Развивается сочинение и подчинение в осложняемом строе предложения, образуются или заимствуются соединительные союзы, относительные местоимения и пр. Нормы устной речи перестраиваются на письменную литературную. И в этом можно видеть элементы идущих стадиальных сдвигов. Возможно, что даже и в языках с установившеюся традициею письменной литературы удастся усмотреть своего рода стадиальные расхождения между письменным литературным языком и сосуществующими живыми диалектами народной речи в особенностях ими используемых синтаксических конструкций и т. п.

До сих пор речь шла о сдвигах в морфологических и синтаксических конструкциях и по ним намечались возможные случаи конструктивных перестроек, которые в большей или меньшей степени удается подводить под схему стадиальных переходов. Возможно, что такого же рода стадиальные сдвиги следует усматривать и в тех идеологических изменениях в языке, которые не получили непосредственного отражения на формальной стороне грамматических построений.

Каждое стадиальное состояние языка характеризуется теми или иными ведущими для данного стадиального состояния признаками, нарушение которых ведет к другому стадиальному состоянию. Одними из таких признаков в их грамматическом выражении

оказываются грамматические системы в их разновидностях морфологии и синтаксиса.

Эти грамматические признаки все же в своей формальной части остаются носителями определенного содержания. Смысловая сторона, создавшая морфологический и синтаксический строй языка, находится в диалектической связи с ею же обусловленною формальною стороною речи. И то и другое, идеологическая и формальная стороны речи, прослеживаются в их движении. Сложность диалектического пути их развития сказывается и в морфологии, и в синтаксисе, и в осмыслении их действующих структур. Последнее играет существенную роль в тех же стадиальных характеристиках. Мы уже видели, что лакский язык с его поссессивным строем не исключается из числа яфетических языков с эргативным строем предложения. Они по содержанию передаваемых в них грамматических форм сблизились. Придется признать, что они находятся в одном стадиальном состоянии вопреки наличию в них различных грамматических систем. Едва ли по тем же основаниям можно относить соседящий с ними кумыкский язык с его номинативным строем предложения в другую стадию. Распределение всех их по разным стадиям становится уже узко формальным. В результате оказывается, что стадии могут быть многосистемными.

Даже в пределах языков одной и той же системы, сохранивших без существенных изменений свою формальную сторону, удается иногда проследить, равным образом, достаточно резкие сдвиги. На этот раз выступают изменения в осмыслении грамматического строя, а не в его формальной стороне. Это тоже будут своего рода стадиальные переходы, хотя формальная часть продолжает оставаться тою же. Воздействие на нее происходящей смены ограничивается восприятием грамматического построения под иным углом зрения.

Возьмем конкретный пример. Абхазский язык в своем ныне действующем строе использует для выражения agens и patiens особую глагольную префиксацию, давая схему эргативного предложения. Глагол своими показателями различает активное и пассивное содержание субъекта. Между тем П. К. Услару еще в 60-х гг. прошлого века удалось с достаточною убедительностью установить, что показатели agens в глаголе данного языка восходят к притяжательной аффиксации, отмечая принадлежность действия, а не активную роль субъекта.[3] В ныне существующем строе языка те же служебные показатели выступают с новым их содержанием, обратившись из поссессивных в эргативные. Таким образом, в данном случае служебные показатели поссессивного значения дали основание к переходу глагола на эргативное построение. Притяжательный показатель закрепился за agens в противоположность абсолютному с его значением patiens.

---

[3] Услар П. К. Абхазский язык. — ЭК, I, с. 73.

Выходит, что в основе эргативного строя в абхазском языке лежит предшествующий ему поссессивный.

Получилось нечто подобное тому, что мы уже видели в лакском языке Дагестана, явно поссессивный строй которого всеми кавказоведами не выделяется из общего числа дагестанских яфетических языков с их эргативною конструкциею. Лакский язык с его поссессивным предложением воспринимается, наряду с другими эргативными, тоже как эргативный. Его родительный падеж подлежащего выполняет ту же синтаксическую функцию, какую в других соседящих языках несут инструментальный, активный, местный. Все они в равной мере выделяют активно действующее лицо. Сохранившийся строй подчинился общему с другими осмыслению синтаксических построений, сохраняя все же формальные расхождения. И в абхазском языке произошло такое же переосмысление используемой конструкции. В лакском языке родительный падеж подлежащего получил функцию эргативного. В абхазском языке поссессивные показатели глагола обратились в эргативные. Изменение в обоих примерах коснулось не отдельных явлений языка, а всей его системы. При таких условиях придется признать, что абхазский язык был представителем поссессивного строя только в своем далеком прошлом. Что же касается лакского языка, сохранившего и сейчас поссессивную конструкцию предложения, то и его едва ли следует считать типичным представителем этой конструкции, так как и его форма теперь уже утратила первичное содержание.

Если, углубляя историзм в языковедческую работу, признать наличие в указанных примерах перехода с поссессивности на эргативность, то все же не следует спешить с признанием такого рода перехода общим законом для всех вообще языков. Для такого утверждения единичного примера далеко не достаточно. То, что для одних языков является фактом, может не иметь места в других языках. Они могли идти в своем развитии иными путями. К тому же, по существу, такого перехода в абхазском и лакском языках в их формальной части не было. Строй предложения остался тем же, изменилось лишь его понимание. Первоначально он воспринимался как передающий принадлежность — за это, по крайней мере, говорит его формальная сторона. Позднее, в окружении других языков, тот же строй стал пониматься под одним общим углом зрения, подчиняясь единому для них заданию формально выделять переходное действие от безобъектного. Впрочем, и при несогласии с этим моим мнением все равно придется прийти к выводу, что абхазский язык вовсе не перешел из поссессивной стадии в эргативную, а пережил стадиальный переход, выразившийся в перестройке поссессивной конструкции предложения в эргативную. Грамматические системы, поссессивная и эргативная, остались системами и вовсе не обратились в стадии. Понятия стадии и системы не совпали даже и в только что приведенных примерах, хотя эти же системы и послужили

основанием для стадиального перехода. Таким образом, смена синтаксических систем, реально устанавливаемая на конкретном материале, может служить лишь одним из путей стадиальных сдвигов. Кроме синтаксических систем, выступают также и системы морфологические. Переход от аморфного строя к морфологическим можно, равным образом, рассматривать как стадиальный переход, потому что меняется вся структура языка, одна морфологическая система переходит в другую. Такие же существенного значения смены можно усмотреть и в продвижении флективного строя к аналитическому, что получает свое отражение на смене конструктивных основ изучаемого языка (ср. английский язык) и т. д. Можно прослеживать стадиальные переходы в морфологии, можно их прослеживать в синтаксисе. При зависимом положении морфологии от синтаксиса и, во всяком случае, при их тесной связи вопрос о стадиальных состояниях и стадиальных сменах крайне осложняется выступающими и здесь моментами диалектической связи.

Что же такое стадия? Каждый язык находится в определенном стадиальном состоянии. Сравнительный анализ поможет установить, какие языки находятся в одинаковом стадиальном состоянии. Что такое стадиальный переход? Это коренной сдвиг в структуре языка, идущий сложным путем диалектического развития речи. Сравнительный анализ сможет выяснить, какие языки пережили одинаковые стадиальные сдвиги.

Устанавливать стадиальные состояния и сдвиги, при всей сложности их диалектической обусловленности, следует, как мне кажется, прежде всего анализом исторического хода развития языка на конкретных и точно проверенных материалах каждого отдельного языка. Положительное значение в этом направлении получают сравнительные сопоставления языков одной группы со сравнительными экскурсами в сторону языков других систем. Такой сравнительный подход к разносистемным языкам обещает вскрыть богатейшие факты, но во всякой научной работе, и тем более в последнем случае, перед исследователем стоит сложность сравнительного анализа и необходимость особой осмотрительности в делаемых выводах.

Стадиальные переходы могут прослеживаться на материалах отдельных языков, даже отдельных языковых групп (семей). Может быть, удастся выявить и общую схему стадиальных переходов. Они наличны, когда язык в основном своем строе претерпевает коренные сдвиги, дающие новый строй иного качества, чем ему предшествовавший. Эти изменения имеют свое социальное обоснование. И если они в своих различных проявлениях находятся также в тесной связи с действующими нормами сознания и идущими в них сменами, то все же стадиальные переходы прослеживаются на самом языковом материале в сложной схеме взаимоотношений формы и содержания.

1947

НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Советское языкознание в своем становлении и дальнейшем развитии тесно связано с именем акад. Н. Я. Марра, выдающегося языковеда, филолога и историка Кавказа. Творческий путь этого ученого, стяжавшего себе мировую известность, характеризуется вечным стремлением вперед, постоянными поисками новых путей к разрешению сложных проблем, стоявших и продолжающих стоять перед историками культуры и исследователями структурных особенностей языков во всем многообразии их действующих систем синтаксиса и морфологии.

Замкнувшись первоначально в рамки Кавказа, Н. Я. Марр уже и здесь нашел себе исключительно благоприятную почву в том обилии языков самого различного строя, какое давал весь Кавказ с его старыми развитыми литературными языками Грузии и Армении и с его же бесписьменной речью горских языков самых различных систем. Позднее, когда Н. Я. Марр в своей исследовательской работе вышел за пределы Кавказских гор на юг, в сторону Передней Азии и на север, навстречу многоязычным народам нашего Союза, арсенал знаний оказался уже достаточно велик для того, чтобы пытливый исследовательский ум ученого поставил перед собою задание синтезирующего значения. На этой почве создавалось новое учение о языке, идущее не по проторенному пути зарубежной науки, а на основах, от нее не зависимых.

Научная деятельность Н. Я. Марра на всем протяжении первых трех ее десятилетий, начиная с первой печатной работы 1888 г., вовсе не была узко лингвистическою. Правда, Н. Я. Марр изучал отдельные языки, составлял по ним грамматические очерки, но в то же время он уделял значительную долю своего труда и времени комментированию древних текстов, т. е. работе чисто филологической. Кроме того, он же, с присущей ему энергией и увлечением, руководил систематическими раскопками древней столицы Армении (город Ани), а в военное время 1914-го и последующих годов возглавлял направленную в Турецкую Армению

экспедицию, равным образом археологическую. Во всей этой работе Н. Я. Марр выступал как бы комплексным ученым, историком в широком понимании данного термина, что присуще вообще востоковеду, каковым он и был в эти творческие годы его жизни. Объект исследования освещался им со всех сторон. Он берет материальную культуру народа, письменные памятники, его собственные или чужие, говорящие о нем, и включает сюда же исследования языкового материала. Все эти данные привлекаются как исторические свидетельства, и сам язык, в связи с этим, рассматривается как исторический источник первостепенного значения.

Отсюда становится вполне понятным, что и к языку Н. Я. Марр подходил в значительной степени как историк. Уделяя последние 15 лет жизни преимущественное внимание языкознанию и становясь ведущим языковедом, он уже не мог рассматривать язык оторванно от обусловливающей его развитие общественной среды и подходить статично к описанию его грамматических форм. Эти последние вставали перед Н. Я. Марром как исторически возникшие факты. Язык во всех его проявлениях вскрывался исследователем как проникнутый динамикою, как движимый вперед по пути своего развития и в то же время сохраняющий пластами отложившиеся в нем следы его иногда весьма отдаленного прошлого. Этим объясняются также попытки разрешения ряда вопросов генетического порядка не только в поисках становления того или иного языка, но с широкою постановкою проблемы происхождения человеческой речи вообще. Н. Я. Марр шел к охвату всего языкотворческого процесса с самых начальных его ступеней и включительно до живой речи уже нашего времени. Богатство языков СССР стало рассматриваться на общем фоне мирового богатства во всем колоссальном многообразии языков земного шара. Новое учение о языке оказывалось, тем самым, новым направлением общего языкознания.

Проникнутый по-прежнему интересами историка, Н. Я. Марр в своих уже специально языковедческих работах продолжал оставаться тем же историком. Поэтому изучение языка без знакомства с историею говорящего на нем народа Н. Я. Марр представлял себе совершенно невозможным. Отсюда следует его утверждение о том, что язык как явление общественного порядка должен в самом процессе его изучения получать социальное обоснование во всех деталях существовавшего и существующего строя. Тем самым выдвигается основное положение Н. Я. Марра, формулируемое тезисом «язык и общество».

Углубление в эту тему вплотную сомкнуло Н. Я. Марра с ведущими положениями учения Маркса—Энгельса—Ленина о развитии общества и всех явлений общественного порядка, следовательно и языка. Этим оказались заложенными основы материалистического учения о языке, строящегося на социальной базе и на началах диалектического единства языка и мышления.

Исторический процесс развития общественных форм, изменения в экономике и в условиях трудовой деятельности получают свое отражение как в нормах существующего сознания, так и в действующем строе языка, в его лексике и даже грамматике. Может видоизменяться не только содержание слова, но и назначение грамматической нормы и даже эта последняя. В связи с этим усиливается внимание к семантике формальной стороны, к ее смысловому значению в словарном составе языка, в построении предложения, вообще во всем строе речи.

Язык меняется не сам по себе. Его изменения вносятся тою социальною средою, которая пользуется им как необходимым средством коммуникации, удовлетворяя насущным потребностям материальных нужд и развивающейся идеологии. Здесь связь языка и мышления несомненна. Мысль выражается через язык, который во всех своих слагаемых элементах осмыслен. Форма без содержания существовать не может. Отсюда — выход из узкого формального анализа в сторону детального изучения формы с присущим ей содержанием. От этого выигрывает и сама формальная сторона. Н. Я. Марр решительно возражает против одностороннего, узко взятого одного только формального подхода к языку. В то же время он, конечно, не оспаривает необходимости твердых знаний формальной стороны языка. Одно другому не противоречит. Прекрасное знание формы, при освоении ее содержания и назначения, углубляет понимание ее современного состояния и содействует прослеживанию причин пережитых ею исторических изменений. Только таким путем обеспечивается широта горизонта для исследователя истории языка.

Исторический подход к языку, идущий в только что отмеченном направлении, т. е. с учетом диалектического единства языка и мышления со всеми вытекающими отсюда последствиями, оправдал закономерность выдвижения общих для ряда языков тенденций передачи одних и тех же понятий различными средствами лексики и грамматики. На этом строится понимание единства глоттогонического процесса, получающего в значительной степени новое освещение.

Сходство многих явлений, наблюдаемых в ряде языков, иногда совершенно различных по своему грамматическому строю, отмечалось и раньше. В сводных работах, касающихся общих обзоров по языкам обособленных групп, высказывалась, иногда робко, иногда более решительно, мысль о наличии каких-то объединяющих все языки, общих для них законов (Э. Сепир). Но все подобного рода суждения обосновывались главным образом на сравнении именно формальной стороны, на тождестве основ, на близости приемов агглютинации, на переходе служебных слов в служебные частицы и пр. Между тем единство глоттогонии (языкотворческого процесса и его последующего развития) вовсе не ограничивается только этим. Развивая мысль Н. Я. Марра в его понимании единства языка и мышления, легко расширить гра-

ницы привлекаемого материала включением не только формальных схождений, но и формальных же расхождений. Решающим выступает общность содержания, общность того понятия, которое передается различными языками. При сходстве норм сознания на определенном этапе развития общественной среды и в языке создаются под их воздействием выдержанные системы понятийных категорий, образующих группировки слов по их формальным и семантическим признакам, их же объединения в предложении в синтаксические группы (именуемые иногда «синтагмами»), зависимые значения одних слов от других (выражение атрибутивности и т. д.). Эти категории выступающих в языковом материале понятий, получая грамматическую форму, становятся грамматическими понятиями. Формальное их выражение по языкам может быть совершенно различным, вводя многообразие внешних форм для передачи объединяющего их единства.

Такие выводы, являющиеся результатом кропотливой и многолетней работы, внесли известную ясность в понимание всего сложного многообразия структурных особенностей языков мира. Единство процесса развития человеческой речи вовсе не сводится лишь к тождеству в формальной стороне его выявления. Понятия, вложенные в языковую форму, отнюдь не требуют единого общего формального их выражения не только в лексике, в тождестве основ словарного состава языка, но и в различных видах грамматических построений и грамматических форм. Один и тот же предмет может в различных языках получать разные наименования. Одни и те же синтаксические отношения между членами предложения могут в одних языках передаваться синтаксическими приемами, резко отличающимися от синтаксических средств, используемых в тех же целях другими языками, и т. д.

Весь этот сложный языковый аппарат находится в постоянном движении, темп которого, то ускоряемый, то замедляемый, зависит от соответствующих потребностей социального фактора. Действительно, все в языке находится в движении. Это уже стало общепризнанным фактом, но и тут прослеживаемые в языке изменения обычно ограничиваются сопоставлением меняющихся в хронологическом порядке форм. Получается последовательный, иногда весьма длинный ряд эволюционных изменений. На длительном протяжении эволюционных смен устанавливаются значительные перемены, объясняемые все же последовательным ходом непрерывного поступательного движения. В итоге язык отходит от своего изначального прототипа, иногда даже резко от него отличаясь.

Во всех подобного рода построениях оставляются в стороне не только упомянутые выше положения о единстве языка и мышления, но и решающая постановка основного тезиса работы лингвиста — «язык и общество». Становясь на базу социальной обусловленности развития языков, Н. Я. Марр приходит к совершенно иным выводам. Он устанавливает, что изменения в языке

могут быть различными. Бывают постепенные и незначительные изменения, прослеживаемые на оттенках в значении слова или на частичных видоизменениях его основы. Могут иметь место и смены более радикальные, создающие образования нового качества. На этой почве, в процессе скрещения, получаются новые языки, старые формы выступают с новым содержанием или с иным их грамматическим использованием. Корнями своими они тяготеют к прошлому, хотя по своему современному содержанию они уже новы. Новыми в языке могут оказаться не только заимствованные слова и грамматические формы, но и свои собственные.

Для историка-языковеда значительный интерес представляют именно последнего рода смены, систематически не прослеженные. Они приобретают особое значение в исследовательской работе лингвиста, когда захватывают всю основную структуру языка. Качественно новые образования, при их более углубленном изучении, вскрывают историческую смену языковых напластований, слабо выступающую и обычно вовсе не улавливаемую при исследовании одних только плавных переходов эволюционного порядка. Для установления наблюдаемых путей трансформаций верным и единственным руководителем оказываются ведущие положения исторического и диалектического материализма.

Советское языкознание уже насчитывает почти 30 лет своей весьма интенсивной работы. За этот период трех десятилетий произошли значительные изменения как в самом процессе развития языков на громадной территории нашего Союза, так и в приемах их исследования. Наблюдаются коренные сдвиги в исследовательской работе, вплотную сомкнувшейся с первоочередными заданиями чисто практического характера. Многие народы за этот период впервые получили письменность на своем родном языке. Для них вырабатывались алфавиты на основе русской графики, что требовало детального изучения фонетики каждого из этих языков. Устанавливались орфографические правила, писались пособия школьного типа, составлялись подробные научные грамматики с широким охватом материала, изучаемого в его деталях и в историческом освещении действующих языковых норм. Исследовались диалекты и устное народное творчество сказителей, на смену которым выступает художественная литература и письменная речь. Большая работа проведена и по составлению словарей.

Во всем этом сложном и кропотливом труде на первое место выступала методологическая сторона, обеспечивающая выполнение ложащегося на языковеда задания. Эта сторона работы неизбежно выдвигалась вперед потребностями более углубленного изучения вновь вскрываемых фактов, иногда даже при самом их становлении. Приобщение еще столь недавно отсталых в своем развитии народов к высокой культуре и следующий за этим быстрый их рост, обусловленный подъемом экономики и быта, введение письменного литературного языка, представляющего

собою нечто новое по сравнению с устною народною речью, почти племенною, — все эти колоссальные сдвиги проходят на наших глазах. Получилось громадное накопление свежего материала, вскрывающего причину коренных сдвигов, наблюдаемых исследователем и обязанных, конечно, не собственному росту того или иного языка. В связи с этим теоретическая работа в ее отмеченном выше направлении получила исключительно благоприятную почву для своего применения, поверки и уточнения. Она крепла и росла в процессе изучения конкретного языкового материала. Так создавалось советское языкознание.

Научный работник столкнулся с материалом исключительной ценности. Ему пришлось уйти в изучение малоисследованных, а иногда и вовсе не изучавшихся языков, крайне разнообразных и своеобразных по своему строю. Богатые разновидности языков СССР требовали подхода к каждому из них с учетом его специфических особенностей. Они же неизбежно вели к их параллельному изучению, вскрывающему моменты схождения и расхождения действующих норм грамматики, что в свою очередь уточняло установившиеся нормы каждого объекта исследования. Языки различного строя изучались тем самым более глубоко. Их структурные свойства получали более точное определение и, сравниваемые друг с другом в пределах ими объединяемых групп, давали основу для построения классификационных схем.

В процессе длительной работы развивались и углублялись установки создаваемого лингвистического направления; нередко они изменялись самим же Н. Я. Марром. Приступая к истолкованию языковых фактов при новом их освещении, внедряемом в языкознание положениями марксизма-ленинизма, Н. Я. Марр искал и давал объяснение им в совершенно ином виде, чем то, которое давала им привычная интерпретация старой школы младограмматиков, в которой сам же Н. Я. Марр воспитывался. Он сейчас же спешил поделиться своими свежими мыслями не только на научных докладах в тесном кругу специалистов, но даже в студенческой аудитории и в печати. Выводы эти иногда оказывались преждевременными, не подкреплялись дальнейшим анализом материала, накапливаемого и проработанного самим же Марром; тогда он со всею присущею ему решительностью вносил необходимые исправления и уточнения, возражая нередко против своих же собственных выводов предыдущих работ. Это была живая, кипучая лаборатория, в которую Н. Я. Марр неизменно привлекал все новых и новых адептов, преимущественно из числа более молодого поколения научных работников.

Н. Я. Марр, со свойственной ему настойчивостью, упорно шел вперед, расширяя свой кругозор привлечением одного языка за другим и проверяя на свежем материале основные положения материалистического учения о языке.

Период уточнения этих основных коцепций, выдвинутых в предшествующие годы, не прервался и по кончине основателя

новой школы языковедов. Приток свежего материала непрерывно продолжался, а приобретаемый опыт исследовательской над ним работы укреплял кадры советских лингвистов, создавая все возможности для последующего плодотворного труда. Исследовательская мысль развивалась, методические основы крепли. Постоянная их поверка на пути внедрения в языкознание ведущих методов исторического и диалектического материализма уточняла подход к изучаемому материалу. Тем самым выполнялись указания Н. Я. Марра. Он постоянно требовал укрепления теоретической части. В ней он видел залог успеха в продолжающемся росте всей научной работы, идущей на пользу культурному подъему нашей великой многонациональной Родины. Ею же обеспечивались все сложные задания, стоящие перед школьными работниками.

Нередко слышались обвинения Н. Я. Марра в том, что при углублении своих интересов в сторону теоретической проблематики он постепенно отходил от практики и что возглавляемый им ленинградский научный центр чрезмерно теоретизирован. Такие суждения слишком поспешны. В чисто практических заданиях составления учебников для приобщенных к письменности малоизученных и вовсе не затронутых наукою языков требовалось прежде всего побороть еще существовавшую тенденцию усматривать во всех языках однотипную схему грамматической структуры в членении предложения и тем более в разбивке лексического состава по частям речи, а в итоге — составлять грамматики по одному заранее выработанному шаблону. Всем этим лишь затемнялись структурные особенности отдельных языков, искажалось правильное их описание и затруднялось преподавание. Борьба с этим направлением неминуемо должна была усилить внимание на теоретическую часть. Методологическая сторона выдвигается на первый план, так как ею обусловливается правильность научных выводов при изучении конкретного материала весьма разнообразных по своему строю языков многонационального Советского Союза.

Тем самым оправдывается не только усиление методологической стороны исследовательской работы, идущей параллельно с чисто практическими задачами составления грамматик и словарей, но и постановка целого ряда вопросов более отвлеченного содержания, на первый взгляд как бы не имеющего прямого отношения к заданиям языковой практики. Это был необходимый этап работы, вовсе не отрывавший теорию от практики, но приведший затем к возможности с полным сознанием своих сил уйти в детальное изучение живых языков СССР в стенах того же, основанного Н. Я. Марром, Института языка и мышления.

Что представляет собою язык, как он создался и какими путями идет его развитие — это вовсе не отвлеченные рассуждения. Понять свойство языка, усвоить ход исторического процесса, приведшего к современному состоянию речи, — это значит

закрепить за собою возможность правильно подойти к пониманию его изучаемого строя. Такую задачу ставил себе Н. Я. Марр, ее ставили себе и его последователи в наступившие годы уже самостоятельной работы. Такое же задание продолжает стоять и перед нами.

Многие положения нового учения о языке, называемого Н. Я. Марром также «материалистическим языкознанием», получили уточнение в последние годы его жизни и даже после него, сравнительно недавно.

На мою долю выпало задание суммировать основные установки, на которых стоит новое учение о языке на современном этапе своего развития. Я не буду вдаваться в детальный разбор всех высказываний Н. Я. Марра и отдельных его взглядов в процессе их становления, уточнения и изменения. Такой разбор осложнил бы изложение, заняв слишком много времени и места, да к тому же он и излишен в рамках настоящей моей статьи. Не детали, а ведущее направление следует уяснить себе для понимания тех устоев, на которых продолжает развиваться советское языковедение. Это поможет укреплению предстоящего исследовательского труда и в то же время ясно выявит то громадное значение, которое получает в развитии языкознания пройденный Н. Я. Марром творческий путь и тот исключительный вес научных заслуг основателя нового учения о языке, который закрепил за ним почетное место среди крупнейших русских ученых.

Начало нашего пути почти смыкается с концом крупнейшего лингвистического течения, известного под именем «младограмматического». Из школы младограмматиков образовались два направления. На Западе создавалась «социологическая школа», положившая конец своему предшественнику. В поисках новых путей, заложенных женевским ученым Ф. де Соссюром, основателем «социологического направления» в языкознании, в самое последнее время проводится пересмотр его позиций, приведший к новому этапу развития общего языкознания с выделением школы структуралистов. У нас укрепило свои позиции советское языковедение.

Большинству специалистов, посвящающих свой труд лингвистическим исследованиям по языкам самых разнообразных систем, уже хорошо известны те устои, на которых строится заложенное Н. Я. Марром новое учение о языке. Я позволю себе остановиться на них кратким суммирующим образом, подводящим итог предваряющим строкам этой же статьи. Мною учитывается то понимание ведущей линии, которое установилось сейчас в результате научной работы трех десятков лет. Неоднократно пересматривавшиеся и уточнявшиеся основные положения нового учения о языке, принятые в настоящее время широкими кругами советских лингвистов, представляются в следующем виде.

1) Язык — явление социального порядка. Такое утверждение, казалось бы, не ново. Оно высказывается и зарубежным языковедением. Само наименование сформировавшейся на Западе «социологической школы языкознания» ясно подчеркивает признание общественного фактора в развитии языков также и иностранными учеными. Это же не отрицалось и некоторыми предшествовавшими научными направлениями в той же области как за границею, так и у нас задолго до Н. Я. Марра.

Советское языкознание не ограничивается одним только констатированием данного факта, не подлежащего оспариванию, да и никем в серьезных научных кругах ныне уже не опровергаемого. Но дело не ограничивается одним только его признанием. Все сводится к тому, в какой мере и в каких границах применяется общепризнанность социального фактора, следует ли ограничиваться одним только его засвидетельствованием или же основывать на нем всю исследовательскую работу, рассматривая все языковое целое во всех его сложных деталях под указанным углом зрения. Советская наука идет по пути построения всех своих выводов на этой основе, изучая язык и отдельные языковые формы в их социальном обосновании.

Не только язык в его целом есть создание общественности, но и все его слагаемые части, слово, оформление слова, использование слова в предложении, грамматические средства выражения отношений слов друг к другу в его составе, даже фонемы, вообще все элементы речи носят в себе отпечаток их создавшей общественной среды. В изучении грамматического строя советское языкознание значительно продвинулось вперед именно потому, что оно и эту сторону языка рассматривает как общественно обусловленную и с этой точки зрения устанавливает социальное значение и социальное содержание изучаемой грамматической формы.

Ограничиваясь даже тем, что уже сделано советским языкознанием, можно с полной уверенностью утверждать, что в анализ синтаксического строя и морфологии, в их взаимной связи и взаимной обусловленности, внесено многое для более ясного и точного понимания их действующих норм. Даже учение о фонеме в значительной своей части обязано русским ученым. Ими в наиболее четкой форме устанавливается социальная значимость звука. Ими же на этой основе разрабатываются положения о звуко-фонемах, об «общественно отработанных», по выражению Н. Я. Марра, звуках.

2) В исследовательской работе над языком все внимание сосредоточивается на изучении формы и ее содержания. Форма и содержание неразлучны при исследовательском к ним подходе. Выявляются идеологическая часть и ее внешнее выражение в речи. Здесь во всей своей остроте становится проблема изучения языка как общественно выработанного средства коммуникации, как реального выражения мысли. Отсюда само собою вытекают

новое понимание этих связей и подход к языку как к реальному сознанию, действительному его выражению, проникающему не только смысловую сторону словарного состава, но и весь грамматический строй во всей его совокупности словосочетаний и словопостроений.

Язык и мышление изначально тесно связаны. Эта связь сохраняется и выступает во всей истории развития человеческой речи. Она проникает собою всю речь и все ее слагаемые части. Язык и мышление выступают в их диалектическом единстве, каждый со своими особенностями, но в неразрывной связи единого целого. Форма не может быть без содержания. Содержание должно иметь свое формальное выражение.

Связь языка и мышления никем, по существу, не отрицается, так же как и общественное значение самой речи. Но и в данном случае выводы различных лингвистических школ расходятся, и язык продолжает даже в современных направлениях зарубежного языковедения рассматриваться в значительной степени изолированно. Намечаются как бы два направления: одно, возглавляемое преемниками де Соссюра («социологическая школа» Запада), изучает язык сам в себе и сам для себя, что с полною категоричностью и утверждается в заключительных строках основной работы женевского ученого (см. его «Курс общей лингвистики», русский перевод); другое, заложенное Н. Я. Марром и продолжаемое его последователями, выходит за рамки языка, чтобы глубже понять языковый материал. В связи с этим у одних язык и мышление размыкаются, тогда как у других они же сближаются до той степени, которая необходима языковеду в его лингвистических трудах. Благодаря этому в последнем случае смысловая сторона слова, грамматической формы и всякого грамматического построения яснее вскрывает существо формальной стороны языка, и описание языкового строя становится глубже и полнее.

Не только язык является общественным достоянием, но и нормы действующего сознания обусловлены в своем генезисе и развитии общественным фактором. Последний, воздействуя на язык как на реальное сознание, социально обусловливает все явления языка. Тем самым социальное значение приобретают не только предложение («предложение-мысль», по Н. Я. Марру), но и слово, морфема, фонема.

3) Содержание слова и его форма, так же как смысловая и формальная стороны предложения, в том или ином виде связаны с мировоззрением использующей речь общественной среды. Содержание насыщает все элементы речи. Таким путем передаются в языке различные понятия. Они выступают в семантике слова, в смысловом содержании предложения и в разнообразных видах грамматических построений. Случайное возникновение последних, конечно, отпадает. Они выполняют определенный социальный заказ и потому осмысленны во всех своих слагаемых

частях. Так, например, представления о субъекте, предикате, атрибуте, о предметности, процессе и т. д. получают в грамматическом строе языков свое формальное то или иное выражение. Процесс может передаваться семантикою глагола или именем, выступающим в сказуемом, интонациею в живой речи и пр. Атрибутивность содержится в прилагательном, определении. Предикат выделяет член предложения — сказуемое. Субъект в большинстве случаев передается подлежащим, но может заключаться в глагольной форме и т. д. Для его выражения используются разного рода грамматические построения морфологии и синтаксиса.

Таков общий для всех языков закон, вскрывающий единство глоттогонического процесса и в то же время выступающий во всем многообразии грамматических форм. Понятия субъекта, предиката, предметности, процесса и т. д., варьируясь в своих деталях, объединяют все языки, выступая в них в том или ином осмыслении. Субъект может восприниматься как действующее лицо, как лицо, испытывающее на себе результат действия (ср. подлежащее при глаголе в страдательном залоге), как лицо, которому принадлежит совершаемое действие (ср. поссессивное построение предложения), которое испытывает состояние аффекта и пр. При всех этих оттенках, хотя бы и весьма существенных, все же выделяется единое представление о субъекте, о центре суждения, характеризуемом в его бытии, в процессе, понятие о котором, при всех возможных деталях, опять-таки остается общим для всех языков. Понятия о субъекте и предикате лежат в основе громадного массива языков мира. Прослеживаемые в языке выражаемые ими понятийные категории и являются в первую очередь тем связующим звеном, которое объединяет языки.

Понятия с их различными категориями являются тою базою, на которой строится формальная сторона языка, выделяющая свои грамматические категории. Что же касается этих последних, то разнообразие способов их передачи оказывается исключительным по своему богатству. Каждая система языка отличается от других не столько различием оттенков передаваемых понятий, что тоже может иметь место, сколько используемыми ею грамматическими формами для передачи этих понятий. На такой почве получаются схождения и расхождения в построениях предложений, в оформлении слов и даже в звуковой стороне языков различных систем, хотя бы во всех этих языках и имелись соответствующие грамматические выражения для передачи субъекта, предиката и различного рода атрибутивных отношений. В этом можно усмотреть моменты схождения. Расхождения же будут главным образом в формальной стороне: атрибутивность может быть передана и без выделения особого члена предложения (определения); при наличии последнего все же не везде прослеживаются особые грамматические категории, выделяющие соответствующую часть речи (прилагательные), и т. д.

Семантика слова и всего грамматического построения играет в данном случае далеко не последнюю роль. Смысловая сторона занимает в языковедческой работе видное место, но и она находится в движении. Меняющиеся нормы мировоззрения получают свое отражение и в языке, следовательно, и в развивающихся понятийных категориях, выступающих в языковом материале. Появляются новые формы, получают иное содержание старые. Идет непрерывный диалектический ход развития речи, прослеживаемый на различных этапах его исторического движения.

4) Все явления языка имеют свое историческое обоснование. Они — продукт истории, пережитой человеческим обществом. Поэтому язык, по своей социальной природе, подчиняется законам исторического движения, выявляя моменты диалектического хода развития. Развитие языков, как и всех выявлений исторического процесса, проходит эволюционно и трансформационно. Непрерывно идущие в языке изменения порождают эволюционные сдвиги, наблюдаемые в определенном периоде исторической жизни языка. Между этими периодами имеют место смены более радикальные. Количественное накопление норм, противоречащих действующему строю, может привести к коренной ломке всей языковой структуры. В этом случае строй языка получает качественные изменения, в результате которых выступает новое по своему качеству образование. Язык в процессе идущих в нем изменений может резко разойтись со своим же состоянием в более далеком прошлом. Одна структура языка сменяется другою, образуя в историческом разрезе переходы с одной ступени языкотворческого процесса на другую. Тем самым устанавливаются в языке стадиальные переходы, смены одной стадии другою.

Такие изменения могут затрагивать и не весь языковой строй; могут иметь место резкие сдвиги и в отдельных явлениях, не затрагивая ведущих свойств языкового строя в его целом. Подобного рода ясные переходы на новое состояние наблюдаются в семантике слова и в его форме, в синтаксической функции и оформлении служебных показателей и пр. Необходимость единого подхода к форме и содержанию остается в полной силе и в данном случае. Их взаимоотношения вскрывают всю сложность изучаемого исторического процесса. Новое содержание вызывает к жизни новую форму, но может вкладываться и в старую форму, получающую в связи с этим иное значение. Новая форма может приурочиваться к передаче старого содержания, причем изменению подвергается не только формальная сторона языка, но и идеологическая. Старая форма, носительница нового содержания, уже качественно отличается от своего же предшествующего состояния. Такие изменения касаются не только слова и его семантики — они могут затрагивать и грамматический строй в различных деталях морфологии и синтаксиса. Все в языке находится в движении. Юпитер, используемый при киносъемках, уже не божество античного мира (ср. семантический ход: *Юпитер — не-*

бесный свет — прожектор). Перо, которым я пишу, не имеет никакого отношения к животному миру и даже не похоже на гусиное. Французское je — уже не местоимение, самостоятельно не используется и выполняет служебную функцию только при глаголе. Агглютинативная приставка, восходящая в прошлом к служебному слову, перестала им быть. Значимое слово при его служебном использовании, например в сложных глагольных формах, получает иногда не только иное синтаксическое назначение, но и иное содержание и т. д.

Прослеживание в указанном направлении исторических путей развития речи в отдельных ее элементах, в слове и грамматической форме, в их меняющемся содержании и в их изменившемся внешнем выражении в речи проводится анализом фактического материала. Последний берется в пределах одного языка или в сравнительных сопоставлениях с другими языками той же или иной языковой группы (семьи). За таким анализом сохраняется наименование «палеонтологического».

Когда же подобного рода исследовательская работа проводится над целою языковою конструкциею, устанавливая смену одной структуры языка другою, когда речь идет о коренной перестройке всего остова языка в его ведущих, главным образом синтаксических, построениях, то тому же анализу присваивается наименование «стадиального». Оба анализа, стадиальный и палеонтологический, как тот, так и другой, имеют своим заданием прослеживание качественных в языке изменений.

Стадиальный анализ, т. е. прослеживание исторически зафиксированных коренных смен в строе языка, выступает необходимым пособием в работе советского языковеда. В значительной степени этим анализом советское языкознание отличается от зарубежного, в котором делается наибольший упор на эволюционные изменения и притом с преимущественным вниманием лишь на одну формальную сторону морфологии. Выдвижение эволюционизма на первый план в значительной степени сузило кругозор исследователя. Кроме того, оно же ложится в основу весьма шатких позиций теоретически реконструируемого праязыка, вполне отвечая идее постепенного расхождения языков от единого их центра, хотя бы в пределах одной семьи. Праязыковая схема, как бы она ни подрывалась отдельными высказываниями передовых представителей зарубежного языкознания, все же продолжает довлеть над научною мыслью. Н. Я. Марр категорически возражает против основных концепций изначального праязыка. Сам в прошлом его сторонник, Н. Я. Марр в итоге длительной работы решительно отошел от праязыка именно в тот момент, когда им же во всей остроте была выдвинута стадиальная периодизация (см.: «Индоевропейские языки Средиземноморья», 1924).

Праязыковая схема, категорически отрицаемая Н. Я. Марром, признается им же сыгравшею в свое время весьма положительную роль в развитии языковедческой дисциплины. Она была выдви-

нута в период исключительно плодотворной работы лингвистов XIX в. по внедрению историзма в исследования сопоставляемых друг с другом языков и послужила стержнем для проводимой их группировки по языковым семьям, на основе которой и была теоретически построена. Созданная классификационная схема сохранила еще и поныне свою действующую силу, но праязык уже более не находит обоснованных данных для своего сохранения. Он, прежде всего, вступает в резкое противоречие с подлинным ходом истории развития человеческой речи, прослеживаемой не в своей только узкой изоляции, а на фоне общей истории развития человеческого общества. Выдвигаемым советским языкознанием учету социального фактора и прослеживанию качественных в языке изменений противоречит сама идея праязыковой схемы. В настоящее время она уже сковывает ученого, отвлекая его в сторону от намеченного русла работы. Н. Я. Марр признает праязык сыгравшею свою роль научною фикциею. Его схема, построенная узко на формальной стороне, разошлась с действительностью и поставила саму формальную сторону в невыгодное положение, дав ей раз навсегда предвзятое истолкование.

Все же советское языкознание вовсе не отказывается от углубленного изучения грамматической формы во всех ее проявлениях. Не снижая уровня знаний формальной стороны, можно подходить к ней, значительно повышая степень ее изученности, когда устанавливается неразрывная связь ее со смысловою стороною речи. Тем самым усиливается внимание на внешнюю форму построения слова. Кроме того, поскольку смысловая сторона наиболее полно выступает в содержании законченного высказывания, советская лингвистика расширяет круг своих интересов включением еще и строя предложения, привлекая тем самым формальную сторону синтаксиса, до сих пор наименее обращавшего на себя внимание.

Усиление внимания на синтаксис влечет за собою более расширенное понимание морфологии, в значительной степени отражающей то синтаксическое положение, которое слово занимает в предложении. Отсюда сам собою следует вывод о том, что члены предложения и части речи находятся в тесной связи, сохраняя свои особенности не только по функции, выполняемой в системе языка, но и по внешним, им присущим признакам, т. е. по свойственным им грамматическим категориям. К таким выводам и пришел Н. Я. Марр.

Уходя в глубь истории развития человеческой речи, он устанавливал, что разбивка предложения на его членения предшествует и обусловливает собою выделение частей речи. Поэтому путь анализа слова идет через его использование в предложении. Тем самым синтаксис получает известную долю приоритета в исследовательской работе. Построенное в значительной степени на данных истории языка, такое заключение получает самое актуальное значение во всякой языковедческой работе, так как им кон-

статируется факт, относящийся вовсе не к одному только далекому прошлому.

В последние годы у нас значительно усиливается упор на синтаксис не только при изучении истории языка, но и при описании действующих норм живых, современных нам языков. Их морфологические нормы даже при уже установившейся системе частей речи все же сохраняют свою зависимость от синтаксического места слова в предложении (ср. субстантивация прилагательных и пр.). В дальнейшем напрашивается вывод: стадиальные переходы прежде всего и в наиболее наглядном виде получают свое отражение в синтаксической структуре языка и идущих в ней сменах (через синтаксис к морфологии). К таким выводам можно было прийти только при усилении внимания к пройденным этапам языкового развития и даже к весьма отдаленным. Оказывается, таким образом, что и в данном случае уход в глубину палеонтологического анализа сыграл свою весьма положительную роль, выдвинув ряд положений, с которыми приходится считаться и при разрешении вопросов, связанных с ныне действующими системами языков.

Все эти положения выдвигаются изучением языка в его движении и, опираясь не только на формальную, но и на смысловую сторону, продолжают оставаться тесно связанными с проблемою о сменах норм сознания. И если на этой почве возникла также проблема о стадиальных переходах, то сама эта проблема в самой своей постановке опирается на знание социального фактора, движущего как нормы сознания, так и язык. Социальный фактор продолжает оставаться везде в своей ведущей роли, обусловливая как смысловую, так и формальную стороны речи. Таким образом, последовательно идущие и неразрывно связанные друг с другом темы (язык и общество, язык и мышление, единство глоттогонического процесса в изложенном выше его понимании и стадиальные переходы) являются ведущими основами в нашей лингвистической работе. Ими обеспечиваются наличные возможности учета в работе языковеда непрерывного диалектического движения в исторически засвидетельствованных сменах.

Язык, в его общественном использовании, передает действующие нормы мышления и в том или ином виде отражает их в своем строе, получая новые формы или новое осмысление старых форм. На этом строится исторический подход к языку. Этим же обеспечивается правильное понимание описываемого строя речи и, следовательно, правильное описание действующей структуры языка. Во всей работе, таким образом, незыблемым остается основное положение о диалектической связи мышления с языком, выявляющей общую закономерность в развитии языков (отражение общественного фактора в языке через мышление). Одними из таких закономерностей ведущего значения выступают качественные переходы, прослеживаемые палеонтологически и стадиально. И здесь социальный момент выступает в действующей роли норм сознания

(форма и содержание). Все эти основные положения подкрепляются в своем реальном значении тем, что язык вне его социального использования — немыслим.

Это утверждение, выступающее из самой сущности языка, вынуждает нас не ограничиваться одним лишь заявлением, что язык есть явление общественного порядка. Такое утверждение нуждается в своем реальном выявлении в исследовательской работе, направленной на познавание языка во всей его сложности. Для такого задания узкий формальный анализ, взятый односторонне, уже недостаточен. Только им одним не удавалось вскрыть всю глубину общественно используемой речи. При палеонтологическом же исследовании слов и грамматических форм, а также при стадиальном изучении наличных изменений языковых структур в комплексе их ведущих свойств, устанавливающих данную систему, выступают и законы единства глоттогонического процесса, и вся сложность взаимоотношений формы и содержания, и, наконец, ведущие стороны общественного фактора.

Изучая историческое прошлое слова и грамматической формы в их эволюционных и трансформационных переходах (палеонтологический анализ) и с той же стороны подходя к историческому исследованию всего строя языка (стадиальный анализ), мы в обоих случаях устанавливаем значимость той или иной языковой категории или свойства целой языковой структуры в их движении до современного состояния включительно. Оба отмеченных исследовательских приема оказываются тем самым историческими.

Язык, изучаемый палеонтологически и стадиально, вскрывается в деталях движения каждого его элемента в отдельности и во всей структуре языка в совокупности. Он выступает перед нами в его наиболее полном историческом освещении. Такой исследовательский подход к языку, построенный на точном применении основных положений исторического и диалектического материализма, является все же новым историческим подходом к языку. Им советское языковедение в значительной степени отклоняется от обычного содержания старого исторического метода. Весь язык и в его целом и в его составных частях уже выступает во всем доступном его освещении. Объект исследования становится на свое место. Исследовательский труд приобретает исключительный интерес.

Во всей работе в указанном направлении требуется значительная доля продуманности и осмотрительности. Для научного обоснования выводов необходима четкость работы и прочность методологической постановки. Изучаемые факты языка крайне сложны, и легко можно впасть в упрощенное их истолкование. Чтобы не сбиться с правильного пути, необходимо в первую очередь опереться на точно проверенный языковый материал. Искать его на стороне не приходится; в этом отношении у нас открывается широкое поле для исследовательской работы: языки Советского Союза исключительно богаты и разнообразием своего строя и

моментами наглядно наблюдаемых в них структурных сдвигов. На современном нам материале живой речи можно даже прослеживать стадиальные переходы. Смена в семантике слова и в грамматической форме, а также причины их ясно выступают в благоприятных для развития языков условиях необычайного роста национальных культур народов СССР, в росте письменности и художественной литературы. На Кавказе, в Азиатской и даже Европейской части СССР многие из только что получивших письменность народов еще недавно были носителями племенной речи. С другой стороны, многие из языков Советского Союза богаты давно сложившимися традициями письменного литературного языка, а также историческими памятниками своего прошлого. Материал для исследовательской работы имеется, при таких условиях, достаточный. При укреплении методологических позиций труд советского лингвиста оказывается исключительно плодотворным.

На этом заканчивается мое изложение общих положений. Постараюсь развить сделанную мною сводку основных установок нового учения о языке краткою иллюстрациею путем последовательно идущих вопросов. Ответ на них сам собою завершит мое изложение, оттеняя ведущую мысль.

1) Можно ли сказать, что племенные языки образовались до формирования племен? — Конечно, нет.

Язык как явление социального порядка развивается не сам собою. Он не мог появиться раньше его создавшего и его развивающего социального фактора. Раньше должны были создаться племена. До появления племен не могло быть племенной речи. Тогда была доплеменная, родовая в своей основе речь. Переход на племенной строй ведет к выработке племенного языка.

2) Следует ли утверждать, что языки племенных союзов обязаны своим происхождением образованию племенных союзов? — Да.

Племенные союзы объединяют племенные языки, выдвигают один из них на господствующее место, по отношению к которому другие уже выступают как племенные диалекты. Чтобы совершился такой процесс образования общеплеменного языка, необходимо наличие племенного объединения.

3) Если народность в отличие от племени связана с образованием государственности, то связана ли речь народности в своем генезисе с образованием государственности? — Да, связана, в особенности с развитием письменности.

При государственном строе вырабатывается государственный язык. Он уже не является племенным хотя бы потому, что сами племена трансформируются. Государственный язык получает тенденцию становиться общим для всего государственного объединения. Это уже не язык племенных объединений.

4) Как образовались языки народностей? Не являются ли они результатом перестройки племенных языков в связи с переходом племенных союзов на государственное устройство? — Очевидно, да.

Если исторически засвидетельствованные факты подтверждают переход союзов на государственное устройство, то и язык должен рассматриваться в его преобразованном виде. Племенная речь, объединяемая на новых социальных устоях, ложится в данном случае в основу образующегося языка народностей. Происходит весьма сложный процесс консолидации племен и их перестройка в новый общественный организм. Языки при этом переживают также значительное изменение, идущее на удовлетворение новых социальных потребностей. Пути, по которым проходит перестройка, бывают различны. Здесь могло сыграть свою роль также и скрещение языков, обусловленное, равным образом историческими причинами (ср. скрещение кельтских языков между собою и с вульгарной латынью при образовании романских языков).

5) Если из языков родовых ячеек образовались позднее племенные языки, а из них в свою очередь образовались народные и затем национальные, то где здесь можно видеть единый праязык? — Я его не вижу.

В основе народного языка лежат племенные. Общеплеменной язык объединил ряд племенных языков. Племенной язык вышел из языков отдельных родов. В их истоках, таким образом, оказывается множество языков, а не единая речь. Можно говорить о праязыковом состоянии какого-либо языка, но не о праязыке, едином для всего языкового многообразия.

Все приведенные вопросы являются ответом на тему «язык и общество».

Чтобы понять язык, нужно знать в основных деталях историю и состояние его носителя — общества. Если нет пранарода, то нет и праязыка.

6) Можно ли утверждать, что племенные языки и народные, затем национальные, представляют собою одно и то же, или же следует прийти к выводу, что они качественно различны? — Несомненно, они качественно различны.

Народ — уже не племя. Народный язык — уже не племенной язык. Романские языки — это не кельтские и не вульгарная латынь.

7) Следует ли говорить, что языки из одного качественного состояния переходят в другое, из одного типа в другой? — Такое утверждение вполне естественно.

Если племенные языки и народные выступают в их качественных различиях, то переход первых во вторые и есть переход из одного качественного состояния в другое. Если инкорпорирующие языки, в особенности с внедрением письменности, перестраиваются на морфологическое оформление сочетаемых в предложе-

нии слов, то движение идет к созданию нового типа по сравнению с предыдущим.

8) Когда флективный строй языка переходит на аналитический, имеется ли переход из одного типа в другой? — Да, имеется.

Примером может служить английский язык.

9) Внедрение письменной речи в бесписьменные языки дает ли новый тип языка? — Может дать.

Бесписьменная, устная речь обычно использует простые предложения с ограниченным охватом сочетаемых слов. Письменная литературная речь, наоборот, часто прибегает к распространенному предложению с различными видами сочинения и подчинения. Внедрение письменности при таких условиях влечет за собою образование или своими средствами, или путем заимствования ранее не имевшихся сочинительных и подчинительных союзов, относительных местоимений и т. д. Все это может дать новый тип языка, сначала в письменной речи, а затем, под ее влиянием, и в устной.

10) Переход с одного типа на другой дает ли качественно новое образование? — Дает.

Качественное накопление в языке новых слов, внедрение новых синтаксических оборотов и грамматических форм морфологии, в особенности при взаимном влиянии языков друг на друга и при различных путях заимствования, могут создать новый тип языка, даже с изменениями в звуковой стороне. Расхождения могут быть столь значительными, что затрудняется понимание языка древних текстов современным нам читателем. Нередко требуются для этого подробные комментарии. Нередки случаи условного чтения и т. д. (ср. «Слово о полку Игореве»).

Эти примеры подтверждают обоснованность выдвигаемых положений о стадиальном анализе, устанавливающем стадиальные состояния языка и прослеживающем пути стадиальных переходов.

11) Если застывшая падежная форма превращается в наречие, если в парадигме склонения имени отпадает ряд падежей, давая схему неполного склонения в связи с использованием этого имени только в значении обстоятельственного слова, и т. д., то имеется ли тут переход на новое качественное состояние? — Несомненно имеется.

Имя, специально используемое в значении обстоятельственного слова, может сохранить падежную форму, утратив способность изменяться по падежам. В данном случае падежное окончание теряет свое прямое назначение падежного аффикса и входит в основу слова, обратившегося в наречие (ср. русск. *босиком*, *тайком*, *нагишом* и др.).

Вопрос здесь стоит не о стадиальной перестройке целой языковой структуры, а о качественных изменениях отдельных элементов речи. Такие качественные изменения, охватывая разные стороны языка, могут своим количественным накоплением привести к взрыву всей действующей грамматической системы, но могут

также и не выходить за границы частичных изменений в пределах той же системы.

Прослеживание подобного рода переходов на новое качественное состояние относится к области палеонтологических исследований.

12) Когда одни и те же понятия передаются различными грамматическими средствами, то можно ли говорить о единстве в синтаксических заданиях и расхождениях в грамматических формах? — Да, такое положение можно проследить, применяя сравнительный метод.

Например, в чукотском и кабардинском языках атрибутивные отношения передаются слиянием слов (ср. чукотск. *тан'клявол*, кабардинск. *цӀыхуфӀыр*). В тюркских языках в тех же целях используется примыкание (*яхшы адам*). В русском в аналогичных случаях выступает согласование (*хороший человек*). Все три примера объединяются общностью содержания, но резко различаются грамматическим построением. Синтаксическое задание остается у них одним и тем же, грамматическое же построение — различно.

Обратимся к другому примеру. Во всех языках в том или ином виде передаются понятия субъекта и предиката, но далеко не во всех получают одинаковое грамматическое выражение члены предложения, подлежащее и сказуемое, а часть речи, глагол, иногда и вовсе не выступает. Возьмем казахский *жаза-мын* и русский его эквивалент *я пишу*. В казахском деепричастно оформленная глагольная основа (*жаз-а*) снабжается приемом слияния, ослабленной формой местоимения *мен* 'я'. Инкорпорированное местоимение делает излишним помещение его же отдельным членом предложения. Субъект в данном, казахском, построении передан в самой глагольной форме. Он получил здесь свое грамматическое выражение.

В русском субъект выступает и грамматическою формою в глаголе (*пиш-у*), и отдельным членом предложения (*я пишу*).

В последнем случае получается двухчленное предложение, тогда как в первом — одночленное. Все же и оно не бессубъектно, так как субъект в нем выражен. Оно — бесподлежащно. По содержанию оба построения, и казахское и русское, сходны. Оба они, хотя бы и различными приемами, передают и субъект и предикат.

Такое же взаимоотношение между понятийными категориями и грамматическими можно установить также и по падежным формам подлежащего, привлекая к сравнению языки различных систем. Так, в яфетических языках при глаголах чувственного восприятия, как обязательное правило, подлежащее ставится в дательном падеже, в русском же языке, по действующим в этом языке нормам, подлежащее будет стоять в именительном (ср. *я хочу*). При согласовании глагола с подлежащим в яфетическом даргинском языке получится построение, которое, при точной передаче грамматических форм, будет соответствовать не русскому

мне хочется, а недопустимой в русском языке форме *мне хочу*. Таким образом, понятие чувственного восприятия получает в яфетических языках свою специальную грамматическую форму, чего нет в русском. Все же в русском языке глаголы по своему содержанию делятся на переходные, непереходные и глаголы состояния. Очевидно, по своему содержанию и глаголы чувственного восприятия, равным образом, выделяются. Глаголы чувственного восприятия имеются во всех языках (*хочу*, *люблю* и т. д.), но далеко не везде они связаны со специальным грамматическим построением.

Во всех приведенных примерах, число которых можно значительно увеличить, устанавливаются схождения в заданиях, требующих синтаксического выражения, и в то же время резкие расхождения в их грамматической передаче. Тут выступают моменты объединяющего языки единства, или, точнее, однородности мышления при многообразии средств внешнего выражения сходных понятий. Понятийные категории во всех привлеченных примерах близки, а иногда и тождественны, способы же их передачи весьма различны в своих грамматических построениях.

Приведенные примеры в значительной степени поясняют, что́ имеется в виду, когда мы говорим о единстве глоттогонического процесса. Это единство выражается вовсе не в одном лишь тождестве корнеслова или схождения грамматических форм. Оно не менее, а даже более ясно выступает и в их расхождениях, если мы примем во внима́ние объединяющее начало вложенного в них содержания как в самом слове, так и во всех видах синтаксических построений (тождество функции).

В основном вопрос сводится к форме и содержанию. Но и они крайне диалектичны в своих сочетаниях, находясь, и то и другое, в перманентном движении. Меняются формы, изменяются также и наличные представления. На различных ступенях развития стояли не только грамматические категории, но и категории понятий, — старая грамматическая форма может получать новое содержание. Поэтому одно и то же содержание, одни и те же понятия могут передаваться различными средствами, нередко переосмысленными в процессе их исторического использования. Так, например, современные нам яфетические языки, сохраняя исторически сложившийся строй речи, выражают им сейчас те же понятия, какие передаются индоевропейскими языками им свойственным строем речи, шедшим в своем развитии иными путями. У индоевропейских и яфетических языков получилось расхождение в целом ряде грамматических построений.

Только что высказанные положения могут быть проверены на материалах любого языка, привлекаемого к сравнению с другими. Везде вскрываются подчас весьма существенные факты, остающиеся при узком формальном подходе неточно, неправильно понятыми, а иногда и вовсе незамеченными.

В работе над отдельными языками встает целый ряд вопросов, связанных с интерпретациею форм в особенностях их конструктивных свойств. Грамматическая форма, выступающая в строении предложения и оформлении слова, имеет исторический базис, оправдывающий ее существование. Язык не является монолитным созданием, одновременным в происхождении всех своих слагаемых частей, но в то же время в синхроническом разрезе он выступает как единое целое: все языковые формы, существующие в действующем строе речи, входят в него, составляя сложное сочетание форм различного происхождения, а иногда и различных конструктивных типов. Даже явные архаизмы, сохранившие жизненную в языке силу, выступают действующими и вполне закономерными формами наряду с другими, хотя бы и иного направления в своем построении. Такое сочетание действующих в языке противоречий оказывается жизненно оправданным и нередко содействует обогащению языка, выступая в нем выразителем особых семантических оттенков, и т. д. Наряду с этим наблюдаются моменты вымирания отдельных форм и зарождения новых, постепенное накопление которых может привести к конструктивному сдвигу в языке. Явления подобного рода прослеживаются, например, при внедрении письменности в еще бесписьменный язык и т. п.

Дело исследователя — в точности разобраться во всем сложном конгломерате структурных свойств языка. Составляя его сущность и характеризуя его особенности, они выделяют каждый язык в той группировке языков, к которой он по своим ведущим признакам относится. Во всей такой сложной, исключительного интереса, работе активным пособием оказывается диалектический метод в подходе к изучаемым словам и грамматическим формам. Тут получает свое место и основанный на нем стадиальный анализ всей действующей в языке грамматической системы в изложенном выше понимании данного исследовательского приема. Таким путем устанавливаются не только историческое прошлое изучаемого языкового строя, но и его действующая структура, подлежащая описанию в грамматических обзорах.

Каждый язык выделяется своим сложным сочетанием диалектически связанных и исторически обусловленных форм. Подход к ним далеко не прост. Еще предстоит большая и углубленная работа для усвоения действующих норм языка по его материалам, доступным реальному изучению. Детальное научное обследование каждого языка становится нашею первоочередною задачею. На нем проверяются и растут наши знания и укрепляется внедряемый в языковедение материалистический подход.

Не менее показательными выступают также и работы над сравнительными грамматиками. И здесь языки СССР находятся в исключительно благоприятных условиях: по целому ряду языковых групп (семей) основной материал находится в пределах

нашего Союза по наибольшему числу входящих в их состав языков. Таковы, в частности, языки кавказские, яфетические, иранские, тюркские и финские. Богатые не только своим количеством, но и разнообразием, подобного рода языки, доступные изучению в своей совокупности только советским ученым, вскрывают ценнейшую почву для исследовательского труда. Задания здесь становятся значительно шире, чем при изучении отдельных языков. Сравнительными сопоставлениями уточняются не одни только общие для всего языкознания вопросы типологии и стадиальности, именно тут наиболее ясно выступающие, но и сама структура отдельных языков, входящих в ту же группу. Еще яснее выступают особенности каждого языка и каждой языковой группы при их сравнении со строем языков других систем и других группировок. В этом случае как схождения, так и расхождения привлекаются к их сопоставлению в целях выявления различных путей передачи сходных синтаксических заданий, и, тем самым, во многом точнее выдвигается действительное значение изучаемых грамматических форм отдельных языков и их групп. Их сходства и различия придают грамматическим построениям ту ясность, которой бывает трудно достигнуть при подходе к каждому языку изолированно.

Те же моменты диалектического взаимодействия формальной и идеологической сторон языка выступают и тут, но уже в сравнительных сопоставлениях языков, хотя и родственных по структурным признакам, но все же самостоятельных. Палеонтологический и стадиальный анализы не снимаются и в данном случае. Наоборот, они еще ярче выступают в своей активной роли при углублении сравнительно-исторических исследований. Именно в данного рода работе более всего уточняются положения самого исторического сравнительного метода, применяемого в языкознании. Здесь укрепляется и его методологическая сторона, полностью опирающаяся на основы исторического материализма.

Впереди, в более отдаленном будущем, стоит задача составления сравнительной грамматики языков мира. По мере ее разработки все более и более будут уточняться все затронутые сейчас вопросы, касающиеся типологических схем и стадиальных сопоставлений. Но предстоит еще большая работа. Еще недостаточно изучены даже отдельные языки. На них и обращается внимание в первую очередь.

Успех исследовательской работы обеспечивается укреплением методологических позиций. Научные кадры в намеченном направлении уже растут. Большие сдвиги с их положительными результатами отразились и в работах по общему языкознанию. Оно является в первую очередь проводником нового направления в лингвистике. На него главным образом ложится организующее начало большого коллективного труда. Все же специалисты по любому отдельному языку работают не изолированно. Каждый из

них занимает свое место в общем деле, выступая представителем колоссальной по своему размаху научной дисциплины.

Изучение отдельных языков включается тем самым в единый коллективный труд. Общие целевые задания уничтожают резкую грань, существующую между кабинетами и секторами научно-исследовательских учреждений и между языковедными кафедрами высших учебных заведений. Каждый из них самостоятелен, но их связывают общие интересы.

Широкое использование опыта работ над отдельными языками, при расширении заданий в части сравнительных сопоставлений, послужит на пользу продолжающемуся объединению лингвистических сил. В таком объединенном труде — успех всех дальнейших работ в нашей области знаний.

1947

О СТАДИАЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ *

Если сохранить за пониманием предложения характеристику его как некоего единства содержания в определенном формальном выражении, то прежде всего возникает вопрос: о каком единстве содержания и о каком единстве его формального выявления идет речь?

Точного определения предложения, которое оставалось бы неизменным для всех периодов развития речи, дать невозможно. Другими словами, разностадиальные языки нуждаются в установлении различных свойств предложения, развивающихся в едином глоттогоническом процессе и разнообразящихся в зависимости от исторически обусловленных различий синтаксических особенностей многочисленных языковых группировок в их стадиальном состоянии.

Если русская грамматика, по образцу вообще грамматик индоевропейских языков, делит предложения на простые и сложные, различает в последних сочинение и подчинение, разбиваемое на полное и сокращенное,[1] то это деление, свойственное определенной структуре речи, остается характерным только для нее. Представленная здесь схема разновидностей предложений, с одной стороны, вовсе не стабильна, а с другой — вовсе генетически не извечна. Более того, она типична только определенным группам языков и сама оказывается результатом длительного исторического процесса языкотворчества в контакте с иными языковыми структурами и, может быть, иными языковыми группировками.

Действительно, когда мы обратим внимание на иноструктурные языки, то в них увидим и цельность содержания взаимосвязанных слов, и внешнюю форму их объединения в единый смысловой комплекс. Но все же сам принцип соединения слов окажется иным. Мы встретим в них другие правила синтаксиса, следовательно — и не всегда тождественные грамматические категории.

---

* Статья написана в конце 30-х гг., опубликована не была.

[1] См., например: Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935, с. 221—242.

Другими словами, в них также будет предложение, но иное по своему качеству.

В правильности только что изложенной мысли нетрудно убедиться, если мы обратимся к анализу конкретного материала. Остановимся, для примера, на языках народов Севера (палеоазиатских). В них наличествуют и синтаксис и грамматические категории, носящие свой спецификум, настолько своеобразный по сравнению с индоевропейскими языками, что материал их может служить прекрасным исходным пунктом для развития затронутой мною темы о стадиальных расхождениях синтаксиса и о качественной перестройке всего предложения.

На самом деле, чукотское построение n-ä'ϑˀə-qaa-pel'a-nat, означающее в русском переводе 'жирных оленей (они) оставили (им)', уже представляет собою предложение, хотя и состоит из одного цельного инкорпорированного сочетания отдельных лексем. Этот пример из чукотского (луораветланского) языка выражает единство смыслового содержания при формальном единстве инкорпорирующего комплекса. Такое инкорпорированное построение представляет собою определенное сочетание самостоятельных по значению слов: * äϑˀə-n → äϑˀə 'жир', qora-t → qaa 'олени', pel'a-k → pel'a 'оставлять', n- — -nat — личные показатели объекта и субъекта действия. Являясь инкорпорированным сочетанием слов, данное построение тем самым входит уже в область синтаксических взаимосвязей. Отсюда можно прийти к выводу, что инкорпорированные комплексы данного рода, именуемые В. И. Иохельсоном «словами-монстрами»,[2] содержат в себе элементы синтаксиса и именно поэтому могут быть названы предложениями.

Само собою разумеется, мы не можем отрицать наличия смысловой цельности в такого рода инкорпорированной передаче, как n-äϑˀə-qaa-pel'd-nat 'жирных оленей (они) оставили (им)'. Это — уже предложение, но, конечно, не предложение обычного для нас типа, построенного из отдельного сочетания отдельно стоящих слов.

Взятый нами образец инкорпорирования, в указанном его понимании законченности содержания и единства формы, служит наглядным подтверждением кардинального расхождения в определении предложений разноструктурных языков. Более того, в инкорпорации легко проследить устойчивость порядка построения слитного комплекса, порядка размещения составных его частей, обеспечивающего смысловое содержание внешне единого целого. Другими словами, в этом уже предложении имеется раз-

---

* Имеется в виду сочетание лексем, аналогичных отдельным словам лишь по своему значению, т. е. указывается на лексико-семантическую обособленность компонентов инкорпоративного комплекса, которые вместе с тем объединены в одно морфологическое целое.

[2] Иохельсон В. И. Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка. — ИАН, 1912, с. 1045.

бивка на составные части, т. е. на главные и второстепенные члены, синтаксически обусловленные, но морфологически не выраженные. И если при таких условиях можно говорить о синтаксисе инкорпорированного комплекса, то затруднительно говорить о морфологическом в нем оформлении грамматических категорий.

В то же время нельзя подходить к инкорпорированию как к застывшей форме. Она сама исторически обоснована в своем генезисе, так же как исторически обусловлена в своем дальнейшем изменении.

Такое историческое движение формы в ее крайне сложном диалектическом развитии дает нам основание остановиться пока на двух положениях. Во-первых, на противопоставлении инкорпорирования фразе, и во-вторых, на противоположении того же инкорпорированного комплекса сложному оформлению слова во фразе.

В первом случае окажутся в противопоставлении инкорпорирование («слово-монстр») и фраза (сочетание самостоятельно артикулированных слов). Оба они являются двумя различными формами передачи предложения. Это будет касаться, впрочем, лишь цельных, самодовлеющих по содержанию инкорпорированных построений, так же как и цельных в смысловом значении построений фраз. Отсюда можно было бы прийти к выводу, что и фраза, и инкорпорирование служат внешнею, формальною стороною передачи предложения. И если представить себе язык состоящим из одних только инкорпорированных комплексов, то мы имели бы в нем стадиальное определение предложения как выражения определенного, цельного содержания единым инкорпорированным построением. Определение предложения было бы тут достаточно ясным: одно содержание, переданное одним инкорпорированным комплексом. Другое определение придется дать предложению с артикулированными словами. В нем одно содержание передается фразою.

Во втором случае, при противопоставлении инкорпорации сложному построению слова во фразе, получается расхождение уже по другой линии. Нами на этот раз противополагаются предложение и слова, поскольку морфологически осложненное слово оказывается не предложением, а его составною частью. На этой почве можно до известной степени установить терминологическое уточнение в понимании инкорпорирования и синтетизма. Мою мысль я позволю себе формулировать следующим образом: когда инкорпорированный комплекс представляет собою предложение, т. е. синтаксическое построение, то он, в целях указанного терминологического уточнения, противопоставляется синтезированию как морфологическому оформлению слова, уже не представляющему собою синтаксической цельности предложения.

Если согласиться с моим определением, то инкорпорирование противопоставится синтетизму, и в таком случае получают более уточненное понимание такие построения, как, например, чукотск.

ga-ϑag-len 'человек, имеющий запас чая' или 'человек, который владеет чайным запасом'. Оно не является предложением, являясь по содержанию только словом ('чае-владеющий'), осложненным соответствующими грамматическими показателями (ga- — -len). Тем самым нам придется признать, что в подобного рода формах мы не имеем инкорпорирования.

Таким образом, внимание наше сосредоточивается не только на одной формальной стороне сложного построения слова, но также и на его функции в речи (предложение или часть предложения) и на функциональном значении его составных частей (семантическое целое, синтаксическое целое или синтаксически обусловленное выражение грамматических категорий).

В этом аспекте проблемы формы и содержания не могут быть рассматриваемы каждая в отдельности, без их взаимосвязанности. Так, с одной стороны, инкорпорирующий комплекс, как мы увидим ниже, пережиточно сохраняющийся в палеоазиатских языках в составе артикулирующей фразы, перестает быть предложением, становясь только его частью и сохраняя инкорпорированную конструкцию при утрате содержания цельного предложения. Здесь комплексная форма получает новое содержание. С другой стороны, даже в русском языке предложение может быть выражено одним словом,[3] но оно по форме не будет инкорпорированным, поскольку его оформление носит грамматическую функцию, что не свойственно инкорпорированию, и т. д.

Историческое движение речи проходит в ее изменениях. В частности, при историческом понимании инкорпорирования придется внести некоторый корректив в данную Г. Штейнталем характеристику словообразования в эскимосском языке как грамматического процесса, в котором слово стремится поглотить предложение.[4] С нашей точки зрения, синтетизм окажется в этих языках последующим, качественно иным выражением распадающегося инкорпорирования, когда комплексное слово перестает синтаксически быть предложением, обращаясь в его составную часть, и когда слагаемые части самого слова приобретают служебную, второстепенную роль. Именно в этом процессе легко усмотреть отмеченное Н. Я. Марром взрывчатое движение речи, обратившее обслуживающие слова единого словесного комплекса во вспомогательные частицы, в аффиксы, передающие грамматические категории.

Языки народов Севера (палеоазиатские) дают ценнейший материал для выяснения только что отмеченного процесса языковой перестройки. Действительно, при более углубленном анализе

---

[3] См., например, В. А. Богородицкий: «Каждое сочетание слов (а иногда и одно слово), служащее для выражения цельной мысли и известным образом грамматически организованное, называется предложением» (Общий курс русской грамматики, с. 200).

[4] Steinthal H. Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860, S. 214, 220.

в них можно проследить ход качественной перестройки «слова-монстра», когда формально тождественное инкорпорирование перестает передавать цельность предложения, выступая одним из его слагаемых в сочетании с другими словами фразы.

Дело в том, что во всех языках, доступных нашему изучению, в которых улавливается инкорпорирование отмеченного нами типа словосочетаний, такая инкорпорация сосуществует с построением фразы, составленной из отдельных артикулированных слов. Наоборот, насколько я знаю, языков с исключительным наличием только инкорпорированных форм вовсе не существует. В таком же положении находится и речь палеоазиатских народов. В их языках инкорпорация еще задерживается, но ход языкового строительства, в особенности последних лет, явно ведет к изживанию данной конструктивной формы, оказывающейся слишком осложненною при современных социальных условиях, требующих выхода из старого набора конкретизованных конструкций. В итоге этого процесса в части палеоазиатских языков можно прийти к следующему выводу: инкорпорированные комплексы представляют собою еще местами сохраняющийся пережиток при другом языковом явлении, а именно — при выражении того же содержания фразою, уже разбитою на слова. В последнем случае, даже при тождестве содержания, мы получаем уже иное формальное выражение предложения.

Я не буду задерживаться на путях разложения инкорпорирования и на древнейших конструктивных формах человеческой речи вообще. Тема эта слишком сложна. Остановлюсь на наиболее показательных примерах, непосредственно относящихся к проблеме предложения.

Итак, выше мы видели один тип предложения в инкорпорированной его передаче одним комплексом. Этот комплекс в живых палеоазиатских языках до сего времени используется наряду с построением фразы артикулированными словами, иногда соединяясь с ними в общем составе фразы. Все же и в последнем случае инкорпорированный комплекс сохраняет свое прежнее построение. В основе его лежит слово, выражающее главную мысль (стержневое слово, условно называемое мною «предикатом»). Этому предикату предшествует его определитель, в свою очередь с ему предшествующим его определителем и т. д. Например: tudeçıe-modol-koı-ϑ̯uoleg ‘сказка об одном одиноко сидевшем мальчике’ (юкагирская сказка). Стержневым словом оказывается здесь ‘сказ́ка’ (ϑ̯uoleçı). Оно имеет своим определителем ‘мальчика’ (‘о мальчике’ koı). Последний в свою очередь определяется как ‘сидящий’ (modo-l ‘сидение’). И наконец, само ‘сидение’ определяется как ‘одинокое’ (tudeçıe → tude eçıe ‘сам-один’). Сходное построение находим в юкагирских инкорпорирующих предложениях типа asa-aıl-soromoh. В нем ‘человек’ (soromo-h) характеризуется как стреляющий (aı-l ‘стреляние’, ‘стрельба’) с направлением стреляния на ‘оленя’ (asa). Наличное сочетание

слов дает ‘олень-стреляние-человек’, что в русском переводе выражается уже фразой ‘человек застрелил оленя’ (например, из записей Е. А. Крейновича и Дьячкова). Или kёde-d-ılen-bunıl ‘человек-олень-убийство’, в русском, точном по содержанию, переводе ‘человек убил оленя’. Тут стержневое слово ‘убийство’ (bunı-l) имеет своими определителями ‘кого’ (ılen ‘олень’) и ‘кем’ или ‘чье’ (köde ‘человек’; по записям Е. А. Крейновича из тундренного диалекта юкагирского языка).

В таких инкорпорированных предложениях имеется стержневое слово с его определителями. Следовательно, в них нет ни подлежащего, ни сказуемого, характеризующих предложения нашей, например, русской речи, следовательно, нет и тех синтаксических компонентов фразы, которые обычны для ее построения. Другими словами, в инкорпорированных предложениях действуют иные, свои синтаксические нормы, которые мы могли бы сформулировать как упор на стержневое слово с его определителями. В приведенном выше примере с оленем в число таких определителей входит и прямое дополнение, передающее объект действия.

Несколько иную картину дает то же инкорпорирование, используемое в составе расчлененной на слова фразы. Тут инкорпорированный комплекс выступает уже как ее составная часть, например: met tudeçıe-modol-koı-ϑuoleçe pundut букв. ‘я одиноко-сидение-мальчик-сказка буду говорить’. Здесь тот же самый приведенный выше инкорпорированный комплекс tudeçle-modol-koı-ϑuoleçe оказывается не чем иным, как детализованным объектом к моему действию рассказывания: ‘я буду говорить’ (met pundut). Все же в этой юкагирской фразе мы скорее всего должны видеть одно распространенное предложение с подлежащим, сказуемым и прямым дополнением, каковое представлено комплексною передачею самого дополнения с его определителями. В юкагирской фразе мы имеем уже более развитое предложение, образовавшееся в итоге обрастания инкорпорированного комплекса выделившимися субъектом и предикатом-сказуемым, прибавленным в связи с расширением смыслового содержания фразы к старой, еще инкорпорированной, схеме, обращенной в комплексное выражение объекта. Внешне наблюдается приближение к обычной для нас схеме с подлежащим, сказуемым и прямым дополнением, но все же приближение это будет весьма относительным, так как в юкагирском примере мы по существу имеем хотя и распространенное, но еще простое предложение, в котором нет еще разбивки на сложность предложения с основною и подчиненными его частями, с главным и придаточными предложениями. Между тем в русском переводе получается уже сложноподчиненное предложение: ‘я буду рассказывать сказку о мальчике, который сидел (жил) в одиночестве’.

Различие синтаксического строя в обоих случаях, в юкагирском тексте и в русском его переводе, наиболее ярко выступает

при синтаксическом разборе каждого в отдельности. Так, в юкагирском содержится подлежащее, прямое дополнение в инкорпорированном виде и сказуемое, формально не поддающиеся другой разбивке. При оформлении глагола, какового нет в инкорпорированном целом, и при выделении логического субъекта, оказавшегося в данном случае также и грамматическим, инкорпорация заняла в юкагирской фразе место второстепенного члена того же самого предложения, приблизившегося тем самым к нашим простым распространенным. Русская же разбивка соответствующего по содержанию сложного предложения не тождественна юкагирскому построению, и в частности, инкорпорированный комплекс последнего вовсе не вошел целиком в подчиненную часть сложной конструкции: 'я одиноко-сидение-мальчик-сказка буду говорить', 'я буду говорить сказку о мальчике, который сидел одиноко'.

При сравнении этих двух фраз оказывается, что часть инкорпорации, а именно стержневое слово с его определителем, отделилась от остальных определений, выделивших в русской передаче свои субъект и предикат. В данном русском соответствии взамен распространенного, но еще простого юкагирского предложения выступает образец сложноподчиненного предложения как результат роста простого предложения внутри его самого и как результат его построения по нормам нового стадиального синтаксиса.

Таким образом, в двух фразах, юкагирской и русской, перед нами выступают предложения стадиально различного состава при тождестве их содержания. То же самое содержание передается в одном случае по одним нормам, в другом — по иным, причем русский текст не поддается построению по юкагирскому образцу и наоборот. Констатирование подобного факта явно обусловлено стадиальными расхождениями в самих принципах построения фраз, т. е. в синтаксисе.

Нормы синтаксиса таких языков, как унанганский (алеутский), одульский (юкагирский) и др., совершенно отличны от наших, и в первую очередь, хотя бы по приведенным выше примерам, бросается в глаза слабое развитие, точнее даже отсутствие, в указанных палеоазиатских языках сложных предложений и чрезмерное за счет их распространение простых. Но и только что данное наименование «простого предложения» в точности не отвечает структуре приведенных палеоазиатских примеров. В них по существу мы имеем не наше простое предложение, а свой собственный тип предложения со своеобразным, с нашей точки зрения, использованием синтетизма и инкорпорации.

Не только инкорпорирование, но и синтетизм, в указанном нами его понимании, выявляется в нагроможденном составе языковой единицы (при синтетизме уже слова) с его конкретизирующим определением действия или состояния. В синтетизме обслуживающими частицами выражаются грамматические виды и синтаксические связи с другими словами фразы, обеспечивая конкретизацию и самого слова, и его синтетических взаимоотношений.

В результате придется признать, что синтетическое построение уже само по себе придает свой спецификум всему использующему его строю речи, отделяя его от строя речи индоевропейских языков, так же как и инкорпорирование, хотя и построенное на иных началах. В этом и лежит одна из причин сложности перевода синтетических конструкций на любой из индоевропейских языков. В частности, синтетически оформленное слово может в русском переводе равным образом передаваться целым развернутым (не однословным) предложением. Остановимся хотя бы на алеутском примере amϑ̇nu-ϑ̇hı-sha-ku-qıņ, в котором глагол снабжен особыми приставками ϑ̇hı (causativ), sha (выражение пассивного состояния действующего лица), ku (показатель настоящего-прошедшего времени), qıņ (местоимение 1-го лица ← ħ-tıņ). В развернутом виде с передачею всех указанных деталей мы получаем русский перевод ‘идти-заставляют-сейчас-меня’. Такой перевод не передается одним русским словом, хотя в алеутском налицо один глагол с его синтетическими приставками. Следовательно, формально мы имеем здесь близость к русскому однословному предложению (amϑ̇nuϑ̇hıshakuqıņ — одно слово с содержанием целого предложения), но это однословное предложение все же не тождественно русскому, что и явствует из русского его перевода.

Таким образом, не только конструкции с инкорпорированием, но и синтетические построения не представляют собою полного сходства с типичными построениями индоевропейской речи. Чтобы убедиться в этом, достаточно задаться целью соблюсти точность в передаче содержания и формы. Такая цель не увенчается успехом, что и служит лучшим доказательством того, что синтаксис взятых нами для сличения языков различен, причем отмечаемое различие заключается не в деталях, а в самом существе, в ведущих линиях языкового строя, что в свою очередь и приводит нас к утверждению о стадиальном расхождении привлеченных нами языков.

Можно было бы даже прийти к выводу, что простые и сложные предложения, в их конструктивных противопоставлениях, являются достижением языков нашей стадии речи и что для палеоазиатских языков такое деление оказывается чуждым. Я полагаю, что при таком выводе мы не будем далеки от истины.

Как бы то ни было, все же мы должны признать, что система построения предложений в них отлична от нашей. С другой стороны, само сопоставление приведенных нами предложений алеутского и русского языков, при всем расхождении в характеристике основных свойств их предложений, невольно наводит на мысль, что в результате исторической динамики рост распространенных предложений ведет к их взрыву и тем самым к образованию сложных. Но если этот ход развития предложения напрашивается сам собою при сличении двух иностадиальных систем, то все же процесс этот еще не выявился полностью в целом ряде представите-

лей палеоазиатской речи, продолжающих использовать весьма насыщенные построения своих однословных и распространенных предложений.

Такой вывод, представляющийся мне вполне обоснованным на материале, имеет существенное значение для определения всего строя речи в его историческом движении. Действительно, отмеченная мною особенность указанных палеоазиатских языков, сводящаяся к использованию своих своеобразных распространенных предложений взамен сложных, объясняет собою наличие или отсутствие тех или иных грамматических категорий. В частности, устанавливаемая нами синтаксическая структура оправдывает нечеткость целого ряда грамматических категорий, опирающихся, как и везде, на действующие нормы синтаксиса. Так, например, в алеутском языке отсутствуют относительные местоимения, необходимые для построения сложноподчиненного предложения при согласовании придаточного предложения с членом главного, который выражен склоняемым именем. Нет в том же языке причастий и т. д.

Все явления подобного рода находят себе истолкование в действующих нормах синтаксиса, удовлетворяющего требованиям мышления социального носителя речи. Синтаксис же неправильно, и с явным ущербом для дела, почему-то рассматривается стабильно и к тому же далеко недостаточно привлекается при исследовательской работе над строем речи отдельных языков. В итоге получается, что грамматические категории тех же палеоазиатских языков устанавливаются исследователями по нормам нашего синтаксиса, что и приводит к неизбежным ошибкам.

Мне приходится, в целях возможного использования взятой на себя темы, коснуться несколькими словами и проблемы грамматических категорий как неразрывно связанной с синтаксисом, следовательно и с предложением. Установив изменчивость самого синтаксиса и типов предложения, мы тем самым вынуждены признать изменчивость и грамматических категорий. Построения предложений вызывают к жизни обусловливающие их грамматические формы. Другими словами, характеризующие свойства синтаксиса, в частности структура предложения, определяют целый ряд грамматических категорий. Так, при инкорпорированном комплексе нет глагола, нет тем самым и имен существительных, прилагательных и пр. К такому строю вполне подходит утверждение Н. Я. Марра о позднейшем происхождении глагола.[5] Вначале было имя (но не существительное). Это имя выступает стержнею частью инкорпорированного предложения (предикат) и его определителями, устанавливаемыми синтаксическим порядком размещения в сложном комплексе без морфологического их уточнения. Здесь обычных нам категорий нет вовсе. Далее, при синтетической конструкции слов предложение с артикулированными

---

[5] См., например: Чуваши-яфетиды. — ИР, V, с. 327 и др.

словами фразы образуются односложные с синтетическими определителями (вспомогательными частицами) и распространенные предложения, в состав которых иногда входят инкорпорированные комплексы, выражающие часть предложения в значении его второстепенного члена. Я ограничиваю в данном случае понятие синтетизма его грамматическими функциями, а не лексико-семантическими, поскольку сама моя тема касается синтаксиса, а не лексики. И наконец, сложность распространенного предложения, после его коренной качественной перестройки, дает простое и сложное предложения с сочинением и подчинением в последнем. В этом и заключается один из моментов стадиального развития предложения с непременным выводом о том, что каждой стадии соответствуют свои грамматические категории.

В подтверждение этого моего утверждения, расходящегося с мнением других исследователей эскимосских языков, сошлюсь хотя бы на построения таких фаз, как алеутск. ıqŋuȟ agukuŋ sumın sağada букв. ‘лодка мое-делание-ее потом ты возьми’, в русском переводе ‘лодку, которую я делал, ты потом возьми’. В. И. Иохельсон усматривает в данной фразе наличие причастия, что в этом случае явно не соответствует действительности.[6]

Для пояснения взятого мною у В. И. Иохельсона примера напомню читателю, что в алеутском (унанганском) языке наличествуют два строя спряжения: личный местоименный и притяжательный:

agu-ku-qıŋ	‘я делаю/делал’	agu-ku-ŋ	‘мое делание его’ (‘я его делаю/делал’)
agu-ku-ƀ-tȟın	‘ты делаешь/делал’	agu-kū-n	‘твое делание его’ (‘ты его делаешь/делал’)
agu-ku-ȟ	‘он делает/делал’	agu-kū	‘его/их делание его’ (‘его делает/делали он/они’).

Последний глагол нашей фразы стоит в повелительном наклонении близкого будущего времени (su-mınsuğa-da), первый же (agu-ku-ŋ) поставлен вовсе не в причастной форме, как думает В. И. Иохельсон, а в обычной форме притяжательного спряжения, совпадающей с измененным притяжательным склонением и снабженной показателем настоящего-прошедшего времени (ku), о чем достаточно подробно говорилось мною в недавно вышедшем из печати курсе «Нового учения о языке».[7]

В только что приведенном алеутском примере нет причастной формы, и она вовсе не требуется правилами алеутской речи. Ее нет и в таких фразах, как gaȟ sunaŋ qakuȟ букв. ‘рыба мое-взятие-ее

---

[6] Иохельсон В. И. Унанганский (алеутский) язык. — ЯПНС, III, с. 247.

[7] Новое учение, с. 64 и сл.

еда (он ест)', что в русской передаче означает 'рыбу, которую я взял (взятую мною), он ест'. В данной фразе стоят глаголы обоих спряжений, т. е. и местоименного (qa-ku-ħ) с суффиксом настояще-прошедшего времени (ku), и притяжательного (su-na-ŋ,) с суффиксом давнопрошедшего времени (na). Использование различного спряжения глагола не обращает еще всей фразы в сложное предложение, что ясно хотя бы из того, что цельная фраза в том же алеутском языке может быть построена с глаголами, идущими по одному и тому же строю спряжения, например: anğağım gaħ sulağanaŋ qakū, что означает букв. 'человека рыба ее-мое-взятие еда-ее' и что в русском переводе передается фразою 'человек съел рыбу, взятую мною'. И глагол su-lağana-ŋ (с суффиксом близкого прошедшего времени lağana), и глагол qa-kū (с суффиксом настоящего-прошедшего времени ku) — оба они даны в притяжательном спряжении, причем оба имеют один и тот же объект (qa-ħ 'рыба'): 'мое взятие рыбы' (qa-ħ su-lağana-ŋ) и 'человека еда-рыбы' (anğağım qa-ħ qa-kū).

Объект, таким образом, соединяет оба наличных во фразе глагола, и поэтому в ней не требуется присутствия относительного местоимения, каковое неизбежно появляется в соответствующем русском тексте 'человек съел рыбу, которую я взял'. Не требуется, равным образом, и причастия, дающего возможность иной конструкции русского же перевода с кратким придаточным предложением 'человек съел рыбу, взятую мною'.

В алеутском, наоборот, глагольная форма в обоих местах осталась та же (притяжательное спряжение и в том и в другом случаях), согласуясь своим субъектно-объектным строем с тем же предметом действия, но различаясь по субъекту. Таким путем получилось не сложное предложение, а своеобразное слитное, с тождеством объекта и различием действующих лиц, к тому же и с некоторым объектным содержанием первого глагола, что вполне к нему подходит при его притяжательном — именном построении: 'мое взятие рыбы (использовано) едою человека'. При последнем понимании того же примера перед нами простое предложение. Следовательно, как бы мы ни анализировали взятую нами фразу, она конструктивно (синтаксически) не дает сложного предложения, получающегося в русском переводе или сложноподчиненным построением 'человек съел рыбу, которую я взял (взятую мною)', или сложносочиненным 'я взял рыбу, а человек ее съел'.

И тот и другой варианты подходят для русского перевода, но в то же время ни тот, ни другой не отвечают алеутской конструкции фразы, остающейся, по действующим нормам алеутского синтаксиса, вне возможностей сложного предложения. А при таком положении дела нет достаточных оснований для поиска в алеутской речи причастных форм.[8]

[8] Здесь я не касаюсь вопроса о генезисе причастных форм, которые могут образовываться и не по одной лишь функции обслуживания придаточного

Такая синтаксическая особенность определяет весь строй речи и затрудняет дословный перевод на другие, иноструктурные языки, пользующиеся иными нормами построения фраз. По той же причине сложные предложения нашей речи заменяют собою не только распространенные «простые» предложения алеутского и юкагирского языков, когда того требуют новые правила синтаксического согласования, но иногда и целый комплекс самостоятельных предложений, суммируя их при помощи различных комбинаций сочинения и подчинения. Палеоазиатские языки (алеутский, юкагирский и др.) своим основным упором на синтаксис однословного и распространенного предложений доходят до нередкого употребления однословных фраз даже в составе артикулирующих построений. Это в свою очередь приводит к накоплению в тексте отдельных отрывочных фраз, которые равным образом не соответствуют плавной русской речи с ее широким использованием сложных предложений. Такой текст, как almen-ŋı, yal-phıtā-ŋam, mon-ŋı 'были с шаманом, заставили его шаманить, сказали',[9] гораздо естественнее для нас в русском слитном переводе: 'когда они оказались с шаманом, они принудили его шаманить и сказали' и т. д.

Из всего сказанного можно прийти к выводу, что материалы целого ряда северных языков приближают нас к разрешению генетической проблематики о происхождении и развитии простых и сложных предложений. Мы видели предложение в инкорпорированном комплексе с его категориями предиката и определителей, т. е. с совершенно иным синтаксисом, чем обнаруживаемый в тех же языках в их более распространенной речи артикулируемыми словами. Тут выступает субъект, объект и предикат, преимущественно уже глагол, а попадающее сюда же инкорпорирование приобретает роль второстепенного члена предложения, давая развернутую схему еще, с нашей точки зрения, простого, но уже распространенного предложения.

С другой стороны, разбиваемое на составные части то же инкорпорирование при детализации субъекта и объекта в самой глагольной форме перестраивается на нераспространенные, иногда даже однословные предложения.

Весь этот ныне действующий у целого ряда народов Севера строй речи в свою очередь не отвечает требованиям синтаксиса индоевропейских языков с их частым использованием сложных разновидностей, сочиненных и подчиненных конструкций. Слож-

---

предложения. Наоборот, нужно полагать, что причастные формы первично имели иную функцию в составе предложения и затем использовались для выражения его синтаксической сложноподчиненности. Все же, что касается унанганского (алеутского) языка, то в нем, по нормам его строя, синтаксической обусловленности существования причастных форм не прослеживается, и В. И. Иохельсон их устанавливает лишь по аналогии с грамматическим строем индоевропейских языков.

[9] Юкагирская сказка. — ИАН, 1898, с. 157, сказка I, стк. 12.

ное предложение обусловливает оформление новых грамматических категорий, чуждых привлеченным палеоазиатским языкам.

Но если проблема генезиса и развития лишь намечается в дальнейших путях своего разрешения, несомненно весьма осложненных различными путями движения самой конкретной речи, далеко еще с этой стороны не изученной, то вопрос о стадиальном развитии предложения, т. е. о том, что синтаксис различен в различные периоды движения языкового строя, представляется мне бесспорным уже и при нашей степени знаний. Учет стадиального состояния предложения становится обязательным для применения в целях более правильной характеристики структуры изучаемой речи, разнообразящейся в своем монистическом движении.

СОКРАЩЕНИЯ

абс. — абсолютный (падеж).
АН — Академия наук.
букв. — буквально.
Вандриес — Вандриес Ж. Язык. Русский перевод. Москва, 1937.
вин. — винительный (падеж).
дв. — двойственное (число).
ед. — единственное (»).
ИАН — Известия Академии наук (Российской Академии наук — Академии наук СССР).
им. — именительный (падеж).
ИР — Марр Н. Я. Избранные работы, тт. I—V. Москва—Ленинград, 1933—1937.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
Мейе — Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Русский перевод. Москва—Ленинград, 1938.
мн. — множественное (число).
Новое учение — Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Ленинград, 1936.
ОЛЯ — Отделение литературы и языка (Академия наук СССР).
отн. — относительный (падеж).
род. — родительный (»).
Сепир — Сепир Э. Язык. Русский перевод. Москва—Ленинград, 1934.
Соссюр — Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Русский перевод. Москва, 1933.
твор. — творительный (падеж).
Шахматов, 1, 2 — Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Ленинград, вып. 1 — 1925, вып. 2 — 1927.
ЭК — Этнография Кавказа. Тифлис.
ЯМ — Язык и мышление. Москва—Ленинград.
ЯПНС — Языки и письменности народов Севера. Москва—Ленинград.

Schuchardt-Brevier — Schuchardt-Brevier H. Ein Vademecum der allgemeine Sprachwissenschaft. Halle, 1928.

СОДЕРЖАНИЕ

Иван Иванович Мещанинов

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА

Утверждено к печати
Бюро Отделения литературы и языка АН СССР

Редактор издательства *А. А. Зырин*
Художник *Д. С. Данилов*
Технический редактор *Н. А. Кругликова*
Корректоры *Р. Г. Гершинская* и *А. И. Кац*

Сдано в набор 3/VI 1975 г. Подписано к печати 4/XII 1975 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага № 2. Печ. л. 22+1 вкл. (¹/₈ печ. л.) = 22.13 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 25.04. Изд. № 5925. Тип. зак. № 170. М-26913. Тираж 5700.
Цена 1 р. 70 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

1-я тип. издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
184	2 снизу	*нмыркынен*	*тымыркынен*
184	19 »	*кора нмыркынен*	*коран'ы тымыркынен*
192	6 »	*нмыркын-ен*	*тымыркын-ен*

И. И. Мещанинов

